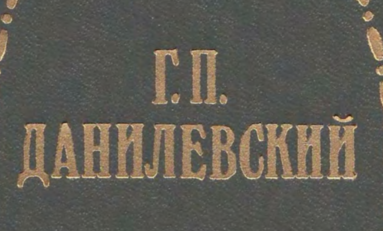

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ
3
Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ
3

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Девятый вал

Рассказы


Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ



Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Девятый вал

Рассказы

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том третий



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.
Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т 3. — М.: ТЕРРА, 1995. — 496 с.
ISBN 5-85255-705-6 (т. 3)
ISBN 5-85255-702-1

В третий том собрания сочинений Г. П. Данилевского вошли романы «Девятый вал», исследующий новую историческую реальность — бурный процесс капитализации, охвативший Россию в 70-е годы прошлого века, изменивший судьбы провинциальной российской интеллигенции, а также рассказы писателя, исполненные духом народно-православного дидактизма.

Д **4702010100-058** **Подписное**
А30(03)-95
ББК 84Р1
ISBN 5-85255-705-6 (т. 3)
ISBN 5-85255-702-1



Девятый вал

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРЕД ОБИТЕЛЬЮ

«В скитах — в тех же суетах»

Пословица

«Девятый вал — роковой для мореходов».

Поверье

I

Новый Одиссей

«Что́ сталось с моим отцом? — думал Антон Львович Ветлугин, вновь подъезжая из-за Урала к родным местам. — Странное дело... Отец так был скуп на письма за эти годы. А тут вдруг написал о желании видеть меня — да еще по нужным и безотлагательным делам... И какие там дела могут быть у него, затворника и мечтателя добряка?.. Уж здоров ли он?.. А вот и граница родины... За этим пригорком лес, за ним село и река, а у реки и предпоследняя станция... Я оставил родину пятнадцатилетним юношей. Возвращаюсь в нее двадцатисемилетним, многоопытным Одиссеем... Посмотрим же, что сталось с нею за эти долгие двенадцать лет? В ту пору в ней все было по старине. То была дореформенная, так сказать, допотопная губерния. Теперь она озарена светом преобразований...»

Так думал Антон Львович Ветлугин в первых числах мая 1868 года, приближаясь к знакомой почтовой станции.

Пять дней пути на перекладных, по железной дороге и опять на перекладных его утомили. Был уже вечер. Солнце скрылось за горой.

Родина, впрочем, на первых же порах не очень гостеприимно встретила Ветлугина.

Как он ни торопился, смотритель ему объявил, что лошадей нет и что ему придется прождать час-другой, а то, пожалуй, и до утра.

Из трех комнат станции одна была занята купцами, другая — помещиком того уезда, а третья — двумя проезжими дамами. Ветлугину предложили поместиться за перегородкой в собственной комнате смотрителя. Он заглянул туда, заказал самовар, а сам, заслыша песни хороводов, пока не стемнело, ушел побродить по селу.

Смотритель велел внести поклажу проезжего. Но у последнего, кроме потертого дорожного мешка, не оказалось других вещей.

«Сколько верст и так налегке! — подумал смотритель, глядя в его подорожную. — То и дело толкуют о бегстве ссыльных. А этот как раз из Сибири... Ох, уж эти зауральские... А казна еще замышляет туда железную дорогу».

Во дворе тем временем шла толкотня.

Кузнецы налаживали осевшую рессору кареты проезжих дам, занявших комнату, смежную с смотрительскою. А возле кареты, в досаде покрикивая на старосту и не боясь, как видно, мирового, в сером люстриновом сюртучке, таких же брюках и жилете и в фуражке с красным околышем и с кокардой, куря сигару, стоял щеголеватый, толстый и недовольный с виду помещик. Колесо его коляски по милости рытвин на большой дороге также потребовало значительной починки. Вследствие этого его комнату, как Ноев ковчег, франтоватый слуга и ямщики загрузили всякою путевою всячиной: сундуком с запяток, чемоданом с козел, шкатулкой, подушками, погребцом с провизией и еще двумя битком набитыми саквояжами с самыми необходимыми подручными вещами.

У крыльца на улицу с папироской и с хлыстом в руке прохаживался гимназист, семнадцатилетний сын помещика; а в комнате, привязанный на цепь, изредка подавал голос долговязый и глупый, где-то по пути купленный этим сыном, легавый щенок. Отказывая Ветлугину в лошадях, смотритель не преминул объяснить, что вон на что уж барин Талищев, да и тот ждет, что у Талищева столько-то тысяч десятин земли да конский и винный заводы, и что он почитай первый богач в уезде.

Ветлугин на это, однако, не обратил никакого внимания, а только сказал: «Нет лошадей, что же делать!.. Буду ждать, хоть пять ночей не спал и спешу...»

— Ну-с, кого еще нам Бог послал? — спросил Талищев, входя к смотрителю. — Не из наших ли гласных?

— Посторонний.

— Жаль... А то бы можно было от скуки и в карты... Откуда едет?

— Из Сибири.

— Вот как... Чиновник, что ли?

— Не думаю. Был бы чиновник, непременно бы ругался... А то сказал только — время дорого... пять дней не спал... спешу...

— Ну, и пусть его спешит, — решил Талищев, лениво усаживаясь к окну.

На дворе между тем стемнело. В окна комнаты сверкнули звезды. Из-за окутанных сумерками крестьянских садов стал вырезываться месяц. Хороводы не умолкали. А тут в дверях показался и сам Ветлугин.

Это был среднего роста, сильно загорелый и широкоплечий человек. Темно-русый, с коротко постриженной бородкой, в серой фуражке и в синем поношенном пальто, он походил на приказчика или небогатого хлебного торговца. Руки его были крепкие, жилистые. Лицо сухощавое, строгое. В карих ласковых глазах выражалась усталость от долгого пути. Ему и спать хотелось, и манил его пыхтевший самовар.

Привыкнув к счастливой доле простого и обыкновенного смертного, на которого никто и никогда, в пути и в жизни, не обращал особого внимания, он молча подсел к столу.

— Из Сибири изволите ехать? — с легким поклоном спросил, подходя к нему, Талищев.

— Из Сибири.

— Служите там?

— Нет, не служу.

— Так, видно, по торговой части?

— Да, по торговой... А вы?

— Здешний помещик.

— Что... если не ошибаюсь, у вас уже введена и судебная реформа? — спросил Ветлугин.

— Введена.

— Кто же здесь председатель съезда мировых судей?

— В обоих съездах — судей и посредников — председатель я, равно и в земском собрании, так как состою предводителем здешнего уезда.

— Три главных, три лучших реформы, — с искренним сочувствием сказал Ветлугин, — крестьянская, земская и судебная — и в каждой из них вы впереди других... Завидная участь...

— Да-с, несу эти тяготы, — с новым поклоном и легким вздохом ответил Талищев.

Ветлугин поднял брови.

— Любопытно бы знать, — продолжал он, — как идут ваши общественные дела?

— Ох, и не говорите. Вы — торговый, следовательно, деловой человек... Знаете ли вы, что мы терпим? Ни надежных рабочих, ни верной прислуги нет... Все грубияны да лентяи... Большинство лучших, устроенных имений начинает пустеть в аренде либо продается с молотка. Верите ли, едешь теперь в деревню, как на каторгу... Налоги растут... Господа же гласные все новые расходы вымышляют... А чем, я вас спрашиваю, их покрыть, чем?

— Но вы же сами председатель, следовательно, руководитель земского собрания...

— Полноте... Все это хорошо на словах, на бумаге. Но между словом и делом большая разница. А все оттого, что нынче власти настоящей нет ни у кого, ни у губернатора, ни у исправника, ни у предводителя... Правит всем теперь волостной писарь, а писарем кабак... Больше скажу, — прибавил, понижая голос, Талищев, — везде идет подземная работа тайных разрушителей... Ну, да что и толковать... Не цветы растут в нашем вертограде, не цветы... Пеплом главу приходится посыпать, во вретище одеваться.

«Батюшки! Что я слышу? — подумал, глядя на собеседника, Ветлугин, — вот так родина... И это заявляет выборный, стало быть, лучший человек из уезда? Что же остальные? И неужели, в самом деле, эта голотурия, эта улитка-овощ такое и значительное, и влиятельное здесь лицо?»

А Талищев не унимался. От грубиянов-рабочих и непокорных детей перешел к отсутствию дисциплины в канцеляриях, в войске и даже во флоте.

— Проснулся бы Суворов, снова в землю бы лег... Я служил некогда в кавалерии. Но разве у нас теперь войско? Армия лавочников да акробатов... Башлыки выдумали, гимнастику, гласные военные суды...

Выручил Ветлугина сын Талищева, гимназист Николушка.

Войдя в фуражке и слегка поклонившись Ветлугину, он сказал:

— Ты здесь, отец, по обычаю, ораторствуешь... а там — во-первых, краснорядцы уступают жеребца, советую купить, отличных статей, а во-вторых, нам грозит новая беда... В коляске, кроме сломанного колеса, оказалась еще и треснувшая ось...

— Вот они, наши новые порядки и наши нынешние общественные дороги и мосты, — побагровев, с приливом новой злобы вскрикнул Талищев, — треклятое самоуправление... Нет, воля ваша, при единовластии становых не в пример было лучше...

Когда они ушли, Ветлугин только развел руками.

Нахмурившись и потирая лоб, он некоторое время в совершенном недоумении постоял среди комнаты, раскрыл для освежения воздуха окно и с чувством невольной брезгливости даже помахал вокруг себя платком. Немного погодя, он попросил у смотрителя почтовой бумаги, конверт и чернильницу, присел к столу и принялся писать.

Через час он вышел попросить старосту, чтобы его разбудили на заре.

Было уже не рано. Ночь перевалила за половину. Ямщики ужинали в сборной. Толкотня во дворе затихла. Только чавканье подходивших с разгона троек раздавалось под пахнувшими свежим сеном и навозом навесами, да где-то за сараями, вероятно над осью коляски Талищева, стучал кузнечный молот, слышался спор, прибаутки и смех заезжей прислуги, да с огорода, от села, неслись громкие песни: «Заплетися плетень, заплетися» и «Яром, яром, кума моя, а я за тобою».

Пока Ветлугин искал старосту, Талищев вновь зашел к нему в комнату и с удивлением увидел на его столе несколько готовых и уже запечатанных писем.

«Вот так скорый! Эк настрочил», — подумал он, просматривая обложки писем.

На одном был адрес — в купеческую контору, в Орск; другое было адресовано к некоему Аввакуму Столешникову — в Архангельск; на третьем была надпись в редакцию одной распространенной газеты, в Петербурге.

Возле чернильницы лежал клочок бумаги, и на нем, очевидно для памяти, карандашом были набросаны слова: 1) нет ли читальни? 2) наружный осмотр... 3) цел ли дневник? 4) нет ли Лассаля? 5) надежды общества... 6) перед отъездом побывать...

В сенях послышались шаги.

«Ума не приложу, что он за человек? — терялся в догадках Талищев. — О надеждах общества заботится; с подозрительной газетой в сношениях; иностранца какого-то Лассаля отыскивает... Или он просто пустельга, собиратель

трав, книгопродавец, а не то журнальный корреспондент?.. Ишь ты, бестия, как распределяет занятия...»

— Извините за нескромный вопрос, — обратился он к вошедшему Ветлугину, — в наш город изволите ехать с каким-либо торговым поручением? Склад открываете?..

— Я еду повидаться с отцом и отдохнуть... Давно не был на родине... А родина, да воля, вы знаете, лучшие блага на земле... С волей человек — крылатое существо.

— Я другое слышал.

— Что же именно?

— Денежки — крылышки...

— Ну, не всегда, — улыбнулся Ветлугин.

— Ну, уж извините, напротив, всегда, — улыбнулся и Талищев. — Слышали, вероятно, когда деньги говорят, то и правда молчит... И как вера без дел, так и воля без средств — мертва есть... Только деньги нынче туго наживаются. Детей у меня двое только, один гусар, другой еще учится... Денег подавай... Вот тоже надо было купить у соседа лес, — дров на завод не хватило. Нечего делать, обратился я в банк. Кое-как разделаюсь. А каковы зато проценты и чем их наверстать?..

— Да-с, — продолжал Талищев, — не цветочки на нашей ниве... Денежный курс шаток. То там слышишь банкротства, то здесь. Одна надежда на железную дорогу. И наш уезд, наконец, задумал. У меня вскоре назначен съезд предпринимателей. Если любопытствуете и будете в наших краях, милости просим ко мне. Да что! Вряд ли вступите в дело, — все скоро сведут на одни убытки.

Долго еще говорил Талищев. Ветлугин стал дремать...

«Пой, пой! — думал он, глядя на сытые губы, сердитые глазки и сквозившееся жирком, недовольное и чванливое лицо Талищева. — На то ты и земская кукушка, чтоб плакаться... Только как тебе не надоела эта заунывная, никого не способная уверить песня?»

— Знаете что? — сказал он, смигивая дремоту и усиливаясь улыбнуться. — Хотите быть спокойным и счастливым?

— Хочу...

— Берите пример с меня... У меня нет ровно ничего!.. Я былинка, я перекати-поле, так сказать, российский Мельмот-скиталец; о собственном достатке не думаю... Ну, и вы бы... я вам тоже советую... Богатому сладко естся, да плохо спится... Ох, извините, совсем разоспался...

«Помешанный! — решил Талищев, со вздохом уходя в свою комнату. — А может, и еще хуже, может, член интернационалки...»

Узнав от слуги, что Николушка с кем-то из ямщиков отправился к хороводам на село, Талищев тяжело опустился в приготовленную для него постель, но долго еще возился и ворчал.

Заснул он, мечтая о затевавшейся в уезде концессии и рассуждая: «Эк их, в самом деле, прощелыг, шляются теперь везде по России. О собственном, видите ли, благосостоянии еще не помышлял... Да и на что ему, голяку, благосостояние? На счет ближних легче жить. Поклевал чужого зерна, где попалось, свернул крылья, вздремнул на воробьиный нос, да опять и далее... А куда, спрашивается, откуда и зачем?.. И при таких-то обстоятельствах еще паспорта хотят отменить. Того и гляди, что этакий-то российский Мельмот-скиталец втянет тебя в опасное предприятие либо взбунтует твоих же рабочих... Нет, подальше от этой братии. И ведь как расписывает... Часы все заранее обозначил. О надеждах общества, о читальне, сухопутный Кук, заботится... Эх, рано им волю дали...»

А кому «им»? Талищев этого не определял. Воли же он вообще недолюбливал во всех родах.

II

Четьи-Минеи

Крепко заснул после ухода Талищева Ветлугин, и спал он как убитый более трех часов.

Ему сперва казалось, что Талищев из его комнаты не уходил и что тут было много Талищевых: большие и ма-

ленькие, лысые и вихрастые, толстые и тощие, статские, военные и всякие. Они ссорились, шумели и, как рой слепней или мух в летнюю пору, кружились над его головой.

Потом ему приснилось что-то необъяснимое и странное: будто облако ярко сверкавших блесток поднялось, закружилось вдали и, наступая на него, стало понемногу его застилать.

Незадолго до рассвета Ветлугин очнулся как-то сам собой и стал соображать, где он и как сюда попал?

Ему сначала померещился шорох, потом послышались какие-то плывущие, то вблизи звенящие, то будто вдаль улетающие голоса... В воздухе комнаты произошла перемена. Посвежело. Дышать стало легче. А тем временем как переливы таинственных звуков трепетали, таяли и волновались над ним, откуда-то стал распространяться тонкий нежный запах, будто с поля или с близких садов потянуло ароматом ландышей и фиалок, или по соседству курили дорогим пасхальным ладаном...

«Что за притча?» — подумал Ветлугин и привстал на локте.

За дверью, в соседней комнате, Антон Львович расслышал сперва неопределенные, а потом все более и более ясные звуки двух женских голосов. Один из них был старческий и спокойный, другой молодой и порывистый. Голоса о чем-то спорили.

В то же время на потолке своей комнаты Ветлугин разглядел узенькую полоску света.

«Уж не покойник ли?» — подумал опять Антон Львович.

Он встал, не зажигая свечи, обошел комнату, увидел, что свет на потолок проникал в щель неплотно припертой двери, и, досадуя на смотрителя, что тот его на всякий случай не предупредил, наставил к этой двери глаз.

Он разглядел часть соседней комнаты, занавеску, стол, на столе небольшой, в золотой оправе, походный образок — перед ним кадильничку, далее угол постели и обшитую кружевами подушку.

На постели, прислонясь головой и спиной к подушке, в ночной кофте лежала сухощавая красивая девушка, с большими черными глазами и с черными остриженными до плеч волосами. Перед нею, также в ночной кофте и в чепце на седых волосах, стояла, покачиваясь, еще более сухощавая, добродушная с виду, но чем-то недовольная и взволнованная старушка.

Закинув за голову полуобнаженные худенькие руки, девушка, казалось, спокойно слушала говорившую перед ней старушку. Но вдруг, точно не стерпев ее речи, она вскакивала, садилась на постели, горячо и укоризненно, подавляя слезы, сыпала полными горечи словами и вопросительно и гневно, с скрещенными на груди руками, смолкала, как бы торжествуя над переспоренною и в прах разбитою старушкой.

«Что же это я, однако? — подумал, опомнившись, Ветлугин, — подглядываю, точно школьник...»

Он возвратился к дивану. Голоса за стеной не умолкали.

— Не поеду я туда, не поеду! — слышался обрывавшийся и опять уносившийся голос девушки. — Что мне за дело, что она больна! Родная она нам, что ли? Ну вот, так-таки вдруг возьму, да к вашим мухам и не поеду... Что, возьмете тогда?

«К мухам! — подумал Ветлугин, — что за оказия?»

— Капризница! Полно тебе, что толкуешь! — тихо упрекала старушка. — И от тебя ли я слышу эти слова? Ну, подумай только: бабушка померла, зато поблизости у нас тоже спасение... И уж это ли не тихая жизнь, без соблазнов, чисто в раю? А в свете, друг ты мой, что ни шаг, то грех. Грех одесную и грех ошую... И что ты ответишь на страшном суде? Помнишь великие слова: все да презрят... все да отринут? А ты что... Сказано: не любите мира, ни яже в мире... а ты внимаешь ли этим словам?

Девушка вскочила.

— Зачем вы сами себе противоречите? — сказала она резко, — отвечайте... Я хочу знать истину... истины добиваюсь я... А что оказывается? Разберем, ну, разберем... Вы говорите: кто оставит жену, или отца, или брата и последует

за Христом, удостоится спасения... А вы забыли другие слова: не держите свечи под спудом, не зарывайте таланта в землю?.. Что? Не вы ли их мне приводили? Эти слова что говорят? Живой-то в гроб ложиться, что ли? Этого в святых книгах не написано...

— Перестань, богохульница, не срами ты меня... Про спасение забыла, забыла про гибель души? Молиться бы тебе, да говорить: увы мне, грешнице, увы! Вот возьму я и навеки от тебя отрекусь... Или это опять советы дядюшки? Нашла кого слушать! Разве о таких советниках сказано в писании? Избери наставника мудра, по качеству страстей твоих, — избери руководителя помыслов...

Голоса на время стихают. Старушка ходит по комнате.

— Ну, извольте, еду! — с горечью восклицает девушка, — только слушайте мой завет... Не прямо, а перегодя... Побываем, хоть недельку, на прощанье, погостим дома у отца... Страсть как я по нем соскучилась... Столько времени ездим... В саду нагуляемся... По брату справим поминки... Скоро ему годовщина... И что значит недели две ранее или позже?

— А как опять отложишь?! Владыко извещен. Сам, сказал, готов быть к тому времени...

— Не отложу, мамочка, слово даю. Только прежде домой, а потом туда... Так согласны? Ну отвечайте же. Хотите, почитаю вам за то Лествицу или какое житие? Завтра, кстати, праздник.

— Читай житие.

— Какое?

— Из майских, Пахомия, что ли, или Тимофея-чтеца... Какое нынче число?

Шорох шагов стихает. Раздается стук передвинутого стула и мерное, плавное чтение, с остановками, протягиваниями и даже, как послышалось Ветлугину, с небольшими зевками. И опять порывистый возглас: «Да нет же, не поеду я туда!»

Книга с шумом захлопывается.

— Не поеду; да и теперь вот возьму и стану читать не это скучнейшее житие, а Монте-Кристо... Хотите, мамочка? ха-ха... Хотите Монте-Кристо? Вон, не верите? под подушкой у меня и лежит... Что? Вы не позволяли читать светских книг, а я тайком и взяла у Фросиньки... Вы сердитесь? Да нет же, я шучу, шучу... И никакого Монте-Кристо у меня нет, хоть обыщите... Пропадать, видно, от скуки, погибать моей голове...

Раздаются горькие, глухие рыдания, поцелуи, мольбы о прощении...

Книга развертывается. В тишине снова слышится мерное чтение девушки:

«И ту повел игéмон Адриян Тимофея и Мавру на крестех распяти. Матерь же Маврина воззва, глаголя: дщи́ моя! кто носити будет украшения твоя? Отвеща Мавра: злато и сребро погибают, и одежды поядают молие, и лепота младого лица временем увядает...»

— Что? видишь? — перебивает голос старухи. — Мирское счастье — матерь вожделения, дьяволу соименник. Одно спасение — молитва...

Листы поворачиваются:

«И воины распяша их. И тако совершися мучение их добрым подвигом»...

— Вот, мой друг, — продолжает голос матери, — всякому пример и указ, как спасались в те времена! Тогда безмолвие пустыни поучало. Там человек бодрствовал над малейшими движениями помыслов... А у нас что? Малодушие одно. Ты истины добиваешься, истину хочешь знать. Вдали от света — истина. В мире — один соблазн... Не верь никому... Вот хоть бы мужчина, полюбит он тебя, да и бросит, променяет на первую встречную... И таковы-то все они... все... Да! Без смирения, молитвы и поста не спасешь души, а загубишь ее навеки...

Долго Антон Львович, против своего желания, был слушателем этой беседы.

Запах ладана стал ослабевать. Девушка, как видно, окончательно вникла в наставление матери и углубилась в книгу. Перерывов чтения уже не было.

Тихо и внятно раздавались из соседней комнаты слова:

«Во едину же нощь ходя великий Пахомий во обители, виде беса, во образе прекрасные жены, к обители грядущего... Бес рече: почто всуе трудистеся?.. Глагола святый: лжеши на главу твою... Рече же бес...»

Ветлугин далее уже не слышал. Он опять задремал. А когда он вновь очнулся, свет на потолке его комнаты погас, и не было из-за двери более слышно ни голоса девушки, ни укоризн и внушений старушки. Кругом была полная тишина.

Антон Львович вспомнил о лошадях. Он вышел в сени. Весеннее темное небо ярко мерцало звездами. Откуда-то сильно пахло цветущими сиренями. За конюшнями был большой, с вербами над рекой, огород. С той стороны тянуло прохладой. Там раздавались звуки соловьев. А от дальних дворов села длинными переливами, то замирая, то опять громко отдаваясь, доносились песни девушек и парней. По ближним клетушкам, сарайчикам и сенникам, в прохладе и тишине, дружно перекликались петухи. Один крикнет звонко-звонко в наставшей тишине, и крик его подхватят другие. Лошади под навесами сараев перестали жевать. На станционном дворе все, до последней кухонной собачонки, угомонилось. Экипажей перед крыльцом уже не было. Ветлугин с трудом отыскал очередного ямщика, разбудил его и велел запрягать.

— А где карета тех барынь, что тут ночевали? — спросил он ямщика.

— Уехала.

— В какую сторону?

— Что-то не приметил.

— Давно?

— Вслед за краснорядцами.

— Не знаешь ли, кто эти барыни?

— А Бог их знает. Мало ли в ночь-то всякого народа перебывает... Може, городские, а може, и дальние... Я, сказать тебе, не тутошний, внове... Да и не наше это дело. Эк, мря-то, сударь, мря, темень какая, месяц зашел...

Ветлугин хотел справиться по книге. Но для того надо было будить смотрителя. Он возвратился в комнату, зажег опять свечу, вскрыл одно из писем, приписал в нем несколько строк, отыскал у подъезда почтовый ящик, бросил туда заготовленные письма, поднял воротник пальто, плотнее застегнулся и уселся в тележку.

Подкормленная тройка, похрапывая, подхватила, и Антон Львович, покачиваясь в дремоте, понесся по мягкому выгону, а вслед за тем и по большой дороге.

Долго думал он о станции и о черноглазой, с худенькими руками девушке за дверью; о Талищеве и о его богатой бедности; о чтении душеспасительных Миней и о предрассветных соловьях, с таким увлечением надрывавших нежные горла в росистых тайниках надречных верб и сиреней.

«Однако что же, в самом деле, сталось с моим отцом?» — думал Ветлугин, как некогда Одиссей, возвращавшийся к берегам родного поморья, подъезжая на заре к губернскому городу, где жил его отец и где сам он так давно не бывал. И Ветлугину ясно припомнился этот возврат Одиссея в родную Итаку, как тот плыл на чужом корабле...

Проснулся, и милой отчизны своей не узнал...
Так был отсутствен давно; да и сторону всю ту покрыла
Мглою туманною дочь громовержца, Афина...

Утро еще не начиналось.

Подгородние деревушки тонули в сумерках. Ветлугин с жадностью стал всматриваться в знакомые, столько лет не виденные окрестности.

Там и сям, в бледных лучах рассвета, проглядывали синеющие, вдаль уходящие равнины, с темными стенами лесов и с одинокими головастыми стволами старых придорожных верб; фабрики, постоялые дворы, мосты, окрестные дачи и сады с чуть видными за ними маковками городских церквей.

Стало всходить солнце.

Слева сверкнула голубая излучина реки с рядом почернелых водяных мельниц и с длинною тонкою гатью. Потянулись кузницы, заборы, кабаки и лавчонки предместья. Мелькнули вывески колесника, столяра и портного. На гребне ярко размалеванного, зажиточного купеческого дома показалась знакомая, на длинном шесте, с оконцем и дверкой, серая скворечница. Приятно запахло ранним дымком и городскими булками. Где-то раздался благовест. Сбоку, в переулке, послышалась бойкая дробь мещанских голосов...

Ветлугин чувствовал, как шибко и радостно забилось его сердце.

«В этом же конце города, — размышлял он, — скоро выглянет знакомая с детства, пустынная и поросшая травой улица. За дощатым высоким забором покажутся верхушки яблонь и развесистый шатер старой любимой отцовской груши. А за ними — красная, заштопанная кое-где новым тесом, кровля отцовского домика; заветная вышка мезонина, с белыми занавесками и геранями в двух окошках на улицу; голуби над фронтонами дома и кухни; невдали от отцовских ворот — полицейская будка и в ней будочник, едва таскавший ноги, державший голосистого перепела и ходивший к соседям подрезывать курам типуны. А у ворот, на неизменной, вытертой долгими годами лавочке, в картузе и в халате, в туфлях и с трубкой, подпоясанный носовым платком и сам отставной учитель и пенсионер — Лев Саввич Ветлугин...»

Антон Львович вспоминал разных сортов кур, кудахтавших когда-то по отцовскому двору: хохлатых, хвостатых, ногатых, бесхвостых и всяких, а между ними длинноногого и белого дылду, сердитого петуха Петьку, с гребешком набекрень, с багровыми щеками, в рыжем плюмаже и с генеральскою осанкой, подававшего голос всякий раз, как у соседей отзывалось нежное кудахтанье посторонней наседки или кто-нибудь хлопал калиткой. Антону Львовичу вспоминалась всякая всячина: ручные куропатки, павлины; у конуры более резвая, чем злая, сторожевая собака Дружок; чуланчик в сенях, к зиме превращаемый в тепличку для цветов; в са-

ду — выводок белых кроликов, а в огороде, над кустами смородины и грядками фасоли и гороха, соломенное чучело, с распластанными руками, в старом жилете и в старой учительской треуголке Льва Саввича, — словом, все то, что́ так любил и чем так беззаботно жил отставной учитель русской словесности и всеобщей истории, старый романтик и губернский Цинциннат, Лев Саввич.

III

Губернский Цинциннат

«Кто в родном городе не знал Льва Саввича Ветлугина и кто его здесь не любил?» — думал, минуя последние перед отцовским домом переулки, Антон Львович.

Встречая в садике, под грушей, заходивших к нему былых учеников, Лев Саввич говорил:

— Там, на вышке, — идеалы, сударики мои; там — моя библиотека, мои любимые философы, поэты и историки. Здесь же, внизу, — природа в миниатюре, мое хозяйство и, так сказать, мой рай, хотя он и не на берегах Тигра и Евфрата... Как видите, я счастлив и, как некогда на покое властитель Диоклетиан, сажаю капусту в этом тихом приюте ничего не желающей старости...

Лев Саввич был женат на собственной ученице, на девушке из купеческого звания.

Небогатая и добрая жена озолотила его век несказанным, хотя кратковременным, счастьем. Умерла она от чахотки, когда Антону Львовичу пошел девятый год. Болезнь жены, а с нею лишние траты, запущение уроков и домашнего хозяйства сильно подсекло средства Льва Саввича. Ему предстояло трудиться день и ночь, чтобы спасти от продажи с молотка скромный женин домишко, где родился и подрос Антонушка и где сам Лев Саввич, сын такого же учителя, зашедшего некогда в эту губернию, провел лучшие годы жизни. Он наконец его выку-

пил и долго считал себя за высоким забором, под старою грушей, счастливейшим из смертных. Он опять занялся уроками, стал перечитывать свои книги, копаться в саду и вести с такими же бедняками учителями, как сам, пылкие беседы о пересоздании общества и всего мира.

Но над Львом Саввичем стряслась новая тяжелая беда.

Антонушке пошел пятнадцатый год, и он был уже в шестом классе родной гимназии. Наступили переходные экзамены. Во время испытания из латинского языка, в залу вошел недавно назначенный из столицы директор гимназии. Хотел ли экзаменатор-учитель отличиться перед ним, или произошло это случайно, только он ни с того ни с сего стал особенно трудными вопросами допекать одного болезненного, робкого, хотя трудолюбивого ученика. Уж он его и так, и этак. И из неправильных глаголов спросил, и прокатил по всем тонкостям в разборе какой-то древней басни; потом подхватил его в когти мудренейшей римской поговорки, потрепал над выдержкой из речи Цицерона и, наконец, без всякого милосердия, швырнул в пучину метаморфоз Овидия, откуда тот уже и не вынырнул...

По классу прошел трепет. Директор, самодовольно щурясь на помертвелого юношу, что-то укоризненное шептал о нем учителю. «Извольте садиться; вы ничего не знаете!» — сказал последний и поставил ученику единицу. Юноша зашатался, слезы сдавили ему горло. Ему вспомнилась родная конура, хворая мать, голодные маленькие сестры. «Позвольте мне переменить билет», — с усилием проговорил ученик, забыв, что его совсем не по билету и спрашивали... — «Садитесь на свое место!» — сухо раскланиваясь, объявил ему вежливый учитель. «Это подлость!» — негромко и как бы в сторону раздалось с одной из задних скамеек, где сидели скромнейшие из класса. Директор взглянул туда. Учитель вспыхнул. «Надо спрашивать, как заведено, как положено — по билету!» — повторил тот же голос громче. Все обернулись и увидели, что эти слова послышались с того места, где сидел добродушный, но нервический и пасмурный с виду

гимназист Антон Ветлугин. Он был бледен, глаза смотрели в землю, а в руках была стиснута истрепанная, точно собаками травленная, латинская грамматика. Директор встал, а за ним, с сдержанным гулом, встал и весь класс. «Вы должны выдать зачинщика, — объявил директор, — подумайте; через четверть часа я возвращусь». Товарищи, однако, Ветлугина не выдали. Оставшись наедине с учителем, класс вышел из повиновения. С невероятным гамом и криком, швыряя в отступавшего и струсившего учителя чем попало — линейками, книгами и чернильницами, гимназисты выскочили в коридор и всею гурьбой окружили Антонушку. Дело, впрочем, этим не кончилось. Было назначено строгое следствие. Ветлугина исключили. Плохо пришлось с этой историей и его отцу: он также чуть не потерял места в гимназии. После недолгого раздумья Лев Саввич списался с знакомыми и отослал сына в Москву, где тот при помощи бедняка студента, некоего Аввакума Столешникова, приготовился к университету и через два года выдержал в него экзамен. Но не повезло ему и в университете.

Он выдержал последний выпускной экзамен и принялся дописывать диссертацию на степень кандидата прав, чтобы получить диплом и ехать служить на родину. Жил он в ту пору, прячась от знакомых и от товарищей, на одной из запущенных дач столичного предместья. Любимыми науками Ветлугина в университете были политическая экономия и теория финансов, а потому его диссертация писалась по вопросу об ассоциациях рабочих в Западной Европе и о русских артелях. До срока подачи диссертации оставалось всего два дня. Ветлугин третьи сутки питался чуть не одним хлебом, не имея времени сходить в город, в ближайшую кухмистерскую. Его помещение состояло из крошечной комнатки на чердаке полуразвалившегося, некогда красивого летнего домика, торчавшего среди необозримого огорода. Некоторые из его богатых товарищей, не помышлявшие ни о диссертациях, ни о кандидатских дипломах, в это время предавались беззаботнейшим кутежам, тщетно зазывая с собой и Ветлу-

гина. Один из таких кружков случайно набрел на пустынный огород, где обитал Ветлугин. Дело было под вечер. «А! вот он, зубрило! — возгласила веселая гурьба, — вытащим его, подлипалу, и насильно с собой увезем...»

И не совсем трезвая толпа через грядки направилась к домику. Выписывая ссылку на Росси и раздумывая, не сослаться ли уж, кстати, и на Луи Блана, Ветлугин заслышал снизу топот шагов, узнал знакомые нестройные голоса и с досадой захлопнул тетрадь. Но его в особенности взорвало то обстоятельство, что впереди раскрасневшихся гуляк, как он разглядел в окно, шел давно ему надоевший, самодовольный, дерзкий и вечно толковавший о собственном благе нахал, сын кавалерийского генерала, состоявшего при одном из военных учреждений столицы. Этот господин учился плохо, зато славился как практический жуир, лихач и охотник до всякой попойки, особенно где была игра в карты. «Бросай, Ветлугин, глупые книги и тетради, — крикнул ему, появляясь на его пороге, предводитель гуляк, — охота ли сидеть над подобной дребеденью?..» С этими словами свободный в обращении шутник подошел к его столу, с презрительной усмешкой развернул диссертацию Ветлугина и, пока остальные толпились снизу по лестнице, вслух стал читать: «Но пока бедность и голод не найдут своих прав, человечество не выйдет из дикости...» «Ах ты, копеечный либерал! — расхохотался чтец. — Бери лучше шапку и гряди вослед за нами, а иначе — не прогневайся... Ты ведь знаешь нас, и особенно меня...» Кровь бросилась в голову Ветлугина. Он смертельно побледнел, смерил глазами обидчика, с руками в жилете и с нахальной усмешкой стоявшего спиной к дверям, рванулся к нему, — и не успели другие товарищи вскрикнуть, как дерзкий щеголь взмахнул фалдочками пиджака и стремглав полетел по лестнице на головы остальных. Прочие кинулись было на Ветлугина, но он смело выдержал их нападение. На шум сбежались огородники; повесы увидели, что новый натиск им не под силу, и, пользуясь темнотой, скрылись.

Антон Львович успокоился, к утру дописал диссертацию, и кандидатский диплом ему вскоре выдали. Товарищи, однако же, предложили Ветлугину стреляться с обиженным. Скрепя сердце он принял вызов и первый, с своим секундантом Столешиковым, явился на место. Но начальство ли случайно проведало о вызове, или светский шаркун струсил и сообщил заботливому папаше о предстоящей ему грозе, только дуэль не состоялась. Ветлугин и его секундант с поличным были арестованы. При обыске в бумагах Антона Львовича отыскались запрещенные книги и несколько писем какого-то господина, который перед тем мирно проживал в России, но вскоре уехал за границу и там совершенно неожиданно объявил себя эмигрантом. «Что за чепуха! — подумал Ветлугин, третью неделю сидя под арестом и видя, что глупая история с проученным кутилой запутывает его более и более. — Жить здесь, как вижу, окончательно невозможно! Не лучше ли и мне бежать за границу?»

В часы горького раздумья и тревоги, томимый неизвестностью, мелочными допросами и скукой заключения, Ветлугин действительно замыслил бежать. В первый же раз, как его, по холоду и слякоти, ночью привезли из следственной комиссии, он в тюремный двор не вошел, а у ворот, после недолгой, отчаянной борьбы, вырвался из-под караула озадаченных городовых, бросился в соседний темный переулок, сел на извозчика, домчался до загородного парка, оттуда пробрался в ближайший лес и скрывался здесь более суток. Наконец, томимый жаждой и голодом, он вышел, в ближайшем кабаке заложил часы, подарок отца, наскоро закусил, убедился, что за ним более не следят, и пешком отправился на станцию железной дороги с целью уйти за границу и остаться там, разумеется, навсегда. На станции его, однако, ждали те же городовые. Он был узнан и, после новой, безуспешной борьбы, опять отвезен под арест. Следствие на этот раз кончилось весьма скоро. Ветлугин очутился на жительстве за Уралом. Начались годы тяжелых испытаний, новых ударов судьбы и упорного, одних умудряющего, а других еще более ожесточающего труда...

Антон Львович ясно помнил свое последнее прощанье с отцом: как он, исключенный гимназист, плача навзрыд, садился в кибитку с попутчиком-купцом, а отец, грустно улыбаясь и утешая его, стоял несокрушимый и бодрый. Мысли об отце, как в студенческие годы, так и в ссылке, составляли лучшее утешение для Ветлугина. Он с любовью представлял себе его здоровый, статный вид, твердую, смелую поступь, румянец свежего, умного лица, добрый, ласковый взор, всю пылкость юношеского негодования при слове о людской неправде и беззаветную радость, когда речь заходила там, на вышке, о лучших, вечных идеалах жизни.

Многое припоминалось ему на чужбине. Городские балагуры, например, утверждали, что, когда тот край, еще в детстве Антона Львовича, как-то проездом посетил уже неизлечимо больной один известный русский критик, отец Ветлугина пришел в неописанный восторг и трепет. «Светоч в нашем мраке, воскрешение мертвой земли!» — восклицал он, передавая эту радостную весть в тесном кругу таких же, как он, бедняков, учителей-товарищей. И как ни трудны и ни опасны были в то время всякие попытки даже к безвинным и мирным манифестациям, он бросился с избранными из преданнейших коллег отыскивать знаменитого критика. Он его нашел в трактире возле станции, вызвал на крыльцо и тут же, на улице, сказал ему, от лица местных, не менее его взволнованных педагогов страстную и пылкую, хотя несколько туманную и напыщенную речь, причем бил себя в грудь и от избытка восторга чуть не разрыдался. И когда, смущенный этим неожиданным почетом, скромный писатель всем пожал руки, от души поблагодарил их за внимание, сел в экипаж и уехал, Лев Саввич в узелок платка взял на память из-под колес его тарантаса горсть песку. Этот песок долго потом, как помнил Антон Львович, висел у отца в узелке, рядом с портретами Новикова, Гоголя и Пушкина, над столом кабинета, служа для Льва Саввича памятником сладчайших воспоминаний, хотя в то же время для городских зубоскалов составляя предмет нескончаемых, пропитанных желчью и злобой насмешек.

При аресте сына и обыске его жилища, между прочим студенческим хламом нашли пачку отцовских писем. Старый либерал в непринужденной письменной беседе с сыном не стеснялся ничем: ни обсуждением текущих отечественных событий, ни анекдотами о местных властях. И если эти конфискованные манускрипты когда-нибудь из полицейского архива попадут в руки будущего бытописателя страны, — из них выкроится не одна, полная горечи и едкого остроумия, страница. Об этих письмах, с приложением выдержек из них, из следственной комиссии было доведено до сведения начальства Льва Саввича. Его лишили места учителя, хотя за долговременную службу он и был уволен как бы по собственному желанию, с пенсионом. Опала властей отозвалась и на частных уроках Льва Саввича. Средства его стали окончательно оскудевать. О переезде в другую губернию нечего было и думать: он уже был в летах и обсиделся на месте. Жизненные припасы между тем в городе сильно вздорожали. Как Льву Саввичу, так и другим, подобным ему отставным беднякам приходилось не раз бывать и на пище святого Антония или пробавляться бесконечными толками о неблагодарности судьбы вообще и грозного начальства в особенности.

Прежде, при покойнице жене, Лев Саввич держал у себя пансионеров. Он вздумал было и теперь заняться тем же. Но разрешения на это ему, как опальному, не дали. Друзья советовали ему обратиться с просьбой о пособии к богатым помещикам и к купцам, которых он когда-то обучал и которые сами теперь имели на возрасте детей. Но перо падало из рук Льва Саввича. «Для чего? — думал он. — Не всегда же Антонушка будет за тридевять земель — в люди выйдет, станет и мне помогать!»

Лишившись места в гимназии, Лев Саввич стал так редко писать сыну, что Антон Львович почти ничего не знал как о подробностях домашней жизни, так и вообще о делах отца. Зато письма, писанные сыну до этого события, дышали таким избытком любви к человечеству, к борьбе с темными сторонами жизни, с грубой жаждой любостяжания и вообще

с наклонностями к обыденным сделкам с совестью, что сын, еще юношей, получая эти письма, долго носил их при себе как святыню, чувствовал себя с ними добрее, гордо выпрямлялся перед натисками разных неправд и, терпя нужду, среди чужих и вдали от родного угла, упорно и без устали трудился. «Будь не Марфою, искавшею счастья в жалкой и суетной хлопотливости о доме, о тепле и о куске хлеба, — писал старик, — будь любящей Марией, плакавшей у ног гонимого Учителя вечной правды и добра!»

Года через два после ссылки сына, Лев Саввич вскользь известил последнего, что им выпадает от какой-то дальней родственницы небольшое наследство и что для того он намерен куда-то съездить и что-то получить. Но съездил ли отец, оставил ли за собой полученное достояние или продал его и куда употребил вырученные деньги, сын этого не знал. Да и не до того ему было тогда...

Очутившись на жительстве в холодной и непроглядной глуши, Антон Львович, еще неопытный и восторженный юноша, занялся было для своего пропитания переписыванием бумаг в канцелярии какого-то присутствия и обучением детей у туземных чиновников и купцов. Составлял он также торговые и промышленные обозрения для местных губернских ведомостей. Но редактора этой газеты переменили, а вследствие непомерно дешевой платы за учительство и за переписку бумаг он эти занятия бросил и поступил в контору на чьи-то прииски. Здесь сразу он попал в такую жестокую переделку, что, находясь с вверенной ему артелью на работах в тайге, чуть не умер от сырости, холода и голода. Потом он был на чьем-то стекольном, а спустя некоторое время — на чугунолитейном заводе. Но хозяин первого вскоре разорился, а владелец второго, принявший Ветлугина в долю и суливший ему горы барышей, так в конце концов его поднадул, что Антон Львович, рассчитавшись с ним, остался не только без барышей, но и без копейки денег.

В эти-то дни невзгод и тяжелого труда, мысленно переносясь на родину, он благословлял судьбу, что отец не терпит

таких лишений, как он, что у отца есть хотя весьма скромный, но собственный угол, и что обстановка этого угла, с наследством от родственницы, должна была улучшиться. Теперь, думал он, родителю, завзятому идеалисту и романтику, хотя под старость выпала возможность кое-чем желанным пополнить свой домашний обиход. Например, Лев Саввич, как предполагал сын, мог расширить свою библиотеку, выписывать на собственный счет какой-либо любимый журнал, а быть может, через покупку прирезать и часть соседнего, чьего-то заброшенного сада, с большущими, как помнил Антон Львович, кленами и с такою развесистою рощей сиреней и акаций, что от их дружного цветения весной в кабинете Льва Саввича пахло, как в роскошном будуаре первейшей светской красавицы. Наконец, через это же наследство, родитель мог увеличить и подбор любимых кур, кроликов и павлинов. А там улучшатся собственные дела Антона Львовича, он рассчитывал и окончательно обеспечить судьбу отца.

Ветлугин надеялся, что отец ему подробно сообщит о том, как он распорядился с наследством. Не тут-то было. Отец либо молчал, либо изредка присылал коротенькие записки с теми же советами терпеть, не падать духом и трудиться. Срок ссылки подходил к концу. Антону Львовичу разрешили избрать место жительства, где он пожелает. Благодаря молве о его занятиях на заводах он попал в кружок бойких сибиряков, на московский кредит пробивавших пути к торговле с Средней Азией. Антон Львович писал отцу, что он уже два раза ездил с караваном в Бухару и что с новыми хозяевами в близком будущем думает, если все устроится хорошо, открыть товарные склады по Сырдарье. Получая столь радостные вести от сына, Лев Саввич окончательно успокоился и стал еще реже ему писать.

Так тянулось время разлуки, — когда в мае 1868 года, неожиданно узнав, что сын по делам хозяев очутился невдали от Урала, Ветлугин написал сыну, что дни стариков вообще сочтены, что он скучает и был бы рад от души, если бы

тот его навестил, особенно ввиду некоторых нужных и притом безотлагательных дел.

Антон Львович и без всяких дел давно выжидал случая побывать у отца. А потому снесся депешей с хозяевами, получил от них охотное разрешение на побывку домой, немедленно пустился в путь и, не помня себя от радости, подъехал, наконец, к родному городу, высматривая знакомую глухую улицу, кровлю отцовского дома, сад с яблонями и грушей, голубей и павлинов, а у ворот, на лавочке, в картузе и в халате, старика отца.

IV

Старое гнездо

Ожидания Антона Львовича не сбылись.

Лавочка была пуста, а на пыльной, шумной и уже значительно застроенной улице не было видно травы. Многое изменилось кругом. Дырявые деревянные тротуары уступили место кирпичным и даже каменным. Ветхая полицейская будка исчезла, а вместо добродушного подрезывателя куриных типунов, престарелого и безногого будочника, на перекрестке, с свистком на шнурке, прохаживался бойкий, поворотливый и строгий на вид городовой. Преобразование чувствовалось во всем: в надписях на углах улиц, в нумерации домов, в увеличении магазинов и питейных и в уменьшении навозных куч, собак и галок. Даже, как показалось Антону Львовичу, одна из собак где-то прошмыгнула в наморднике.

Ветлугин встал с перекладной. Он отворил калитку, огляделся по сторонам, прошел двор, заглянул в сад и быстро, как в óны дни, по ветхому крыльцу вбежал в дом: никого не было видно.

«Куда же делся так рано отец? Неужели успел встать и уж копается в огороде? Или отец на вышке, в библиотеке? Оттуда с крылечка виден огород».

Войдя в родительский кабинет, Ветлугин удивился еще более: перед креслом, на рабочем столе, вместо старых, любимых отцом поэтов, критиков и философов, лежало недавно изданное иностранное ученое руководство к торговым и промышленным предприятиям, рядом с вексельным уставом и справочником для тяжущихся. И тут же, возле сочинения «Задельная плата и кооперативные ассоциации» — красовалась кучка книг отечественной компиляции, с рисунками, вычислениями и трактатами, разом по части всего: домоводства, счетоводства, овцеводства, куроводства, плотничьих дел, тайн биржевой игры, высшей коммерции и эксплуатации. У одной из стен кабинета тянулся шкаф с картонами, в каких обыкновенно хранятся дела. За перегородкой помещалась высокая письменная конторка, несколько этажерок с бумагами и несгораемый денежный сундук.

Антон Львович подумал: «Понимаю! Отец отдал дом внаймы адвокату, нотариусу или под какую-нибудь торговую контору».

Он мельком взглянул на простенки между окнами и увидел здесь, рядом с знакомыми пожелтевшими портретами Новикова, Пушкина и Гоголя, очевидно вырезанные из модных иллюстраций, портреты Ротшильда, Стефенсона, Оффенбаха, и одной отечественной знаменитости, успевшей незадолго перед тем не только прогреметь гением высших коммерческих предприятий, но даже — посредством огромного проворства — нажить миллионы.

Ветлугин по знакомой скрипучей лесенке поднялся на мезонин и с сильно забившимся сердцем вышел на крылечко, откуда был вид на заречную часть города и на окрестные синеющие поля. Шкафы с отцовскими книгами вдоль стен; его детский, обрызганный чернилами письменный столик; пузатый березовый комод, стулья и кровать, а над кроватью картинки, изображавшие бегство Ломоносова из Холмогор и прибытие Колумба в Америку, — все оказывалось на месте. Но отца не было и здесь.

Антон Львович снова спустился вниз. Его удивило полное отсутствие во дворе как пернатых, так и четвероногих. Один состарившийся пес Дружок, без малейших признаков былого добродушия и резвости, со сбившейся колтунами ветхой шерстью, метался на привязи и бессильно и злобно ревел из своей дыры на выглядывавшего с улицы ямщика. Ветлугин подумал: «Отец в саду» — и только что сделал несколько шагов с крыльца, как за углом дома столкнулся с толстою седою рослою и румяною старухой, в платке на затылке и с лоханкой какой-то стряпни, спешившей из палисадника в кухню.

— Власьевна! Няня! — вскрикнул Антон Львович.

Старуха, опустив лоханку наземь, растерянно и испуганно уставилась в него глазами.

— Да кто же это? Постой-ка, постой?.. Антошенька, сокол ты мой!.. Ах, да какой же ты стал большой! — вскрикнула Власьевна.

Они обнялись.

— А я, няня, представь, — принял тебя за городскую торговку.

— Какая я торговка, выдумал! — с гордостью усмехнулась старуха.

— Да, именно, — не сглазить бы; ты раздобрела и франтоватая такая стала.

— Что же, не век стряпухой быть.

— А где же папенька? Я его все ищу...

— Видно, на бирже.

— На какой?

— Известно на какой — одна и есть, где собираются купцы.

— Гулять, что ли, пошел?

— Гулять! У тебя, пострел, все гулять. Все еще ветер в голове. Дело, стало, есть, коли пошел, а не гулять... Не добро за людьми, люди за добром.

«Что за чепуха! — подумал Ветлугин, — отец на биржу ходит... И что он там смыслит?»

— А это кто? — спросил он, указывая на белобрысого малого с объемистым портфелем под мышкой, уходившего в калитку.

— Наш рассыльный.

— Куда же его посылают?

— Мало ли куда. Точно у твоего отца дел нету!

— У папеньки-то? Да ты, няня, шутишь, что ли? Или тут и впрямь живет кто-нибудь другой?..

— Не другой, а он сам.

— Но какие же у отца дела, скажи ты мне?

— Какие дела! Всякие... Тому купи, другому продай. Рядчики тоже к нам ходят... Да и мало ли другого чего? Что даром-то так сидеть? Даром никто не накормит. Под лежачий камень и вода не течет. А голодный, сказывают, и у архимандрита украдет...

«Вот тебе и тихая пристань романтика, вот тебе и мирный пенсионер на покое! — подумал Ветлугин. — Отец торговлей занимается, с рядчиками водится, рассыльных держит! Что за чудеса...»

Он глянул сбоку на крыльцо и тут только увидел на его несколько покосившемся фронтоне большую новую вывеску с надписью: «Агентство и комиссионерство по торговым и промышленным предприятиям».

Под невыразимый рев не узнавшего его Дружка Антон Львович прошел в калитку, отпустил ямщика, попросил у Власьевны воды, умылся, возвратился в дом, не без удивления еще раз окинул взглядом преобразованный родной угол, увидел некую долгополую чуйку, которая от кухни косо посматривала на окно, у которого он стоял и, когда нянька со словами «Ну, теперь скоро явится!» ушла готовить чай, еще раз прошелся по комнатам и вслух произнес: «Поклонник эстетики с чуйками водится! Почитатель Шиллера и Байрона затеял агентство для торговых спекуляций!»

На улице раздался стук извозчичьих дрожек. В калитке показался Лев Саввич.

Но он ли это был? Сын не верил своим глазам.

Вместо бодрого, прямого и свежего человека, каким Антон Львович оставил отца двенадцать лет назад, у ворот стоял нахмуренный, сгорбленный и худой, хотя довольно еще подвижный старик. Годы, очевидно, взяли свое: волосы его были седы; лопатки худых плеч значительно выдвигались над спиной.

Не подозревая приезда сына, Лев Саввич выслушал человека в чуйке, склонил голову, развел руками, вроде того, что, «дескать, что же делать!» — снял шляпу, отер платком вспотевшую лысину и в раздумье направился к крыльцу. Он прошел в кабинет, порылся на столе в бумагах, загремел ключами, со вздохом нагнулся к стоящему за перегородкой сундуку, заслышал сзади шорох сдержанных, незнакомых шагов, обернулся и остолбенел.

— Ах, ах!.. Кто это... кто?.. Да неужели Антоша! Друг ты мой!..

Отец и сын кинулись в объятия друг друга.

— Да как же ты вырос, возмужал, похорошел! А голос, а борода! Нет, ты вышел еще лучше, чем я ожидал... Садись же, милый странник, рассказывай. Дай тебя послушать и на тебя посмотреть...

После первых взаимных приветствий, новых объятий и расспросов Лев Саввич объявил сыну, что отдает ему ту же вышку, где тот помещался с детства, и спросил, надолго ли он к нему приехал.

— Дней на пять, на шесть, а то и на неделю... Хозяева, как видите, не отказали.

Лев Саввич покачал головой.

— Что ты, что ты, ветер-голова, помилуй! Столько лет не видались, а думаешь отделаться неделей. Нет, друг сердечный, у отца надо погостить долее. Сегодня же телеграфируй хозяевам. Отдохнешь. Посоветуемся. Тут я затеял одно выгодное дело. Ты ведь практик... А? а? ведь практик? Ну, взглянешь, посудим... Ах, как же я рад, как рад. Впрочем, о деле после... Еще успеем... Ты погостишь у меня, погостишь?

— Что же, — ответил сын, — может быть, и долее побуду у вас — хозяева добрые.

Лев Саввич взял сына под руку и пошел с ним по комнатам.

— Узнаёшь, узнаёшь старый улей? — спрашивал он. — Вылетел ты из него на собственный труд, вольная, рабочая пчелка... Вот моя спальня, а это деловая конура, а вот и наши старые любимые книги...

— Дорогие знакомцы, — с отрадным вздохом сказал сын, — Жуковский, Пушкин, Купер, Вальтер Скотт... Так они на прежнем месте. А я уж было думал, что вы отдали дом внаймы другому...

— Это почему? И не воображал... А каково застроилась наша улица? Видел? Три магазина теперь у нас под боком; аптека в ста шагах; француз портной, немец булочник, а на перекрестке отличный трактир, с органом и с газетами. Дума затевает газ, водопроводы, о железной дороге город с земством толкует...

— Ну, как же я рад, как рад! — продолжал старик, — а теперь пойдем под нашу старую грушу... Помнишь ее? Там напьемся чаю и еще поговорим... Впрочем, что же это я? ах-ах! совсем я забыл: человек меня ждет... Надо с ним в одно место съездить. Нынче праздник; завтра будет некогда... Что, милый, оторопел?.. Удивляешься?.. Не удивляйся. Не те нынче времена настали: иная злоба довлеет дню. Люди, друг сердечный, видно, поумнели. А прежде, по правде сказать, мы таки все — и в том числе, разумеется, я первый — были порядочной размазней и трухой.

— Вы ли это, папенька, говорите? И какие же это настали особые времена? — недовольным голосом заметил сын.

Старик как будто не расслышал этих слов. Он молча вышел на крыльцо, надел шляпу, взял сына за руку, улыбнулся и сказал:

— Эх-эх, Антонушка, долго объяснять и надо мне ехать. Но так уж и быть, изволь: я тебе кое-что передам вкратце...

Несколько померкшие, добрые и ласковые глаза старика задумчиво и строго устремились куда-то вдаль. Брови насупились. Он как будто что-то видел, на что-то в нерешимости хотел указать. Краска выступила на его умном, старчески красивом лице.

— Польза, вот знамение нашего времени! — начал он, слегка пожимая руку сына. — Польза себе и другим... Что смотришь? Удивляешься?.. Человек нынче позитивистом стал и в значительное число старых идеалов утерял веру. Прежде говорили: «Будь отшельник»; теперь же говорят: «Хлопочи о достатке, о всемогущей деньге». Тяжело сознаться, но немалая доля правды на стороне упорных в наживе, бойких и смелых дельцов. Они, действительно, могущество, хотя зачастую это могущество — без души... Разбогател ты, тогда ты и силен, и умен, и прав во всем. Богатство, друг ты мой, это — не кража и не преступление; это, милый мой, сила, двигающая горами... И глупы были все мы, простофили и колпаки, погубившие столько десятков лет на игру в невинные гулюшки, в поэзию и в дорогих когда-то мечтателей... Что и говорить: искусство — вещь хорошая, святая. Но ты, чай, знаком с новейшими учителями мира? Они говорят, что замерзающий бедняк из образов Гомера ни дров, ни теплого угла себе не добудет; а слава бессребреника-философа не прокормит голодающей на мякине и сосновой коре не только деревушки, а даже и одной убогой семьи... Вот истины, вот горькая правда...

— Что вы, папенька, что вы! Да ведь эти вещи несовместимые. Кто же и двигал общество к развитию, к нравственному и к вещественному богатству, как не наука и не искусство? А с другой стороны, кто же, как не себялюбивые искатели и наживатели огромных богатств, усилили людской пролетариат, а с ним и все бедствия мира?

— Ну, хорошо, хорошо... — снисходительно улыбнулся старик, — это — предмет спорный. Пока до свидания; пей чай один, да распорядись с обедом. Я же буду через час-через два; тогда и поговорим подробнее обо всем...

Лев Саввич обнял сына, еще раз ласково поглядел на него, простился, сел на извозчика и уехал.

Антон Львович бросился отыскивать Власьевну.

— Нет, няня, теперь я от тебя не отстану: рассказывай, что сталось с отцом?

— Ничего не сталось, какой был, такой и есть, — ответила Власьевна, возясь у кухонной печи.

— Полно шутить. Я его совсем не узнаю...

— Да я не шучу. Одумался он только, да и все тут.

— Но давно ли он так одумался?

— Постой, дай вспомнить. Лет шесть али семь все хлопотал о делах. А как съездил это за вашим наследием, да сбыл эту вашу землю, так куда тебе и старость девалася... Я и матери твоей служила, и тебя после нее досмотрела, и его на старости, кажется бы, не бросила... Ну, а теперь, может быть, и брошу...

— Что ты, разве отец тебя обижает?

— Как тебе сказать? Не все у нас ладно...

— Да что же именно? Говори, говори...

— Нешто сам не приметил? Все как есть перевел: и птицу, и огород... Ну да сам увидишь, и уж лучше ты не томи меня этими расспросами, иди, вон кофий перегорел, да и сам-от он как бы еще не наехал, да не увидел бы, что мы тут шепчемся с тобой...

Ветлугин побродил по двору и опять поднялся на вышку. Только здесь все было по старине. Он вынес на крылечко стул, присел, любуясь на синеющую даль, где по чуть видной дороге шли путники и тянулись обозы, всею грудью вздохнул и сам себе сказал: «Как здесь привольно и отрадно... Какие мирные картины, простор и тишина... И как бы, кажется, здесь уютно и сладко жилось... Нет, отцу не живется — контору завел, хотя в эту контору, где и касса стоит, всяк может войти, не встретив даже и сторожа...»

Он бросил взгляд и в соседние огороды и сады. Чириканье птиц оглашало зеленые, полные весеннего запаха затишья. Солнце начало припекать. Антон Львович оставил

крыльцо. Он перебрался в комнату окнами во двор; взял с полки шкафа пожелтевший том Веверлея, развернул его растрепанные, слежавшиеся страницы, сел в кресло и стал читать.

Читал он долго, останавливаясь в раздумье и медленно пробегая дорогие по воспоминаниям места книги.

Белая спущенная занавеска в полураскрытом окне вышки заколыхалась. С откоса крыши в комнату просунулась голова серой кошечки с воробьем в зубах. Ветлугин сидел так тихо, а молодой и глупый воробей, придержанный за крылья в осторожных зубах кошки, дышал так спокойно, что его похитительница скользнула на подоконник, мягкими лапками спрыгнула на пол и знакомой дорожкой, не спеша и сладко мурлыча, прошла мимо Ветлугина к лестнице на чердак.

Антон Львович вспомнил, как здесь же на вышке он сидел, бывало, гимназистом, в такой же тишине и так же беззаботно читал, развернув на коленях «Клариссу Гарло́», «Путеводителя в пустыне» или «Жизнь Ломоносова». И казалось ему тогда, что на полках перед ним не корешки перечитанных и почти выученных наизусть книжек, а дверцы в окна в какой-то неведомый, волшебный и особый мир...

И спускались к нему в те дорогие дни, по лесенкам, из этих дверец и окон в разноцветных кафтанах, при шпагах и в париках Ловеласы и Грандиссоны, в черных рясах иезуиты, в мушках и в пудре статные в гордые красавицы, в пернатых шлемах крестоносцы и в лаптях, с котомкой за плечами будущий рыбак-академик. И ждет он, бывало, что вот-вот одна из этих красавиц возьмет его за руку и скажет: «Пойдем со мною, друг мой, по этой лесенке, туда, в сказочный мир рыцарей и любви... Там я отдам тебе мое сердце и буду твоею навеки».

Теперь ему слышались из этих дверец и окон другие слова: «Не поеду я туда, не поеду... Истины я добиваюсь, истину хочу знать... А что истина?.. Все да презрят, все да отринут... читай житие!»

V

Новые птицы — новые песни

Лестница заскрипела. На пороге раздался знакомый голос:

— Что, странник, замечтался? А вот я уж и обратно. Пойдем обедать. Все готово...

Отец с сыном сошли вниз. На столе уже дымилась чаша с супом. Прислуживал рассыльный.

— Ну, как же твои дела, — спросил, утолив первый голод, отец, — что думаешь далее предпринять?

— Как вам объяснить? Я пока, по примеру Жерома Патюро́, все еще отыскиваю лучшее из общественных положений! Нет еще во мне настоящего дела. Занялся торговлей, но до сих пор не выучился сберегать нажитого. А без этого, говорят, нельзя...

— А сколько получаешь жалованья от хозяев?

Сын объяснил. Лев Саввич посвистал.

— Маловато, дружок, маловато. Вот и разница — между работой на жалованье и в качестве товарища.

— Но мне не грозят случайности, — ответил сын, — меньше риску, зато более верного.

— Меньше риску? И ты, ходивший с караванами по Азии, против этого волшебного слова? — Отец покачал головой. — Риском, — продолжал он, — великая Америка заселилась и стала государством...

— Великая? — спросил Антон Львович. — Вот вы ее как теперь! Прежде вы не так честили эту страну, у которой нет своих первостепенных поэтов и музыкантов.

— Она нам пример во многом, начиная с бойкого неугомонного колонизаторского труда... Вот, поговори о ней с моим компаньоном.

— С каким?

— Как с каким? Да, впрочем, хорош я! — спохватился отец, — я и забыл тебе написать, что когда участок нашей

покойной родственницы я продал и деньги решился пустить в оборот, то нашел себе и товарища...

— Напрасно, как бы с этих денег, на склоне ваших дней, жить процентами.

— Ну уж нет, извини всякому тоже и приобрести что-нибудь хочется, увеличить достаток, особенно коли еще есть силы...

Сказав это, Лев Саввич слегка смешался и даже покраснел. Смешался и Антон Львович. Обоим стало совестно друг друга. Сын подумал: «Значит, отец на меня не надеется». Отец подумал: «Этак, однако, сын еще примет меня за кулака».

— Скажите, папенька, — начал Антон Львович, — разве вам мало того, что у вас есть и что прибавилось с этим наследством? Я сам деловой человек; сам живу личным трудом и не против честной наживы. Но всему есть время и мера. И меня вон судьба из-за хорошего заработка бросает чуть не к границам Китая. Но мои годы и силы... и ваши, — кажется, разница немалая...

— Э, полно. Другие же на склоне дней, так ты говоришь, наживают, да еще как! Люди, посмотришь, дюжинные, так себе, не стоящие, казалось бы, и внимания, а глядишь, десятками, сотнями тысяч вскоре ворочают. Силачи мира, богатыри становятся. И все перед ними уступает дорогу. Отчего же и мне не рискнуть, а особенно при помощи того жс, как ты упомянул, честного труда? Или ты скажешь: фантазер отец, старый романтик или как еще там у вас привыкли называть нашего брата — человека сороковых годов...

— Помилуйте, папенька... Да ведь с рисковыми оборотами связаны потери, а нередко и полное разорение. Зачем же вам на старости подвергаться лишениям? Вы хотите играть в карты, никогда в них не заглядывавши. У вас есть сын... Я всегда думал: лично мне не нужно многого... Заботы же о вас меня не покидали никогда...

— Оно так, Антоша, и спасибо тебе за все. Только ты мне этого не пой, хоть так пело и поет отцам всякое молодое, на-

растающее поколение. Я, друг ты мой, пришел вот к какому учению... И ты на это не обижайся... Хороши ли, нет ли птенцы, но родителям не след на них надеяться. Есть у тебя состояние, пока жив, не разделяй его детям, а выра́сти их, воспитай по чести, и пусть идут работать. Нет состояния, сам наживи и на птенцов не надейся. Да чтоб дупло-то на старость у тебя было устроено поуютнее и всем полно, как следует; чтобы ветер на него не дул и ничья́ бы шальная рука его не разорила. Стукнул срок, запирайся туда, беззубая белка, и лежи в тепле, на постельке из листьев и мхов, до самого твоего последнего жизненного вздоха. Ты сам по себе, и дети сами по себе. Так я решил поступить; так советую и тебе, Антонушка, сделать, коли будет у тебя когда-нибудь потомство...

Сказав это, Лев Саввич с торжествующею улыбкой даже отодвинулся со стулом, точно желая получше рассмотреть, какое впечатление произвела эта речь на сына.

— Ушам своим, папенька, не верю. Да разве одно богатство вело когда-нибудь к путному?.. Опять же вы упомянули о детях. Согласен с вами, не о богатстве для них надо думать. Но ведь дети же наследуют имение отцов. А взгляните, что вышло и что выходит из сынков наших богачей? Развратники без воли и удержу, и больше ничего. Себялюбивые тупицы, словом, вреднейший народ. Да что! Как наследственное, так и благоприобретенное богатство портит даже и хороших людей... И я полагаю, что вы нарочно, ради шутки, прибираете такие слова о достатке... И что вам, говоря по совести, нужно? Вы прежде любили сад, держали птиц и огород. Матушкин домик выкупили из долгов, поправили его и отделали. Жили пенсионом и всем, кажется, были довольны... А теперь?.. Ведь это скупость в вас, извините, говорит, зависть...

В глазах отца сверкнули горечь и обида.

— Ты упомянул о пенсионе, — сказал он, понизив голос, — да знаешь ли, что я вон этому рассыльному больше жалованья плачу, чем получаю пенсиона; а он еще у меня на готовой пище и не обучал житейской мудрости столько юных голов, как твой покорнейший слуга...

Сын помолчал. Разговорились о прошлом.

— Что это у вас там в узелке? Песок из-под колес великого критика?

Отец нагнулся к тарелке.

— Не песок, а образцы с хлебом Петра Иваныча, — ответил он, слегка покраснев.

— Какого Петра Иваныча?

— Клочкова... Это мой компаньон. Вот человек... Мозги, братец мой, чисто организаторские. Создать что-либо, вдунуть во что душу живу — его дело. Ты его должен знать. Он здешний помещик и тоже из университета, где ты учился, — чуть ли даже с тобой не однокурсник.

Что-то далекое, смутное, давно забытое отозвалось в мыслях Антона Львовича. «Неужели? — подумал он. — Нет, не может быть... тот был сын служащего, председателя военно-судной комиссии...

— Сын здешнего помещика, Клочков? Такого, кажется, не было, — сказал Антон Львович.

— Был, был... Теперь и я вспомнил... Он именно твой соученик и только не кончил университета; что-то с третьего или даже чуть не со второго курса вышел. Унесла его иная, более черствая, но зато и более близкая человечеству практика жизни. Если хочешь, оно и правда: и не всем же быть и учеными... Ну, словом, он — деловой человек. И ему-то, надо признаться, я и обязан тем, что попал на настоящий путь. И как это все живо у нас делается, ты себе представить не можешь, как по маслу... Вчера положил в предприятие рубль, завтра берешь из него два, а не то и три...

— Клочков, здешнего помещика сын! — повторял в раздумье Антон Львович. — Право, такого, кажется, не было... Притом я держался своего особого кружка́...

— Ну да, ну да! — снисходительно согласился Лев Саввич. — Ты в университете жил одной наукой, трудился над книгами. А Клочков был не из особенно усердных посетителей лекций. Он и тогда уж, бедовая голова, чуть ли торговлей не пробавлялся, хоть и генеральский сын...

— Генеральский сын? — вскрикнул и чуть со стула не вскочил Антон Львович, соображая, что по всем данным он именно этого Клочкова некогда спустил с лестницы.

— Что же ты удивляешься? — спросил Лев Саввич. — А хоть бы и генеральский сын... Отец его умер, он увидал, как запущены дела, возвратился на родину и принялся за черную работу.

— Говорите, говорите, — перебил сын, — это очень любопытно...

— Да что же говорить? Клочков здесь, прямо надо сказать, душа всякого дельного начинания. Он — общий советник, пособник и опекун. Кто у нас устроил общество взаимного кредита? Он... Кто содействовал к открытию общества потребителей, товарных складов, ссудосберегательных касс приказчиков и чиновников? Он же... Кому торговый и городской банки обязаны последними переменами директоров?.. Все он и он. В деревне у себя Клочков почти серый землепашец, здесь же, в городе, оратор, публицист и банкир-банкиром смотрит: отлично обставлен, отлично живет. Его городская квартира невдалеке от нашего дома. И представь, повторяю, он с хорошими средствами, но в разъездах по делам, в губернии, как истый пионер, спит зачастую на голой доске, ест, что судьба пошлет, день на ногах, ночь на почтовых... Людей, говорят, нет... Вот, братец, люди; вот носители наших будущих судеб.

Слушая отца, Антон Львович искоса на него посматривал и мыслил: «Так, так, тот самый Клочков. Из кутилы и уличного шаркуна наживателем денег сделался. Что же, мудреного нет ничего. Мотовство и кулачество сродни друг другу. Но как с ним сблизился отец? Тут произошло что-нибудь особенное. Или Клочков действительно стал замечательным в своем роде человеком, или он ловко надувает отца. Кажется, придется у хозяев брать отсрочку и подолее здесь побыть. Надо лучше все это разузнать, а то как бы старика не впутали тут в такую беду, что после и не поможешь...»

Обед кончился. Отец и сын с папиросками вышли в сад.

Лев Саввич, после двух-трех незначительных вопросов сыну, вскользь заметил:

— Разумеется, я не сразу оборвал с прошлым... Сил не хватило; некоторые прежние дорогие симпатии еще остались: вожусь иной раз и с цветами, в театр хожу и от литературы не отстаю. Но зато все остальное время отдаю новому, деловому труду. Одна только беда, Антонушка, все деньги я затратил на последнее дело, а именно — на устройство нашей конторы... Предложения сыплются, — а извернуться, начать, понимаешь ли, как следует, и нечем. И где взять денег для этого, ума не приложу.

— А вы вашему товарищу, папенька, так прямо и скажите, что нет, мол, денег. Он и отчалит. Другого товарища найдете; будете действовать тише, но вернее. Что церемониться!

— Что ты, голубчик, помилуй... Сам практик, сам эту науку проходишь, — а говоришь такие вещи... Этого нельзя. Кредит потеряешь; да притом и соблазнительно.

— Ну, вы, папенька, вот как устройте, — так нашелся практический сын, — заложите кому-нибудь этот наш домик. Вот вам и деньги. Что его, в самом деле, жалеть, коли выгодное дело сулит такие барыши!

— Уж заложен, — с соболезнованием ответил отец.

— Так вы к дому-то и всю усадебную землю, кстати бы, заложили, как сад, так и огород.

— Заложено, братец ты мой, все как есть дворовое место...

— Так как же быть? — спросил озадаченный сын.

— Э, как быть! В этом-то вся теперь и сила. Ты — делец, много перевидел видов и людей; имеешь и связи... Ты и решай... Что, попался?.. Вот тебе и первая от меня жизненная проба... Так подумай же об этом получше и выручи меня как советом, так и делом. О подробностях переговорим после...

— Куда же вы?

— Не застал давеча нужного человека, так опять надо к нему. Предлагают деньги в рост — да условия тяжелы. К чаю непременно буду обратно, и тогда наговоримся.

— А отдохнуть после обеда, с газетой, подремать по-былому? Я новостей вам кучу навез... Восток шевелится и пробуждается к новой жизни...

— От души рад тебя послушать. Только не до Востока мне теперь. У нас тут свой Восток... Каждый час дорог. Белкино дупло еще не оснащено... Что? Все еще удивляешься? Не удивляйся, век такой настал... В мурью, в норку каждого зовет железная практика жизни. А вечером, за чаем, изволь, от всей души перенесусь с тобой в царство идеалов... Ты ведь и в самом деле из таких любопытных, сказочно бойких мест... оттуда, где солнца восход...

Старик и шутил, и был озабочен. Он отдал кое-какие приказания Власьевне, послал за извозчиком, ласково махнул сыну рукой и опять уехал.

К вечернему чаю, однако же, Лев Саввич не возвратился, а приехал уже далеко за полночь.

Не зажигая свечи, он на цыпочках прошел прямо в спальню, тихо разделся и лег. Но сын с вышки, в ночной тишине, слышал, как его отец долго не мог заснуть, как он тяжело поворачивался в постели, вздыхал и даже стонал. Заснул старик уже почти на рассвете, когда в огородах и садах смолкло дружное кваканье лягушек и стрекотня кузнечиков, а в предместьях лай собак и оклики часовых и когда в раскрытые окна вышки, из-под качнувшейся занавески, дохнуло свежестью раннего утра.

На другой день Лев Саввич опять повеселел и чуть не до вечера с сыном ездил по городу. Он показал ему биржу, несколько банков, помещения управы и нового суда; кем-то открытую, в новейшем вкусе, гостиницу, на пороге которой, впрочем, сидел и штопал нижнее платье совершенно растрепанный номерной; а наконец, и недавно учрежденную при чьей-то книжной лавке читальню, где Антону Львовичу весьма красивая, хотя не очень вежливая и суровая девица-конторщица, ворча, отобрала для прочтения некоторые необходимые ученые книги, еще не проникавшие за Урал.

Она недовольна была тем, что он отбирал книги, по ее мнению, давно вышедшие из моды.

Лев Саввич видимо уклонился от продолжения с сыном вчерашнего разговора.

— Кто у вас, папенька, скажите — как бы это выразиться? — деятели, или иначе, так называемые надежды общества? — спросил, между прочим, Антон Львович. — Кто ваши вожаки, носители общественных задач? Помните стихи поэта:

Народам мил и дорог тот,
Кто спать их мысли не дает?..

— Что за вопрос? Я тебя не понимаю! — сказал, глядя в сторону, отец.

— Не услышу ли знакомых имен? — продолжал сын, — назовите здешних вождей, порадуйте. Если это старые знакомые, я посетил бы кого-нибудь, поговорил бы по душе. Если же из новых, я при случае не отказался бы от знакомства с ними... Ведь я уехал почти в те еще дни,

Когда свободно рыскал зверь,
А человек бродил пугливо...

— Я уже тебе назвал одного, — ответил старик, — за этого ручаюсь: истинно деловая голова...

— Но неужто в обществе, в земстве, в учебном мире — никого нет?

— Не помню что-то...

— Верить не хочется...

— Виноват, виноват: вспомнил Милунчикова — председателя одной из здешних управ... Так, так — совсем было забыл... Вот честный человек, и я случайно тебе его не назвал. Именно Милунчиков... Он на отличном счету у всех порядочных людей. Только... не могу не прибавить — хвали сон, коли сбудется он...

— Что вы хотите сказать?

— А то, что у этого вождя и этого подвижника добра весьма мало средств для его подвигов... Улита едет, да скоро ли будет. У меня руки связаны, а уж у него и хуже того... Веришь ли, он весь в долгах, как журавль в тине: нос вы-

тащит — хвост завязит; хвост вытащит — нос завязит... Для подвигов в наши дни, повторяю тебе, нужны не одни дарования и добрые намерения, а еще нечто другое...

— Папенька! — не вытерпел наконец Антон Львович: — чем далее, тем более дивлюсь я вам и недоумеваю... Какой неожиданный случай обратил вас, отшельника и мечтателя, в слугу Мамона? Не верится мне, чтобы какой ни на есть делец и практик, Клочков там или кто другой, ни с того ни с сего мог произвести в вас такую резкую, невероятную перемену. То ли вы говорили и проповедовали прежде?

— Ну, что же я, однако, проповедовал?

— Не вы ли приводили мне совет Спасителя юноше-богачу: раздать все бедным и идти вслед за Учителем правды, равенства и добра?

— То был век один, теперь другой, — перебил отец, — тогда вера горы двигала, нынче — деньги... Не рыбаки-апостолы теперь ведут человечество, а Лессепсы да Стефенсоны; не проповедь на пустынной горе, а акции с верными купонами... вот что!..

Новое время — новые птицы,
Новые птицы — новые песни...

VI

Держи нос по ветру!

Находил иной раз Лев Саввич будто случайно забытые сыном на его столе, рядом с новейшим руководством к устройству промышленных предприятий, романы Диккенса и Бульвера, а возле тайн по части биржевой игры и овцеводства — песни Гейне или трактат Дизраэли о гении. Этих книг старик как бы не замечал. Раз Антон Львович, в послеобеденный отдых, стал даже читать отцу отрывки из «Наля и Дамаянти» Жуковского. Отец вздыхал, кряхтел, чесал в затылке, с видимым удовольствием прохаживался по ком-

нате, даже вслух подхватывал некоторые стихи, но вслед за тем принимался за свое.

Однажды за завтраком, в беседе с сыном о прошлом, о покойнице жене и о том, как бы она радовалась теперь на Антонушку, Лев Саввич задумался и сказал:

— Какая досада! Не едет Клочков. Я ему два письма писал... А какие дела подвертываются... Достань мне, говорю тебе, десяток-другой тысяч взаймы, у своих ли хозяев или там у кого сам знаешь, и ты меня окончательно осчастливишь. Я разбогатею, понимаешь ли ты, разбогатею...

— Но как же вы разбогатеете? Какой для того найден вами волшебный способ?

— А вот приедет Клочков — его спрашивай. Он тебе скажет. И сам ты увидишь, какой это поистине деловой человек.

«Клочков, именно он, другому некому быть! Но что же, наконец, за сила здесь этот Клочков?» — размышлял Ветлугин, возвращаясь в тот же вечер с прогулки по городу. По словам отца, он ожидал это новейшее светило родной губернии увидеть в городе при случае не иначе, как в блистательной обстановке, например, в карете с гербами и даже, пожалуй, с ливрейным лакеем. Но каково же было его изумление, когда при нем к крыльцу квартиры Клочкова подъехала почтовая тележка с болтавшеюся на ней в старой фуражке, запыленною и всклоченною головой спавшего рядчика и когда в этом рядчике он узнал действительно того самого студента-товарища, из-за стычки с которым он вынес когда-то столько неприятностей?

Ветлугин смешался и хотел пройти мимо. Но, разбуженный ямщиком, Клочков стряхнул с себя ворох сена и пыли, спрыгнул с тележки, оправился, протер заспанные серые глаза, взглянул на Ветлугина и вскрикнул:

— Антон Львович, камрад! Да куда же вы? Не пущу... И не думайте мимо... Сейчас же сюда, вот на эту ступеньку...

С такими дружескими восклицаниями Клочков обнял Ветлугина, некоторое время держа его за руку, внимательно

и ласково смотрел ему в лицо и потащил его по лестнице, вследствие чего озадаченный этим радушием Антон Львович чуть не упал.

— Подарок, истинный подарок! — хлопал в ладоши, поднимаясь по лестнице, Петр Иванович. — Иван Кузьмич, Роман Кузьмич, дяденьки, мыться, бриться! Это мои слуги — мальчики, сыновья повара... Я подростков, камрад, держу: вернее и безопаснее — взыщешь, к мировому не так скоро угодишь.

Привыкшие к шуткам барина, слуги-мальчики распахнули двери и, хихикая под нос, заметались по комнатам. Клочков ввел гостя в кабинет, еще раз пожал ему руку, усадил на диван и предложил сигару. И когда Ветлугин, вспоминая прошлое, стал было что-то говорить в свое оправдание, Клочков перебил его словами:

— Стыдно, милейший, стыдно так забывать старых товарищей; хоть бы строку когда-нибудь, этакий вы, заяц Иваныч, перебросили... О былом же ни слова! Я его не помню, и вас прошу забыть. Мы повздорили на политической экономии. Теперь, друг вы мой, иная экономия у нас на уме — не политическая, а житейская... И потому будем опять друзьями.

Клочков протянул Ветлугину загорелую, жесткую руку, которую тот искренно пожал.

Было принесено умыванье. С головы и с обнаженной шеи Петра Иваныча побежали черные потоки. Одного рукомойника оказалось мало. Краснощекий и в веснушках Иван Кузьмич, прыская со смеху, принес другой. Остриженный до невозможности коротко, с лицом испуганного цыпленка Роман Кузьмич, силясь, притащил третий. «Гоп, гоп, карапузики! Лейте, лейте! Какова пыль! — бормотал, плескаясь, Клочков. — Тут всякая, дяденька, всякая — полевая, городская и по крайней мере с пяти деревенских базаров!»

Умывшись и побрившись, Клочков вышел гораздо моложе, чем был с дороги. У него оказалось весьма приятное подвижное лицо: нос луковичкой, ласковые, наигранные глаз-

ки, длинная пушистая борода, мягкая поступь и беспрестанно улыбавшийся рот. Он старательно, английским пробором, расчесал чисто вымытую макушку головы и плотный, загорелый затылок; надел свежую тонкую рубашку; под воротничками повязал степенный темный галстук; облекся в щегольской сюртучок и достал из картонки черную городскую шляпу, а из комода пару новых перчаток.

— Знаете ли вы лучшую и гениальнейшую из современных народных пословиц? — спросил Клочков.

— Какую?

— Держи нос по ветру, и все пойдет, как по маслу.

— Но разве это народная пословица? — улыбнулся Ветлугин.

— Если еще не народная, то станет ей. В ней вся мудрость мира... Вот хоть бы я... университету я предпочел базар житейской суеты, стал ремеслом янки, и не раскаиваюсь. Да и как раскаиваться!

С этими словами Клочков потребовал чаю, усадил гостя к столу и воркующим, нежным голосом стал ему объяснять несколько таких величавых, чужих и собственных торговых предприятий, что у Ветлугина даже голова закружилась. При этом Петр Иваныч так и сыпал не то что десятками, а сотнями тысяч рублей; клялся, протягивая об заклад свою руку, что мертвечина и фельетонный щелкопер он будет, если сам не сочтет у себя в кармане, да притом не далее как через пять-шесть лет, если не полмиллиона, то уж никак не менее двухсот-трехсот тысяч чистоганом.

— И старой курочке дадим нос помочить в золотой водице!.. — ласково подмигнув, присмакнул гостю Клочков.

— Какой курочке? — удивился Ветлугин, которому это увлечение и этот задор самодовольного сластуна становились весьма приторны и гадки.

— Ах, извините — я ведь всегда нараспашку... — папа́хену вашему, папа́хену! — хлопая ладонью по ладони Ветлугина, сказал Клочков. — Просветителю-то здешнему. Вы, как практик, меня оцените. Я первый надоумил этого

невинного воробушка взяться за настоящее дело. Без меня он, простота, так и заглох бы в эмпиреях, на эстетической размазне... Теперь же, повторяю, и ему удастся вкусить от благоуханных земных брашен. Что ни толкуйте, а всякому пожить хочется, потому что там, на небе, будет ли еще хорошо — философы не решили, вон что Гартман говорит! — зато здесь, на земле, мы поживем вволюшку...

— Меня удивляют ваши слова, — сказал Ветлугин.

— В чем?

— Вы говорите о моем отце, но — кажется, вы забываете о его летах...

— О летах? Но ваш отец семерых молодых заткнет за пояс. А чтобы достигнуть дела, задуманного нами, так он способен, кажется, выполнить все двенадцать подвигов Геркулеса... Он еще не вполне усвоил себе великую пословицу — «держи нос по ветру», — но уже начинает ее понимать... Пойдемте же, милейший, к нему... потолкуем с ним. А как стемнеет, поедем в клуб. Я вам покажу, если хотите, здешних губернских тузов. По правде сказать, порядочные сурки... Только объедаются да в карты играют. Никакой предприимчивости... Если же и склонишь их на какое дело, то прежде всякого теленка вываляешься в грязи.

— Вот он, вот наш многострадальный Васко да Гама от границ Монголии явился! — восклицал Клочков, завидя из калитки Льва Саввича, — и уж как я ему обрадовался... Подъехал, гляжу спросонку — он самый и есть...

Лев Саввич земли под собой не чувствовал при виде своего компаньона. Он без шляпы сбежал с крыльца, приветствуя его и спрашивая:

— Что, познакомились? познакомились? узнал, чай, Антонушка, и пословицу — держи нос... ха-ха! узнал?

Антон Львович, однако же, не смеялся. Он был снова и еще более смущен при виде того, с какою небрежностью коренастый и юркий Клочков обнял бренный, шатавшийся стан Льва Саввича и как, подхватив старика под руку, потащил его обратно к крыльцу. Антон Львович невольно припомнил при

этом виденную им в первый день приезда к отцу, на вышке, серую кошку с добродушным воробьем в зубах.

После общей беседы в кабинете о деревенских и городских новостях, о торговле и о хозяйстве, причем Клочков так и сыпал изысканными выражениями привычного, хотя, где нужно, сдержанного и вежливого говоруна, — Лев Саввич, нагнувшись к сыну, шепнул: «Ну, что, Антонушка, видишь теперь, какие люди у нас родятся? Вот мой советник и сотрудник... Люби его и цени!» Вслух он прибавил: «Теперь мы с Петром Иванычем в некотором роде Орест и Пилад. Не так ли, достойнейший?»

Петр Иванович, как оказалось, не был охотник до сердечных излияний. Он неопределенно повел в сторону серыми, слегка улыбающимися глазами, промычал какую-то любезность, встал и, приторно ласково извиняясь перед Антоном Львовичем, что оставит его на минуту одного, пригласил Льва Саввича на пару нужных слов в соседнюю комнату. Разговор, очевидно, был деловой и секретный, так как даже и за порогом Клочков для предосторожности шептал Льву Саввичу на ухо, хотя, кроме их двоих, в соседней комнате не было ни души. О чем они говорили — осталось неизвестным. Но Антону Львовичу Клочков становился более и более подозрительным.

Последствием этой таинственной беседы была в ту же ночь новая бессонница Льва Саввича.

Антону Львовичу также не спалось. Он дочитал газету и только что погасил лампу, как снизу по лестнице послышались шаги. На пороге вышки, с книгой в одной руке и со свечой в другой, в очках на лбу, показался Лев Саввич.

— Ты не спишь, Антонушка? — тихо спросил он.

— Не сплю. Что с вами, папенька?

— Ничего. Не спится и мне что-то; видно, от духоты. Наступают жаркие дни. Так пришел с тобою от скуки потолковать. Я сяду...

— Вот и отлично, потолкуем. Садитесь, папенька.

Антон Львович придвинул отцу стул.

— Скажи мне, Антонушка, по правде: ты еще не торопишься ехать отсюда?

— Не тороплюсь. Если нужно, я уж вам дал слово у вас погостить несколько долее.

— Ну, так вот что... Впрочем, нет, позволь... Скажи мне еще одно слово... Ты не связан этак особым ничем?

— То есть как не связан?

— Ну, понимаешь: в жизни бывают разного рода обстоятельства. Иной раз и не думаешь, а случится.

— Все-таки я вас, папенька, не понимаю...

— Ну, хорошо... Выражусь яснее... Скажи мне совершенно откровенно: ты, например, не влюблен?.. Или нет, все еще не так: ты не думаешь жениться?

— Я свободен, — ответил Антон Львович, — совершенно свободен и не собираюсь жениться. Женитьба — роскошь для трудового человека, даже не роскошь, а — все, если жена станет помогать мужу идти далее в его трудах, чем он мог бы без нее пойти один... Такой подруги я еще не нашел. И потому я пока верен старым идеалам: до сих пор влюблен в Клариссу Гарло... Помните, как я, украдкой от вас, прочел этот роман и потерял было от него голову?..

— Помню, помню...

— Женщины в книгах только хороши, — сказал Антон Львович, — в жизни от них лучше быть подалее.

— Разумеется, ты волен в своих делах, — сказал отец, — хоть всякому родителю приятно было бы видеть сына в счастливой паре и нянчить внучат... И тут в городе есть отличные невесты. Ну, да дело пока не в том... Скажи, что это у тебя за рукопись?

Лев Саввич указал на стол.

— Так, заметки, кое-какие выписки из книг, которые я добыл в здешней библиотеке.

— Зачем тебе они?

— Пользуюсь случаем прочесть более любопытные из новинок, пока опять не уехал за Урал.

— А не лучше ли тебе и совсем туда не ехать?

— То есть как не ехать?

— Зачем тебе Азия и твои купцы, когда на родине ты также можешь с пользой трудиться?

— Об этом я думаю, и, если будут подходящие занятия, отчего же и не остаться здесь? Только там уж у меня все налажено и в будущем предстоит столько утешительного и выгодного труда.

— Ну хорошо, оставим и это пока нерешенным. А теперь займемся другим, моим собственным делом. Буду говорить откровенно. Мне нужна помощь... Ты у меня находчив, даровит и отцу пособить — не правда ли? — сумеешь... Так слушай же... Я по тебе сильно соскучился, и это было главной причиной, что я хотел тебя видеть... Втайне же я думал: не пойдешь ли и ты в долю со мной?.. Постой, постой, не горячись... Это, я уже тебе сказал, надо теперь отложить в сторону. Я вижу сам, что ты еще пока без особых денежных средств. Так вот что...

Лев Саввич смолк. Дыхание спиралось в его груди. Он переставил свечку с окна, у которого они сидели, на стол и растворил окно.

— Мы сегодня придумали, — начал он с расстановкой, — то есть Петр Иванович это придумал... Ты получишь подорожную и маршрут... И так как от твоих хозяев, вопреки моему ожиданию, тебе еще трудно надеяться на ссуду денег, то ты без замедления... прошу тебя... поезжай... хоть завтра или послезавтра... Видишь ли, я просил взаймы денег и звал в долю тут еще одного господина, Вечереева... Поезжай к нему... Что, удивился такому скорому решению?

— К Вечерееву? Какой же это Вечереев? — спросил Антон Львович.

— Помещик здешний, родственник того Милунчикова, о котором я тебе, помнишь, говорил. Я Вечерееву писал несколько писем, но он на одно ответил, да вдруг и замолчал.

— Но как же я, не будучи знаком с этим Вечереевым, обращусь к нему с таким поручением? Отчего этого не сделать вам самому или хоть бы тому же Клочкову?

— Тут есть некоторые обстоятельства. Их тебе объяснит Клочков. Я же прошу тебя пока об одном: не говорить Вечерееву, что я в доле с Клочковым. Об этом тебя просит и Петр Иваныч... Видишь ли, какое, собственно, дело... Вечереев недавно продал своему соседу, Талищеву, лес и теперь, как говорят, при значительных деньгах. Все равно отдаст их на проценты другому. Так, понимаешь ли... Как бы тебе это сказать? Впрочем, погоди... Начну несколько издалека.

Антон Львович приготовился слушать.

— Я у Вечереева учил, лет восемь назад, его единственного, теперь уже покойного сына, — готовил его здесь к поступлению в гимназию и тогда жил целое лето у него в деревне. Ты в те поры был уже далеко и, разумеется, этого знать не мог. Старик меня полюбил и часто потом навещал; даже не раз останавливался у меня, уверяя, что у нас много общего. Ехать к нему мне бы не хотелось. Во-первых — стар, а во-вторых, и контора теперь в руках. Он, разумеется, напомни я ему новым, более толковым и откровенным письмом, — вероятно, не откажет в моей просьбе... Но через тебя это, понимаешь ли, как-то будет и вежливее, да и вернее... Откровенность на бумаге, притом еще по случаю займа денег, выйдет невольно чем-то вроде напоминания о прошлых заслугах. Да я, по правде, и не сумел бы написать нового, в этом же роде, письма. Он же, наконец, о тебе знает, слышал как о твоих литературных трудах, так и о твоих торговых подвигах за Уралом... Даже, представь себе, присылал мне вырезки из газет, где упоминалось твое имя. Человек он достойнейший, с сердцем и в окончательной помощи мне, при твоем посредстве, не откажет. А не то вступит и в долю со мной... Все дело, понимаешь ли, в том, чтоб напомнить и поддержать уже раз высказанное им согласие...

— Но еще раз, папенька, — нетерпеливо перебил Антон Львович, — скажите мне, для чего вам эти спекуляции, желание обогащения? Я решительно этого не понимаю... Вы жили мирно, без хлопот, а теперь, на старости лет, пускаетесь в рисковые предприятия...

— А! так ты спрашиваешь опять? Ну, слушай же, — резко сказал Лев Саввич.

Но тут же, будто застыдясь своей досады и решимости, он отвернулся в сторону и, точно в таинственное будущее, пристально стал смотреть в темное раскрытое окно, откуда то и дело на блеск свечи налетали жучки и бабочки и доносились неясные звуки ночного гула, стоявшего над городом.

— Ни о чем-то я, простота, — начал опять Лев Саввич, — ни о чем, повторяю тебе, не мечтал, живя здесь сколько лет и, как старая, слепая сова, сидя вон там за воротами. Улица наша между тем стала в последнее время застраиваться. Знакомые и соседи начали втягиваться в обороты, богатеть... Но никому я, клянусь тебе, не завидовал! Только случилось... и вовеки я этого не забуду!.. Случилось, Антонушка. Как бы тебе это получше рассказать?.. Зашел я раз поблизости, в переулке, в новооткрытую здешнюю мещанскую школу и увидел там в рубищах и босиком толпу посиневших от холода детей, а среди них оборванного, грубого и пьяного учителя из отставных солдат... Боже мой! то был не учитель, а жалкий нищий. Кое-как он вязал глупые слова, и не верилось, чтобы кто-нибудь у него учился. Но холодная, тесная и закоптелая школа была битком набита. Ну что, подумал я, коли бы этой толпе ребятишек да светлую, обширную храмину, дельного, обеспеченного учителя и толковые книги? Сколько хороших людей вышло бы из народа? Однако же где взять на все на это денег, где взять?..

Лев Саввич помолчал.

— Я уже был тогда в отставке, следовательно, без занятий. Подумал я, погадал, да и пошел, друг ты мой, с подписным листом по чиновному дворянству, а там и по зажиточным купцам. И истомили, осмеяли меня эти господа

порядком: и ничего-то я по тому листу не собрал. Нет, вру, — собрал я три рубля, да чьих-то два истертых пятиалтынных... А будь свои деньги, Боже ты мой, сейчас бы, кажется, бросил на это не одну тысячу... Да нету их, милые вы мои, нету, думал я... Так-то... Богатому житье, а бедному вытье... И шевельнулась у меня тогда, Антонушка, впервой — сознаюсь тебе — зависть к богачам... А тут ударил неурожайный год... Ты помнишь его. Сам ты собирал тогда и присылал в здешний комитет из Сибири гроши. И спознал я в те поры вконец все свое житейское жалкое ничтожество. Червь червяком, бесформенный слизняк, последняя в лестнице созданий животная личинка... На моих глазах выходили новые книги. Купил бы их для себя и для школы, но из пенсии не хватало. Слышу между тем, другие успешно обделывают свои дела. И везде-то деньги, и везде эта роковая сила; и все-то она ломит и, как некогда римский триумфатор, празднует тысячи побед... Сказано в пословице: у богатого и черт детей качает. А я, как то чучело, что у меня же в ту пору стояло над грядками, сижу без дела, да греюсь на солнышке, да вывожу павлинов и кроликов. И опротивел мне, Антонушка, наш дом, опротивела моя старость и праздность, мои птицы, цветы и эта улица. Много тяжелых часов я провел с тех пор в этой конуре: меня томила моя беспомощность и непригодность... И вдруг подоспело это наше наследство... Извещенный о нем, я ходил как шальной. И тут-то в новооткрытой нашей читальне я столкнулся с Клочковым... Сошелся я с ним почти невзначай. Я читал газету. Он с кем-то спорил о политике. Заговорил он и со мной, сперва об Англии, потом о России. Да так-то все это вежливо, толково и умно. Наконец речь зашла о торговых оборотах. Этот вопрос живо меня занимал. Я несколько дней перед тем все обдумывал, что предпринять с нашим наследственным участком? Он и посоветовал его продать. Да и как было поступить иначе? Посмотрел я на себя: руки, ноги и голова еще крепки, поработать могут. А тут Клочков стал предлагать такие прибыльные дела. Я и подумал: да неужто

же честь и нажива, апостольство правды и богатство не могут нынче ужиться вместе?..

Лев Саввич замолчал. Антон Львович вздохнул.

Тихая весенняя ночь ласково с надворья глядела в раскрытое окно вышки, обдавая собеседников прохладой и запахом цветов. Трескотня кузнечиков в окрестных садах затихла. Звенел в комнате, у двери на лестницу, один только сверчок. Лев Саввич скажет слово, и сверчок откликнется. Лев Саввич перестанет говорить, и он замолчит, точно слушает в тишине, что же будет, наконец, далее?

— Ну, так вот, — продолжал Лев Саввич, — я и сошелся с Клочковым. Он, как друг, как брат, вник в мое положение, оценил мои обстоятельства и намерения и стал меня наделять советами. И что это были за советы! Веришь ли? То был не человек, а маг... С его одобрения я, для опыта, предпринял одно дело и сразу, одним, так сказать, махом положил в карман такой куш, что, если бы не сам считал заработанные деньги, подумал бы, что это во сне. Кто устоял бы перед таким соблазном, кто? Переходя от одного дела к другому, мы, наконец, затеяли и почти, как ты видишь, устроили контору агентства... Только с моей стороны не хватает достаточно денег для вклада в это дело. Ну вот ты и достань... Посуди сам... Или нам век с тобой так оставаться бедняками? И неужели честно и умно задуманное дело никогда не обратит этого домишка в храмину силы, для подвигов правды и добра?

— Смотря как посчастливится.

— А голова, а честные убеждения зачем? Нет, Антонушка, станем работать. К нашему агентству, не теперь, так потом, примкнешь и ты... И счастливая затея принесет желанный плод... — Так как же, Антонушка? — спросил, перегодя, отец.

Сын медлил с ответом. Сердце его тревожно билось. «Бедный, бедный, — думал он, — увлекли его, запутают... как быть?» За рекой начинало белеть. Антон Львович прошелся по комнате, остановился у окна, выпрямился, несколь-

ко мгновений, впившись глазами в загоравшийся восток, помолчал и обратился к отцу.

— Пожалуй, — в раздумье ответил он, — только, смотрите, — с одним условием... Я готов разъяснить это дело и, так или иначе, устроить вам помощь со стороны Вечереева... Но вы позвольте мне прежде взглянуть на ваши счеты с Клочковым.

— Это зачем?

— Да так уж нужно. И предупреждаю вас, — если я в этих счетах найду хоть что-либо неправильное или подозрительное, не прогневайтесь, — вы должны себе искать другого компаньона...

Старик задумался, но тут же улыбнулся и ответил:

— О, будь спокоен, я за Клочкова не боюсь... И завтра же тебе вручу все наши конторские книги.

Антон Львович засел за проверку счетов отца с Клочковым и работал над ними несколько дней. Он даже съездил для сличения цен в другие конторы, лавки и складские дворы. Пока он сидел за этой работой, Лев Саввич на цыпочках ходил мимо его комнаты и даже не заглядывал к нему. Как книги, так и прочие к ним документы оказались, впрочем, в исправности. Ветлугин скрепя сердце сказал об этом отцу.

— Ну вот, ну вот, — обрадовался старик, — я же тебе говорил... Стало быть, ты едешь?

— Обещал, делать нечего.

— Когда же?

— Вот снесусь с хозяевами и к вашим услугам.

Ветлугин дал отцу слово ехать к Вечерееву, а сам рассуждал: «Книги в порядке, это правда, хоть не настолько, разумеется, прост Клочков, чтоб не принять с этой стороны должных мер. Дом заложен; в остальном же отец и Клочков почти квиты. Но нет, здесь кроется что-то недоброе, я в том убежден. А что, не могу пока угадать. Клочков, по всей вероятности, затеял это агентство на чужое имя для того, чтобы в нем из-за

угла играть роль властелина-кота, а прочему человечеству оставить до́лю готовых ему на потребу мышей. Недаром же у этого сластуна такие широкие надежды на скорую наживу. Как бросить в таком положении отца? Весь этот его торговый деловой задор, несмотря на его красноречие, очевидно — мыльный пузырь, невинная, хоть и искренняя, затея сбитого с толку мечтателя... Он на старости лет нежданно увидел в руках значительную сумму денег и вздумал увеличить ее оборотами. Нашелся, разумеется, и благовидный предлог — школа для бедных... Задал бы ему эту школу Клочков, если б я вовремя не подъехал! Нет, немедленно пошлю хозяевам депешу и поеду к Вечерееву...»

В тот же день Ветлугин телеграфировал хозяевам об отсрочке его пребывания у отца, а сам в ожидании ответа стал читать добытого в библиотеке Спенсера и бродить по городу.

«Нет сомнения, Вечереев многое мне поможет объяснить, — рассуждал Ветлугин, — он любит отца, давно с ним знаком и даже дружен, да и меня, как видно, знает по слухам. Клочков обрисовал его не очень красиво. Но отчего он юлит и желает скрыть перед Вечереевым свое участие в делах отца? И Вечереев тоже ответил на одно из писем отца, да вдруг и замолчал... Еду — только уж, разумеется, не для поддержки ребяческой затеи отца... Иное надо устроить, пока я в этих местах... Если Вечереев действительно, как говорит отец, человек с сердцем, я ему все объясню и, при его пособии, поступлю таким образом: отцовский пай в агентстве сбуду кому-нибудь иному, договор Клочкова с отцом постараюсь во что бы то ни стало разрушить, а Вечерееву, за его ссуду для уплаты отцовских долгов, предложу в залог этот самый двор и дом, который теперь под залогом в других руках. При таком условии не совестно будет принять помощь от кого угодно. Со временем эту закладную мы выкупим. И все у отца пойдет по-старому, если только он был со мной откровенен и если, кроме обязательства по закладной, нет у него более долгов».

VII

Ормузд и Ариман

Ответ от хозяев был получен, и Ветлугин зашел к Клочкову сообщить ему, что завтра едет. Ему хотелось также ближе ознакомиться с подробностями о дороге к Вечерееву. Беседуя, они вышли прогуляться и завернули на почту, где Клочкову нужно было справиться, нет ли на его имя писем? Это случилось в конце присутствия. Приемная была почти пуста. Они справились и сели отдохнуть.

— Времена плохие, ой какие плохие! — вкрадчивым, в душу лившимся голосом продолжал начатую речь Клочков. — Вот хоть бы я, председатель комиссии польз и нужд нашего уезда. Но если бы вы знали, друг сердечный... что за учения начинают всплывать в здешнем обществе. Охранительные силы гибнут... Поднимают голову самые разрушительные... Дисциплина повсюду ослабела.

«И этот о дисциплине плачется! — помыслил Ветлугин. — Благо бы в армии служил, как Талищев; тому еще простительно... А этот?..»

— Молодежь под влиянием опаснейших проходимцев, — продолжал Клочков, — да и что вы сделаете, если общая распущенность окружает молодое поколение? Что оно видит в свете? Каких проповедников слышит?

Клочков замолчал. С улицы послышался негромкий звон колокольчиков и бубенцов и стук подъехавшего тарантаса.

Клочков взглянул в окно.

— Да вот вам, кстати, один из здешних новейших проповедников, — сказал он, отворачиваясь от окна.

— Кто такой?

— Милунчиков.

«А! отец его хвалил, — подумал Ветлугин, — он родственник Вечереева — от него, кстати, тоже можно кое-что узнать».

— Не слыхали? — продолжал Клочков. — Явление любопытное. Вероятно, за письмами да за газетами заехал. Их

два брата. Один еще в университете, в медики готовится — уроками живет. А этот — так мое почтение... Напичкался дрянными книжонками... Имение на волоске от продажи за долги, а его, этакого-то санкюлота и головореза, выбрали — куда бы вы думали? — в председатели земской управы, в хозяева, так сказать, целого уезда... Ну где, я вас спрашиваю, ручательства в спокойствии общества? Где охрана собственности? Впрочем, мы с ним родня и даже, если хотите, приятели, — добавил Клочков, — и я вас могу с ним познакомить...

В комнату вошел и обратился к дежурному чиновнику высокий, нервический, с исхудалым добродушным лицом и сильно близорукий господин. Его длинные тощие руки болтались, как бы не находя себе места. Походка его была порывистая и вместе надменная. Черная клинообразная бородка его плохо росла. Он был на вид лет тридцати двух-трех и с первого же раза внушал к себе сочувствие. Особенно привлекали его кроткие синие и как-то странно из-под густых темных бровей, то лаской, то строгим вниманием, то как бы испугом и жалостью, блиставшие глаза. На нем были черный бархатный жакет, модные клетчатые брюки и лаковые, поверх цветных чулок, полусапожки. В руках он держал серую, довольно помятую, пуховую шляпу.

— Председатель здешней управы и мой приятель Николай Ильич Милунчиков, — сказал Клочков, подходя к нему с Ветлугиным, — благодаря его трудам, как вы знаете, мы по-старому ломаем на земских дорогах колеса и по суткам, как вы тоже на днях убедились, сидим на станциях без лошадей... А тебе рекомендую — господин Ветлугин... Прибыл издалека...

— Не Антон ли по имени? — спросил, пожимая руку Ветлугина, Милунчиков.

— Антон...

— Не вы ли автор статей «В чем наше будущее?»

— Я, — не совсем охотно ответил Ветлугин.

— А книги «Русские артели»?

— Я же... все это грехи юности...

Губы Милунчикова дрогнули. Густые темные его брови сдвинулись. Он отвернулся к окну и с кроткой, несмелой улыбкой, слегка потирая грудь, точно сдерживая в ней нежданно заныввшую приятную боль, проговорил:

— Послушайте... Эти вещи... Да знаете ли? Это такая прелесть... Вы меня извините... В этой неприглядной глуши невольно и сам сделаешься дикарем... Какое редкое знание жизни и какая сильная, искренняя любовь к народу! Это не кабинетное писание; это крик живой и любящей души... Вас не умели да и не могли оценить...

Милунчиков еще раз пожал руку Ветлугину, сел к окну, принял от дежурного чиновника кучу отобранных для него журналов и газет и, еще не глядя в них, насмешливо обернулся к Клочкову.

— А ты? — отнесся он к нему, — так я и знал, так и предчувствовал. Ну, возможно ли это? Уехать, не подписав даже протоколов... А еще состоишь председателем комиссии польз и нужд...

— Пустяки. Я из уезда отлучился каких-нибудь на двое суток. Не бросать же собственных дел. Останься я, акции торгового банка мимо носа прошли бы. Да и взаимного кредита — ведь я там директор... Но разве собрание уже кончилось?

— А проект учительской семинарии? А школа повивальных бабок? А губернский сборник? Ведь всего день бы ты переждал, день один... Ты вот скрылся, а за тобою ускользнули другие, и чрезвычайное собрание вчера, разумеется, за недостатком гласных закрыли...

Клочков на это промолчал.

— Да-с, Антон Львович, — продолжал он, указывая глазами на Милунчикова, — много здесь увидите любопытного! Только смотрите, еще не опишите нас...

— Есть что описывать, — презрительно пожал плечами Милунчиков, близорукими, мигающими глазами жадно вглядываясь в развернутые газеты, — разве то, какими средствами, вы, господа охранители, оттираете из ваших собраний гласных из крестьян?..

— Печальная комедия! — обратился Милунчиков к Ветлугину. — Было задумано хорошо и с пользой для всех, а превратилось, по милости вот таких господ, во что?.. В себялюбивые и надутые собственным ничтожеством и пустотой сеймики поземельных и капитальных тузов... Земство — это пешеход с пудовыми гирями на ногах; человек совершеннолетний — на бумаге, а на деле — отданный под бессрочный надзор квартального...

«Однако он не стесняется!» — подумал Ветлугин.

— Ну, заиграли бабушкины куранты, — сказал, вставая и усиливаясь зевнуть, Клочков, — пойдемте... Нашел цивический зуд... Теперь два битых часа будет о нас расписывать... Богат мельник шумом, только слушайте его.

Милунчиков вскочил. Газеты и журналы с шумом посыпались с его колен.

— Как — вскрикнул он, неловко подбирая их и принимаясь с ними ходить по комнате, — как? И ты еще скажешь, что это неправда? Неправда, что все ваши подвиги рассчитаны на карман одних крестьян? Неправда, что вы берете у них все и не даете им ровно ничего? Фарисеи! Что ты еще на днях проповедовал? Какие предположения хоронил в слепо верящей тебе комиссии польз и нужд?

— А тысячу рублей для кого ты, сердобольный мытарь, выпросил у нас? — сытым, хотя несмелым баском, из другого угла комнаты спросил, посмеиваясь, Клочков.

— На все-то школы в уезде! Полно, это даже не смешно, а просто гадко! — плюнул Милунчиков. — Чем чванится!.. Да ты своему свинопасу больше платишь жалованья, чем народным учителям назначил... Упорные слепцы! Тупая, полинялая и жалкая толпа...

— Вот, как видите! — хихикая, указал на Милунчикова Клочков. — Мы плохи — сам он зато в слепом царстве кривой король... Однако слушай: будешь ли ты у Талищева на съезде?

— Собственного, честного контроля над земством нет! — продолжал, не слушая Клочкова, Милунчиков. — Вот главная

всему причина!.. Что вы делаете в собраниях? Съедетесь, усядетесь на день, на два, издали понюхаете итоги, да обертки приходно-расходных книг, справите общий обед да скорее на радости и по норам... Шутка ли, собрания закрываются за недостатком гласных!.. Сознания и долга в вас нет... Вперед вы не глядите... О будущем не думаете... И не только дальние губернии, — смешно сказать! — смежные уезды подчас потребностей друг друга не знают... Печатные ваши отчеты валяются на полках управ, не разрезанные никем... Вы, господа, выдохлись, выдохлись в первые же три года, истрепались, как старые кредитки... Не успели сказать вступительных напыщенных речей, и уже стали рутиною, громкою кличкой, без всякого содержания и смысла...

— Да! еще бы читать стенограммы хоть бы твоих, положим, словоизвержений, — вклеил, еще ехидно посмеиваясь, но уже чувствуя себя значительно разбитым, Клочков, — лучше бы ты работал, а не витийствовал... Дороги и мосты вон так запустил, что мы только колеса ломаем...

— Университеты, гимназии — на чей счет заведены и содержатся? а? на чей? — более и более напирая на Клочкова, продолжал Милунчиков. — На миллионы, собранные с народа! А сам народ у вас безграмотен, тонет в невежестве... Для кого ваши банки, училища, книги, театры и суды? А?.. Представьте, — с горькой усмешкой и с дрожащей от негодования нижнею челюстью обратился Милунчиков к Ветлугину, — вы посторонний, заезжий, следовательно, лучше оцените наших общественных деятелей. Знаете ли вы, что в здешнем городе нет сносной воды для питья, нет освещения и почти нет просвещения, зато в эти пять-шесть лет ровнехонько десять банков открыто... Десять банков!.. И все труды вот этого господина... Памятник ему!.. Адрес!.. Почетное гражданство с брандмейстером совместно!.. Горожане, разумеется, довольны... А крестьянин занял у соседа-кулака рубль, отдавай — два, а не то три... Трущобные кроты! совы!.. И еще думают, что это так им даром и пройдет...

Ошибаетесь... Ну, что смеешься? — обратился Милунчиков к Клочкову. — Отвечай, разве это не так, не так?.

Милунчиков до того наконец налег на Клочкова, что тот пересел ближе к Ветлугину и даже руками на него замахал.

— Извините, — в заключение обратился Милунчиков к Ветлугину, — не могу хладнокровно смотреть на это общее наше жалкое прыганье в виде белки в колесе. Вас же, где б вы ни были, прошу верить, что есть люди, которые нам горячо и искренно сочувствуют... Если вспомните меня и захотите видеть — вот вам мой адрес.

Он подал карточку.

— Долго ли пробудете в городе? — спросил Ветлугин

— До вечера, завтра уеду.

Милунчиков вышел. Через минуту опять зазвенел его колокольчик и загремели его бубенцы.

— Что, видели, каков гусь? — спросил, выходя из почтовой конторы, Клочков. — На нем лица не было от огорчения. — А ведь избран чуть не единогласно... Ну да я же ему это все вспомню... Недолго жить... Вот вам и наш земский рай... Что, согласились бы вы жить среди таких господ?

Ветлугин на это не ответил. Нелегко у него было на душе. И весь тот день перед ним светились добрые и полные грусти глаза Милунчикова, а в ушах отдавался его надтреснутый, звучавший бессильным негодованием и злостью голос.

«Ормузд и Ариман, — думал Антон Львович, — белобог и чернобог, добро и зло, идеал и практика... Как все это старо и как в то же время неизменно... Хороший, повидимому, человек; но из-за чего так нерасчетлив и несдержан? Тут не с Клочковым надо спорить, не на ветер силы терять, а делать... Дороги и мосты у него действительно, кажется, в плохом виде — да и одни ли дороги и мосты?»

Вечер накануне отъезда Антон Львович провел в прогулке по городу. Кончалась вечерня. Народ расходился из церквей. Ветлугин все приглядывался: не мелькнут ли где у

паперти лица странниц, читавших на станции Четьи-Минеи... Но их не было видно.

Не выходил у него из головы и Клочков... «Разумеется, — мыслил он, — найди отец иного товарища — другое дело. Но ему понадобилась практика, Ариман... А на этом пути где же взять Ормуздов, где найти идеальных людей? Поневоле подвернулся ему этот чернобог, Клочков... Ну да я постараюсь обратить его к прежним богам...»

Антон Львович возвратился домой уже поздно ночью. Он прошел в кухню к Власьевне с целью разбудить ее и узнать, принесли ли ему от портного новое платье, и распорядиться на утро о лошадях.

Власьевна, однако, еще не спала. В ночной кофте и со свечой в руке, она копалась над перекладкой разного хлама в знакомом ему с детства собственном ее сундуке. При входе Антона Львовича Власьевна несколько смешалась.

— Ты, няня, еще не спишь? Уж так поздно. Скоро станет светать.

— Делом занимаюсь, — сердито крикнула старуха, тыча что-то на дно сундука.

— Каким делом?

— Укладываюсь... на всякий случай.

— Уж будто и некуда... Мало ли что... Не ровен час, живешь-живешь, а придется иной раз и отойти...

— Это ты еще откуда взяла?

— Откуда, откуда? Зарядил! Что я, в самом деле, у вас богаделка тут, что ли, какая? Точно и свету что в окне... Чужие, да и те ценят. Вот Клочков, Петр Иваныч, на кофту намедни подарил, а вчера прислал с своими мальчонками стенные часы. «Хоть старенькие, — говорит, — бабушка, да с кукушкой и с боем»... А у твово, старого-то, что нажила?

— Няня, полно,! тебя ли слышу? В твои годы! И ты туда ж, за всеми, жадничаешь наживать?

— А нешто не сумею? — храбро подбоченилась Власьевна. — Увидишь... Вон нашей слободы баба в город сюда пришла, блинами да печенками сперва торговала; а ноне, эво-

ся — булки печет и мне лавчонку на базаре советует снять. Что глаза пялишь? Али не дело говорю? Нешто у вас, что ли, жизнь? Ну, а на рынке и с человеком с настоящим поговоришь, и живая копейка тебе в руки поминутно; на черный день пригодится.

«Вон оно, человечество, — подумал Ветлугин, — и няньку век соблазнил... И ей тесно показалось старое, пригретое место в кухне. И ее увлекает некий подозрительный Ариман...»

В полдень Антон Львович получил последние наставления от отца и от Клочкова и послал за почтовыми... Пока Власьевна хлопотала с завтраком, а отец с Клочковым просматривали текущую конторскую корреспонденцию, Ветлугин на извозчике съездил навестить Милунчикова. Но последнего в городе уже не было. Он уехал рано на заре.

— Не знаете ли, куда он уехал, — спросил Ветлугин квартирную хозяйку Милунчикова, — не в свою ли деревню?

— К своему родственнику, к Вечерееву, хотел, кажется, заехать, — ответила хозяйка.

«И отлично, — подумал Ветлугин, — обоих увижу разом...»

Он возвратился домой, закусил и вышел на крыльцо, у подъезда которого стояла запряженная перекладная.

— Я бы и сам, друг вы мой, съездил занять денег у Вечереева, — голубиным, воркующим басом умасливал Клочков, провожая Антона Львовича, — да мы с Вечереевым несколько не в ладах. Поссорились там за одно дело...

— За какое?

— Пустячное! Знаете стариков... Он был не прав, обидел меня и не хотел раскаяться. Ну, да я смотрю на это вот как. — Клочков растопырил пальцы и, ухмыляясь, поглядел сквозь них на Ветлугина. — Мы с Вечереевым, если хотите, даже несколько свои. Но никогда не были дружны. Между нами будь сказано, он порядочная копилка, или попросту — стоячая вода. Я таких не люблю. Да и вы, я думаю, до таких не охотник. Слушайте, камрад. Если он сразу не войдет в дело, вы не торопитесь уезжать. О! не уезжайте! Расшевелите его, загово-

рите ему зубы. Денег у него теперь довольно. Кроме участка леса, он, кажется, продал Талищеву еще и большой запас старых дров. Но, как собака, сам лежит на сене и другим не дает. Уж эти мне наши рыцари спячки! — продолжал Петр Иваныч. — Достались бы нам с вами его средства, встала бы у нас на ноги эта мертвая земля!..

Лошади тронулись. Клочков даже на подножку тележки вскочил и выехал с Антоном Львовичем за ворота.

— Хлопочите же, камрад, хлопочите, — говорил он, заглядывая в лицо Ветлугину, — главное, везде и всегда помните великое изречение: держи нос по ветру, и все пойдет как по маслу...

Лев Саввич стоял на крыльце, добродушно махнул оттуда сыну платком и также покрикивал:

— Смотри же, Антонушка, не ударь лицом в грязь и возвращайся с победой. Со щитом или на щите... Помни... твое посольство для нас — торжество или полнейшее поражение... На тебя в эту минуту, так сказать, вся губерния смотрит... ждет от тебя!.. Помнишь Наполеона у пирамид?

VIII

Дубки

«Отличился мой отец!.. И нужно же было ему столкнуться с этим героем века, с этим российским хищником, Клочковым!»

Так размышлял Ветлугин, очутившись опять за городом, на просторе цветущих полей.

«Да и я-то хорош! — думал он. — И как все это вышло неожиданно. Ехал навестить старика, отдохнуть в родном углу, а попал в такое дело... Что же, работал для других, постараюсь и для него».

Неделя жизни в родном гнезде, несмотря на все тревоги, оживила Ветлугина. Предстоявшие заботы казались ему лег-

кими. Предположения спасти отца и затем счастливо и прочно устроить его дальнейший быт раскинулись заманчивою картиной.

От мыслей о будущем отца Ветлугин перешел к мыслям о будущем родины.

Много испытавший, но не потерявший веры в людей, Антон Львович, ни в годы ученья в столице, ни в тайгах и песках Сибири, не переставал в золотых снах о развитии сил общества уноситься туда, в это сверкавшее и манившее его будущее, где ему днем и ночью, в радости и в печали грезился теплый и радостный светоч гражданских побед и улучшений — все оживляющий и все обновляющий. Видя людские страдания, видя безумную роскошь счастливцев и рядом с нею жалкое ничтожество бедняков, он верил в одно — в торжество разума на земле, и никакие горести не могли надломить его крепких надежд. «Счастье придет, — думал он, — рано ли, поздно ли, солнце осветит непроглядную тьму... Талищевы и Клочковы не будут силой, рядом с которой честные Милунчиковы пока поневоле играют роль жалких Дон-Кихотов... Но мы-то, мы-то согреемся ли в лучах грядущего светила?»

— Далеко ли до Дубков? — спросил Ветлугин на последней станции.

— Верст пятнадцать — рукой подать, — ответил староста, — тут за лесом будет тебе колдобинка, за колдобинкой тебе взволочек, а внизу его сейчас и Дубки...

Ветлугин поехал. К сумеркам стало прохладнее. Ни колдобинки, ни взволочка, однако, не было видно.

Узкая проселочная дорога невдали за поворотом с почтового пути пошла сплошным кряжем лесистых холмов с свежими, прохладными полянами и рощами орешника, кленов и вязов. Внизу крутых, то глинистых, то песчаных, обрывов, направо от дороги, мелькали пылающие в лучах заката плесы реки, над которыми в вечерней тишине раздавались крики коростелей и стоны горлинок да перелетали проворные стайки куликов.

Ямщик на одном из перекрестков, видно, сбился с пути. Лошади притомились. Ветлугин проехал час и другой, а деревни Вечереева не было видно Тянулась березовая роща. Колеса стучали по старым корням. Наконец уже поздно вечером, когда высоко выплыл на небо полный месяц, роща стала редеть, опять пахнуло воздухом полей, и Антон Львович по косогору стал спускаться к какому-то поселку, с каменною церковью на выгоне и с обширною усадьбой, и догадался, что это Дубки. На селе, расположенном поодаль, слева от усадьбы, не было слышно ни людского говора, ни песен, ни даже лая собак. «Эге-ге! да это уж выходит за полночь! — подумал Ветлугин. — Какая досада; на первый раз, и так опоздать! Пожалуй, этот барин еще и не примет». Двор, среди которого остановились притомленные кони, был окружен красивыми каменными, под железом, службами. Прямо против ворот белел высокий двухэтажный дом. Из-за его крыши выглядывали вершины еще более высоких дерев сада. В окнах было темно. Во дворе никто не отзывался на звук колокольчика, изредка брящавшего на дуге усталой коренной. Но где-то слева послышался раскатистый смех, а еще левее, за большим флигелем, выглядывавшим из другого запасного двора, раздалось нечто вроде треньканья балалайки — и вслед за тем к телеге, на которой продолжал, толкуя с ямщиком, сидеть Ветлугин, подошел пожилой, с виду полный, с кустоватыми седыми бровями и зоркими, глубоко сидевшими глазками слуга, явно навеселе. Узнав фамилию приезжего, а также и то обстоятельство, что он из губернского города, да еще по делу, слуга, прикрывая ладонью рот и слегка покачиваясь на коротких, вздрагивавших от привычного усердия и почтения ножках, стал низко кланяться и просить гостя слезть с телеги.

— Кирилло Григорьич дома? — спросил Ветлугин.

— Никак нет-с... Да вы что же? Да вы пожалуйте-с, время позднее... Милости просим переночевать с дороги...

Ветлугин с досадой отвернулся.

— Где же барин-то ваш?

— Только вчера и уехал.

— Далеко ли и надолго ли?

— Верст за пятьдесят и — предположительно — на целую неделю...

— Вот досада! А мне сказали, что он здесь безвыездно живет.

— Точно так, сударь. Уж куда же им нонче и ездить! Барин старый; им бы только покой. Изредка только ездит в другую вотчину. Но в эту пору они завсегда отлучаются на именины к одному тут старому своему сослуживцу и благоприятелю. Слезайте, ваша милость, переночуйте у нас, отдохните. Время позднее; вы, может, служащий. Барин будет недоволен...

— Надо же такое горе, — не мог успокоиться Ветлугин, — никуда круглый год не ездит и вдруг, как нарочно, выехал... А Милунчиков, Николай Ильич? Он сюда ехал...

— Тоже не застали барина и проехали в свою вотчину.

— Далеко отсюда?

— Верст двадцать,

Ветлугин понурился.

— Да вы не сумлевайтесь, ваше благородие, — сказал Филат, — а мы, извините, маленечко тут без барина, того-с, как бы сказать, подгуляли. Но все вам будет мигом-с: и постель, и закусочка-с... Барин наш добреющий... ланбарт-человек-с... Все им довольны... И всякому у нас чиновнику так уж заведено-с, по препорции, кому что и куда... Вашему почтарю и коням тоже всего предоставим. Я теперь за буфетчика-с... Время позднее... видите...

— Ну что, переночуем? — спросил Ветлугин ямщика.

Тот, на все лады божившийся дорогой, что подпадет под ответ и штраф, «хучь на час припоздает», и что «казенному ямщику не полагается ночевать в стороне», услыша про ужин, не оборачиваясь, ответил: «Советую и я, ваша милость, переждать. Место глухое; а как я уеду, так вы, хоша разопнитесь, вряд ли без барина тут и за деньги добудете лошадей: теперь рабочая пора». «Рабочая!» — прибавил со вздохом слуга.

— Делать нечего, остаюсь... Где же вы мне дадите переночевать?

— В саду, сударь, в баньке-с... Там у нас на этот счет такая беседочка летом, а зимой в ней баня. В доме же без барина нельзя. Он у нас на это строг и порядок любит. Заезжие же, чиновники али нонешние земские, все в бане у нас ночуют...

Ветлугин слез с телеги, а слуга ушел и скоро снова возвратился с постельным бельем. Перебросив белье через плечо, он у калитки в сад зажег свечу и, бережно заслоняя ее несколько дрожащей пухлой рукой, сказал:

— Пожалуйте, сударь: да осторожнее, не зацепитесь. У нас не сад, а дебрь; а цветов столько, что хоть лошадям коси на корм.

— Как тебя звать? — спросил Ветлугин.

— Филат Иваныч нонче, а прежде Филькой звали; мы, сударь, старого леса кочерга, и хоть Богу мы не нужны, да и черт нас не берет, одначе своих господ любим и не бросаем...

Гость и слуга окунулись в темные, полные прохлады и лиственного запаха развесистые чащи сада. От звука их шагов то здесь, то там просыпались птицы и, с тревожным шорохом толкаясь в ветвях, налетали на блеск свечи. Скоро пахнуло сыростью, так как дорожка, казалось, подошла к воде. Деревья стали реже. Скользнувший луч свечи осветил угол невысокого, с виду значительно запущенного здания с готическими окнами, лепными карнизами и чугунным, проросшим травою крыльцом.

— Вот и банька-с, — доложил, семеня проворными ножками, слуга.

— Что это, река?

— От самого выгона течет-с и как есть вдоль всего сада. Так пришлося. Камыши по ней большущие. А дичи! И, отцы мои родные! Так и пырскает тебе из-под ног... У меня есть и свое ружье... А-а-тличное ружье!.. Барин подарил; говорит: охоться, Филат Иваныч... Ах, извините, кажись, в замке не тот ключ...

Филат присел. Неверными, дрожащими руками он долго старался отворить дверь; наконец он отпер ее, но тут же нечаянно задул свечу и сказал опять: «Ах, извините».

«Однако в этом курятнике, надо полагать, не очень-то разоспишься, — подумал Ветлугин, в то время как Филат из кожи лез, на корточках изловчаясь снова зажечь свечу, — зимой здесь баня, а летом беседка... Старье какое-нибудь, гниль; лягушки, улитки и пауки; а то, пожалуй, и летучие мыши... Запахом погреба, вероятно, отдает, как всякое заброшенное жилье... В одном углу, уж это известно, — расшатанная ситцевая кушетка; в другом — безногий стол, дождевые пятна на чуть живой штукатурке потолка... Печальные остатки прежних барских затей...»

Каково же было удивление Ветлугина, когда, ступив из сеней, он в первой же комнате, еще в потемках, под ногами почувствовал мягкий ковер; а при блеске вновь зажженной свечки разглядел уютный, изящно отделанный и всем наполненный покой, где не слышалось ни гнили, ни запаха заброшенного жилья.

Пока слуга покрывал простыней и синим стеганым одеялом красный штофный диван, Ветлугин стал рассматривать мебель, драпировку и гравюры комнаты и остановился, как бы чем-то озадаченный... Ему в этой комнате померещилось присутствие тонкого и чуть слышного приятного запаха, и он подумал, что, вероятно, здесь где-нибудь поблизости стоят тропические цветы.

— А теперь, сударь, и закусочку-с, — сказал Филат, — только вы уж сами извольте приказ отдать — какой? Белой очищенной али настоечки с зеленцой? У нас всякая есть; только скомандуйте... Не думайте, что мы уж здесь совсем на краю света... Оно точно, были мы в кольях и в мяльях, а дело свое знаем... Все предоставим...

Последние слова Филат произнес, от приятности даже зажмуриваясь и слегка приседая, точно перепел, ночью во ржи заслышавший робкий топот перепелки и готовый стремглав к ней полететь и показать, каков он молодец.

— Умыться мне, дружок, вот что нужно; а там, пожалуй, дай хоть и закусить. Но где же здесь, ты говоришь, баня?

— Банька налево; тут сейчас из сеней. Нонче там садовые инструменты да семена для цветов...

Филат ушел. А Ветлугин снова вопросительно поглядел вокруг себя. Ему в воздухе опять почудился тонкий, приятный запах, но уже несколько с другим оттенком: точно здесь набрызгали нежнейшими духами или кто-нибудь пронес кадило с дорогим пасхальным ладаном. «Что за странность!» — подумал Ветлугин. Обойдя комнату, он заметил в углу, возле печи, резную лаковую дверку. Сперва он решил, что это, вероятно, другой, чистый ход в баню. Но дверь оказалась в маленькую божницу, где перед стеклянным с образами киотом на стареньком аналое лежал молитвенник и теплилась серебряная лампадка. На полу был постлан закапанный воском коврик.

Недоумевая, что это за молельня, Антон Львович возвратился в первую комнату, взял свечу и от нечего делать стал внимательно рассматривать висевшие по стенам старинные раскрашенные гравюры. На них изображалась охота в голубых горах Шотландии, виды скал и озер, а между скалами — вереницы скачущих за сернами белокурых красавиц и в красных плащах охотников.

Между тем возвратился Филат. Он внес умыванье, вскоре за тем большой серебряный поднос, уставленный флягами и соленьями.

— Кто это здесь у вас молится? — спросил Ветлугин, умывшись и садясь за закуску.

— Наша барыня.

— Разве у вас есть и барыня? Мне о ней ничего не говорили.

— Как бы вам доложить? Она почти что не живет сусестно с барином, уже несколько годов. Посвятила себя как есть Богу и больше все ездит по богомольям.

— Почему же так?

— А Господь их знает; по какой-нибудь оказии, видать, не сошлись с барином. Многое сказывают. Одни, что сон такой попритчился барыне: не живи, мол, с ним, а езди по церквам да проводи время с монашенками... А другие говорят, что барыня будто бы в прежние годы свихнулась, что ли, а потом и покаялась.

Не наше, разумеется, сударь, дело; а господа у нас, сказать, добрые, — настоящие баре. Притом же вы, может, думаете, что Филя повсегда пойдет в церковь, а попадет в кабак... Извините...

— Позволь, однако, — перебил рассказчика Ветлугин, — ты говоришь, что ваша барыня тут молится, а между тем, что она здесь почти не живет...

— Точно так-с; она больше теперь в другой ихней вотчине, в Пряхине, проживает. А здесь, видите ли, в саду могила их сына, что готовился когда-то в гимназию и помер, коли слышали. Я в те поры жил далече, у кондитера нанимался. Эту беседку барыня особенно любят. Они здесь молятся. А прежде тут у господ садовые концерты справлялись, фейверки жгли над рекой...

— Красивая, однако же, была ваша барыня! — заметил Ветлугин.

— Вы почем, сударь, знаете? Нешто во младости их где видывали? — спросил Филат и сам тут же спохватился, что сказал невпопад, разглядев еще вполне молодое лицо гостя.

— Я по портрету сужу. Это ее портрет? — спросил Антон Львович.

Он оставил закуску и со свечой поднялся к стене, где, между скачущих за сернами шотландских красавиц, над диваном, в круглой дубовой рамке, висело акварельное изображение двенадцати- или тринадцатилетней девушки с восточным типом смуглого худощавого лица. Большие черные глаза и пряди пышно вьющихся, до плеч обрезанных волос — что-то вдруг, хотя неясно, напомнили Ветлугину. «Неужели!» — подумал он и замер со свечой в руке.

— Да это, сударь, не барыня, а наша барышня, — ответил, щурясь из-под ладони на портрет, Филат.

— Так у вашего барина и дочка есть? — спросил, помолчав, Ветлугин.

— Есть, — ответил, становясь опять у двери, Филат, — только, видно, тоже... как бы вам сказать... по матери ей написано пойти...

— Почему так?

— С малых лет с ней барышня ездит по церквам да по монастырям — то на одно богомолье, то на другое. Неделю назад, слышно, из Пряхина опять куда-то отъехали...

— Одна только у господ ваших дочка?

— Вот как перст. И всего-то в ней, сердешной, ноне и поколения господского Вечереевых состоит. Эх, коли бы не барышня, а барчонок покойный!.. Хозяином был бы здесь. Меня бы поставил в егеря...

И какая, сударь, добрая наша барышня да красавица, вот как писаная, — вздохнул Филат, — и всего пошел ей восемнадцатый годик...

Ветлугин более не прикасался к закуске. Он стал прохаживаться по комнате. Филат принялся убирать со стола.

— Странно, — не утерпел, как бы про себя, заметить Ветлугин, — такая молоденькая и так рано стала наклонна к молитвам...

— И, Боже, как наклонна! — даже зажмурился Филат. — Все святые книги с родительницей читает, а мне один раз про мириканских проповедников читала, как их дикари пожирали, да, анафемы, и поели. Я ихней кормилице Егоровне племянник.

— Но кто же это, однако, без них накурил здесь ладаном? — спросил Ветлугин. — И лампадка перед киотом зажжена... Ты говоришь, что барыня с дочерью куда-то уехала?..

Филат поводил носом по воздуху, пожал плечами и заглянул в образную.

— У меня, сударь, насморк; ничего как есть не слышу. Так временами заляжет, что хоть отруби. Здешнего попа дочка, Афросинья Андриановна, без барыни за всем тут ходит и наблюдает. Это она, видно, и накурила. Послезавтра, кажись, какого-то святого... Счастливо, сударь, оставаться.

Филат ушел. Ветлугин разделся и лег.

«Странное стечение обстоятельств, непостижимо! — думалось ему в тишине. — Это она, она, никакого нет сомнения... Но что творится в мире! Там — мой отец покидает старческий покой и с пылом юноши бросается в торговые предприятия, в коловорот непосильного труда... Здесь же единственная молодая дочь богатого человека проводит дни по богомольям и, как отшельница далекой старины, думает об одном — о загробной жизни...»

Ветлугин задул свечу. В резное окно беседки светил сквозь чащу сада месяц. Вскоре и он закатился в темные кущи дерев. В щель лаковой дверки пробивался только чуть видный свет лампадки.

«А что, если это не дочь священника тут была, а сами хозяйки возвратились?» — пришло на мысль Ветлугину.

Он плотнее завернулся в одеяло и закрыл глаза. Но сон от него бежал. В теле чувствовалась дрожь. Кровь стучала в висках. Ему грезились черные большие глаза, пышные вьющиеся волосы и бледные, ладаном прокуренные руки...

Долго Ветлугин не мог заснуть. Он думал: «Где она, и она ли именно обитает в этих местах, ходит по этому полу и молится здесь, за этою дверью? Нет, не может быть. Это случайное сходство... Я ошибаюсь...»

Перед рассветом смуглое, сверкающее лаской и красотой лицо откуда-то будто склонилось к нему, бледная рука в темноте как бы тронула его за голову, тихо и нежно прикрыла его усталые глаза и ему шепнула: «Спи, еще вдоволь испытаний впереди... И не одну бессонную ночь ты будешь метаться в постели и ломать голову над бедной, жалкой и грустной загадкой земли».

IX

В библиотеке

Утро давно загорелось. На заре перепал дождь, и в раскрытые окна беседки весело смотрели росистые ветви черемух, акаций и жимолости. За ними, слева, вперемежку с полянами, виднелись рощицы лип и кленов с просветами садовых дорожек; вправо — голубая излучина реки, а за нею — картинные холмы с зелеными оврагами, кустами и одиноко стоящими дубами. Все дышало свежестью; все было полно блеска и запаха цветов. В прибрежных вербах перекликались иволги. В поле гремели перепела... На крыше беседки, шумно взлетывая, ворковали голуби.

Ветлугин вышел на крыльцо, увидел, что на реке недалеко от беседки устроена купальня, и, желая освежиться, отправился туда. С берега к купальне вела небольшая лесенка. Долго он плескался в прозрачной студеной воде, мысленно хваля за это удовольствие незнакомого хозяина и рассуждая о вчерашнем разговоре со слугой. Он оделся и только что взялся за ручку дверец, как за камышами, с другой стороны реки, послышались негромкие голоса. Ближе и ближе, точно кто собирался с выгона проникнуть в сад, отыскивая мосток или брод. Антон Львович приостановился и начал слушать.

— Ой, да тише же, — говорил один голос, — не столкни ты меня, Фросинька... Видишь, как дрожат жердочки: мосток так и ходит. А ты все толкаешься-шалишь.

— Упадешь, одной — хоть и Христовой — невестой на свете будет меньше, — ответил другой, веселый и звонкий голосок.

— Во-первых, ты уже знаешь мои мысли, — возразил первый голос, — да что ты, противная, смеешься?.. Говорю тебе, не быть этому... А во-вторых, если бы я и утонула...

С этими словами, обгоняя друг друга, говорившие миновали мостик, и не успел Ветлугин опомниться, как дверь в купальню распахнулась, и на ее пороге, в утренних белых

блузах и в платочках на головах, показались две молоденькие особы: одна полная, невысокого роста веселая блондинка с вздернутым носиком, с голубыми быстрыми глазками и с красными, как яблоки, щеками; другая — сухощавая, с лицом строгим и смуглым, точно опаленным лучами жаркого южного солнца, стройная и гордая брюнетка.

При виде незнакомого бородатого мужчины, так нежданно забравшегося в купальню и с открытым ртом, с фуражкой в руке неподвижно стоявшего у двери, обе девушки вскрикнули, отступили и на мгновение оторопели.

Блондинка едва удержалась от смеха. Нагнувшись и зажимая рот, она первая взбежала на берег. Брюнетка медлила долее. Пораженная присутствием незнакомца, она побледнела, в упор ему метнула молнию быстрого и вместе негодующего взгляда, хотела что-то сказать и не могла: только ее нижняя губа нервически дрогнула, да сердито сдвинулись черные брови.

— Алинька, да иди же! — хохотала тем временем из-за спины подруги блондинка.

— Иду! — ответила, медленно поднимаясь по лестнице, брюнетка.

Ветлугин опомнился тогда уже, как обе девушки скрылись в чаще дерев. Он в брюнетке без труда узнал ту особу, которую в ночь перед приездом к отцу увидел на станции за чтением Миней.

«Вот тебе и на, — рассуждал Ветлугин, выйдя из купальни на дорожку, — что ни час, то новая путаница: невпопад не застал хозяина; а тут, в его отсутствие, наехали его жена и дочка. Что подумают они теперь обо мне?» В досаде и в тревоге он принялся ходить по берегу, поджидая слугу и боясь от беседки двинуться далее в глубь сада. Оглашаемые птичьими криками и свистами, темные, развесистые аллеи теперь смущали, волновали и пугали его.

— Так и есть... Подъехали-с, — раздался из-за дерев веселый голос Филата.

— Кто? И барин?

— Никак нет-с, только барыня и барышня.

— Кто же с барышней приходил сюда из-за реки купаться? Их было две.

— Именно, именно, — подхватил, хихикая, Филат, — мы вчера, сударь, проглядели... Ну-с, а барыня с барышней поздно, в сумеречки, и подъехали на почтовых к священнику. Узнали, что барина нет дома, да и просидели там в беседе за полночь. Меня не будили; встретила их Егоровна-садовница... Барышня с поповной вчера, одначе, гуляли, да и приходили сюда посидеть; они же прибегали это и купаться.

— Ну, Филат, — сказал Ветлугин, — скорей же отыскивай ямщика и вели запрягать. Еще рано, и я сегодня же успею воротиться домой

— Помилуйте, сударь, что вы! Не обедавши-то, да опять за столько верст? Барыня узнает, прогневается!

— Я не к барыне, а к барину приехал, притом за делом, — ответил Ветлугин, — барина нет; а потому и вели мне запрягать.

Филат искоса глянул ему на сапоги, потоптался на месте и, раздумывая: «Строгий какой, видно, недоимку приехал собирать!» — неохотно побрел ко двору, где вскоре брякнул колокольчик, тоже, как видно, не совсем охотно прилаживаемый отдохнувшим в веселой компании ямщиком.

Филат возвратился опять.

— К барыне сейчас иду, — сказал он, — завтрак велели подавать; и вы бы, сударь, к ним в таком разе!

Он был уже во всех принадлежностях старого слуги, в черном фраке, в белом галстуке и в перчатках.

— Туда изволите к чаю пожаловать? — спросил он.

— Нет, голубчик, принеси, если можно, чаю сюда, — ответил Ветлугин, садясь на крыльцо беседки, — я по-дорожному; не рассчитывал видеть хозяек и идти к ним не могу.

— Помилуйте-с... Пинжачок у вас как есть по моде; а уж насчет наших господ, так они, примером, совсем невзыскательны...

— Спасибо, я не могу. Надо к ночи возвратиться в город.

— Припоздаете; да и ямщик ваш, тово-с, как будто неладен: не ровен час как бы еще и в яму не завез.

Но Ветлугин был непреклонен. Ссылаясь на неотложность и спешность дел, он повторил просьбу — принести ему чаю в беседку и барыне о его приезде не сообщать. Филат исполнил его желание в точности. «Ну-с, лошади вам, сударь, готовы, — сказал он, — счастливого пути, — а я теперь к барыне. На почту посылают...» Ветлугин окольными дорожками выбрался из сада, сел в тележку и велел ямщику ехать как можно скорее, боясь, как бы хозяйка из любезности не пригласила его и тем не задержала бы его на пути домой.

На взгорье, за церковью, однако же, его догнали двое верховых: тот же во фраке и без картуза Филат и какой-то широкоплечий, молодцеватый парень в красной рубашке, плисовых шароварах и в серьге.

— Что вам? — спросил озадаченный Ветлугин.

— Не равно, сударь, ваш ямщик не заблудился бы, — начал запыхавшийся Филат, — так барыня велели вам дать в провожатые вот этого нашего другого кучера, Самсонку. Он, кстати, со станции привезет, коли есть, для господ письма али газеты...

Рослого каретного коня тут же пристегнули к паре почтовых. Молодцеватый Самсон, с развевающимися красными ластовицами, молча уселся рядом с ямщиком, принял от него на время вожжи, а ему поручил набить собственную свою трубку, и тройка дружно побежала в гору.

— Дорожка, сударь, скатертью, не забывайте нас! — кричал Филат, издали помахивая рукой и насилу сдерживая неумелыми коленями вертевшегося по выгону раскормленного и резвого барского коня.

«Ну, наконец-то выбрался! — отрадно вздохнул Ветлугин, когда усадьба, церковь, выгон и весь поселок Дубков остались далеко за его спиной. — С поручением отца чуть не вышел целый короб приключений. Впрочем, благодаря судьбе, еще легко отделался... И хорош бы я был, сибирский дикарь, в таинственном приюте этих отшельниц... Что подумали бы они обо мне, если бы я после глупой истории с

купальней ни с того ни с сего вздумал еще проникнуть в их ладаном накуренный монастырь?»

Солнце начало сильно припекать затылки молча и без устали куривших возниц. Лошади бежали лениво. Ветлугин распустил зонтик и в тени его продолжал размышлять о том, как, в сущности, все вышло хорошо: как он будет иметь окончательно предлог удержать отца от опасных торговых затрат вообще и от дальнейших дел с Клочковым в особенности и как, покончив все, опять вольной птицей понесется за Урал...

Жаль ему было одного: из-за чего Вечереева возила по богомольям свою дочь? Эта мысль неотвязчиво стала его преследовать и занимать.

— Станция, — сказал ямщик.

Ветлугин очнулся, открыл глаза. Он дремал и не заметил, как проехал более двух часов.

Тележка выбралась из рощи и крутым скатом медленно спускалась в лесистую долину, к станционному двору. Самсон отпряг своего коня и сзади, несколько поодаль, вел его в поводу. А с противоположного края долины, другим, более пологим скатом, пересекая пыльный почтовый путь, также к станции, шестериком спускался обширный дормез.

— Как бы нам его опередить, — сказал Ветлугин, понукая ямщика, — а то заберут прежде меня почтовых, и тогда как раз здесь просидишь до поздней ночи...

Ямщик приударил. Тележка, пыля, быстро подкатила к крыльцу. Карета между тем также миновала подошву холма, но не доехала до станции и остановилась несколько поодаль.

«Ну, на этот раз удалось... Заметили, видно, что их опередили, и сами уступили мне очередь!» — обрадовался Ветлугин, всходя на крыльцо и подавая смотрителю подорожную.

— А ведь это наши! — воскликнул подоспевший Самсон, разглядывая против солнца белый шестерик знакомых взмыленных лошадей, из которых одна уже радостно перекликалась с его конем.

— Кто ваши?

— Барин возвратился...

Зеленая штофная занавеска каретного окна поднялась. Оттуда выглянула седая скуластая голова с смуглыми, тщательно выбритыми щеками и с черными, как бы подернутыми желтизной глазами, раздался голос: «Самсон, ты здесь зачем?»

Самсон подбежал к карете, снял картуз, объяснил, что провожает какого-то господина, и сейчас же возвратился к Ветлугину.

— Барин просят вашу милость к себе, — сказал он.

«Не судьба! — помыслил Ветлугин, и надо же было ввязаться этому провожатому и его белому коню! Не будь их, мы бы окончательно разъехались...»

«Да, положительно бы разъехались!» — повторял потом в жизни много раз Ветлугин, вспоминая этот вечер, станцию в лесистой, прохладной долине, карету с седым стариком и все то, что без этого осталось бы для него навсегда чуждым и позабытым.

— Как, вы сын Льва Саввича Ветлугина, учителя моего покойного Володи? Вы — Антон Львович?.. И, заехав так далеко, не захотели меня подождать?.. Стыдно, молодой человек, стыдно! — внушительно и вместе ласково отозвался костлявый и рослый, хотя несколько сгорбленный старик, одетый в белую пикейную пару и с белою пикейною фуражкой на плотно остриженной седой голове.

Вечереев вышел из кареты, бросил туда раскрытую книжку французского романа, медленно снял белые вязаные перчатки, дружески протянул руки Ветлугину и сказал:

— Дайте же я на вас получше погляжу и вас, отважный русский пионер и мой юный друг, — позвольте мне вас так звать, — покрепче обниму.

Они обнялись.

— Вылитый Лев Саввич! — с ласковой улыбкой, взяв Антона Львовича за обе руки и любуясь им, продолжал Вечереев. — Точь-в-точь ваш батюшка был такой же в те годы, как поступил учителем в здешнюю гимназию... Да, я

познакомился с ним именно в то время. Был на акте, а он говорил речь о влиянии сатиры на общество. Вас, разумеется, тогда еще не было на свете. О! это был восторженный и пылкий человек. Увы! годы и многое взяли свое. Он изменился; но я его по-прежнему люблю. Мы давно не видались; письмами же перекидываемся... больше все беседовали о вас. Да, признаться, я таки за вами следил с особым сочувствием. Вы ведь разведчик, начинатель — в глубь Бухары проникали, в Кашгар... Ваше имя мы даже в газетах встречали. Читал я, наконец, и разбор изданной вами книги о рабочих... Будь жив мой Володя, и он со временем, может, стал бы таким же дельным, предприимчивым и работящим человеком, как и вы! — грустно заключил Вечереев, трепля Ветлугина по плечу.

«А глаза-то, глаза, точно у дочери, — думал тем временем, глядя на Вечереева, Ветлугин, — большие и полные грусти и огня; сухи, но будто недавно плакали... И смуглый такой же, и гордое выражение лица...»

— Чему же я обязан вашим заездом? Из каких вы стран и как поживает, что поделывает милый и почтенный отшельник, Лев Саввич? Что его куры, кролики и павлины?

Ветлугин, несколько путаясь и с оговорками, сообщил Вечерееву о поручении отца, сказал, что не смел бы поддерживать детской его затеи, но счел долгом навестить доброго знакомого своего отца, и что если Кирилло Григорьич не прочь от добрых дел, то он готов с ним обсудить, на что именно может быть употреблена эта помощь. Ветлугин ожидал, что Вечереев поморщится или снисходительно улыбнется и под благовидным предлогом сразу откажет ему в просьбе отца. Вышло, однако, иначе. Вечереев задумался, еще крепче пожал руку Ветлугину и, глядя вдаль, к синеющим окраинам долины, сказал:

— Так, так... Что делать, знаю. Кое-что до меня дошло... Еще потеря, еще уходит один... Время уже, видно, такое наступило... Вербует оно, вербует свои полки... впрочем, обсудим... Кажется, можно ему пособить. Во всяком

же разе и прежде всего я отменно рад тому, что некоторое мое промедление с окончательным ответом дало мне случай познакомиться с хорошим человеком, а кольми паче с таким, как вы. И потому, надеюсь, вы теперь, Антон Львович, не откажетесь возвратиться ко мне.

Ветлугин медлил с согласием.

— Полноте, полноте, молодой делец. Уступите нам себя хоть на время... Самсон, ты оставайся, заберешь почту... А вещи ваши мы положим в карету, и марш ко мне. Небо как будто заволакивает. Видно, завтра дождь. Нам зато будет прохладнее ехать. Мои кони отдохнули и теперь побегут хорошо. Я их, кстати, невдали отсюда, на постоялом дворе, подкормил и напоил...

Нечего было делать. Ветлугин согласился; рассчитался со смотрителем, сел в карету к Вечерееву, и серый шестерик опять выбрался на бугор, звякнул бляхами и цепочками наборных хомутов и дружною рысью понесся обратно в Дубки.

— Но вы, Кирилло Григорьевич, уехали из дому, кажется, не менее как на неделю? — спросил Ветлугин.

— Так... Только, увы! мой приятель и сослуживец Ченшин, к которому я постоянно, раз в год, езжу в эту пору на именины, тоже увлекся приманками торговых оборотов. Он принял долю в устройстве железной дороги через соседние уезды и, не дождавшись меня, выехал за сто верст, на какой-то съезд инженеров, землевладельцев и капиталистов. Нынче все предприятия, съезды, прожекты да ассоциации. Один я ни к кому не пристаю и более всего люблю покой и тишину...

Карета неслась.

Вечереев стал припоминать ту пору, когда отец Ветлугина готовил его сына в гимназию. Он в подробности рассказал, как проводил с ним время и как Лев Саввич пленял его чистотой убеждений и редкою честностью восторженной души.

— Но каков, однако же, философ! — воскликнул Кирилло Григорьич. — Да и годы-то, повторяю, как бегут! Кто мог бы думать, ожидать? Прошло каких-нибудь семь-

восемь лет, и как он изменился! Да... Новый век и новые идеи... Дай Бог вашему отцу успеха... Я охотно ему помогу, охотно, тем более что, вероятно, вы же будете руководить его предприятиями. Да и кому же больше? Вы практик, с вами не опасно никому. Ну а без вас он, недавний затворник и мечтатель, того и гляди, еще попадет в руки к темным личностям, каких теперь немало. Вот хоть бы мой сосед...

— Кто такой? — спросил Ветлугин.

— А мало ли их теперь у меня, да и у каждого из нас. Верите ли, жажда к обогащению у некоторых из этих господ приобретателей такова, что, кажется, отца родного не пожалеют, если это будет выгодно для какой-нибудь их спекуляции...

«Клочков, — пробежало в уме Ветлугина, — и здесь, видно, не на шутку насолил».

Вечереев с презрением откинулся в угол кареты я замолчал.

— Зато, мой добрый друг, — начал он, погодя, — я теперь живу каким-то выродком среди других... Хозяйством почти не занимаюсь... Вот хоть бы этот лес. Вы думаете, что я продал его для барышей? Ничуть не бывало. Этот лес был в чересполосном владении; а здешнему предводителю Талищеву понадобились дрова для завода, так я с моим порубежником и кончил дело купчею...

— Но почему же вы, Кирилло Григорьевич, разлюбили хозяйство?

Вечереев, казалось, не расслышал этого вопроса. Он глядел вдаль, к зеленым убегающим холмам, и молчал.

Ветлугин повторил вопрос.

— Не к тому с некоторого времени стремятся мои помыслы, — начал тихо и как бы в раздумье Вечереев, — я последний из могикан... Да, цветы, картины, музыка и книги, — вот моя отрада, хотя прежде, говорю вам, и я был одним из неутомимейших хозяев... И не новейшие реформы изменили меня... О, нет! Я не черствый и не жадный человек... Не новые порядки отняли у

меня рабочий пыл. Не о том, ах! не о том теперь болит моя душа...

Вечереев опять замолчал. В голосе его будто что-то оборвалось; в нем, как показалось Ветлугину, дрожали слезы. Он закрыл глаза, чуть слышно вздохнул и, с трудом пересиливая себя, как бы желая отогнать некую особенно томившую его мысль, заговорил о другом.

— Ну, скажите... Видели вы мой дом, парк, цветы? Понравилось вам у меня?

— Дома я не видел: я переночевал в саду и сейчас же уехал обратно.

— Как? Вы ночевали в беседке?

— Да.

— И вам не показали моего дома?

— Некогда было; я торопился, чтоб еще сегодня поспеть к отцу... Впрочем, на вашу усадьбу довольно было взглянуть и снаружи: все у вас устроено с таким вкусом.

Вечереев оживился.

— Сам когда-то, сам я хлопотал над всем этим... Парк в двадцать десятин разбил, сад насадил в пятнадцать. Церковь построил, дом, службы. При богатстве, вы скажете, это не диво. Не диво-то, не диво. Но сколько я над этим лично потрудился, сколько было в начале разочарований и неудач. Плоды зато собираю теперь...

Вечереев горько усмехнулся. Что-то недосказанное, тяжелое снова отозвалось в его словах.

Карета мчалась мерною рысью. Виды менялись. Солнце спряталось за тучей. На поля и на ближние лесистые холмы легла густая тень. Стали падать крупные капли дождя.

Прошло несколько минут. Ветлугину показалось, что его суровый собеседник, сидя с ним рядом, от усталости вздремнул. Но, покосясь на него, он увидел, что Вечереев не спит. Лицо его стало еще сумрачнее. Глаза были устремлены в окно.

— Вы, — с усилием и точно глотая подступавшие слезы, обратился он к Ветлугину, — вы ничего не слыхали о моих... о моей семье?

Антон Львович слегка смешался и ответил, что не слышал ничего.

Вечереев вздохнул.

— Володя, Володя, — дрожащим голосом и точно про себя тихо прошептал старик, — жил бы ты на свете, было бы у меня для кого работать и жить...

С этими словами Вечереев плотно прижался к каретному углу, закрыл глаза и, как некое привидение, весь в белом, молча просидел до конца пути.

Солнце опять выглянуло. За пригорком блеснул крест церкви Дубков. Показалась крыша дома. Кони миновали выгон, резво вбежали во двор и, фыркая, остановились у крыльца.

Нежданный возврат барина и давешнего гостя окончательно сбил с толку Филата. Он вприпрыжку, придерживая фалды фрака, прибежал из флигеля и до того заметался у парадных дверей, что еще долее, чем ночью в беседке, не мог отомкнуть незапертого, впрочем, на этот раз замка, и, в довершение собственного смущения, споткнувшись о давно знакомый порог, чуть не растянулся.

— Что, Филя? — ласково усмехнулся Вечереев, — опять ручки прыгают? Не утерпел в уединении. А еще другом считаешься и притом — свободный гражданин...

— Я, Кирилло Григорьевич, ничего-с... Лопни глаза. Даже маковой росинки во рту не бывало... Зуб заболел, так я ло́хманских капель у попа просил...

— Ну, ну, отворяй и веди... Знаю я твои, Филат Иваныч, ло́хманские капли.

Гость и хозяин мимо оторопевшего Филата через маленькую переднюю вошли в высокую, просторную, в два света залу, с хорами, роялем, камином, копиями с картин итальянской и испанской школ и старыми, по стенам, фамильными портретами.

Тяжело и медленно, точно белая статуя командора, ступая по ярко отчищенному паркету, Вечереев молча подошел к окну, слегка расправил сгорбленный стан, снял и на мра-

морный подоконник бросил перчатки, медленно обернулся, обеими руками, с улыбкой, крепко сжал руки Ветлугина и, посветлевшими глазами показывая вокруг себя, сказал:

— Вот и моя житейская пристань. Будьте гостем. Двадцать пять лет я тут сиднем сижу, с тех пор как вышел из гвардии. Да! сперва и я, как приехал сюда и женился, вел открытую и веселую жизнь: увлекался надеждами, строил планы и смело носился по житейским волнам. Но скоро я подобрал все паруса и бросил якорь. В этой пристани зато я не боюсь никаких бурь, никаких валов... Пылкие надежды разлетелись; осталось воспоминание о прошлом да невозмутимый покой настоящего... Все считают меня человеком отжившим и чудаком. И, действительно, с виду я, вероятно, чудак. Начать с того, что зимой я не отхожу вот от этого камина, любуясь этими мадоннами, рыцарями да кардиналами, пишу мемуары, а летом, с утра и до поздней ночи, просиживаю вон на том балконе.

Говоря это, Вечереев ввел Ветлугина в гостиную и распахнул из нее большую стекольчатую дверь на садовое крыльцо, откуда, из-под белого парусинового навеса, так и обдало их нежным благоуханием цветов.

— Мой сераль! — с торжествующею улыбкой воскликнул Вечереев, указывая Ветлугину вдоль решетки балкона и на поляне выставку всевозможных уборных растений как в зелени, так и в цвету — азалий, гортензий, пеларгоний, японских лилий и множества других.

— Теперь в мою библиотеку! — сказал Вечереев, об руку с Ветлугиным возвращаясь в гостиную. — В душе я хоть и энциклопедист, но разве можно не поклоняться таким поэтам, как Мильтон и Байрон, Лессинг и Данте? Я даже думаю...

С этими словами Вечереев отворил дверь в библиотеку, глянул перед собой и замер на ее пороге...

За углом одного из темных дубовых шкафов, у заслоненного желтою штофною занавесью окна, откинувшись на высокую спинку старинного кресла, в чепце и в шали на плечах, с

полузажмуренными глазами сидела жена Вечереева. Его дочь, в сером платье, с белой косынкой на груди, в полусвете сидела на скамеечке у ног матери. На ее коленях была разогнута большая, в старинном кожаном переплете Библия. Девушка читала вслух и за пышными прядями нависших на руки и на лицо волос не заметила, как вошел отец.

— Жена! Аглая! — вскрикнул Вечереев. — Какими судьбами?

Дочь вскочила, уронила книгу и радостно повисла на груди отца.

X

Иуда Маккавей

Не выпуская дочери из объятий и обращаясь к молча вставшей жене, Вечереев спросил:

— Какими судьбами? Вот но ожидал! Уж кончили вояж?

— Мы часть дороги сделали на пароходе, а там пробыли недолго... оттого так скоро.

— И прямо сюда?

— Нет, по пути гостили еще у матушки Измарагды — она была нездорова.

Вечереев поморщился.

— Рекомендую, — сказал он, — Антон Львович Ветлугин, сын Льва Саввича, помнишь?.. А вам рекомендую — моя жена Ульяна Андреевна... В Парасковеевский скит ездили. Может, слышали, там крестная мать моей жены, инокиня Сусанна, теперь уже покойница, игуменьей была. Ездили поклониться ее праху, да завернули и в другие места. А я-то их жду...

— Очень рада, очень... — оправляя шаль и приветливо вглядываясь в несколько озадаченное лицо гостя, в смущении сказала хозяйка, — как же... Вашего батюшку мы знаем, помним и уважаем...

— Недобрая ты, плутовка! — целуя и обнимая дочь, сказал Вечереев. — Так долго меня не навещала... Рекомендую — Аглая Кирилловна, моя дочь...

Ветлугин поклонился...

— Неожиданность, чистая неожиданность! — продолжал жене и дочери Вечереев. — Но, как бы вы там и каким путем ни ездили, я очень рад. А теперь и вас, Антон Львович, мы подольше удержим. Не окончить же вам дела, да сейчас и ехать. Деревенские обычаи, вероятно, знаете? Притом же вы такой любопытный для нас, домоседов, человек: столько видели, испытали... Проси, жена. В некотором роде российский Ливингстон... Я так, извините, вас и вашему батюшке назвал... Представь, Антон Львович с караваном ходил к Небесным горам и, как видишь, — жив... Проси...

— О, разумеется! — поддержала, окончательно приходя в себя, Вечереева, — для чего вам спешить! — побудьте здесь денек-другой; расскажите нам о добром Льве Савиче... Он так любил и так хвалил нашего Володю...

Вечереев с увлечением стал рассказывать, как он впервые встретил имя Антона Львовича в журнальной статье о попытке нескольких сибирских торговцев проникнуть в Кашгар.

Дочь с любопытством покосилась на господина, который от Небесных гор за каким-то делом явился к ее отцу и утром так неожиданно забрался в их купальню.

Полусвет ли комнаты препятствовал, или уж очень Ветлугин смешался, только в первые мгновения новой встречи с Аглаей он ее недостаточно рассмотрел. Но когда Аглая, откинув за плечи волосы, молча обменялась с матерью быстрым и недоумевающим взглядом, как бы говоря: «Каков! Опять приехал, опять нас с тобою, родная, смутил!» — и медленно, с Библией в руке, отошла к просвету окна, Ветлугину показалось, что по паркету полуосвещенной, обставленной книжными шкафами библиотеки прошла развенчанная царица или случайно слетевшая на землю печальная и гордая фея.

Молодого странника, так еще недавно жившего в глуши, среди грубых дикарей, приковало на месте. Он слушал Вечереева, что-то ему отвечал и что-то объяснял, а между тем раздумывал: «Так вот она, затворница, вот это странное, загадочное существо!» Он не мог отвести взгляда от этого строгого и выразительного лица, на котором, пока длилась беседа родителя с гостем, быстро сменялись то напряженное любопытство, то ласковое, детское изумление, нетерпеливость и робость и рядом с ними молнии лукавой и чуть заметной улыбки. Эта подвижность и чуткость молодости ясно говорили о том, сколько скрытой и сильной жажды к жизни билось в этой девушке. Но тут же на это полное блеска, сил и красоты, налитое пылкою кровью существо вдруг, точно из какого-то неведомого, рокового и темного мира, набегала тень, — и ясность его померкла... Глаза пугливо и пристально устремлялись в сторону, как бы ожидая оттуда иных велений и заветов. И, точно по мановению чьего-то грозного, бледного перста, эта стройная, худощавая девушка, казалось, была готова немедленно опустить руки, склониться покорной головой и бесповоротно, от жизни и света, пойти навстречу мраку, полному призраков, печали и могильной тишины...

— Милости же просим, — сказал Вечереев, отворяя дверь библиотеки и снова провожая гостя, жену и дочь в гостиную, а оттуда на крыльцо в сад, — очень рад, побеседуем...

— Извините меня... Я сегодня утром вас невольно испугал, — сказал Ветлугин, идя с Аглаей впереди других.

— Ничуть, — ответила спокойно Аглая, — я просто была удивлена. Мы никак не ожидали.

— Полюбуйтесь, молодой человек, — начал Вечереев, взяв под руку гостя, — посмотрите на мои тюльпаны, примулы или на это море петуний...

Аглая сошла на цветник, отыскала лейку и стала поливать грядку ночных фиалок.

— Аглая, нарви нам этих цветов, — крикнул с крыльца Вечереев. — Полюбуйтесь, Антон Львович... А? каков запах?

— Отсюда бы не ушел, — ответил Ветлугин, принимая от девушки цветок, — фиалка ж... я лучше не знаю цветов... Народ се зовет ночной красавицей...

Аглая сорвала и подала гостю еще несколько цветков.

— Так и вы любитель сада? — спросила она.

— Я наследовал эту любовь, — сказал, спускаясь к грядкам, Антон Львович, — от отца и от покойницы моей матери.

— Как, вы лишились матери? — сочувственным, робким взглядом окидывая гостя, спросила Аглая.

— Я лишился матери почти ребенком. Мне тогда было не более девяти лет.

— Она теперь далеко, — как бы про себя, взглянув к вершинам дерев, сказала Аглая, — зато она теперь молится за вас.

Что-то чарующее и нежное, как золотой, несбыточный сон, от звука этих слов отозвалось в душе Ветлугина. Ему показалось, что он в это мгновение стоит не здесь, в саду, а где-то далеко, у стены какого-то монастыря, в Испании или в Италии; что сквозь решетку монастырской ограды на него глядят темные мирты и кипарисы, а между них мелькают белые покрывала затворниц.

Гость и Аглая обошли поляну и стали за чащей вязов у реки.

— Иной раз так завидна смерть, — сказала Аглая, — молодость, счастье, надежды, все это так недолговечно...

— Вы не правы, — ответил Ветлугин, — выше жизни нет ничего, и все, что вне жизни, — мрак и запустение без конца.

Сказав это, он невольно смешался и замолчал.

Так прошло несколько мгновений. Чуть заметный ветер колебал ветви дерев. Душистой прохладой тянуло от реки.

— Да где же это вы, господа? — из-под навеса крыльца раздался голос Вечереева. — Я вас зову, зову, а вы и не слышите.

Аглая отозвалась, вбежала на балкон и с новыми поцелуями бросилась на шею к отцу. Ульяны Андреевны не было здесь. Она хлопотала об обеде.

За обедом Кирилло Григорьич оживился и почти не умолкал.

— Меня упрекают, — говорил он, — что я не езжу в столицы, безвыездно живу в деревне. А на что там, я вас спрашиваю, и смотреть? Что в них, в этих столицах, скажите по правде, хорошего? Разве там чтут Моцарта, Гайдна, любят Рафаэля? Кроме водевилей, фальшивых кос и зубов, да пародий на всех и все, — нет у современного человека ровно никаких идеалов... Рыцари желтого шиньона, воля ваша, так и просятся в желтый дом...

— Нет, Кирилло Григорьич, — перебил Ветлугин, — теперь везде и во всем более здорового и полезного труда...

— В чем же этот труд? Где наши великие люди, где гении страны? Кто представляет нынче у нас Пушкина, Брюллова? Где преемники Глинки, Фонвизина?

— В переходные времена гений как бы скрывается, — ответил Ветлугин, — но это только так кажется: он нисходит в чернорабочие силы, переселяется в толпу...

— Великий народ, народ-гений? — резким голосом захохотал Вечереев. — Ну-ка, чем помянуть наши времена? Не рядом ли неслыханных общественных скандалов с племянниками, отравителями богачей дядюшек и с Маратами — из гимназистов четвертого класса? Что же, что у вас хорошего?..

— Здание общества — выражусь сравнением — заново перестраивается, — ответил Ветлугин, — леса еще закрывают его снизу доверху. Рабочие лепятся вдоль стен и на крыше, висят в качалках под карнизами, снуют по временным подмосткам и лестницам... Стучат молотки, визжат пилы, сыплется пыльный мусор, и кирпичи из рук в руки перебрасываются от земли до пятого этажа... Что будет из всего этого, трудно еще сказать. Но гений века, сила вещей, этот главный архитектор — работает без устали над всем... «Больше света окнам, больше простора и чистого воздуха жилью!» — думается, глядя на эти леса: да иначе и быть не может... Время возьмет свое... Ведь там жить будут,

жить, от верхнего яруса до нижнего, до подвала и до собачьей конуры...

— Вашими бы устами мед пить, вашими! — вставая из-за стола и с улыбкой поглядывая на молодого гостя, сказал Вечереев.

Аглая слушала их молча и тотчас после обеда, накинув на голову платок, равнодушно и ни на кого не глядя, ушла. Она явилась опять уже в сумерки.

Вечер хозяева и гость опять провели в беседе на садовом крыльце. Здесь они пили чай, разливаемый Аглаей, здесь их настигла и темная, оглашаемая соловьиными песнями и звоном кузнечиков ночь. Над садом вышел месяц. Стало прохладнее. Все перешли в залу и долго еще, беседуя, ходили здесь при лунном свете... Аглая расспрашивала Ветлугина о Сибири, о ссыльных, о пути в эти далекие края. Потом заговорили о Петербурге, о Москве. Аглая вела речь умно, хотя жизнь столиц была ей незнакома и мало ее занимала.

— Ты бы, Кирилло Григорьич, что-нибудь гостю сыграл! — остановившись и мысленно уносясь в прошлое тихой, полуосвещенной залы, сказала Ульяна Андреевна.

— А вы и музыкант? — спросил Ветлугин.

— Да так себе: остатки молодости... Играл прежде на фортепьяно в четыре руки с женой. Теперь же иной раз один играю на виолончели.

— Сделайте одолжение, сыграйте, — подхватил Антон Львович.

— Что же бы вам сыграть? И не потребовать ли огня?

— Для чего же? — сказал Ветлугин. — Так, в полумраке, лучше...

— Генделя! — чуть слышно шепнула матери, стоя в темном простенке за колоннами, Аглая.

Ветлугин вздрогнул. Ему снова почудилось, что он где-то далеко; над ним громоздятся террасы, балконы и виноградники, и вдруг с одного из балконов над ним раздался шепот: «Ты ли это? Стой! Я давно жду тебя!» Он невольно по-

вернул голову... Аглаи за колоннами уже не было. Она с матерью ходила по зале.

— Не играете ли что-нибудь из Генделя? — спросил, подходя к Вечерееву, Ветлугин.

Кирилло Григорьич сначала поморщился, точно сомневаясь, уж не смеются ли гость и его ближние над ним, неуклюжим и отжившим стариком? Но потом он ободрился, выпрямился и ответил: «С удовольствием! Сыграю вам, если хотите, фантазию на мотив из оратории этого композитора — Иуда Маккавей... Музыка строгая, вроде средневековых монашеских хоралов... Гендель здесь особенно торжествен и возвышен. Но, может быть, Антон Львович, это не в вашем вкусе?»

— О, помилуйте... Кто же не увлекался рыцарскими преданиями? Крест и меч и битвы за милых сердцу... Что может быть дороже! Это меня волновало с детства...

Аглая с сочувствием взглянула на гостя. Ей припомнились легенды о крестоносцах, как те, с шарфами обожаемых красавиц через плечо, шли на гибель за веру. С своей стороны и Ульяна Андреевна снисходительно встретила слова Ветлугина и, глядя на него, шепнула дочери: «Как он напоминает своего отца... Так молод, а столько души!»

Кирилло Григорьич, кряхтя вполголоса, вынес из кабинета потертый китообразный футляр, достал из него старую потертую виолончель, сел у колонн, в темной стороне залы, под хорами, оседлал ее длинными костлявыми ногами и, сказав: «Извольте... я буду играть; а вы себе ходите... только не соскучьтесь меня слушать!» — крякнул, расправил руку и взял смычком несколько несмелых, дрожащих и не совсем-то верных звуков.

Ветлугин поместился в другом углу, близ окон. Он до того при этих вступительных нотах смешался, что подумал: «Какая, однако, жалость... И зачем я попросил старика играть? Хорош выйдет у него этот бедный Гендель...»

Звуки между тем стали крепчать. Смычок начал брать тверже и смелее, и гулкая струна в потемках высокой залы,

сверх всякого ожидания, передавая торжественный хорал, запела не только правильно, но и с неподдельным чувством.

Мать и дочь, обнявшись и изредка перешептываясь, точно тени, под музыку двигались по зале. Они то исчезали в ее неосвещенной стороне, то снова выходили на бледные полосы месяца, в которых чуть трепетали ветви глядевших в окна дерев.

Ветлугину стало казаться, что Аглая и ее мать были теми же звуками виолончели, что они, слетая со смычка и то здесь, то там плавая по зале, сливались с ее чарующей и полной звуков темнотой.

«Видно, не раз, — подумал Ветлугин, — одинокий и угрюмый старик, в такие же лунные ночи, оживлял своей игрой эту пустынную залу. Сколько хорошего завез он в эту глушь и дичь, где из других выходили одни плотоядные звери либо грубые, самодовольные и бессердечные пошляки...»

Ульяна Андреевна ушла во внутренние комнаты. Расстроенная воспоминаниями о прошлом, она украдкой утирала слезы. Многое вспомнилось Вечереевой: молодость и свежесть чувств, теплота непорванных надежд и ничем не омраченная вера в счастье.

Ветлугин также перенесся мыслями к своему прошлому. Но он мог думать только об одном... Точно околдованный, он из темного угла следил, как Аглая, заложа руки за спину и не поднимая глаз — упиваясь игрой отца, — медленно ходила взад и вперед по зале.

«Как? — думал он. — И этой девушке суждено заглохнуть? Ей — единственной дочери этого старика? И все, что сулит жизнь и чем она дорога для мыслящего существа, пройдет мимо, не коснувшись ее?»

Антон Львович встал, подошел к Аглае и рядом с нею сделал несколько шагов. Разговор не вязался. Все, что ни говорил гость и что ни отвечала ему Аглая, казалось таким обыденным, бледным! Они замолчали, слушая музыку и продолжая ходить.

— Какие звуки! — как бы про себя сказал Ветлугин.

Аглая, казалось, не расслышала его слов.

— Где вы? — тихо спросил ее Ветлугин.

Аглая замедлила шаги.

— Извините, — продолжал он, — ваши мысли, вероятно, не здесь... вы далеко, не в этих местах...

— Да, — чуть слышно ответила Аглая.

— Где же вы?

— Наверху высокой-высокой горы, — полузажмурясь, точно действительно в ту минуту она стояла над крутизной, сказала Аглая.

— Что же там, наверху этой горы?

— Лес, свежий воздух, скалы... да мало ли еще что! И тишина, такая тишина... Ах, какое чудесное, синее, далекое небо... А в небе светлые, с голубыми крыльями в с огненными мечами ангелы...

— А земля оттуда видна?

— Земли не видно... Да, впрочем, на землю нечего и смотреть. Нет на ней ничего утешительного...

— Кто вам это сказал?

— Обман, предательство, алчность сильных и бесприютное горе голодных и бедных, — сказала Аглая, — вот что... Или вы скажете, я не права? Что же хорошего там у вас, на земле? — обращаясь к гостю, спросила она.

— Все есть, и хорошее, и дурное, — тихо ответил Ветлугин, стараясь не заглушить игры Вечереева, — жизнь — как жизнь... Она разнообразна. Для хороших и честных — это отрадный, хотя подчас и тяжелый подвиг. Что из того, что иногда весь век — борьба без конца за все: за кров и за пищу, за самые первые потребности? В этой-то борьбе и в ее победах над жизненным злом и заключается счастье...

Аглая, не глядя на Ветлугина, думала: «Ну, продолжайте; что далее? Я вас слушаю...»

— Мир отшельников, мир созерцательный, — продолжал Антон Львович, — это не искренний ответ на призыв матери-природы: это — измена и смерть. Кому, скажите,

нужен жалкий, безумный подвиг добровольного самоубийства? Мы рождаемся для счастья, для блага своего и других. Кто говорит противное, тот либо достойный сожаления слепец, либо недобрый человек.

Аглая ничего не ответила на это, хотя слов, только что произнесенных перед нею, она никогда не слыхала. Сердце ее тревожно билось. В широко раскрытых глазах выражалось изумление и испуг. Гость ее страшил, но вместе с тем ей дорого было его внимание. И она думала: «Как жаль, что во мне, дикой, несветской и неумной, он не найдет того, что, быть может, хотел бы найти!»

Вечереев приостановился играть.

— Что, я еще вам не надоел? — отозвался он из-за колонн.

— О нет, играйте, музыка превосходная! — поторопился ему ответить Ветлугин.

— Не правда ли, как она отвечает поэтической легенде о Маккавеях, — спросил Вечереев, — помните, как это поэтически? Горсть храбрых поразила полчища врагов и возвратила своему отечеству независимость и свободу...

— Притом же вы так исполняете, — сказал Ветлугин, — виолончель у вас поет, как кантор в средневековой капелле... Мне так и видится мрачный готический собор, разноцветные узкие окна, густые клубы дыма, высокие свечи и балкон проповедника...

Вечереев стал опять играть. Аглая прошла несколько шагов и обратилась к Ветлугину.

— Скажите мне, — спросила она, — вы читали Библию — Ветхий завет?

— Читал...

— Это моя любимая книга, — продолжала она, — помните ли вы то место, как родные братья изменой продали в рабство Иосифа?

— Помню...

— Не правда ли, какая низость? Было давно, а поражает и теперь. Верите ли?.. Однажды, еще ребенком, проездом

в монастырь к покойной бабушке, я ночевала с матерью на бедном постоялом дворе... Было лето... Светил, как вот и теперь, яркий полный месяц. Меня положили у окна. Спать мне не хотелось. Лежать надоело. Перед тем мы ехали лесом... Птичьи крики, светлые поляны и цветы не выходили у меня из головы... Я встала, взяла со стола от матери эту книгу и при свете месяца стала ее читать на окне... И с той поры брат, проданный родными братьями, не покидает моих мыслей... Чуть стемнеет, во мраке мне так и чудится бедный, предательски брошенный в темницу Иосиф... И я молюсь... а и как не молиться? Люди в первые века для молитвы бросали все и уходили в пустыню...

— Я с вами не согласен, — возразил Ветлугин, — есть книги лучше упомянутой вами...

Аглая остановилась.

— Какие? — спросила она.

— Раскройте Евангелие... Его, разумеется, вы читали. Но — извините — вдумывались ли вы в него? Там говорится, что были на свете простые рыбаки... Бросили они сети и, вслед за Учителем вечной правды и любви, пошли проповедовать людям прощение обидевшим нас и труд на пользу ненавидящих, преследующих нас... Вот где задача жизни и вот где ее венец... Не в пустыню современному человеку надо идти, а в самую глубь житейского моря. Надо прислушаться к нуждам бедных, узнать их горести, помогать им, и они нас благословят. В Евангелии сказано — я помню эти великие слова: «Отдай богатство твое не имущим его, и имети имаше сокровище на небеси...»

Прилив новых, нежданно нахлынувших ощущений охватил и взволновал Аглаю. Многое вдруг стало казаться ей в ином свете; но она и виду не подала, что была увлечена словами гостя. Только белая косынка на сером ее платье поднималась высоко, да пальцы рук судорожно сжимались. Она обрадовалась, когда из коридора блеснул свет лампы и возвратилась Ульяна Андреевна. Ей даже стало чудиться, что кто-то незримый и крылатый парил над нею, и она,

замирая, в испуге слушала его шепот, ждала его прикосновения...

Филат доложил, что подали ужин.

Вечереев взял еще несколько звуков, кончил фиоритурой собственного изобретения, встал и начал прятать виолончель в тот же китообразный футляр.

— А теперь милости просим подкрепиться на сон грядущий! — сказал Вечереев. — Мы по старине — ужинаем.

За ужином он разговорился о своих дамах.

— Не понимаю, — сказал он, — из-за чего они странствуют? Что может быть выше тихой домашней жизни?

— И вы не скучаете? — спросил Ветлугин.

— Помилуйте, где тут скучать: я играю, читаю и изучаю Беранже, Руссо, перевожу бессмертного Мильтона... О, это — великий поэт... Кисть огненная.

— Прозой переводите? — спросил Ветлугин.

— Какой там прозой, стихами, да еще какими. Одна беда: некому слушать. Верите ли, даже забавно... Раз я повез прочесть отрывок из перевода одному здесь соседу. А он извиняется: некогда, братец, проект перевода натуральных повинностей в денежные прислали, пишу протест. Я к другому; этот говорит, да так искренно: не лучше ли в преферансик?.. Ну, с тех пор я, разумеется, ни к кому уж и не езжу...

— Ты, Кирилло Григорьич, напрасно, однако, всех коришь, — вмешалась Ульяна Андреевна. — Твой приятель Ченшин, к которому ты теперь ездил... он всегда был тебе по сердцу...

— Был, матушка, действительно, один, да и тот вон сплыл... В спекуляции пустился и уж, разумеется, моих переводов, как и другие, слушать теперь не станет...

Аглая сидела молча, не поднимая глаз от тарелки.

— Что задумалась? — спросил, бросая в нее хлебным шариком, старик.

Она детски ласково улыбнулась отцу, налила себе в стакан воды, чуть коснулась его губами и молча опять поставила на стол.

— Какая тишина, — сказал Вечереев, глядя в раскрытое окно, — даже мотыльки не летят на блеск лампы. А кстати, Аглая, давно ли ты видела своих пчел?

— Давно... с прошлой осени не видала...

— Ну и отлично. Завтра же утром не худо бы всем нам съездить взглянуть на твой пчельник. Славное местечко, Антон Львович, на взгорье, у ручья. Доход с пчел моя дочка прежде отдавала здешним сиротам и бедным, а нынче все куда-то копит. Что краснеешь? Или и ты тоже собираешься на какие-нибудь аферы?.. Я, разумеется, советовал ей лучше тратить деньги на наряды; так куда! не слушает... Ну что, господа, едем взглянуть на дочкино хозяйство?

Ветлугин молчал. Аглая вопросительно взглянула на мать.

— Нет, Кирилло Григорьич, утром нам нельзя, — ответила Ульяна Андреевна, — завтра мы заняты.

— Ну так вечером; это будет еще лучше.

От пчел разговор перешел к столичным и другим новостям. Коснулись и недавних событий за Уралом.

— Все ширятся и ширятся, — сказал Вечереев, — и что там нашли привлекательного?

— Кто не был в тех краях, не поймет, — ответил Ветлугин. — Страна ссылки скоро станет лучшею русскою колонией.

Антон Львович, вспомнив расспросы Аглаи, увлекся похвалами Азии вообще и стал описывать широкие и многоводные сибирские реки, тамошние полные драгоценных металлов горы и долины — и, как о чем-то волшебном, заговорил о сибирской весне, о фазанах, диких кабанах и оленях, о древовидных можжевельниках и рощах боярышника с душистым багульником, дикими анемонами и богородицыными слезками...

Аглая раскраснелась, Ветлугин не глядел на нее. Но он ощущал на себе ее внимательный, с робким любопытством устремленный на него взор.

«Что со мной?» — пронеслось в голове Антона Львовича, когда после ужина, простившись с хозяевами, он вышел

в сад и темными росистыми дорожками вновь направился на ночлег в знакомую беседку.

«Что со мной? — повторил сам себе Ветлугин. — И неужели вся моя жизнь клонилась именно к тому, чтобы нечаянно на перепутье, здесь, в глуши, встретить эту полную загадок, странную и чудную девушку?..»

XI

Потерянный рай

Ветлугин взошел на крыльцо беседки и остановился. Его невольно манило опять туда, к этим сумрачным и полным дремоты дорожкам. Месяц закатился за садом. Кругом было тихо. Кое-где только позванивал неугомонный кузнечик. В воздухе то здесь, то там раздавался шорох летучих мышей. Слышался плеск разыгравшейся в сонных омутах рыбы. Над рекой шелестели крылья возвращавшихся с полевой кормежки диких уток...

Ветлугин прошел несколько дорожек. Перед ним опять поляна, двор и дом. Окна везде темны. Светится одно только вверху.

«Видно, это ее комната», — подумал Антон Львович. Его сердце сильно забилось. Малейший звук кидал его в холод и в жар. Он хотел уйти и до мелочей принимался вспоминать, как все это с ним случилось. Что случилось? Да и произошло ли что-нибудь особенное с ним и вокруг него?

Как он возвратился в беседку, как разделся и заснул, этого он припомнить не мог. Встал он довольно поздно. Утро давно наступило.

Наскоро одевшись, Ветлугин прошел к дому и остановился. Со двора несся гул множества голосов. То были местные крестьяне, кое-кто из соседних деревень и духовенство. Справлялись поминки по хозяйскому сыну. Па-

нихида отошла. Народ кончал ранний заупокойный обед. Ульяна Андреевна с церковным причтом беседовала на переднем крыльце. Здесь же, несколько поодаль, стояло несколько монахинь. Аглая ходила между поминальщиками, подсаживалась к знакомым крестьянкам, ласкала и целовала детей и обносила водкой стариков.

— Много лет и счастья тебе, красавица ты наша! — сказала, подходя к ней с другими дворовыми бабами худенькая, в темном коленкоровом шугайчике кормилица ее Егоровна. — И отчего тебе все ездить да ездить? Жила бы здесь... А мы тебе нашли бы хорошего жениха, богатого и вот какого красавца.

— Не придется мне, кормилица, по душе никакой! — ответила, краснея, Аглая.

— Отчего же не придется, пташка ты наша поднебесная? — подхватили другие бабы.

— Уж такая я, видно, народилась...

— Плетешь, матушка, путы путаешь, ненаглядная! — приставали к Аглае подгулявшие бабы. — Знаем мы вас, молодок-то. Ну-ка, глазком сюда туда метни... Али век в девоньках быть?

Со стороны сада раздались знакомые мерные шаги. Дребезжащий обрывавшийся голос напевал песенку:

Lorsque l'ennui pénétre dans mon fort,
Priez pour moi, je suis mort...
Quand le plaisir, á grands coups m'abreuvant,
Gaiement m'assiége et derriére et devant,
Je suis vivant, bien vivant, trés vivant...

Из-за дерев, с простыней в руке, показался Вечереев. Он был не в духе.

— Три бабы — базар, семь — ярмарка!.. Ох, уж эти мне поминки! — с досадой, поморщившись, кивнул он ко двору. — Все ладан, да рясы, да заупокойные молитвы. Как наедут — монастырь монастырем. Матушка Сусанна год уж как скончалась, сын — семь лет. А они все панихиды справляют... Жить не умеют... и другим не дают... Ну, как же вам спалось?

— Ничего, благодарю вас. Кто эти монахини? — спросил Ветлугин, указывая на крыльцо.

Вечереев бережно развесил на кустах простыню и с презрительною усмешкой, подмигивая на инокинь, стоявших возле Ульяны Андреевны, ответил:

— Как видите! Любимое препровождение времени моей благоверной. Когда-нибудь вам расскажу. Предмет, во всяком случае в наш век, любопытный... А знаете ли, как эту братию чести́т народ?.. — усмехнувшись злобно, сказал Вечереев.

— Не знаю.

— На что, говорит, прыток черт, да и тот монаху не попутчик; и потом: черней монаха, говорит, не будешь...

Поминальщики разошлись. Кирилло Григорьич с приказчиком толковал в кабинете. Ульяна Андреевна в комнате из коридора беседовала с старшею из инокинь. Аглая вышла на балкон. Не застав здесь отца, она возвратилась в залу и подошла к зеркалу. Ее глаза были заплаканы. Щеки горели. «Противная, противная, — сказала она себе, глядя в зеркало и утирая лицо, — все спрашивают... Когда бы уж скорее конец!»

Она обернулась, вздрогнула. К ней из гостиной подошел Ветлугин. Они поклонились друг другу. Аглая сняла с окна пачку новых газет и предложила их гостю.

— У вас, кажется, хорошая библиотека? — спросил Ветлугин.

— Старинная. Некоторые находят, что в ней мало новых книг.

— Что вы из нее читали?

— Очень мало или почти ничего... Боссюэта, Массильона, Шатобриана... кое-кого из русских... Дядя мой, Николай Ильич Милунчиков, привозил кое-что из своих книг, но мы с ним редко видимся...

— Хотите, я вам что-нибудь отберу в нашей библиотеке?

Аглая смахнула платком пыль с фортепьяно, переставила на подзеркальнике канделябр, подумала и ответила:

— Благодарю... Мне советовали... не знаю, есть ли здесь... говорят, что это хорошо... «Освобожденный Иерусалим»...

— Кто вам это советовал?

— Одна моя подруга.

— Дочь здешнего священника?

— О, нет, — сказала Аглая, — она таких книг не читает: больше любит романы. Я упомянула о другой — об одной из послушниц, живших в бабушкином монастыре.

Аглая провела гостя в библиотеку. «Освобожденного Иерусалима» не нашли. Зато Ветлугин отобрал для нее кое-что ей незнакомое из Жуковского и Пушкина, а для себя несколько томов Шиллера и издание Лермонтова. Принимая от Ветлугина выбранные для нее книги, Аглая попросила у него на время и те, которые он отложил для себя.

— Зачем вам разом столько? — спросил Ветлугин.

— Я ничего не люблю делать наполовину, — ответила Аглая, — и все это я прочитаю вместе. Дядя говорил об одной вещи... После, пожалуй, еще не удастся...

Обедали под навесом балкона, на воздухе. Аглая к столу не вышла.

«Неужели она так усердно занялась чтением?» — спросил себя после обеда Ветлугин.

Все разошлись по своим углам. Уходя в беседку, Ветлугин невольно взглянул на верхнее окно, где прошлою ночью светился огонек. Это окно было теперь раскрыто и на нем, возле соломенной шляпки, стоял в стакане воды свеженарванный пучок ночных фиалок. Ветлугин сошел в сад и сам не понимал, куда идет. Он исколесил несколько дорожек, спустился к реке, прилег на пригорок и стал оттуда смотреть на то же окно. «Ее ли это комната, — думал Ветлугин, — и что значат эти фиалки?» Долго здесь сидел Антон Львович. Крохотная серая птичка, что-то высматривая, чирикала и прыгала перед ним в тростнике. Пчела зве-

нела и вилась над алой чашечкой лугового цветка. В траве прошмыгнула и вверх хвостом на каком-то стебле, дыша зеленой грудью, уселась резвая ящерица. «Придет зима, — размышлял Ветлугин, — ударит вьюга и все это заметет. Не будет ни пчелы, ни ящерицы, ни птицы». Ему вспомнилось его далекое детство, кроткий лик и русая, большим узлом повязанная коса покойной матери; сказки няни, игры с прочими детьми... «Нирва́на, смерть, небытие! — сказал он сам себе. — Откуда бы эта печальная истина ни приходила, оттого не легче. Правы великие мыслители: счастье — дикая, неосуществимая мечта. Смерть поглощает все: любовь, дружбу, славу, семейную жизнь, науку и всякое могущество. Чем более побед ума, тем сознательнее беспомощность и злополучие человека. Начало его — страдание; конец — разлука со всем... И зачем люди любят, привязываются друг к другу, женятся?.. Нирва́на, смерть!.. Подальше от всего этого...»

Ветлугин возвратился на балкон. Там не было никого. Он заглянул в гостиную, в библиотеку и в залу и вышел на переднее крыльцо. Здесь была вся семья.

У подъезда, гремя бубенчиками, стоял запряженный парой небольшой фаэтон. Коляска четверней стояла возле. Вечереев с женой сидел в фаэтоне; в коляске сидела Аглая и дочь священника Фросинька.

— Вот он, — воскликнул, завидя гостя, Вечереев, — а мы-то вас ждем... Чуть не отложили поездки... Искали вас везде: по саду и даже за рекой. Я уж думал, не пошли ли вы охотиться?

— Куда же вы это собрались? — спросил, точно просыпаясь, Ветлугин.

— Вот они, молодые-то дельцы... Ай-ай! Уж вы и забыли наше давешнее условие о поездке на пчельник? Надо же и хозяйкам доставить удовольствие. Садитесь. Но, позвольте, однако... Куда вас посадить? С нами тесно... Садитесь с девицами... Вам, кстати, будет и веселее. Рекомендую — Афросинья Адриановна, дочь нашего священника.

Ветлугин поклонился.

— Антон Львович, может быть, знаток в агрономии, — сказала Ульяна Андреевна, — и в таком случае не откажите сообщить девицам что-нибудь о пчеловодстве... В древности покровителями пчел были святые Зосима и Савватий...

— Ну, ты опять за свое, — перебил Вечереев, — это уж никак ни из агрономии.

Ветлугин сел в коляску. Загремели бубенчики, закурилась пыль. Оба экипажа выехали за ворота.

Аглая молчала. Лицо ее было спокойно, но бледно. Коляска выбралась в поле.

— Вы прочли что-нибудь из взятых вами книг? — начал Ветлугин.

— Прочла.

— Что же именно?

— «Демона» и «Каменного гостя». Я вам говорила — дядя мне советовал прочесть...

— Как же эти вещи вам понравились?

Аглая медлила ответом.

— Не следовало мне их читать, — сказала она.

— Почему? — спросил с удивлением Ветлугин.

— Странные книги... увлекательно и вместе страшно... Особенно «Демон» — как хорош! Нет, этого быть не могло...

— Но почему же не могло быть?

— Разве это допускается свыше? Разве так возможно?

— Чудные стихи! — перебила ее Фросинька:

Я враг небес, я зло природы —
И видишь, я у ног твоих...

И далее:

Святым захочет ли молиться,
А сердце молится ему...

— Да, это хорошо; но как грустно — какой поразительный конец! — сказала Аглая.

Она закрыла рукой глаза и, как показалось Ветлугину, даже вздрогнула.

Обыкновенно веселая и разговорчивая, Фросинька тем временем, поглядывая на подругу, сидела нахмуренная и недовольная. Коляска отстала от фаэтона. Поле покрывалось сумерками. Перепела и жаворонки смолкали. Белые косынки развевались на головах девиц.

— Вы любите сельскую жизнь? — спросил Ветлугин Фросиньку.

— Не очень-то, — ответила она, — впрочем, где жить? И в деревне бывает хорошо. Я, например, теперь сердита, да, сердита, — потому что не постигаю людей... Из-за чего иные печалятся, из-за чего пасмурные мысли? Для меня жизнь — праздник... И если бы от меня зависело, если бы только зависело... Ну, да что тут! Отобранные вами книги мы вот с нею читали вместе... Не мигай мне, Алинька, не мигай!.. Я скажу правду: почаще бы вам, Антон Львович, к нам ездить. Право, с вами точно свет настал... Вот и поездки, и книги, и живая речь... А здесь, в этом скучном углу, разве жизнь? — с тоски умрешь. Заедет иной раз Милунчиков, Николай Ильич... Но и он такой всё хмурила, недовольный...

Аглая с укором взглянула на откровенную подругу; даже завела было посторонний разговор. Но та не хотела угомониться.

— Полно, Аличка, не лукавь, — продолжала краснощекая Фрося, — как будто неправда? Вот уж я не люблю политики и пустяков. Что твоя мамаша — святая, всяк знает; что твой папаша постоянно вздыхает или декламирует, как немецкий пастор, и в своем белом балахоне иной раз похож на выходца с того света, тоже не секрет... Мой родитель день-деньской в хлопотах по требам и по хозяйству. Ну, как тут откровенно не радоваться живой посторонней душе? Я же, хоть и дочь священника, или, как там попросту нас зовут, поповна, — ну а ни одной скучной святоши не пускала бы к себе и на порог. Отворила бы двери для всех добрых и умных людей, веселилась бы, оживила бы целый околоток и добро делала бы, только по-своему, а не так, как иные...

Ты вон все упрашиваешь меня: научи, Фросинька, как мне жить, как сделаться хорошею... Вот я тебя и учу...

Аглая с возрастающим изумлением слушала смелые речи Фросиньки и не знала, куда глядеть.

— Был, год назад, здесь еще один человек, — продолжала Фросинька, — бывший землемер, теперь управитель имения Талищева, Фокин. Попал он в наши места случайно. По просьбе Кириллы Григорьича межевал прошлым летом его чересполосный лес и тоже нам от скуки читал и рассказывал. Только, нет... он какой-то странный...

Фросинька нахмурилась, а потом весело рассмеялась.

— Бредит перестроить все человечество, — продолжала она, — а сам целые дни, как выпадет, бывало, отдых, пролеживает с газетой и порванного локтя не соберется отдать в починку...

Шесть-семь верст путники проехали скоро. Экипажи остановились на взгорье, у небольшой тенистой рощицы, спадавшей к ручью. Здесь-то, под липами и ольхами, белели ряды чистеньких, покрытых глиняными мисками ульев, а среди них стояла поросшая травою землянка пчелинца.

Все вышли из экипажей.

— Какой вид, какое очаровательное затишье! — сказал Вечереев. — Не правда ли?

Ветлугин подошел к нему.

— Здесь только бы читать Мильтона, — воскликнул Вечереев, — знаете ли вы, мой друг, сколько дивных мест в его «Потерянном рае»?

Старик прошел между ульев, стал на краю взгорья, под деревом, поднял руку и, как древний бард, освещенный отблеском зари, с чувством, хотя от волнения обрываясь, произнес:

Ты, все проклявши, убежала...
О, Ева, где же наш Эдем?
Твердь неба заревом сияла,
Когда по ней ты пролетала —
И мраком путь мой застилала,
А сатана был глух и нем...

— Нет! нынешние поэты не сравнятся с прежними, — вздохнул, отходя к дамам, старик. — Где же отец Адриан?

— Папенька будет позднее, — ответила Фросинька.

Хозяева занялись осмотром пчел. Гость беседовал с пчелинцем. Затем все общество взобралось на вершину холма, где под старейшей из лип слуги разостлали ковер и поставили самовар. Когда был разлит чай, подъехал на повозке и священник. Вечереев ему и деду-пчелинцу объявил отменную благодарность за наблюдение над хозяйством Аглаи и подарил отцу Адриану для его пегашки несколько десятин овса, а пчелинцу — лесу: внукам на избу. Все, начиная с Вечереева, были в духе.

Солнце догорело. Внизу, по кочковатым берегам ручья, поднялось многоголосое, далеко слышное кваканье лягушек. Вдали в деревне тянулось стадо овец. Беседа гостей и хозяев смолкла. Все встали, любуясь пышным закатом зари.

Аглая, трогая зонтиком траву, молча стояла поодаль. Вечереев что-то ласковое припоминал жене.

— Право, Кирилло Григорьич, — сказал Ветлугин, — решительно бы отсюда не уехал...

— Да и не уезжайте, — вполголоса обратилась к нему Фросинька, — я вам, если вы любопытны... если вы добрый человек... после что-то сообщу...

— Что же именно? — спросил, подходя к ней, Ветлугин.

Фросинька оглянулась.

— Есть люди, которых нельзя не жалеть, — начала она и остановилась, — вы скоро, вероятно, услышите об одной драме... печальной и непостижимой... Только молчите, заклинаю вас, до времени... после объясню...

— Однако пора и ехать, — сказал Вечереев, — подавайте лошадей.

5—1529

Стали садиться в экипажи. Фаэтон со стариками Вечереевыми двинулся вперед. Аглая села в коляску. Фросинька не подходила.

— А ты? — спросила подругу Аглая.

— Папенька берет меня с собой в слободку к дядюшке: давно ему дал слово. Не бойся, доедешь и сама.

Подошел священник.

— Да-с, Аглая Кирилловна, уж извините, — поддержал он, — завтра мой брат именинник; так надо его навестить. А моя лошаденка притомилась. Весь день ездил по требам... Знаете, труда немало; хоть и толкуют про нас, что поп да петух и не евши поют.

Аглая растерялась, взглянула на дорогу. Но фаэтон родителей в сумерках погромыхивал уже далеко, и она поневоле поехала одна с Ветлугиным.

При спуске с одного из косогоров лошади чего-то испугались и было понесли. Кучер впопыхах чуть не выронил вожжей.

Аглая бросилась на подножку коляски.

— Куда вы, куда? — вскрикнул, хватая ее за руку Ветлугин.

— Ах, позвольте... Как быстро мчатся лошади! — впиваясь глазами в темное, летевшее навстречу пространство, шептала Аглая.

— Умоляю вас, Аглая Кирилловна, сядьте.

— Нет, нет! погодите... Так хорошо.

Волосы Аглаи развевались. Рука была холодна. Замелькали кусты. Запахло сыростью. Коляска врезалась во что-то мягкое.

— Сбились мы? — спросил Антон Львович кучера.

— Маленечко взяли в сторону; да оно и лучше: по песку лошади одумаются.

И точно, коляска поехала тише. Начался сосновый бор. Где-то в его глубине слышалось журчанье ручья. Откуда-то доносился лай собак. А вдали, сквозь чащу дерев, как голова привидения, поднимался красный шар месяца.

Аглая села на прежнее место.

— Не понимаю, — сказала она, — из-за чего беречь жизнь, когда всем и всему один конец...

«Погашение всего в небытии, — пробежало в уме Ветлугина, — натурфилософы и отшельники сходятся на одном...»

— Жизнь коротка, — сказал он, — и подчас тяжела; но великие мира, гении искусств и наук, повелители царств, умершие давно, дорого бы дали, чтобы променять свои славные могилы на жизнь последнего нищего на земле.

— Весь мир единой души не сто́ит, — ответила Аглая, — мир не вечен, только душа нетленна... Небо и земля мимо идут, словеса же Господни не идут мимо...

— Вы мало знаете жизнь, — возразил Ветлугин, — если бы вы ее узнали более, вы убедились бы, что в ней один миг иногда сто́ит целой вечности...

Аглая хотела ответить и не находила слов. Ей казалось, что между нею и ее спутником в это мгновение сидело третье существо; то была другая Аглая, новая, непохожая на первую. «Слушай его, слушай, — шептала ей эта вторая Аглая, — он ласковый, добрый, умный такой, и недаром ты его встретила...»

Вся помертвев, с холодными руками, сидела Аглая, боясь глядеть в обступившую ее темноту. Лошади неслись быстро.

Коляска стала спускаться к усадьбе.

Сославшись на усталость, Ветлугин отказался от ужина. При прощанье с хозяевами он мельком взглянул на Аглаю: глаза ее светились странным, тревожным огнем. В лице выражалась решимость. В первый раз, отвечая поклоном на поклон гостя, она крепче обыкновенного, по-мужски, пожала ему протянутую руку и сказала:

— Мы говорили о вечности; может быть, вы и правы — жизнь иногда ставит такие неразрешимые загадки...

— Смотрите проще на жизнь, — ответил Ветлугин, — в ее простоте — лучшее счастье.

— Счастье, сказали вы?.. Да если оно недолговечно, если все оно — один миг... сто́ит ли думать о таком счастье?

«Что она хотела сказать? — войдя в свою комнату, точно опаленный искрами нежданного блаженства, терялся в догадках Ветлугин. — Что на уме у этой чудной девушки?.. О! ей суждено счастье, и она его достигнет! Вот с кем трудиться, вот с кем жить!» — повторял он, замирая от страха за свои безумные, сладкие, дерзкие мечты.

Антон Львович долго сидел на диване, наконец стал раздеваться и уже собирался задуть свечу, как к нему постучались.

— Войдите, — сказал он, — дверь не заперта.

Вошел Кирилло Григорьич.

— Вы меня извините, — начал через силу, усаживаясь у постели гостя, старик, — я пришел к вам за советом, пришел с посетившей меня тяжкою бедой...

— Что с вами, вы так бледны? — спросил Ветлугин.

— Я затрудняюсь... Но верьте мне, я бы вас не беспокоил...

— Говорите, говорите.

— Моя жена... — сказал Вечереев, — я этого только не замечал... кажется, окончательно помешалась... О, пожалейте меня, наделите советом. Вы... вы так напоминаете мне моего сына. — Голос старика задрожал. Слезы подступили к его горлу. — Мало того, — продолжал он, — что моя жена ни с того ни с сего начала ездить по монастырям да по церквам... Нет, она... простите меня, старика, за откровенность!.. Она, безумная, и единственную нашу дочь... стала с собой возить... И всегда я, всегда, всегда ждал, что она ее погубит... А теперь, сегодня... О! зачем я ранее не принял мер, ранее, слепой и негодный старик?

— Что же такое у вас случилось? Не стесняйтесь, откройте мне все по душе.

— Открыть? Вон кого спросите, там! — вскрикнул Вечереев, указывая торжественно рукой вверх. Его черные глаза были тусклы. В каждой черте лица выражалось

смятение, горечь и страх за нечто, ожидавшее его впереди.

— Там, — еще громче закричал, дергая за руку Ветлугина, старик, — в небе пишутся приговоры всему... Здесь же мы — жалкая мелочь и прах... Я потерял жену; потеряю, кажется, и дочь...

— Но что за причина подобному настроению ваших близких?

— У жены потеря сына: печаль, чтение отшельнических книг; у дочери, разумеется, пример матери. Пока Алинька училась здесь, с дочерью священника, все было хорошо. Но я отпустил их однажды в скит к крестной матери моей жены... С тех пор и пошло.

— И давно это случилось с вашей женой?

— Семь лет куролесит, семь лет! — задыхаясь и с силой ударяя себя в грудь, сказал Вечереев. — Верите ли? Как тут было девочке не сойти с ума. Дом у меня большой, поместье устроено отлично. Тут бы только жить да жить. Так нет. Эта безумная, эта причудница, моя жена, всем пренебрегла. Началось с того, что она стала запираться в дальних комнатах, окружать себя захожими монашенками и всякими попрошайками... Срам, бывало: ходит простоволосая, неодетая; зажжет свечи перед образами, накурит по дому ладаном. И вся эта компания на моих глазах ночь напролет читает подвижнические молитвы либо в песнопениях славит про мучеников. Я вас спрашиваю, каков был пример для Аглаи?

— Да, — согласился Ветлугин, — но отчего же вы не пробовали развлекать вашей дочери? Отчего не удалили от матери?

— О... — простонал Вечереев, отчаянно замотав головой и смаргивая покатившиеся по лицу слезы, — все было испробовано, все... Я предлагал жене отдать дочь куда-нибудь в лучший пансион. Она отдала ее, но — не прошло и года — от разлуки с нею заболела. Я три зимы сряду советовал везти Аглаю в Москву или в Петербург; а она повезет ее

и опять очутится где-нибудь в монастыре. И всякий раз накупит ей новых священных книг: жития первых мучеников, Фому Кемпийского, Ефрема Сирина и других... Этой зимой я рассчитывал прямо отнять у нее Аглаю и с племянницами одного знакомого отправить ее подалее в чужие края. Но она опять, из другой вотчины, где они обе тогда гостили, уехала с Аглаей на богомолье в Киев... Теперь, как вы знаете, они снова ездили... Все сделано и все испробовано: игрушки, наряды, веселые сверстницы, опытные наставницы, ничто не помогло... ничто...

Вечереев откинулся в кресло и закрыл лицо руками.

— Успокойтесь, — бросился утешать его Ветлугин, — напрасно вы так отчаиваетесь... Мне кажется... я давеча ехал с Аглаей Кирилловной... я ничего в ней такого не заметил...

— Ничего? — закричал опять, блуждающими глазами уставясь в гостя, Вечереев. — Ничего? — повторил он дергая его за руку. — Так слушайте же... Нынче, после ужина — за которым ни жена моя, ни Аглая ничего, как у какого врага, не ели, — все разошлись по своим комнатам. Вдруг меня зовут наверх... Там с детства комната дочери. Я пошел туда. Смотрю, Аглая плачет. — «Что с тобой?» — Молчит. Оглядываюсь, у нее жена. «Что все это значит?» — спрашиваю у жены. Та подходит, ломает руки! «Заклинаю тебя, — говорит, — не откажи, сделай Аглаю счастливой».

Вечереев помолчал.

— Вы понимаете, — продолжал он, — счастье дочери... Как отозвались во мне эти дорогие слова? Что ответили бы вы на моем месте?

— Я спросил бы, в чем это счастье?

— Так сделал и я... «Скажи, — говорю, — прежде, в чем дело?» «В чем дело? — говорит жена. — Вот в чем — помоги Аглае: продай или заложи нашу другую вотчину и дай ей выдел». — «Но зачем ей, — спрашиваю, — эти деньги? Разве она не единственная наследница всего нашего

состояния?» — «Отпусти ее, — говорит, — в монастырь... Она внесет эту сумму на келью и, коли сподобит Господь, останется там навсегда... Не лишай ее ангельского чина... Не бери на душу греха...» Обращаюсь к Аглае — та не возражает.

Ветлугин остолбенел. Сердце его упало. Над головой потянуло холодом.

— Что скажете на это? — спросил его Вечереев.

Ветлугин молчал. Он, казалось, не понимал обращенного к нему вопроса. Все в душе его сразу будто умерло, погасло, куда-то улетело.

Вечереев не спускал с него померкшего взора.

И вдруг с силой, снова задергав Ветлугина за руку, он закричал:

— Жалости в людях нет, жалости. Все пропало; все проглядела эта седая глупая голова... Куда мне ехать, кого просить? Все состояние отдал бы я, чтоб этого не случилось... И если она... если Аглая... действительно пойдет в монастырь... слушайте... жизнь моя тогда кончена... Я либо брошусь в омут, либо застрелюсь...

— Вы хотите, — сказал Ветлугин, — сделать вашу дочь счастливою? В вашей власти не соглашаться на просьбу жены.

— Не соглашаться? О! вы не знаете моей жены, не знаете... Она... Да что тут...

Старик не договорил. Он упал головой на стол и, повторяя: «Вы не знаете моей жены», — зарыдал как ребенок.

XII

Дед Лукашка

Весть о намерении дочери поступить в монастырь сильно сразила Вечереева. Он провел ночь без сна, а к утру заболел. Через день ему стало хуже.

Все в доме повесили головы. Прислуга ходила на цыпочках, у двери в кабинет, где лежал больной, сторожил Филат. Ветлугин хотел навестить Кириллу Григорьича, но его к нему не пустили.

— Барыня вторую ночь там сидят, — шепнул ему многозначительно Филат, — за доктором послали...

Аглая, не замечая гостя, несколько раз проходила в кабинет и возвращалась оттуда с заплаканными глазами.

Перед обедом, по приглашению Вечереевой, наверху в комнате Аглаи отец Адриан отслужил молебен о здравии болящего. А к вечеру, когда уже приехал доктор, за кем-то ускакал новый верховой.

— Что это, за другим доктором поехали? — спросил Ветлугин Филата, который с блюдом льда от погреба спешил на крыльцо.

— Никак нет-с; барышня за дяденькой за своим послали, — ответил на ходу Филат, — оченно их любят; так, видно, посоветоваться...

— Разве барину хуже?

— И не говорите; как пласт лежит, охает...

Хозяйкам в таком положении, разумеется, было не до гостя. Тем не менее Ульяна Андреевна, посылая Ветлугину обед и чай в беседку, несколько раз поручала осведомляться, не нужно ли ему чего, и извинялась, что оставляет его пока одного.

Доктор переночевал, прописал наутро новое лекарство и рано уехал.

Ветлугин решился навестить священника. Ему хотелось повидаться с Фросинькой.

Проходя по саду, он увидел, что с балкона, как бы отыскивая кого-то, сошел какой-то господин. В нем Ветлугин, приглядевшись, узнал Милунчикова.

В конце поляны показалась Аглая. Она увидела дядю и радостно бросилась к нему навстречу.

Домик, где жил отец Адриан, стоял влево от церкви, на скате выгона, подходившего к реке. Комнаты его были так

невысоки, что отец Адриан, вводя гостей в приемную, обыкновенно говорил: «Не ударьтесь; с непривычки тут как раз получишь шишку». Так отец Адриан Верхоустинский встретил и Ветлугина.

Сам отец Адриан, однако, давно привык к своему жилью. Ростом в сажень, коренастый, белотелый и широкобородый, он, как великан Минотавр в мифическом лабиринте, совершенно свободно вращался в своем обиталище, отнюдь не стесняясь его размерами. Из-под его потертого темно-зеленого подрясника выглядывали опойковые сапоги. На шее был повязан желтый фуляровый платок. На груди болталась цепочка от часов. А книги и газеты на столе и портреты светских деятелей по стенам показывали, что мир и многое, «яже в мире», не чужды ему. Он почти беспрестанно курил небольшую, на длинном чубуке трубку, табак для которой, впрочем, был у него припрятан на поставце, в смежной дочерниной комнате. Дверь в последнюю была еще ниже сенных дверей. А потому отец Адриан, проникая туда, то и дело должен был склонять свою мощную выю.

— Очень рад вас видеть, очень, — сказал он Ветлугину, — а что вы остались и не уехали, это даже весьма похвально, болящего человека не след бросать. Как познакомились с Кириллом Григорьичем?

Ветлугин объяснил.

— Так-с, так с, — вздохнул священник, — ну а о горе его изволили слышать, о намерении единородной дочери-с его, Аглаи Кирилловны? Каков случай и каково, можно сказать, произволение судьбы-с?

— Это я слышал, — сказал Ветлугин, — от самого Кириллы Григорьича. Скажите: неужели это вопиющее дело может осуществиться?

— Вы насчет формальностей, что ли-с? — уходя за табаком в смежную комнату, усмехнулся отец Адриан.

— Да, я полагаю, что и возраст давшей обет, и воля родителя будут сильной помехой в этом случае.

— Ошибаетесь, государь мой, ошибаетесь, — точно с амвона, из дочерниной комнаты крикнул священник, — вселенское правило гласит, что обеты монашеской жизни должны даваться твердо и в полном раскрытии разума. А разве Аглая Кирилловна не тверда в решениях и лишена разума?..

— Но ведь здесь постороннее влияние, козни, — перебил Ветлугин.

— Потом, милостивый государь мой, — продолжал священник, не слушая его и опять показываясь в первой комнате, — для ради поступления в монастырь уставами и законом требуется что-с? Что требуется, отвечайте мне? Собственное, непринужденное желание, свобода от прочих обязанностей, сему роду жизни препятствующих, и дозволение начальства... Только-с и требуется!.. Ну-с, так позвольте же вас, однако, допросить: разве Аглаю Кирилловну кто в данном случае принуждает, или род ее жизни тому препятствует, или, наконец, у этой благорожденной девицы есть какое-либо начальство?.. Отвечайте мне...

— Но возраст, — перебил Ветлугин.

— Возраст? ха-ха! извольте! — неестественно махнув кудрявой головой, снова заходил по горенке священник. — Законы церковные и гражданские требуют великовозрастия лишь для полного, так сказать, пострижения, — а есть и полупостриг, и рясофор... И не все ли это едино для того, кто твердо и непреклонно решился? Да-с, государь мой, пострижение власов совершается и при облечении в новоначального монаха... Постригаемому в эту степень вручается крест и возженная свеча, хотя из одежд монашеских таковому дается лишь иноческая ряса да клобучец без мантии.

— Возмутительно, возмутительно, — хватаясь за голову, проговорил Ветлугин, — вчуже сердце разрывается... Такая молодая, так одаренная девушка! И неужели здесь уже ничем нельзя помочь?

— Помочь? — каким-то странным, бабьим голосом взвизгнул отец Адриан. — Вы спрашиваете, нельзя ли тут помочь?

Он отвернулся, даже трубку поставил в угол и, грузным станом нагнувшись к низенькому, раскрытому окну, будто высматривая в него что-нибудь, несколько мгновений помолчал. Только ряса на его мощных раменах, от мерных, тяжелых вздохов поднималась высоко.

— Да знаете ли вы, государь мой, — с дрожащей бородой и ударяя себя в грудь, резко обратился священник к Ветлугину, — знаете ли вы, что если бы моя, вот тоже единая дочь, Евфросинья — вы ее изволили видеть и слышать — ее в эту минуту нет дома, — если бы она, говорю, на моих глазах, затеяла постричься, а это все едино что и в гроб живой лечь, — так я не столько бы, кажется, печаловался, как теперь... Потому Евфросинья моя — девка душевная и не такого складу... Увидела бы она там эту подноготную, удумалась бы, и через полгода, а не то и ранее, пятками бы заковыляла из этого, как выражаются, тихого пристанища... Ну а Аглая Кирилловна — иная статья-с. Я ее знаю сызмальства; эта поступит по обету, так уже все одно что в омут кинется, из одной гордости вовеки не воротится вспять... Знаем мы этих отшельниц — церковь грабят, да колокольни строят...

Вы меня извините за эти речи, — отвернулся, помолчав и опять начиная ходить по горенке, священник. — Вы посторонний, заезжий человек, и моему сану перед вами не подобало бы так суесловить. Ну, да уж я таков: чту и храню догматы веры и им николи же и ни в чем не изменяю; а уж пустосвятства иных, хочь бы черноризцев, — каюсь пред тобою, Господи, каюсь! — выносить не могу и не умею, особливо же коли еще они над нами, рабочим, белым поповством, так высоко и, сказать бы, не по заслугам, несут свою гордую главу... Не всяк монах, на ком клобук. Черны ризы не спасут, а белы не погубят... Вот хоть бы и наше положение...

Отец Адриан присел и заговорил о делах местного прихода, о неудачах по устройству больницы, школы, о своем раннем вдовстве и о воспитании дочери. Он коснулся и той поры, когда в Дубках гостил отец Ветлугина.

— Как же-с, мы познакомились с вашим батюшкой, — сказал священник, — познакомились... Человек он почтенный и разумный; великий эмпирик и до всего, надо сказать, своим разумом старается дойти, а на вас вот какие надежды возлагал... Приятно-с таких людей знакомство... Да, не думали мы в те поры, что этому углу и дому грозит такое, можно сказать, запустение...

На пороге появился Филат.

— Поохотиться сударь, не желаете ли? — спросил он Ветлугина. — И я пошел бы с вами, да у нас гость. Уток гибель летает. Дикие гуси сели за деревней в камышах.

— Пожалуй, — ответил Ветлугин, — давай свое ружье. Пройдусь: что-то голова разболелась,

— С нашим вам удовольствием-с. Не верите, у их преподобия спросите-с: таких местов поискать-с...

Ветлугин взял ружье у Филата и вышел в сад.

«Какая досада, — рассуждал он, — неужели Фросинька все еще у дяди в слободке? Одна она могла бы здесь многое разъяснить, тем более что, кажется, и сама она вызывалась... Разве пойти туда, как бы охотясь, по пути?

Проходя к вербам, где был мостик, Ветлугин очутился в незнакомой ему части сада. Влево шла липовая роща, вправо рассадник ягодных кустов. Здесь-то, у опушки рощи, он увидел издали невысокую женскую особу. Пристально глядя на какой-то предмет, она с поднятой головой и с протянутыми как бы для молитвы руками, точно привидение, покачиваясь с боку на бок, что-то шептала и кланялась. Ветлугин узнал в ней Ульяну Андреевну. Но как она изменилась.

Это была не ласковая, тихая с виду старушка, какою он ее видел на станции и в первое время по приезде сюда, а какая-то мрачная и грозная Пифия. Она стояла перед могильным крестом, но, казалось, не молилась, а точно, одержав некую победу и беспощадно укоряя побежденного, изрекала ему роковой приговор. Гневные и вместе радостные ее глаза пылали, седые волосы в беспорядке развевались из-под черного, наскоро наброшенного платка. И тихо раздавались исступленные, точно шипящие возгласы: «Боже мой! Господи! Да ты ли это? Ты ли, Царь небес? И мне ли? За что такие милости? Господи! за что?..»

Ветлугин, недоумевая, что выражал этот обдававший холодом молитвенный восторг Вечереевой, долго следил за ней. Она еще несколько раз склонилась до земли, постояла и ушла. Ветлугин также выбрался за реку. Ему теперь становились понятнее и недавнее отчаяние старика, и это радостное моление старухи. «Все, видно, кончено, — думал он, — событие, зревшее столько лет, увидело наконец свою развязку...»

Ветлугин поднялся на косогор. Перед ним, вдоль реки, открылись луга, холмы, дальние поселки и леса. Здесь, на взгорье, под сенью нескольких одиноко стоявших дубков, Ветлугин увидел ряд рытвин, как бы остатки былого жилья, сторожевой соломенный шалаш, а возле него белого как лунь крестьянина. Старик сидел у входа в шалаш на траве и строгал тычинки, по-видимому для подвязки хмеля или бобов. Ветлугин осведомился у него, как пройти к слободке, где отца Адриана брат дьяконом состоит.

Дед объяснил.

— А чьими лугами идет дорога до той слободки?

— Куда глаз твой, батюшка, глянет — все нашего барина, все Вечереева. Все нажили его деды да отцы, да и он сам, кормилец, нажил! — ответил, шамкая губами и снимая дырявую шапку, старик. — Вся эта уйма, и те вон

лесочки, и эти озера, — все его, милого... Дай ему Господь много лет жить... дай ему счастья и радостей...

Ветлугин остановился. Тихая и ласковая речь семидесятилетнего деда заняла его.

— Что ты, дедушка, сам тут делаешь?

— Я-то? Как что? — усмехнулся, подслеповатыми глазками добродушно глядя снизу на Ветлугина, старик. — Поле берегу, покосы, барскую тоже усадьбу. Мы у нашего барина договоренные, прошеные. Без нас ему худо... Да и нам без него. Мы с ним, как односемейники...

— Давно ж ты здесь, дедушка, сторожем?

— Я-то? Лукашка-то?

Дед опять усмехнулся.

— Сорок, а може, и больше того годов, милый, этта при господском добре. Шутник ты, одначе, барин, балагур какой... Сколько ден в саду у нас гостишь, а моей землянки и не заприметил. А дедко Лукашка почитай рядом-то с твоей банькой — в ракитнике и живет. Ну, да Бог с тобой. Ноне все как-то словно резвее, бестолковее-ча стало... Ишь, солнышко-то парит, парит.

Дед наставил ладонь и глянул из-под нее.

— Вёдро Господь дает. Птички давеча на заре так это, шилохвостые, разрезвились, пели в саду... Ох-хо-хо... Этак-то лежишь в землянке, от скуки обойдешь сад, отгонишь воробьев али галочье с ягод, да и взберешься сюда в гору, поглядеть: не подбивают ли где хлеба али травы? Да, много годов, милый, много так-то стерегу... Еще при тятеньке нашего барина тута жил... Сколько времени ушло... Вон тоже двое зайчат намедни разыгрались тут около, по бугру. Вышли из овсов — махонькие, вислоухие да шустрые, треклятые, такие; да как зачали это кубарем, в чуфарду играть... индо кишки со смеху надорвал, на их прыганье глядючи...

Дед так весело рассмеялся, что улыбнулся и Ветлугин.

— Прощай, старик.

— Прощайте, милый.

— А что это с вашей барыней? — спросил, уходя, Ветлугин. — Отчего это она у вас все молится?

— А ты нешто видел?

— Невзначай, только что наткнулся в саду.

— Видно, в липах?

— Да, возле поляны, где кусты.

— Что ж, братец ты мой... Ты приехал, занял беседку, а в ней ее молельничка; ну, она, сердечная, и мается по куткам... А под липами, милый, могилка барчонка, ейного сына...

— Но из-за чего она все молится?

Дед понурился, точно не расслышал этого вопроса, и, как бы с кем мысленно беседуя о далеком прошлом, молча задвигал губами и бровями.

Ветлугин перекинул ружье за плечо, дал деду на чай за указание пути и пошел.

Ходил он долго. Слободку нашел. Но Фросиньку оттуда еще рано утром увезли на вечереевских лошадях.

«Где же она? — рассуждал он, возвращаясь в Дубки. — Как жаль, что я получше о ней не расспросил...» Деда Лукашку он увидел на том же месте. Только дед сидел теперь на корточках, покачивался и, улыбаясь, тщетно силился набить себе трубку: он был уже несколько навеселе. Руки его не слушались. Голова кружилась.

— Ты постой, барин, — крикнул дед вслед Ветлугину.

— А что́ тебе?

— Подойди.

Ветлугин подошел.

— Сядь тут.

Ветлугин сел.

— Законы знаешь?

— Знаю.

— Напиши мне прошение...

— Какое?

Дед замялся. Ему и говорить хотелось, и что-то его сдерживало.

— Сирота я, братец ты мой, круглый, — всхлипнул он вдруг, — и некому мне не то что одежонку иной раз починить, а и глаз закрыть, как помру. Нет, вру: есть у меня внучка... Только лучше бы ее и не вспоминать... Ох, люди — люди! Свет — горе... — Старик снял шапку, глянул в ее дырявое дно, замотал головой и, вздохнув, прибавил: — Так-то, милый; молодое горе тяжко, а старое и пуще того...

— Что же у тебя за горе, дедушка?

— Да ты не судейский?

— Не судейский.

— Ну, ладно. Про Антропку слышал тут, чай, сказывали тебе?

— Не слыхал.

Дед помолчал, жуя губами, глянул по сторонам, сел и начал:

— Ну не выдай же, а я все тебе расскажу, все... Ох! десять, а може, и больше годов тому, против саду и как раз на этом вот на самом месте, где мы теперича с тобой сидим, стоял двор, и жил тут, братец ты мой, кузнец Антропка. Ух, да и кузнец же был. На весь как есть тебе околоток. Чернявый, кудрявый да рослый, а уж в работе горячий был. И взял Антропка за себя Машку; мне она, девка, внучкой-то и приходится: здоровая этакая, русая да высокая. Покорница мужу была. И за хозяйство взялась хорошо. Антропка в кузнице день-деньской. Ее управляющий приставил к огороду, в сад. И долго этак-то в огород она хаживала; а оттоле бабенка стала, как слух прошел, и в эту самую твою беседку, что ли, к барину наведываться. Я — сказать по правде — не замечал. Да они, бабы-то, на это ловки. Ну, только Антропка был не таков. Его не проведешь... Сперва этта молчко́м, потом попреки, а там и бить... Брось, говорит, барина, ладом; прошу в таком разе. Какой он тебе полюбовник? На старого да женатого — меня, молодого-то мужа, беспутная ты этакая, променяла... А не бросишь, говорит, либо

тебя изведу, либо никого не пощажу... Ох, и не забуду же я вовеки того, что вскорости увидел...

Дед помолчал.

— Маша, сказать, видно из баловства, по охоте все это делала. Барин же Антропу всякие милости клал: хлеба ли, скота ли, лесу, всего ему было вдоволь. А там послал его и приказчиком в свою другую вотчину. Только этого, видно, мало стало Антропу. С зависти ли, с горя ли, начал он погуливать, куражиться. Не хочу, говорит, в той вотчине; сюда переведите в приказчики. Ну а здешнему-то управляющему это не по душе пришлось. Понятно, Антропу отказали. Только тем дело не кончилось...

— Что же случилось? — спросил Ветлугин.

— Ох, и не спрашивай. Сижу я раз в саду, починяю бредень... Барыни дома не было, к родным уехала. Я же в те поры кажин день рыбу на ужин господам вершами ловил. Было уже поздно вечером. Зорька так это разыгралась красно. Глядь, из беседки выскочила Марья. Стала на крылечке; волосы выбились из-под платка; да такая-то веселая. И шмыгнула под вербы, да через мосток, сюда-то, к своей избе. А за нею, погодя, на дорожку вышел и барин. Курит, поглядывает по сторонам. Постоял он, братец, на крылечке, покурил и пошел дорожкой к усадьбе. Тут навстречу ему вышел и здешний прежний приказчик, Нефедычем звали. Говорит, так и так — а я под ракитой, поблизости над вершей сижу, — что Антроп, мол, явился из той вотчины, да, видно, выпил и буйствует на селе... Что ж, ответил ему барин, поберегите его, чтоб чего не сделал худого; проспится, скажет, чего ему нужно. Разошлись они. И только что Нефедыч поравнялся с дорожкой, где опосля в кустах баринова сына схоронили, да как вскрикнет не своим голосом: «Ой, Антроп, что же это ты со мной?» — застонал и упал...

— Что же, он убил его?

— Я к нему... Добежал, милый ты мой, и сам чуть со страху не упал. Вижу, Нефедыч лежит на траве, а кровь по

кафтану так и бежит; а возле Антроп с ножом хмельной стоит, шатается. «Иди, дедко, объяви, — говорит, — пусть меня вяжут... Я его порешил!» Сбежался народ: в волость дали знать. Становой Антропа связал и увез, а вскорости его по суду и сослали.

— Нефедыч жив остался?

— Куда! Антроп добре-таки его доехал. Выскочил из-за кустов, обнял его на дорожке — будто здоровается, — да снизу-то вверх ножом по животу его и черканул... Видно, думал барина подстеречь, да в хмелю-то на другого и наскочил... Не прожил Нефедыч и до ночи... помер...

Дед замолчал. Надвинулась туча; стал накрапывать дождь.

— Войди в мою мурью, — сказал Лукашка, — посиди тут, пока пройдет...

Антон Львович присел в шалаше.

— Что же сталось с женой Антропа? — спросил он.

— С Машкой-то?

— Да.

— А что ей? Тут осталася... Долго барыня не знала настоящего дела; а там, видно, ей кто и сплел, что барин-то к Машке не токма прежде, а и опосля будто в избу хаживал — и что у Маши от барина и дитя, мальчик годов пяти был. И опять, милый ты мой... Ох, инда страшно и вспоминать... На моих глазах опять недоброе дело случилося... — Дед замотал головой. Его покрасневшие глаза тревожно мигали из-под нависших бровей. — Такое дело, братец, такое, что лучше бы и не вспоминать... Летом мальчика Машиного нашли в камышах; видно, играл и утонул... А вскоре... Сплю я это в землянке в саду... Была, сказать тебе, поздняя осень. Настали ветры, да такие-то холода. Всю ночь буря была, стон стоял на дворе... Тут-то, в самую как есть глухую полночь, слышу я, загудело что-то по саду еще более; да этак-то трещит; ну, точно в жарко растопленной

печи; а там и осветило весь сад... Вылез я из землянки — и ахнул... Антропкина изба, тут на бугре, весь его двор и кузница горят; ветром разносит полымя... На церкви ударили в набат, и народ, вижу, от села бежит на пожар. Я заковылял берегом, запутался от страху в осоке, сюда-туда мыкаюсь и никак не найду мостика. Смотрю, а по тот бок реки тоже кто-то будто слоняется, ходит под косогором в темноте. «Кто тут?» — окликнул я. Молчит. «Кто ты, человече, отзовись». Смотрю, наша барыня. «Помоги, говорит, Лукьянушка; я выскочила на пожар поглядеть, сбилась и никак не найду назад дороги». Я ее, сердечную, и провел... Да как вел ее за руку-то по жердочкам мостика, сердце так и замерло... Думаю: неужто — прости Господи! — она это Антропкину-то избу?..

Старик вздохнул. Хмель, очевидно, уже стал выходить у него из головы.

— Ох, что же это я, — сказал он, оглядываясь и почесывая в голове. — Ты, барин, забудь, что я молол... Так, с хмелю да сдуру язык-то болтал... Не она, убей Бог, не она, муж Машин из ссылки бегал, он, видно, и поджег...

Небо опять прояснилось. Антон Львович и дед вышли из шалаша.

— Не томи меня, дедушка, — сказал Ветлугин, — неужели Марья сгорела.

Дед медленно перекрестился большим крестом.

— Нет, друг мой, Бог спас... Поднял я утром на мосту барынин платок и сам его к ней снес. Смотрю, в одну ночь сударыня наша седая стала; трясется, завидевши меня, как осиновый листок... Мучилась, полагать должно, она долго, не знавши, сгорел ли кто в Марьиной избе. С той поры у них с барином вышло такое, что они суместно почитай уж и не живут. Опосля пожару, как Марья в одной-то сорочке из огня в окно выскочила, барин Машу сперва под спудом держал в разных местах; все опасался за нее. А как вско-

рости наша барыня в другую ихнюю вотчину на житье съехала, а потом у своей крестной стала подолгу гащивать, — Машка Марьей Титовной объявилась. Отселева выбралась. Люди брешут, что ее спервоначалу тутошний тоже барин, Клочков, подманил и держал у себя в усадьбе; ну а потом вышла она за купца, в город переехала, да овдовела. Будешь в городе, спроси, всяк тебя ее дом покажет. Сказывают, она и пононе лавку держит и заезжий двор. Может, и правда. Мне баранков сколько раз присылала, да не раскушу... Да и впрямь: нешто они мне нужны? Она у меня одна сродственница и есть, сына мово Тита дочка... Так нет, о деде Лукашке и думать, бесстыжая, забыла... Коли бы не господа, куда и голову преклонить, не знал бы. Так я к твоей милости... нельзя ли на Машку прошение в суд написать, чтоб содержала меня?

Ветлугин посоветовал деду сперва написать к внучке письмо, а потом, пожалуй, думать и о суде.

— Через нее, непутящую, и наша барыня вон как страждет, молится, — сказал старик. — Мало ли что люди брехали и о пожаре, и что сынишку Маши будто кто утопил. Все пустяки... Такой барыни, как у нас, поискать — добрая, тихая, молитвенная...

— Хорошо, дедушка... Это ты о барыне... А свою... дочку... зачем же она с собой... по богомольям возит?

Лукашка неопределенно глянул перед собой и развел руками.

— Уж это, милый мой, не знаю... Видно, на то их родительская воля. Надо думать, старая-то, навидевшись святого, тихого житья у своей крестной, что ли, боится, как бы и барышнин муженёк, какой опосля попадется, не повернул бы когда оглоблей к чужому двору... Так-то... Ну а возле Бога-то, согласись, оно спокойнее... Ты грешишь, а Бог — нет, погоди; ты воровать, а он — нет, почтенный, стой... Так уж ты, милый, напиши письмецо... По гроб жизни буду помнить... Эк, па́рит-то, опять па́рит! Вёдро-то каково!

Старик стал глядеть на небо. Хмель окончательно исчез. Глаза светились прежней лаской и добротой.

— Тучка нашла, да не с той стороны, — сказал дед, — а галочье... Ишь ты, под самым небом треклятые реют, точно вихрем их метет... Ишь разыгралися.. А куда гнезда вывели, где? У меня же в ракитах... А куда за ягодами летаете? Ко мне же... Так-то... Слава тебе, Господи, слава тебе... А письмо, пожалуй, барин, и не пиши... Бог с нею... Тако-ста жили, так без нее и помрем... Теплынь-то какова, поди, теплынь да тишина... Слава тебе... слава.

XIII

Загадка

Ветлугин спустился в сад, но, не заходя в беседку, взял влево.

Он шел и сам не сознавал, куда идет. У окраины поляны, окаймленной тенистыми высокими вязами, он остановился, прилег под дерево. Небо убиралось белыми кудрявыми облаками. Птицы смолкли. Чуть заметный теплый ветерок перепархивал по верхам травы. Запахом меда и смолы тянуло с их колебавшихся нарядных головок и сочных стеблей. Тут были всякие цветы: белые звездочками, синие стаканчиками, красные и желтые султанами и кистями. Одни сплошным ковром застилали садовые поляны, другие, точно стая пестрых бабочек, кучей усевшись на гибких, высоких стеблях, при малейшем движении ветра качались, сквозя на солнце всем разнообразием весенних красок...

Издали виднелись заречные холмы, поля и луга...

«Вот она, вот спящая царевна-Русь! — с приливом щемящей тоски, поднявшись на локте, мыслил Ветлугин. — Вот эти тихо цветущие нивы, сады, необозримые луга и

холмы... Все будто счастливо и спокойно. Ничто, кажется, не мутит этой поверхности общественного моря. А здесь же, в этом же, по-видимому, мирном затишье, губят девушку, и никто ее не спасает и не спасет. Кто губит, за что и почему, спросите... Праздный вопрос!.. Общество равнодушно, и нет человека, нет живого, сильного слова, чтобы их образумить, остановить и переубедить... Кого переубедить и кто станет слушать?.. А мы, слепцы, мечтаем о всеобщем счастье, о пересоздании народа... Ребенка спасти не можем... Восемнадцатилетнюю девушку отдают на жертву кучке темных святош, — и эти поля, холмы и луга остаются так же тихи и спокойны, как спокойны были и будут всегда...»

Ветлугин сел. Слезы подступили к его горлу. Обхватив колени и склонясь на них головой, он мыслил: «Нет, надо отсюда ехать, и чем скорее, тем лучше. Что я могу сделать? Для нее я — ничто, последняя песчинка, которую она топчет под ногами... Эта сила ни перед чем, как видно, не отступит. Когда человек умер — всем, кому он дорог, остается только оплакать его и отойти от его могилы...»

До слуха Ветлугина долетел неясный шорох медленных шагов. Он поднял голову. Ветви заслонили его. Вдоль деревьев, за которыми он лежал, об руку друг с другом, аллеей, шли мужчина и женщина. То были Милунчиков и Аглая...

— Ах, Боже, Господи! Да что же это? — говорил первый. — Ты ведь согласилась... Пережди хоть день рождения твоего отца... смотри, какой гость у вас — умный, честный, столько видел, испытал — не соскучишься...

— Но я должна, наконец, — перебила Аглая, — так нельзя; долее медлить нет сил... Это мучение, поймите, мучение!..

— А болезнь отца?

— Не могу, не могу! — ответила Аглая.

Слезы прервали ее слова.

— Притом же именно то, что вы мне сказали, — это-то самое и страшит меня...

— Но ты выслушай меня. Ах! да как же мне тебя, убедить... как убедить?

Далее Ветлугин не расслышал. Говорившие скрылись за гущиной соседних дерев. Он взглянул на часы, встал и отправился в беседку. Туда вскоре явился Филат.

— Кушать вас, сударь, просят. Барину лучше как будто стало, хотя они еще и в постели. И Николай Ильич, господин Милунчиков, вас спрашивали; я сказал, что вы на охоту отправились. Ну, что, убили что-нибудь?

— Плохо, не знаючи мест: прогулялся, а стрелять не пришлось. С тобой когда-нибудь пойдем.

— Это можно-с... вот барин оправится...

Умывшись и приодевшись, Ветлугин поспешил в дом. На балконе его встретил Милунчиков.

— Очень, очень рад вас видеть! — сказал Милунчиков, здороваясь с Ветлугиным. — Но под какими грустными впечатлениями мы встречаемся снова!

— Да, жаль Кириллы Григорьича — он так нездоров.

— А его дочь, вы, разумеется, знаете? Какое горе и какой удар для отца!

— Слышал я и это, — ответил Ветлугин.

Милунчиков отвел его в сторону.

— Сама судьба посылает вас сюда, — сказал он, оглядываясь и понижая голос, — умоляю вас, не уезжайте отсюда, побудьте здесь. Вы живой, с душой человек... Вы хоть каплю утешения прольете в душу бедного старика...

— Но как же, — начал было Ветлугин, — у меня дела́, надо ехать...

— О, помилуйте! — заговорил, пожимая ему руку, Милунчиков. — Кирилло Григорьич рад будет. Он даже через меня и просьбу вам одну передает... Разбор его фамильных бумаг, просмотр его мемуаров, ну, и перевод Мильтона... Он давно задумал кое-что издать... Ну знаете — старик, домосед! Притом же верит вашему вкусу. Не откажите просмотреть его перевод, посравнить с подлинником и, где нужно, знаете, отметить, что вы найдете слабым... Согласны?

— Я, право, не знаю, — сказал Ветлугин.

— Нет, нет, без колебаний, уважьте просьбу старика. Вы займетесь, утешите его. А там и я опять заеду сюда. У меня завтра съезд сельских учителей, потом в город нужно, в управу... Ну решайтесь: согласны?

Ветлугин затруднялся ответом.

— Кушать, братец, просите гостя, — сказала в это время Ульяна Андреевна, показываясь на балконе. — Здравствуйте, Антон Львович! Извините... за хлопотами с больным мы о вас совсем и позабыли...

— Как здоровье Кириллы Григорьича? — спросил, раскланиваясь с нею, Ветлугин.

— Благодаря Бога, сегодня легче. Что делать! Не бережется. Ездил в поле, тогда, вероятно, и простудился. Меня же вы снова извините: кушайте с Николаем Ильичем одни, а мне что-то также нездоровится.

Милунчиков сходил в кабинет и сел с Ветлугиным за стол, накрытый на три прибора в зале. К третьему прибору, однако же, никто не являлся. В конце обеда из кабинета вышла Аглая. Ее лицо было спокойно. Глаза смотрели холодно и строго. Только ее взгляд, упавший вскользь на Милунчикова, на мгновение прояснился, и в нем мелькнуло что-то похожее на нежную, ласковую улыбку.

Отвечая на поклон Ветлугина, она сказала:

— Отец просит вас к нему зайти после обеда...

— Верно, насчет Мильтона? — спросил Милунчиков.

Глаза Аглаи опять засветились. Но она ни словом не отозвалась на замечание дяди, молча налила себе воды, отпила глоток и небрежно ушла во внутренние комнаты.

— Дорого бы я дал, клянусь, чтобы узнать настоящие мысли этой девочки, — сказал Милунчиков, поднося к своим губам ее стакан. — Говорят, допьешь чужую воду, узнаешь... Эх, не будь она мне племянница... Меня, по правде, она только и слушается.

— В настоящем случае, — заметил Ветлугин, — кажется, и вам что-то не совсем удается...

— Ну, нет, успел. Представьте, дала слово повременить, — шепнул Милунчиков, — и это уж великая победа! Идите же к старику, а я к сестре. Подозреваю, это ее нездоровье — только предлог. Кажется, она теперь не одна: какая-то карета опять давеча подъехала сюда с черного двора. Должно быть, снова монастырские послы... А, Антон Львович, думали ли встретить что-нибудь подобное в нашем веке?..

Ветлугин вошел в кабинет. На диване, спиной к занавешенному окну, лежал, укрытый фланелевым одеялом, бледный и с небритой бородой Вечереев.

— Дайте мне вас поблагодарить, мой добрый, молодой друг! — костлявою рукой пожимая руку Ветлугина, сказал старик.

— Помилуйте, за что же?

— Вы не отказались посмотреть мои беседы с старым другом, — сказал, указывая на полку шкафа, Вечереев, — дайте мне его сюда.

Ветлугин подал старику туго набитый портфель.

— Вы приехали ко мне за делом. Но, видите, я нездоров. Двинуться из дому несколько дней, вероятно, не смогу для выполнения просьбы вашего батюшки. А чтоб вы не скучали — вот вам и дело... Что... не ожидали? Ведь вы — деловой человек. Не откажите, между прогулками, так, во время отдыха, просмотреть и исправить, что нужно...

А это, — указал рукой Вечереев, — в том вон левом ящике, в столе, мои записки. Я вам о них говорил. Умру — не откажите их издать. Я так и ближним моим завещаю... Что, надеюсь, не откажете? Здесь некому, некому-с, мой друг, поручить... Уж извините на том. Земля клином у нас сошлась: не люди, а людишки кругом. И пробираю же я их в моих мемуарах. По смерти моей увидят свои изображения...

Старик трунил и был раздражен. Вошел Милунчиков. Он тоже был не в духе и опять, как в почтовой конторе, болезненно и робко потирая свою плоскую грудь, тревожно мигал глазами.

— Прощайте, — сказал он, подходя к постели больного, — еду: мне пора...

— Что, опять? — многозначительно подмигнул, как бы указывая за стеной на нечто роковое и тяжелое, Вечереев.

— Опять, — мрачно ответил Милунчиков.

Старик сдернул с себя одеяло. В красной фланелевой фуфайке и в белом ночном колпаке, он сбросил необутые жилистые ноги на ковер, уселся на постели и спросил:

— Келейница?

— Да.

— Сидидомница?

— Да.

— Рангом?

— Мать казначея...

Старик нервически захохотал.

— Слышали? — спросил он, обращаясь к Ветлугину. — Напишите-ка в ваши газеты — хотя они этому и не поверят! — напишите, что ко мне, к постороннему, свободному человеку, врываются в дом эти проходимцы, попрошайки...

— Вон ее, Николай Ильич! — побагровев и задыхаясь, крикнул Вечереев. — Вон сейчас же и без всякого снисхождения! — продолжал он, дрожащей рукой повелительно указывая на дверь. — Чтоб духу ее не пахло в моем доме, духу... Пусть Клочковы с нею возятся, пусть Талищевы с нею любезничают, — я ее знать не хочу... Смерть, видно, мою почуяли: как воронье слетаются. Зачем мне она? Не звал я ее, не звал!..

— Полноте, полноте, — бросились утешать старика Ветлугин и Милунчиков.

— Нет, нет, не успокоюсь, пока отсюда, слышите? из-под моей кровли не уберется эта чернорясница... Божья затворница!.. В карете четверней разъезжает!.. В шелку, в бархате!.. В батистовые платки сморкается... Ладанка на вороту, а черт на шее... Антон Львович, ведь это — насилие, разбой...

— Полноте, Кирилло Григорьич, успокойтесь. Стоит ли?.. Вам это вредно...

— Николай Ильич! Разве не прав народ? — закричал еще громче, в исступлении размахивая руками, старик: всяк крестится, да не всяк молится... А, ведь верно? И потом: иной две обедни слушает, да и по две души кушает... Что... правда?.. Не мешай, Николай Ильич, не мешай... Спереди — блажен муж, а сзади — вскую шаташася языцы... Читают — да будет воля твоя, а думают — кабы-то моя! Ведь и Богу-то они норовят угодить на чужой счет... Смирны духом, да горды брюхом... ха-ха?.. А по-моему, не строй семи церквей, а пристрой семерых детей... По-моему...

Силы старику изменили. Он смертельно побледнел, покачнулся и тяжело рухнул на постель.

— Дурно ему, воды, воды, позвоните! — засуетился Милунчиков.

По отъезде Николая Ильича Ветлугин пробыл некоторое время возле больного, взял переданные ему бумаги и отправился в беседку. В саду он встретился с Фросинькой.

— Где вы были все это время? — спросила она, входя с ним в одну из боковых дорожек и садясь на скамью.

— Утром навещал вашего батюшку, думал видеться там и с вами.

— Ну не будем же терять времени, — сказала Фросинька, — за мной сейчас прислали... Есть у вас что мне сказать?

— Афросинья Адриановна, — начал Ветлугин, — объясните мне, что здесь творится? Вы мне обещали что-то сказать... Я теряюсь в загадках... Или это тайна?.. Неужели, в самом деле, Аглая Кирилловна решилась идти в монастырь?

Фросинька пристально взглянула на Ветлугина, вся вспыхнула, покачала головой, погрозила ему пальцем и вздохнула. Измученный двухдневной неизвестностью, волнением и бессонницей, бледный и усталый, Ветлугин был в

эту минуту жалок. Она сама прошла ряд сердечных испытаний и невзгод. «Что я такое? Поповна и больше ничего!» — говорила она себе. А между тем мечтала выйти замуж не иначе, как за героя, например, за ученого или за общественного, всеми чтимого деятеля и вследствие того, не обращая ни малейшего внимания на местных искателей ее руки, сочувственно относилась ко всякой мало-мальски порядочной влюбленной душе. Зоркий глаз ее сразу, еще два дня назад, во время поездки Вечереевых к пчельнику, заметил настроение Ветлугина. А потому и теперь, сидя с ним рядом, она потупилась, еще более покраснела и, едва преодолевая собственное волненис, сказала:

— Вы спрашиваете, идет ли Алинька в монастырь? Ах, Антон Львович... Зачем вы мне сказали эти слова? Вы — честный человек, это видно по всему... Ответьте мне одно — только по истинной совести: действительно ли вам дорога́ стала Алинька? Или это так, одно пустое волокитство мужчины, праздные слова и больше ничего?

— Не знаю, как другие, — сказал Ветлугин, — а я жизнь свою готов отдать, лишь бы спасти Аглаю Кирилловну.

В глазах Фросиньки засветился кроткий огонек. Она глянула перед собой на деревья, на кусты, хотела что-то сказать и остановилась.

— Да, именно так, вы правы! — сказала она, утирая покатившиеся слезы. — Алинька достойная, добрая такая... Ах! если бы она это знала, если бы сама слышала эти слова!.. О! вы еще не вполне узнали Алиньку, хоть она вам, кажется, и понравилась... Это — драгоценный клад; только клад этот лежит — как бы вам вернее сказать? — на дне темного и глубокого колодца. Достать его трудно... А то, пожалуй, и вовсе не достанешь: как и кто возьмется за дело...

— Но скажите, однако, — хватался за соломинку Ветлугин, — неужели решение Аглаи Кирилловны идти в монастырь так непреклонно и бесповоротно?

Фросинька утвердительно качнула головой.

— Но какая же этому причина? Сказать бы: личное горе, бедность или недостаток развития... Ничего этого здесь нет.

— Много и долго надо рассказывать, — ответила Фросинька, — да теперь и не время... А дело простое: сперва горе матери и удаление от отца; какое горе — после от кого-нибудь узнаете; потом уговаривания со стороны; частые гощения в разных обителях, заискивания монахинь, ну, может быть, и еще от чего-нибудь душа болит...

— От чего же? Не верится все мне... какая душевная боль может быть у такой молодой, не видевшей света и неопытной девушки?

— Слишком много думала она, вот еще отчего. От некоторых писаний да от рассказов об ужасах в первые христианские времена хоть чья голова помутится. Какие ей книги, в самом деле, давали читать? Точно на клирос в начетницы Ульяна Андреевна ее готовила... Со мной была она в пансионе недолго, и сейчас ее оттуда взяли... Все, что знает, — она приобрела собственным врожденным умом да смёткой... Притом же она такая скрытная... И, как бы вам это сказать, — она вся внутри себя... Горюет, не горюет, никому не скажет. Да что тут толковать! Она уже несколько лет назад, тайно от отца, дала обет пострижения, на Евангелии, матери и подставленному от здешней, соседней игуменьи духовнику поклялася...

— Какие вещи вы мне рассказываете! И такого духовника терпят? Да хороша и мать... Афросинья Адриановна, посоветуйте, что тут делать? Я на все готов, лишь бы спасти Аглаю Кирилловну... С матерью ли ее переговорить, постараться ее убедить, с отцом ли условиться, ехать ли куда. И все брошу и поеду, куда скажете.

Ветлугин встал.

Фросинька оглянулась, пошарила в кармане и торопливо проговорила:

— Если так, то надо спешить... Вы не выдадите меня?

— О, будьте спокойны.

Девушка еще раз помедлила, вынула из кармана мелко исписанную бумажку и сказала:

— Читайте, только поскорее... Алинька присылала вчера на слободку за моим отцом и написала мне вот это письмо...

В письме было написано: «Друг мой, Фросинька! Поздравь. Маменька все сказала отцу. Надо было бы еще подождать, но она не выдержала. Так, видно, было решено свыше. Сперва отец сильно противоречил, а потом, кажется, поколебался. Жаль мне его бедного, вот как жаль! Да иначе невозможно. Он заболел. Приезжай, утешь нас, хоть знаю, что ты в этом случае против меня. Маменька вчера написала матушке Измарагде, и я знаю, что это письмо ее утешит. Дивная и высокого разума особа. Ей не игуменьей, царицей быть. Впрочем, что же я? ведь ты не наша... Пожалуй, смеешься теперь, читая это... Однако, постой, еще слово. Ты, нераскаянная, наговорила мне, будто я, в некотором роде царевна-Несмеяна, произвела впечатление на этого нашего гостя. Если это правда, грех будет великий, и ляжет этот смертный грех не на одной моей душе, потому что...»

Ветлугин не дочитал. Фросиньку стали кликать. Она шепнула: «Ну, Антон Львович, не выдайте же меня. Видите, каковы дела. Это к ней меня зовут... После поговорим...», — сунула письмо обратно в карман и убежала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КРЫЛОШАНКА

XIV

Тень прошлого

Вечереев стал оправляться. Благодаря наставшему затишью в семье и общим заботам о нем он дня через три встал с постели, а еще через день вышел и в сад.

— Работаете над моим переводом? — спрашивал он Ветлугина, заходя к нему в беседку.

— Работаю, но... мне нужны справки в вашей библиотеке.

— Сделайте одолжение; мои книги к вашим услугам. Одно меня беспокоит...

— Что же именно?

— Я до сих пор не исполнил просьбы вашего отца... Но хоть бы и хотел, еще не могу; видите, сил нет, и доктор пока запрещает всякие занятия. Да и дела мои не очень-то вообще исправны, порядком запущены. Вот оправлюсь, думаю Николая Ильича Милунчикова просить. Не возьмется ли поуладить мое хозяйство? Только горяч он, несдержан, и служба ему мешает. А некого больше пригласить. Другие, ближайшие мои, еще более ненадежны.

Старик победрел. Но обычный строй его жизни нарушился. Эта жизнь до тех пор так была размеренна, что по известным привычным занятиям Кириллы Григорьича можно

было в точности угадывать часы: поднималась занавеска в его окне — было четыре часа утра, и он, значит, сидел за своим дневником; шел с простыней купаться — было пять часов; пил чай — было шесть; садился с книгой на балкон — семь; отворял буфетный шкафчик за дверью в коридоре и, выпивая рюмку какой-то настойки, говорил: «Банкетец! Человек. выпьет рюмку, лучше о себе думает!» — был полдень, то есть час завтрака; а с тростью и с букетом свежих цветов возвращался от теплиц — чаша с супом стояла на столе, и бронзовый рыцарь на тумбе в зале бил в колокол четыре часа.

Теперь не то.

Кирилло Григорьич и купался, и с книгой на балконе сидел, и гулял. Но все это выходило у него как-то иначе и путалось. То встанет поздно, купанье пропустит. То сядет с книжкой под навесом крыльца, но, очевидно, не читает ее. О банкетной рюмочке забывал. Спустится в сад, пройдет две-три дорожки и остановится, опустится на ближайшую скамью и, вздыхая, по часам глядит за реку или в гущину им же насаженных дерев.

«Уйдет она, уйдет, — тихо шепчет он, дотрагиваясь до любимого куста, — и жизнь моя кончится».

Одно проливало некоторую надежду и воскрешало силы старика. Хотя он лично с дочерью еще не объяснялся о ее намерении, но никогда она не была с ним так нежна и заботлива, как теперь. Аглая не спускала с него глаз: сторожила его пробуждение, приготовляла и носила ему утренний чай, убирала его стол, чинила карандаши и предлагала ему читать вслух.

— Ну, что ты мне будешь читать? — улыбался Вечереев, ласково трепля дочь по плечу. — Ведь я грешные, светские книги читаю — романы; а тебе бы «Глас трубный» приятнее, или «Воздыхание голубицы»? Не так ли, признайся?..

Аглая молчала на эти слова, еще нежнее жалась к отцу и покидала его только в то время, как ее зачем-нибудь звали к матери или когда к ним подходил Ветлугин.

— Что ты уходишь от гостя? — спросил ее как-то с досадой отец. — Он дельный такой, милый, умный. Еще обидится.

— Я? Право, не знаю! — равнодушно ответила Аглая. — Мне казалось, у вас дела́...

— Именно дела, — усмехнулся старик, — только не особенно суть важные, литературные...

— Ну, мой добрый критик, — обратился однажды, при всех, за обедом, Вечереев к Ветлугину, — как идет просмотр моих тетрадей?

— На половине; скоро кончу.

— А как находите мою библиотеку?

— Хороша, но требует пополнения. Многих новейших книг в ней нет — и по части художественных произведений, и по различным отраслям знаний.

— Не составите ли списка, какие именно книги следовало бы приобрести? У меня есть в Петербурге поставщик, и я бы к нему обратился с заказом. Кстати же, на днях я ему пишу.

— С удовольствием.

— И у меня просьба к Антону Львовичу, — тихо сказала, взглянув на гостя, Ульяна Андреевна.

Ветлугин смешался. Он никак не ожидал обращения лично к себе обыкновенно молчаливой и задумчиво сидевшей при нем хозяйки дома.

— Какая просьба? — спросил он.

— Видите ли... как бы это, — сказала Ульяна Андреевна, — вы познакомились с нашей библиотекой. Так я хотела узнать, спросить... не попадалась ли вам, между прочим, одна книга, которой теперь я никак не могу отыскать? Все по́лки на днях перерыла... Издание редкое... старинное...

— Название книги? — спросил Ветлугин.

— Но вы, может быть, таких книг не любите, они не в вашем духе? — поглядывая на мужа и на дочь, продолжала Вечереева. — Теперь иные сочинения в хо-

ду... Вислиценус о Библии, Давид Штраус о жизни Спасителя...

— Да ты уж, матушка, прямо бы говорила, — перебил ее муж, — что тут за намеки? Не люблю я их... ох, не люблю... «Духовное Млеко» тебе, что ли, нужно или «Угроза Световостокова» понадобилась?

Аглая наклонилась к тарелке.

— «Таинства Массильона», — сказала Вечереева, — так ли это, Алинька?

— «Mystéres, Oraisons funèbres», — ответила Аглая.

— Далеко от «Млека» и от «Угроза» не ушли, милая моя, — с горечью заключил Вечереев.

Аглая, не дождавшись конца обеда, встала, поцеловала руку матери и молча ушла.

В тот же вечер, едучи откуда-то, завернул в Дубки Милунчиков.

Он взял Аглаю под руку и долго с нею ходил по саду.

— Ну, что, как он тебе? — спросил он Аглаю.

— Кто?

— Да гость ваш...

— Право, не знаю.

— Он тебе говорил что-нибудь?

— О чем?

Милунчиков помолчал.

— Аглая!

— Что, дядюшка?

— Уедем.

— Куда?

— Ах, я не знаю... Но ты не поверишь... Мне кажется, скажи ты только слово, и я бы тебя увез отсюда за тридевять земель.

— Довольно и без меня там всяких.

— Да ты себе цены не знаешь, ты... будь я на месте...

— Тс, — остановила его Аглая, — слышите, нас уже зовут.

— Аглая! Аличка! — раздавался в это время по саду голос Ульяны Андреевны.

Дня через два Ветлугин, роясь над новыми справками в библиотеке и высматривая, не увидит ли в гостиной Аглаи, вспомнил о просьбе Вечереевой.

«Список книг старику я составил, надо и ей поискать эти «Таинства», — подумал он. Посмотрев один шкаф, другой, он совершенно случайно за кучей старых газет наткнулся на связку порыжелого, истрепанного и полуизгрызенного мышами книжного хлама. Между последним оказался и один из желанных томов Массильона.

Антон Львович сдул с него пыль и пошел с целью отдать его Вечереевой. Это было после обеда. Кирилло Григорьич, по обыкновению, сидел на балконе.

— Где ваша жена? — спросил Ветлугин.

— В старый сад, к теплицам, кажется, пошла. А что, нашли для нее книгу?

— Нашел.

— Бросьте вы эту дребедень в печку, — сказал Вечереев, — вон Егоровна в каменке печку топит — подите и бросьте... мужу и детям кашу варит... Право, это будет полезнее. А ей дайте Гюго или Беранже... кстати, вон я одного из них перечитываю...

— Не могу, дал слово.

— Ну, идите, несите ей. Я шучу.

Ветлугин остановился.

— Скажите, — спросил он, — говорили ль вы с Аглаей Кирилловной? Как ее намерение?

— Нет еще, я с нею не говорил.

— Что же вы медлите? Или вы полагаете, что она одумается, уступит?

— Вот видите ли, — ответил Вечереев, — скоро день моего рождения — через неделю, — надеюсь, и вы его проведете с нами? Что вам спешить? Ну, и придумал — я ее тогда и спрошу. Я убежден, она подарит мне при этом свое согласие, раскается и забудет свои бредни...

Зайдя к Егоровне, Ветлугин узнал, что старая барыня только что была у нее с барышней, наведывалась к ее больной дочери Пашутке, и пошла в парк, за ручей.

— Так барышня любит тебя, заходит к тебе? — спросил Ветлугин.

— Как ей, голубушке, не жалеть меня! Муж-то мой, садовник, день-деньской при деле. Ну, деток же, сами видите, сколько. Пашутка испугалась, как брата маво́, кузнеца Антропа, суд ссылал — с той поры все и хворает....

— Жив ли твой брат? — спросил Ветлугин.

— Бегал два раза из ссылки, а в третий-то, как окружили его солдаты острожные, в лесу-то... он просит: «Пустите, голубчики», — а они его и пристрелили...

Ручей, о котором упомянула Егоровна, пересекал сад и в конце его впадал в реку. Перейдя через мост, Ветлугин очутился в обширном диком парке, где еще ни разу не был. Хозяева, очевидно, также редко здесь гуляли. Дорожки его были запущены. Со стороны дома эта местность была заслонена плодовыми плантациями; к реке она поднималась несколько в гору, причем с ее увенчанной старыми дубами крутизны открывался вид на речной залив и на село, раскинутое дугой по его берегу.

Ветлугин прошел парк, исколесил несколько его просек и взошел на крутизну, но Вечереевой не было видно. Он уже хотел отправиться обратно за ручей, как из-за дерев, с зонтиком и с четками в руках, вышла Ульяна Андреевна.

Вид ее был задумчив и растерян. Она шла, не поднимая головы... Несколько озадачившись нежданным появлением Ветлугина, она было остановилась, но оправилась и, принимая от него книжку, сказала:

— А, вы нашли!.. Как я вам благодарна; садитесь.

Они сели под деревом, на каменной скамье, стоявшей у края прибрежной крутизны.

— Великий мыслитель, — сказала Ульяна Андреевна, указывая на томик Массильона, — сам Вольтер отдавал ему справедливость... И какая простота! Хороня Людовика Че-

тырнадцатого, знаменитый проповедник указал на пышный двор, на золотом окованную гробницу славного короля, поднял глаза и только сказал: «Один Господь велик, мои братья, один Он...» И все были поражены силой этих простых слов и плакали...

«Спрошу я ее о дочери», — подумал Ветлугин, глядя на старуху. Но он не находил слов для вопроса.

Молчала и Вечереева.

При виде молодого лица и полных жизни, ласковых глаз Ветлугина, Ульяне Андреевне вспомнился ее покойный сын Володя, а потом и некогда столь же молодой и цветущий силами Кирилло Григорьич. Женившись на ней, он привез ее сюда и такой же ласковый, с такими же светлыми, добрыми глазами сидел с нею здесь, на этой самой скамейке. Но как это было давно!

Это был первый год их женитьбы.

Тридцати пяти лет с небольшим Кирилло Григорьич, в чине полковника гвардии, вышел в отставку, навестил разоренное село покойного отца, увидел Ульяну Андреевну, тогда еще статную двадцатичетырехлетнюю красивую девушку, на бале уездного предводителя Милунчикова, ее дяди (отца Николая Ильича), влюбился в нее без ума, женился на ней, и оба они, полные надежд и счастья, поселились здесь. Старое село называлось Веселым.

Где они, эти невозвратные дни?

Двадцать пять лет назад был такой же теплый, весенний день.

«Бросим старую, мрачную и полную неприветливых воспоминаний усадьбу отца, — сказал тогда Кирилло Григорьич, — там он кутил и буйствовал; там узнала горе и, брошенная с первых годов замужества, зачахла моя мать... Мы, дорогая моя, построим новую усадьбу, ниже старой, здесь, в дубовой роще, у ключа, под этой крутизной. И вся наша жизнь будет тиха и ясна, как этот ключ».

Дело было решено. Молодые, любящие друг друга и горячо верившие в жизнь муж и жена не раз потом сидели

здесь, под этими старыми деревьями, уносясь мечтами в будущее и любуясь видом полей, подраставшего сада и бегущей в густых камышах реки.

Работа закипела. Застучал топор. Старая дубовая роща по этот бок ручья, перерезана полянами и дорожками. По другой его бок разбит новый, в английском вкусе сад, построены беседки, теплицы и возведен новый, в два этажа дом. Село названо Дубками. В комнаты нового дома из прежней отцовской усадьбы перенесены фамильные портреты, библиотека и часть старинной, еще дедовской мебели. Остальное все заменено новым. Копии с картин, обои, ковры, зеркала, бронза и посуда, с общего согласия, выписывались из столиц. Библиотека обогатилась покупкой по случаю на каком-то заграничном аукционе. На месте сломанного отцовского дома забелела красивая каменная церковь. Крестьяне вздохнули свободнее. Их избы, сараи и амбары перестроены. Скота у них прибавилось, повинностей уменьшилось. Вечереев терпеливо занимался хозяйством, уплатил отцовские долги и вскоре стал у соседей прикупать земли, леса и луга. Он выписывал книги, журналы и ноты; в семейные праздники, при помощи кое-кого из соседей, устраивал квартеты. Жена только мало помогала ему в трудах — в устройстве сада, усадьбы и в хозяйстве. Детей у них не было в течение четырех лет. На пятом году после женитьбы у них родился сын. И как они ему были рады! Все завидовали их счастью. Они выезжали, изредка давали вечера... А далее что?

Далее старый, деревенский жизненный склад взял свое. Жена более и более оказывалась не под пару мужу. Она любила наряды, выезды в город, к соседям, любила танцы, шумное общество, балы...

Работа Кирилле Григорьичу вскоре стала не по сердцу. Да и для чего, для кого было трудиться? На его рассказы о хозяйстве его жена зевала и говорила: «Как это скучно!» Соседи читающие вскоре заменились соседями нечитающими, ато танцующими, играющими в карты и охотниками до ми-

лого ничегонеделанья, смеха, прогулок и вечных пересудов. Ульяна Андреевна перестала стесняться: не пропускала ни одного званого съезда у знакомых помещиков и даже ни одного бала, не только в губернском, но и в уездном собрании, предоставляя другим заботиться о ребенке, забавлять его, а потом и учить.

Кирилло Григорьич, видя такое настроение жены, сперва спорил с нею, а потом стал и свои досуги проводить отдельно от нее: за книгами и газетами, с виолончелью либо с лопаткой и с ножом в саду.

Володя подрос. Явились гувернантки. Ульяна Андреевна не могла нахвалиться одною из них, а потом вдруг ни с того ни с сего стала ее ревновать к мужу и удалила. Праздная молва подхватила это событие и стала его повторять на десятки ладов. За толками об одной гувернантке пошли толки о другой. Многие уверяли, что Вечереева напрасно мучает ревностью мужа, что он перед нею прав, что ему не до волокитства. Тем не менее начался сперва негласный, а потом и гласный разлад мужа с женой. Ульяна Андреевна на время бросила было выезды, засела дома, а там опять стала разъезжать. Чтоб избавить себя от соперниц, а мужа от соблазна, она уговорила Кириллу Григорьича нанять для Володи учителя. Но она сама вскоре влюбилась в одного из наставников, по очереди с тех пор наезжавших в Дубки. Раздушенный француз-педагог, с шелковистыми русыми усиками, маслеными глазками и уменьем играть в пикет, вскружил голову ветреной и пылкой женщины. «Это — не чета моему бирюку, корпящему над своими альдами да эльзевирами!» — думала она... Но бес запретной любви недолго держал в своих оковах Вечерееву. Француз соблазнился прелестями горничной Малашки, был уличен и с позором изгнан. Володе пошел двенадцатый год. Отец, оставя на время свои книги, отвез его в губернский город с целью подготовить в гимназию. Мальчик был хилый. Разлука с родительским домом чуть не вогнала его в чахотку. Он в то время жил у Льва Саввича Ветлугина. Его опять взяли в деревню, причем с ним туда на лето переезжал Лев Саввич.

Распри жены с мужем не прекращались. Ульяна Андреевна в припадке новой ревности стала подозревать мужа в ухаживании то за одной соседкой, то за другою. При этом она несколько раз даже уезжала от мужа к дяде — предводителю, умершему вскоре за тем. В это же время произошел и прискорбный случай с кузнецом Антропом, — его ссылка, пожар его избы и смерть от потопления его сына. «Поделом ей! — шептались втихомолку соседи. — Так ревнует к мужу, а сама...» А вслед за тем, в начале сырой и гнилой зимы, в деревне заболел, как думали сперва лихорадкой, и Володя. Кирилло Григорьич потерял голову. Экипажи и верховые гонцы были разосланы за лучшими врачами. Но Ульяна Андреевна не верила в опасное положение сына. Ее неверие и спокойствие дошли до того, что, когда один из местных врачей поручился ей за скорое выздоровление сына, она несмотря на просьбы мужа уехала в другую их вотчину, село Пряхино, куда должна была по пути заехать ее крестная мать, игуменья отдаленного монастыря Сусанна. Наутро от мужа к Ульяне Андреевне была доставлена эстафета. «Опомнись, — писал Вечереев, — что ты делаешь, безумная? поспешай... у Володи тифозная горячка...»

Тут только действительно одумалась и пришла в себя Вечереева. И никогда после того она не могла забыть мучительных часов, проведенных ею в дороге, когда она, в грязь и слякоть, на подставных лошадях, спешила домой. Ничто не помогло. Володя жил недолго. Он через несколько дней скончался на руках матери. У изголовья умирающего сына Вечереевой ясно представилось все ее прошлое, вся пустота и все ничтожество ее жизни как матери и жены. Она упала перед мужем на колени и умоляла его об одном: о возможности спасти от заражения тифом другое их дитя, а именно дочь, которая в это время также подрастала в Дубках и на которую Ульяна Андреевна до той минуты обращала еще меньше внимания. Игуменья Сусанна, не застав Ульяну Андреевну в Пряхине, завернула в Дубки. Это было

в день похорон Володи. Аглаю, с кормилицей Егоровной, посадили в карету к крестной матери, и та увезла ее к себе в обитель.

Ясно помнила Ульяна Андреевна другое мгновенье, когда после первого посещения Аглаи, гостившей в ските у крестной, она возвратилась домой, забилась в старый, пустынный сад, взошла сюда на крутизну, взглянула на крест церкви, на дорогу в имение покойного дяди и горько зарыдала. Садовый ключ по-прежнему тихо бежал под ее ногами. Долго она здесь молилась и плакала, вспоминая прошлые светлые дни и прося у неба их возврата. «Нет! они не возвратятся! — с горечью решила она. — Я — грешница, великая грешница; и нет мне прощения и забвения моих проступков на земле!»

Здесь-то, мучимая раскаянием за прошлое и тревогой о будущем счастье дочери, она, после долгой, томительной мольбы к Богу о прощении ее тяжких грехов, поклялась спасти по-своему Аглаю от участи, испытанной ею самой... И с той поры она в Дубках уже была почти гостьей, а постоянно жила либо в монастыре у крестной матери, от которой, под разными предлогами, не торопилась брать дочери, либо в Пряхине. Кирилло Григорьич на все махал рукой и только изредка, отрываясь от своих книг и цветов, с тоской оглядывался и спрашивал себя: «Да где же Аглая? и что она ее, безумная, таскает с собой? Вот и крестная ее померла; а она все к ней ездит туда и в другие монастыри... Не добром это пахнет, не добром. Надо принять меры, образумить чудачку...» Но меры не принимались...

Многое передумала Ульяна Андреевна, сидя в эту минуту с Ветлугиным на каменной скамье.

Глядя на исхудалое, когда-то красивое лицо Вечереевой, на ее строгие карие, несколько затуманенные и тревожно смотревшие глаза, на ее высохшие, тонкие пальцы и на рано поседевшие волосы, Ветлугин в свой черед унесся мыслями в далекое прошлое. Он соображал, что с такими же остатками былой красоты, хоть не столько печальная, была бы

теперь и его покойная мать; и как бы он хотел, чтобы его мать была теперь жива или чтобы Ульяна Андреевна стала его матерью!.. Безумные и дикие мечты!

— Очень вам благодарна, — повторила Вечереева, пожимая руку Ветлугина и пробегая глазами принесенную им книгу, — муж мне сказал, что вы оказали ему еще и другую услугу, сняли копию с плана проданного им лесного участка...

— Снять эту копию было легко. Я просидел над нею вчера не более часа... План сделан превосходно.

— Вы находите? — улыбнулась и чуть заметно вздохнула Вечереева. — А знаете ли, кто снимал этот план с натуры?

— Какой-то землемер... Он живет теперь у одного из ваших соседей... Фокин, кажется...

— О! о нем так легко не отзывайтесь; это — искатель руки Фросиньки! — перебирая четки, шутила Вечереева. — Что же, дай им Бог счастья. Оно так редко на земле... Только дочь отца Адриана что-то разборчива: уж дважды отказывала этому жениху... «Толст, — говорит, — да и больно уж прост». Вот вы и подите нынче с девушками. А простые, казалось бы, для деревенских обычаев лучше... Вы какого об этом мнения?

— Афросинья Адриановна — девушка достойная, — ответил Ветлугин, — и за хорошими женихами у нее, вероятно, дело не станет... Пока же могу сказать одно, что лучшей подруги для вашей дочери трудно желать...

Ульяна Андреевна склонилась к книге Массильона и снова стала ее пробегать.

Ветлугин подошел к краю крутизны.

— Это вот чернеет, — обратилась к нему Вечереева, — видите? — левее за рекой... это — дорога в имение моего дяди, Милунчикова... Только — увы! — и дяди моего уже нет на свете, и имение это за долги досталось другим...

Николай Ильич живет в другой стороне, в поместье своей покойной матери.

— Приятно вам наслаждаться плодами своих рук! — сказал Ветлугин. — Редкому выпадает такая доля.

— У деревьев, что ни год, весна, — продолжала, вставая, Ульяна Андреевна, — только у людей весна и счастье бывают в жизни раз и более не повторяются...

Перед Вечереевой опять невольно стали проноситься образы прошлого: ее свежесть и молодость, первые дни счастья в этом тихом, уютном гнезде, кудрявый и ласковый, нежно любивший ее Володя, быстроглазая и резвая малютка Алинька и много-много сладких упований и надежд.

Гость и хозяйка вышли на поляну. Пчелы звенели над цветами. Ласточки реяли, весело гоняясь за мошками. Иволги перекликались над рекой.

Антон Львович высматривал, не мелькнет ли вдали, за кустами, Аглая, и думал: «Не спросить ли Вечерееву, из-за чего она так бессердечно хочет погубить свою дочь?»

— Охота вам, Ульяна Андреевна, — сказал Ветлугин, — думать о смерти, когда, взгляните, — вкруг вас все цветет, все радуется и стремится к жизни... Ма́ло того — правда ли?.. мне говорили... не хочется верить... правда ли, будто ваша дочь... намерена отказаться от света и пойти в монастырь?

Вечереева остановилась. Тревожные огоньки сверкнули в ее угасших глазах.

— Это еще не решено, — подумав, ответила она, — но если бы и так, что сказали бы вы на это?

— Более печальной, — выражусь прямее, — более непоправимой ошибки еще не делали те, от кого зависит счастье детей...

— Я другого мнения, — сказала Вечереева, — на днях, на сон грядущий, я читала одну французскую книгу... Называется она «Le lendemain de la mort»... Знаете ли, что я вынесла из нее? Я убедилась, что если бы на этом месте, где мы теперь стоим, чернели две свежие могилы и если бы

в них были зарыты я и моя дочь, — мир был бы еще прекрасней и счастливей, потому что одним горем было бы менее на земле...

— Нет, Ульяна Андреевна, нет. Чем больше горе, тем слаще победа над ним. Мы не должны падать духом... Нам даны сила воли, разум. А перед вами — готовый рай... У вас прекрасная дочь... Какая мать не нашла бы утешения в счастье дочери?

— Вот вы какое слово сказали! — проговорила, опускаясь на ближнюю скамью, Вечереева. — А кто ответчик за дочь, с кого взыщется там за каждое ее прегрешение, за каждый шаг в жизни? Нет, вы скажите откровенно...

— Есть возраст, — ответил Ветлугин, — в котором человек отвечает сам за себя.

— Послушайте, — обратилась к нему Вечереева, — ответьте мне одно: уважаете ли вы чужие искренние убеждения?

— Хотя бы они противоречили общим, ясным как день законам природы и человеческого ума? — спросил Ветлугин.

— Да, и в особенности если вы с ними не согласны? — дрожащими руками перебирая четки, спросила Вечереева.

Ветлугин медлил ответом. Она не спускала с него тревожно-внимательного взора.

— Есть явления, перед которыми нельзя оставаться равнодушным, — ответил Ветлугин, — разумеется, я — посторонний, случайно заезжий человек... Но смотрите, чтоб вы после сами не раскаялись и горько не оплакивали того, что еще можно остановить...

Вечереева встала. Пятна выступили на ее бледном, худом лице. Пока говорил Ветлугин, она судорожно развязывала и опять завязывала ленты чепца.

— Сердечно вас благодарю, сердечно, — сказала она, — вы молоды, и иного совета от вас трудно да и нельзя было ожидать. Но я попросила бы вас об одном: не говорите более об этом с моим мужем... Он еще слаб. Ему нужен покой и покой... А это его может пуще расстроить.

Гость и хозяйка возвратились в дом.

«Так вот каков этот человек! — пробежало в уме Вечереевой. — О! это у него вырвалось не случайно! Надо принять меры, надо поспешить. Как жаль, что опять заболела матушка Измарагда. Просит наведаться. А как теперь оставить одну Аглаю?»

XV

В скиту у бабушки

Просмотрев перевод Мильтона, Ветлугин, по предложению Вечереева, согласился и на просмотр его записок. Они сходились для общих суждений, спорили, делали отметки того, что следовало в записках выпустить, разъяснить или пополнить. Посетил Вечереева и Талищев. Кирилло Григорьич, впрочем, был не очень рад посещению этого соседа и даже не предложил ему повидаться с Ветлугиным.

Несколько раз в Дубки опять наезжал и Милунчиков. Вечереев с отцом Адрианом играл в шахматы; Милунчиков с Аглаей читали в подлиннике Вальтера Скотта. Аглая всегда охотно проводила время с дядею. Николай Ильич обыкновенно говорил ей о своей общественной службе, о письменных и словесных стычках с врагами, о темных проделках разных пройдох и пошляков и о том, что он работает почти один, без поддержки, без союзников и без малейшей надежды на успех.

«О! если бы могла помочь этому доброму, честному человеку!» — думала, глядя на дядю, Аглая.

— Знаешь что Аглая? — сказал он один раз.

— Что?

— Брось свои помыслы о монастыре, выходи замуж за хорошего человека, и ты — ты будешь мне пособницей, союзницей.

Аглая вспыхнула, потом побледнела и, залившись слезами, молча убежала от дяди.

Устраивались в Дубках и чтения вслух: романов Купера и Диккенса, повестей Гофмана, поэм Жуковского и Пушкина. В том числе была прочтена переведенная Жуковским Овидиева поэма «Цейкс и Гальциона». Читали по очереди Ветлугин и Милунчиков, а иногда Фросинька. Ульяна Андреевна, из приличия только, сидела в начале этих чтений; более же ссылалась на нездоровье и оставалась в своей комнате. Особенно заняла Аглаю Овидиева поэма. У нее из головы не выходили образы Цейкса, утонувшего в разлуке с Гальционой, и Гальционы, в отчаянии бросившейся с утеса.

Милунчиков в перерывы чтения, объясняя Аглае авторов, брал ее под руку, уходил с нею в сад, и оба они, бо́льшею частью, возвращались не по себе: он — недовольный, нахмуренный, Аглая — с окаменелым, внутрь себя устремленным взором и еще более бледная.

— Что, плохи твои дела, Николай Ильич? — говорил в такие минуты Вечереев. — Вижу по тебе, опять козни против тебя, опять подкопы?

— Такова моя доля, — ответил Николай Ильич, — верите ли, так иной раз жутко, так, что, кажется, все бросил бы, все...

После одного из заездов в Дубки Милунчиков объявил, что ему надо готовиться к собранию гласных у Талищева, и на прощанье прибавил, что теперь он сюда будет уже не скоро.

Аглая с укоризной взглянула на дядю.

— А с вами, Антон Львович, мы, вероятно, еще увидимся в городе? — сказал Николай Ильич, обнимая племянницу.

— Да, и я... надеюсь к тому времени, по пути... и мне пора... — ответил как-то рассеянно Ветлугин.

«Итак, он тоже уедет, — пробежало в голове Аглаи, — а за ним...» Она себе не договорила. Перед ней носился образ утонувшего в море Цейкса. Она развернула перевод Овидиевой поэмы и стала читать описание бури, погубившей возлюбленного Гальционы:

Вдруг поднялся и бежит, раскачавшись, ударит —
Вал огромный... Воздвигся страшный, девятый...
Мачта за борт, и руль пополам... И, встав на добычу,
Грозен, жаден, смотрит из бездны вал-победитель...

Было утро.

Фросинька вошла в комнату Аглаи. Здесь же, разложив по столу кусок какой-то черной ткани, сидела и Ульяна Андреевна. Аглая за пяльцами вышивала золотом по бархату воздухи на церковь. Фросинька поздоровалась с ними, бросила беглый досадливый взгляд вокруг по комнате, вздохнула и молча, с иглой, уселась помогать Аглае с другой стороны пялец.

— Вот, Алинька, ты опять плохо спала эту ночь, — продолжала начатый разговор Ульяна Андреевна, — а все оттого, что матери не во всем слушаешь, к светскому более, чем к духовному, свои помыслы обращаешь. Лучше бы, когда смута на душу падет, помолилась лишний раз, страстно́й просвирки съела бы, крещенской бы водицы напилась... А ты романы этого верхогляда, Николая Ильича, вздумала слушать...

Аглая на это смолчала. Только брови ее сдвинулись, да рука с иглой дрогнула.

— Также вон и мать казначея, дружок, заметила, что ты все еще грешишь — в светлом платье по сю пору ходишь; книжку тоже какую-то не очень одобрительную видела она у тебя. Черная ряска тебе давно приготовлена, шапочка тоже. Думаю вот кроить тебе и другую перемену. Пора об ином наряде думать, а не о романах... Что сказал пророк?.. Благо есть человеку, егда возьмет ярем закона в юности своей, сядет наедине и умолкнет...»

— Ах, маменька, не томите вы моей души, — вскрикнула, не вытерпев, Аглая, — хочу — поступлю в монастырь, хочу — здесь останусь. Силой ничего не возьмете. И что вы меня корите! Дайте надуматься; дайте хоть вдоволь.. наплакаться...

Слезы не дали Аглае договорить. Она склонилась головой к пяльцам.

— Ну, ну, полно, дай тебя поцелую, — оправляя волосы дочери, ласково проговорила Вечереева, — прости ты меня... Так, сорвалось... Матушка Измарагда вон все хворает; говорят, ей лучше. А все надо бы ее навестить. Да вот, видишь сама, еще нельзя... Работайте, мои милые, работайте... Бог с вами...

Вечереева, кряхтя и делая знаки Фросиньке, чтоб та угешила Аглаю, спустилась вниз, в свою комнату.

Фросинька вскочила, села на диван и, хватая книги, лежавшие на столе, стала их раскрывать и бросать на стол.

— Вот опять, опять чем тебя окружили! — сказала она раздражительно. — «Меч Духовный», «Виноград церковный»... Это еще что?.. «Диакониссы древней церкви», «Жизнь Параскевы-Пятницы»... А это?.. «Монастырские письма»... «Свет с Востока»... Ах ты, Господи, Боже мой... Этакую красавицу, милую, добрую, в гроб живую кладут!

— Да что же мне делать? — спросила, не поднимая головы от пялец, Аглая. — Ведь я обет дала и обещанная... Не могу же я, не могу... Пойми ты это? Не терзай хоть ты меня...

— Что делать? А вот что: прогони всех этих келейниц, на глаза к себе их не пускай, а там — перегодя — не долго думая, и замуж выходи...

— Кто? Я? — в ужасе отшатнулась Аглая. — Образумься... что ты говоришь?

— Да, ты, ты... Что шепчешь и глядишь так на меня? Не думаешь ли, что некому посвататься? Есть такой человек, и ты отлично это знаешь...

— Послушай, — перебила ее, вставая и гордо выпрямляясь, Аглая, — если ты мне хоть раз еще осмелишься намекнуть, если упомянешь — помни, мы с тобой не знакомы. Я согласилась подождать несколько дней. Но вот тебе моя рука — заикнись ты или кто другой еще хоть словом, — я

пойду к отцу, объявлю ему свое решение и немедленно, слышишь? — немедленно уеду отсюда навсегда.

— Спасибо и на том! — в свой черед вставая и кланяясь в пояс, горько усмехнулась Фросинька. — Что ты упорна, я знаю; что ты на своем захочешь поставить, коли пойдет на то, я также не сомневаюсь. Прощай. Но помни, будешь лить горькие слезы, будешь ломать руки и молить, чтобы воротилось прошлое, и чтоб я с тобой о нем, как тогда, хоть словечком перемолвилась... Будет поздно, и ты на меня не пеняй.

Фросинька взяла зонтик, накинула на голову платок и, не оглядываясь, вышла.

«Воротись, воротись!» — хотела ей крикнуть Аглая, но слова ее не слушались, и она, опершись рукой о пяльцы, стояла неподвижная, бледная, убитая.

Что сталось за эти дни с Аглаей? Она не могла ответить и себя не узнавала.

Ее мысли путались. Сон бежал от глаз. Тяжелая, тупая подавленность и растерянность чувствовались во всем ее существе. Их сменяли порывы вспыльчивости и непонятного раздражения.

Пригнездившись в сумерки в углу дивана или раздевшись, но не ложась еще в постель, она по целым часам сидела наверху, в своей комнате, со сдвинутыми бровями, сухим, окаменелым взором упорно глядя в одну точку: на платяной шкаф, на «Кедр Ливанский» на стене, на лампу или в раскрытое окна. Она плакала и не знала, о чем плачет.

Ей мерещились темные, душные кельи, высокая церковь за каменной стеной, множество свечей и возгласы молитв. В черных мантиях и в клобуках ее встречают монахини. «Когда же ты, красавица, к нам-то, в наше тихое пристанище?» — говорят они. А впереди их выступает сама игуменья. «Пора, Аглаюшка, ох, уж пора, — говорит она, — годы бегут, а грехи, что тяжелые каменья, навеки заваливают душу... А еретики, хульники и нечестивцы только и ждут того, как бы тебя соблазнить и отвратить от спасения... Оле,

богохульства — речи их! Спасайся, спасайся... Человек, аще обещает обет Богу, да не сквернит словесе своего, и да сотворит...» Ей слышатся ласковые шутки и тихие, льстивые речи келейниц. Чернорясницы кланяются ей и общим собором манят ее скорее к ним, в недоступные мирскому соблазну и сокровенные кельи, уверяя, что к ней очень будет идти и эта черная ряса, и этот черный, бархатом обшитый клобучок... «Не слушай его, не слушай, — говорят они, — самарянин он и беса имать...»

«Прочь искусительницы, прочь. Дайте жизни, простора и свободы! — шептал ей иной, внутренний голос. — Есть иные, далекие края. Есть суровая, полная дикой красоты пустыня севера. Туда бы тебе улететь, туда...» Тянется там широкая, многоводная река. Дремучий бор стоит по ее берегам, с смолистым запахом лиственниц и елей, с дикими анемонами и богородицыными слезками. И все это — лес, река и цветы, залито солнечным блеском, пышными красками краткой, но дружной весны. Крики птиц и крики лодочников на ясной глади вод. С гор спускается с товарами караван. Разбиваются палатки, развьючиваются усталые верблюды. Зажигаются костры. Солнце гаснет, а горный воздух сотрясают крики летящих с юга журавлей. И самой бы Аглае хотелось в этот миг быть на свободе, там, на берегах этой синей многоводной реки, с этими дремучими, дикими лесами, лодочниками, анемонами и вольными журавлями. И он, один он, молодой и смелый, предприимчивый и столько испытавший на своем веку, мог бы дать ей эту свободу и эту жизнь. Разве и там, рядом с ним, нельзя спастись? Разве и там не люди? Он ей так хвалил эти далекие, нездешние, привольные края...

Но опять перед глазами монастырь. Заунывно звучит церковный колокол. Слышатся звуки подвижнических молитв. Кого-то постригают.

Холод пробегает по жилам Аглаи. Она бросается на колени перед образом, молится, но молитва бежит от ее мыслей. «Один мог бы тебя спасти, один, — думается ей, —

тот, которого тебе так хвалил дядя... Он иначе устроит твою судьбу. С ним будет жизнь, понимаешь ли ты, жизнь, а не смерть!..»

Но где он, что делает, думает и с кем говорит в эти мгновения? И неужели этот скромный и такой сдержанный человек решился бы — как уверяет эта смелая и ветреная, все замечающая Фросинька — объясниться с ней и помешать ей, вопреки ее решению, надеть рясу и клобук? Неужели, наконец, и она, дочь Ульяны Андреевны, способна совершить такой невероятный, такой страшный грех: забыть данный обет и все то, на что она, едучи сюда, так еще недавно окончательно и торжественно решилась? «Человек, аще обещает обет Богу, да сотворит...»

Смертный ужас охватывает Аглаю. Страшные призраки растут, теснятся над нею. Вот кончина, вот гроб и могила, а за нею темная, безрассветная ночь, вечные муки и страдания без конца. Малейший шорох за дверью приводил ее в содрогание. Ей казалось, что кто-то поднимается по лестнице, идет к ней, стал за дверью и готовится войти, обнять ее, осыпать ласками и поцелуями. Где скрыться, куда бежать от него, от самой себя?

Аглая изнемогла в борьбе с призраками. И хотелось ей в эти же мгновения видеть еще хоть раз этого самого Ветлугина, которого она так боялась, о чем-то его спросить и что-то с ним переговорить. Она то садилась за пяльцы, то снова горячо и страстно, до изнеможения сил молилась или по часу сидела молча, как убитая, бессознательно свертывая и развертывая какую-нибудь ленточку или раскрывая книгу, которой между тем перед собой не замечала. Ей хотелось и вниз сойти, и было жутко. И послушалась бы она, кажется, сразу во всем этого же Ветлугина, и был он ей в то же время страшен и ненавистен. Хоть одним глазом, невзначай, в какую-нибудь щель или в это раскрытое окно, кажется, глянула бы она на него. Но нет его. Из-за откоса окна виден весь сад: вот поляна, вершина дальних дерев, а вон крыша и угол его беседки. Но его не видно. Где он? Да,

впрочем, и лучше, что его не видать. Она страдает... И неотвязчивым шмелем жужжат ей в уши и жалят ее грозные речи матери: «Помни же, Аглая. Полюбишь кого из мужчин, уж этим самым ты смертельно и навеки согрешишь... Бог тебя за то накажет, и душа твоя погибнет. Бойся греха, а паче бойся мужчин. Все они с виду нежны и милы таковы, а у каждого бес в душе. И верь ты мне, полюбит тебя мужчина только для того, чтобы насмеяться, загубить тебя и потом бросить...»

Аглая сквозь землю бы провалилась от этих слов матери. «И уж правду ли говорит бедная, потерявшая веру в жизнь женщина?» — думала она и не знала, с кем бы ей посоветоваться, с кем бы отвести душу? Она бродила по комнатам, занималась ничтожными вещами. То к кормилице Егоровне заберется в комнату, возится с ее детьми, ляжет на знакомый ей с детства кормилицын сундучок и плачет. То к девушкам в прачечную зайдет, возьмет утюг и, слушая их болтовню, гладит по полчаса какой-нибудь воротничок; или так, наконец, без всякого дела, бродит по комнатам, в одну заглянет — как будто ищет кого, в другую, и опять поднимается наверх молиться.

Аглае в такие мгновения ясно вспоминалась вся ее жизнь — между страдавшей матерью и одиноко старевшимся отцом. Этот грустный семейный разлад рано возбудил любопытство и горькое раздумье в наблюдательном, сосредоточенном и пылком ребенке. Ее искренняя печаль и подчас невольные, необъяснимые слезы сделали ее понемногу другом и поверенной ее матери. Аглая везде ее сопровождала. Особенно ей понравился далекий лесной скит бабушки Сусанны...

Сперва они там погостили только осень и зиму. Потом они стали наведываться сюда и в летние месяцы. Здесь-то худенькая, быстроглазая и постоянно молчавшая девушка стала ни с того ни с сего уединяться от всех, не пропускать ни одной церковной службы, молиться часто и долго, вглядываясь во все окружающее и отыскивая разрешения тяжких, мучивших ее вопросов и сомнений. Она вслушивалась в толки

бабушки с инокинями. «Так молода, а уж ищет истины небесной!» — говорила о ней с гордостью мать Сусанна. Здесь-то, наконец, Аглая незаметно стала уклоняться от девических игр и от подруг и мечтать об одном — о грехопадении бедного мира и о неустанной, вечной молитве за него. А однажды бросилась на шею матери и сказала ей: «Ты согласишься, родная, — ты хотела спасти меня... спасение в одном, говорила ты, — я думаю о монастыре...» Мать в восторге прижала ее к груди. «Ты угадала мою мысль, — сказала она, — Господь просветил тебя... слушай Его и не изменяй слову...»

Это случилось четыре года назад.

Аглае кончилось четырнадцать лет. Гостила она с матерью в ту пору, по обыкновению, в бабушкином скиту. Незадолго перед тем она впервые и совершенно случайно от одной из инокинь узнала кое-что из тайн своей семьи и, между прочим, о ссылке кузнеца Антропа, об утопленнике, его сыне, и о кончине брата Володи, которого Аглая страстно любила, хотя смутно помнила.

Она выждала время и при случае, затаив волнение, обратилась с расспросами о том к гостившей с ними в обители Егоровне. Кормилица передала ей, как старая барыня, за ссорой с барином, проглядела болезнь Володи, и перешла к рассказу о судьбе Антропа. «Ушел Антропушка с другими острожниками, — причитывала в слезах Егоровна, забыв, с кем она говорит, — ох, барышня-лебедушка!.. а их солдаты-то и окружили в болоте. «Не бейте, солдатушки, — молит братец Антроп, — дайте мать родну землю повидать, на могилке родителей, сына помолиться». А они из ружей как выпалят, да прямо-то ему в самую грудь... Склонился он, сердечный, кровь так и бежит по рубахе, а сам говорит: «За что, солдатушки, за что?» — Егоровна от слез не могла говорить далее.

Сидела она в то время с Аглаей у опушки монастырского леса. Прямо перед ними была поляна; за ней река, а над берегом старое монастырское кладбище. Поразил

Аглаю рассказ кормилицы. Антроп встал перед нею как живой.

«Бедный, бедный, — подумала Аглая, — и сын его утонул, и жена его бросила, и убили его без покаяния...» Слушая Егоровну, она прилегла к копне сена под деревом, — в то время кончили косить монастырские луга, и поле опустело, — задумалась и стала дремать. Кормилицу в это время кто-то крикнул из обители к Ульяне Андреевне. «Сиди ж ты, моя лебедушка, — сказала Егоровна, — а я вот на минутку сбегаю». И ушла.

В глазах Аглаи помутилось. «Видно, солнце зашло за тучку», — подумала она. В лесу и на поляне настала мертвая тишина. Только высокая, пахучая, некошеная трава на кладбище чуть колыхалась да из-за леса, без всякой, по-видимому, причины, как по покойному, раздался тихий, дребезжащий церковный благовест.

И вдруг Аглая увидела, что между зеленых могил, как бы играя там, мелькнуло одинокое дитя. Ближе и ближе. Оказывается — мальчик, да такой худенький, робкий, бледный. На нем белая рубашечка. Ножки у него были босые. А хорошенький какой! Русые кудри, голубые глаза. За ним, подалее, другой мальчик, поменьше... Да что же это, и почему он босой?.. Сердце Аглаи дрогнуло. Она замерла, не верит себе. «Ты ли это, Володя? Ты ли?» — радостно вскрикивает она, бросаясь к первому мальчику. «Не подходи, — кивая головой, отвечает он, — это я; но ко мне еще нельзя...» «Да как же ты выбился, Володечка, как вышел на свет? Ах, как я рада! Кормилица, где ты? Сюда, сюда!» — кричит, вне себя от восторга и вместе от ужаса, Аглая. «Не зови никого, — говорит ровным, тихим голоском бледный, худенький мальчик, — мне Антроп помог, на руках он вынес оттуда меня и своего сына... Он спрятался за канавой, боится, чтоб не увидали... Прощай; нам долго нельзя, пора назад...» «Подожди, о! подожди хоть минутку, дай на тебя насмотреться!» — молила Аглая. «Нельзя, — горестно качал головой мальчик, — тяжела, ох, да как же тяжела земля над нами... И ты одна, сестра, можешь отвалить ее, можешь

дать нам подышать... Помоги... помоги!» — «Чем, Володя, говори?» Мальчик не отвечает, хочет уйти. «Куда же ты, Володя, Володечка?» — ломая руки, кричала Аглая. Но белый мальчик не послушал ее, убежал и опять скрылся между могилами...

Аглаю замертво нашли на траве, у кладбищенской канавы, привели в чувство и стали расспрашивать, что с ней. «Волка под лесом увидала», — ответила она и никому не сказала настоящей причины. Так бы это дело и кончилось. Но мысль, чем бы именно она могла пособить брату, мучила ее и не давала ей покоя. Белый мальчик подходил во сне к ее постели, становился перед ней, улыбался и тихо говорил: «Аличка, помоги мне, помоги; силы нет; сжалься — давит!»

Раз перед выездом из бабкиной обители Аглая увидела, как постригали какую-то писаную красавицу, вдову-мещанку. Пели вступительный тропарь: «Объятия отче отверсти ми потщися». «Что пришла еси, сестро?» — спрашивал постригающий игумен. — «Жития ради постнического». — «Вольною ли мыслию желаеши сподобитися ангельского образа, — сохранити себя до конца живота, в девстве, целомудрии и послушании?» — «Ей-Богу, содействующу, честный отче...» — «Се Христос невидимо здесь предстоит, — возглашал игумен, — возьми ножницы и подаждь ми...» «Вот о чем просил меня Володя», — решила, уходя из церкви, Аглая и на другой же день сперва матери, а потом игуменье Сусанне объявила о своем желании также постричься в монастырь. Остальное взялась устроить Ульяна Андреевна.

Ветлугин с первого появления смутил и взволновал Аглаю. Она до того испугалась своего настроения, что тогда же решилась обо всем переговорить с Фросинькой. «Фросинька, ангел мой! — сказала она, кинувшись ей как-то в саду на шею. — Объясни ты мне, что это такое и когда *это* со мной сделалось? Отчего я вдруг стала *такою?*» «Какою?» — спросила ее с изумлением Фросинька. «Да разве ты не видишь? не понимаешь?» «Хоть убей, не возьму в толк», — терялась Фросинька. «Ах, ты ничего не хочешь видеть, или я глупа!» — с сердцем

вскрикнула и, расплакавшись, убежала от нее Аглая. Когда же Фросинька с своей стороны как-то вздумала пуститься с ней в толки о госте, Аглае показалось, что мечтательная и ветреная подруга сама влюбилась в него по уши. Она вспыхнула от страха и от стыда и, едва дослушав ее, подумала: «Теперь всему этому надо положить конец, и чем скорее, тем лучше... Попрошу дядю, чтобы он уговорил его уехать, а не уедет, я сама ему скажу...»

Несколько раз Аглая собиралась вызвать Ветлугина на объяснения, чтоб тут же сразу отнять у него всякую надежду. Она тщательно одевалась, по несколько раз принималась расчесывать свои волосы и — что редко с ней бывало — накалывала на грудь какой-нибудь бантик или пучок цветов, и, раскрасневшись, чуть сдерживая волнение, быстро сходила вниз, а оттуда в сад... Но сомнения росли, выводы и соображения падали, путались. Желание видеть Ветлугина, объясниться с ним уступало место смущению, робости... Иной раз невзначай она встречалась с ним, с видимым равнодушием слушала его, а когда он уходил, начинала плакать, ломать руки, вздыхать и теряться в догадках.

— Да так ли уж это все? — сказала раз в такие минуты матери Аглая.

— Что такое? — спросила Ульяна Андреевна.

Дочь застала ее за укладкой белья в спальне.

— Так ли все это? — повторила как бы про себя, с странным блеском глаз Аглая. — Я все думаю, думаю... Письма об Афоне я читала сейчас.

— Ой, читай, Алинька, читай, слушай угодников. Послушание — паче поста...

— Страшные подвиги на Афоне совершают отшельники, — продолжала, не слушая матери, Аглая, — от людей отрекаются, от страстей, плоть и душу свою клянут и предают на истязание... По десяти, по пятнадцати часов из церкви не выходят, молятся до омертвения...

— Мать Паисия, Алинька, на Афоне не была, нельзя — там пятьсот лет женский пол ногою не ступал, — а в Иерусалиме была, — святогробского дерева и масла привезла, святой огонь ела и слышала, как души воют в аду... Вот ее спроси...

— Да не о том, маменька, не о том, — перебила, хватаясь за голову, Аглая.

— О чем же?

— Ну что, если попусту, даром все эти муки и истязания? Что, если там за гробом — мрак... если нет награды за это отречение от жизни? Что... да нет, страшно! Вы о том не думали и этого не поймете...

Аглая ушла. Ульяна Андреевна от изумления только руками развела. Она была поражена.

«Это все дядя ее научает, это его слова! — замирая от страха, думала она. — Надо ехать к матушке Измарагде... надо ехать...»

Ульяна Андреевна получила новые, важные вести из монастыря и на этот раз не вытерпела: после утреннего чая уехала туда на целый день. Уезжая, она просила Аглаю не расставаться с отцом и быть с ним как можно ласковее. «Ты знаешь, через неделю уж и срок...» — прибавила она.

Ветлугин в то утро кончил пересмотр записок Вечереева и также собирался через день-через два окончательно уехать из Дубков. Хотя, вслед за прибытием сюда, он и известил отца, что поручение его будет, по всей вероятности, выполнено, и что если он прогостит здесь лишнее время, то на это следует смотреть как на дружеский плен со стороны Вечереева, — но этот плен становился наконец ему не под силу. «Зачем я здесь, — рассуждал он, — какая польза? Аглая, видимо, избегает меня. Застану ли ее в саду, с книгой, она издали еще заметит меня, встает со скамьи и уходит. Говорю ли с ней, она точно не слышит меня, едва ответит и, кажется, думает: «Ты здесь при чем и когда наконец уедешь?»

В день отъезда Вечереевой, после обеда, Ветлугин опять взял у Филата ружье и пошел за реку, в луга. Он бродил там до вечера, возвратился уже в сумерки, не заглядывая в дом, прошел к себе в беседку, запер дверь на ключ и, не зажигая свечи, как был, в платье и в сапогах, бросился на постель. Жаркий ли день его так утомил, душевная ли тревога его подломила, только он чувствовал себя, как в лихорадке. Голова горела, по телу пробегал озноб. Он на мгновение забывался тяжелым сном, но опять раскрывал глаза, прислушивался и приглядывался к темноте.

То ему грезилось, что в окно беседки заглядывает и ищет его глазами Ульяна Андреевна. То в углу, за печкой, ему мерещился, полуосвещенный лампадкой молельни, спрятавшийся тут Вечереев. Кирилло Григорьич внушительно подмигивал ему и будто говорил: «Что, обошли меня, старого хрыча, обошли, и никто мне не помог!» А раза два Ветлугину почудилось, что Ульяна Андреевна уже не под окном, а здесь же, в потемках, сидит на стуле возле его дивана, смотрит на него, шепчет: «Все да презрят, все да отринут!» — и холодом могилы веет от нее... Смерть, конец...

Антон Львович очнулся и долго не мог понять, где он и отчего так быстро проснулся?

Точно кто-нибудь его громко назвал по имени или толкнул. В ушах его звенело. В воздухе было душно. Сидя на постели, он стал прислушиваться и глядеть кругом. В темноте, за окнами беседки вспыхивали яркие зарницы. Ветлугин сообразил, что его разбудило сильным ударом грома.

Он вышел на крыльцо, постоял здесь, последил за молнией, раза два пышно озарившей сад, возвратился в беседку, распахнул все окна настежь, прилег и опять хотел заснуть. Сон бежал от него. Что-то непонятное творилось вокруг...

За беседкой раздавался странный, непрерывный шорох, будто шумели встревоженные вихрем деревья — ветра между тем не было — или впотьмах над садом летела бесконечная туча насекомых. Ветлугин снова вышел из беседки. Деревья молчали. Ни один лист не шевелился на них.

«Что за странность?» — подумал Ветлугин и только что ступил от крыльца, зарево молнии блеснуло ему прямо в глаза, и в то же мгновение новый удар грома оборвался над садом и, казалось, упал в пяти шагах от беседки. Тут только Ветлугин в блеске молнии разглядел разбуженных необычной ночной грозою птиц, пугливо метавшихся во мраке поверх дерев, и понял причину слышанного им шороха.

Вспышки молний становились чаще и чаще, сливаясь в одно, то голубое, то желтое, то алое сверкание. Ббах, ббах! Залпами учащенной канонады вторили им оглушительные удары грома, отдаваясь во мраке полей и то и дело сотрясая окна и стены беседки. При блеске молнии было видно, как дальние вербы шевелились от налетающего ветра и, точно уходя от берега, качали огромными, косматыми головами.

И опять темнота. А дальше, где-то за рекой, минуя сад, падал дождь. Где-то в оврагах бежали и журчали проворные дождевые ручьи. Кажется, конец грозе...

Но мгновенно опять и еще ярче вспыхивает все пространство сада, парка и взгорья над рекой. Из мрака выделяются аллеи, дальние липы и дубы, в конце сада, на крутизне, дом и крыши надворных строений, а за ними, в темном небе, крест церкви и вспугнутые ночной грозою птицы...

«Спит ли она теперь?» — подумал Ветлугин, отходя от беседки. Он обогнул первые кусты. Песок слегка хрустел под его ногами. Он миновал одну дорожку, другую, вышел к дому, взглянул на окно Аглаи. Везде тихо. Он постоял несколько мгновений. «Безумие, безумие, — помыслил он, — завтра же еду отсюда!» И только что хотел идти обратно, как невдали от него послышались другие шаги. «Кто бы это был? Неужели?..» — мелькнуло в голове Ветлугина. Холод пробежал по его жилам. Он сделал несколько шагов.

— Филат, это ты? — произнес из потемок тихий, дрожащий голос.

Ветлугин замер. То была Аглая.

XVI

Благовесть

— Проводи меня, мне страшно... мне показалось, — продолжала, не двигаясь с места, Аглая.

— Вы ли это, вы не спите? — отозвался, шагнув к ней через поляну, Ветлугин.

Он подошел к ней. Она молчала. На ней, прикрывая ее плечи и руки, был наскоро наброшен платок.

— Что с вами? — повторил Ветлугин.

Он почувствовал, как кровь мгновенно прилила ему в лицо. Руки его дрожали.

Мысли к Аглае понемногу возвратились. Судорожно кутаясь в платок, она несколько постояла, обернулась, испуганно оглянулась в сторону дома, крепко взялась за руку, протянутую ей Ветлугиным, и, точно убегая от чего-нибудь тяготившего ее, неровной поступью пошла с ним вдоль поляны.

— Ах, как страшно, как я испугалась, — сказала, вздрагивая, Аглая, — я рада, что это вы... а мне показалось...

— Что с вами? Скажите мне, не бойтесь, — успокаивал ее Ветлугин. — Не помогу ли я вам?

Они дошли до конца поляны, сели под деревом на скамью. Но Аглая через минуту встала опять, при блеске зарниц прошла далее, повернула к парку и, дойдя до второй, скрытой за деревьями поляны, сказала: «Здесь». Они сели под навесом беседки из дикого винограда.

— Вы хотите мне помочь? — все еще не приходя в себя, проговорила Аглая. — Вы слишком добры, и я ничем этого не заслужила.

Она перевела дух.

— Позвольте, позвольте, не возражайте! — продолжала она, оглядываясь. — Выслушайте меня. Я так испугалась. Мне представилось... Нет, не то... Мои мысли совсем путаются... Вы знаете, у Егоровны, моей кормилицы, заболела дочь... Здесь постоянно столько больных... несчастное место.

Аглая остановилась.

— Так вот, — продолжала она, — муж Егоровны вчера уехал в другое наше имение; я и отпустила ее к детям и осталась ночевать наверху одна. Маменька тоже уехала. Я не трусиха. Но посудите сами... Чуть только я легла и закрыла глаза, — страшно и вспомнить, *он* опять и явился.

— Кто? — спросил Ветлугин.

— Он... он подошел ко мне, стал и глядит так жалобно...

— Да кто же он, кто? — допрашивал Ветлугин.

— Он... да Боже мой!.. белый мальчик... Вот... Володя наш... — отвернувшись, ответила Аглая.

— Как, что вы сказали?

— Ах, не то, опять не то! — просящим, беспокойным взором взглянула на него Аглая. — Мне бы не следовало... И я никому не говорила... Но, Боже, какая пытка! Я теряюсь, я не вынесу этого. Судите, как знаете; я вам первому это передам.

Волнение более и более охватывало Аглаю. С трудом преодолевая внутреннюю дрожь, она крепче закуталась в платок, робко придвинулась к Ветлугину, еще раз оглянулась к дому и за реку, в темноту, откуда слышались последние вздохи уходившей вдаль грозы, и чуть слышным шепотом, с перерывами, недомолвками и со слезами рассказала Ветлугину, как во время пребывания у бабки ей впервые привиделся покойный брат, Володя.

— Но ведь это было во сне! — успокаивал ее Ветлугин.

— Знаю, знаю и сама понимаю, что не следует верить снам. Но измучишься. Притом есть знамения... Послушайте, не могу этому не верить!.. Если б вы видели его, если б взглянули... Какая жалость! Худенький, робкий, бледный — совсем дитя... Подойдет, станет и молит... Ах, да о чем же он молит, скажите вы мне! — заключила, хватая себя за голову, Аглая. — Недаром же все это... недаром...

Слезы не дали ей договорить. Платок скатился с ее плеч. Волосы в беспорядке упали на лицо.

«Ее ли я слышу, — рассуждал Ветлугин, — и она ли сидит теперь рядом со мной, складками платья касается меня? Я ей все скажу, все. Я раскрою ей бездну, куда ее толкают. Передам, что мне жаль ее, что я ее полюбил и спасу во что бы то ни стало! Что она грезилась мне всюду, с детства, в юности, в лучшие мои мгновения».

— Знамение, вы сказали? — спросил Ветлугин. — Хорошо, пусть это будет знамение. Вы добиваетесь его смысла. Вам тяжело, и вы спрашиваете, как вам быть? Я вам отвечу за вашего брата, — сердечным, дрогнувшим голосом, несмело сказал и смолк Ветлугин. — Не того ждет от вас и не о том молит ваш брат, что под влиянием других вы решили сделать...

Аглая молча взглянула на него.

— Не верьте ничьим советам. Верьте себе одной! — смелее и тверже продолжал Ветлугин. — Ваши тревоги, ваши сомнения и эти страстные поиски истины, это — борьба за жизнь. И вы достойны жизни. Не идите в монастырь. Оставайтесь в свете, будьте лучшим его украшением. Вам ли преждевременно посвятить себя затворничеству и отречению от мира и от ближних, когда вы можете принести столько пользы и счастья себе и другим? Вы — дочь богатых родителей. Бедность, Аглая Кирилловна, вопреки толкам монахов — не благополучие, а злое горе для человека, тяжкие кандалы на ногах, не дающие множеству хороших людей свободно идти по жизненной дороге... Достаток — прежде всего, долг, обязанность. И вы в долгу перед светом, обществом.

Аглая не глядела на Ветлугина. Но пением райской птицы в ее душе отдавались его слова. Перебирая в руках платок и не поднимая глаз, она жадно слушала Ветлугина и думала: «Он прав, да мне-то что из того?»

— Взгляните, что творится хоть бы здесь, перед вашими глазами, — убеждал Ветлугин, — поселок ваших былых крестьян, по ошибке ли прежних владельцев или по собственному их неведению, расположен по болотистому заливу реки. Лихорадки, горячки и всякие повальные болезни, как

вы же говорите, изнуряют взрослых, безжалостно убивают детей. Вот о чем, верьте мне, между прочим просил вас тот... тревоживший вас мальчик... Вашим влиянием могут быть осушены болота. И вас благословят сотни людей.

Ветлугин помолчал.

— Да мало ли, — продолжал он, — всмотритесь в нужды этих и окрестных бедняков. Сколько добра они ждут от вас и от других... Вы ли, Аглая Кирилловна, на вашем искусе, будете служить какой-нибудь выжившей из ума, но всем обеспеченной, темной старухе, когда вокруг вас по избам столько семейств тонут в непроходимом невежестве или подчас без пособий мрут как мухи и когда ваши услуги в монастыре легко может заменит любая поденщица? Наконец, вы убьете отца... Скажите, уж одно это даст ли вам счастье, даст ли желанный покой?

Аглая подняла голову.

— Поздно мне все это слышать! — сказала, вставая, она. — Я дала обет и должна его исполнить.

— Но вы еще так молоды, — вставая в свой черед, возразил Ветлугин, — какое поприще могло бы еще открыться перед вами и сколько добра вы рассеяли бы вокруг себя!

— Сны, видения, я согласна с вами, — сказала Аглая, — это — плод взволнованной, расстроенной души. Но раз принятое решение должно быть исполнено.

Она ступила несколько шагов.

— Аглая Кирилловна! — вскрикнул ей вслед Ветлугин, чувствуя, как вдруг упало его сердце.

Она остановилась.

— Я вас слушаю, — не оборачиваясь, тихо сказала Аглая.

— Я завтра еду... Во имя дружбы, которою вы меня сегодня подарили, — сказал Ветлугин, — еще раз заклинаю вас, одумайтесь, не губите себя.

— Поздно, поздно! — решила, уходя, Аглая. — Дай Бог вам счастья на вашем пути! Я с своего не сойду...

Ветлугин остался убитый, ошеломленный. В воздухе еще пахло грозой. За рекой начинало белеть.

Утром того дня возвратилась в Дубки Ульяна Андреевна.

— Что барышня? — спросила она на крыльце встретившую ее Егоровну. «Спят еще», — ответила кормилица. Ульяна Андреевна на цыпочках взошла наверх в комнаты дочери, неслышно отворила дверь с лестницы и в умилении пробыла несколько мгновений... Аглая, спиной к ней, стояла на коленях перед образом и, устремив на него глаза, со сжатыми руками, неподвижно и горячо молилась.

Ветлугин проспал чай, проспал и время завтрака. «Видно, наморился над писаньем, — рассуждал Филат, приходя к нему и опять уходя, с размышлением, — ишь, и вещи свои уложил, собрался; должно быть, уезжать хочет — пусть выспится». Антон Львович спал тревожно, ему грезились то голубые, то алые молнии, частый ливень и косматые вербы, а в небе крест церкви и стаи кружившихся, спугнутых ночною грозою птиц. Грезилась ему и Аглая...

Он проснулся незадолго перед обедом. Голова его была тяжела. Он встал, вспомнил встречу и разговор под виноградной беседкой, позвал Филата, узнал, что Вечереева уже возвратилась и что господские лошади теперь в сборе, попросил чаю и, сказав, что выйдет только к обеду, взял перо и стал писать. То было письмо к Аглае. Он хотел его передать через Фросиньку. Мысли не слушались. Прошел час, другой. Письмо не писалось.

— Кушать просят, — объявил показавшийся в дверях Филат.

Ветлугин разорвал начатое письмо, привел себя в порядок и вышел в сад. Воздух был влажный. Пáрило. Кругом стоял густой, смолистый пар от дерев и цветов.

— Что это, дедушка, было сегодня ночью, — спросил Антон Львович деда Лукашку, увидя его, с пучком готовых тычинок, под ракитою в саду.

— Воробьиная ночь, милый, ноне была.

— К добру же это или не к добру?

— Как кому. Молодым все к добру. А вот я так лежал всю ночь в землянке да думал, уж не конец ли свету пришел?

Перед концом всего оно этак-то будет; в книгах написано, и барышня, как махонькая была, сказывала...

— Что же она тебе, дедушка, сказывала? — спросил Ветлугин.

— Земля, говорит, загорится, и вода загорится. Так огнем-то реки по земле и потекут и пожгут всех грешников... Ох, страшно-то каково! Веришь ли, вскочил это я ноне ночью, хочу молиться и не могу... Забыл, милый, как есть все молитвы... Грех-то какой! Надо к дьячку сходить, чтобы опять выучил. Памятью, братец ты мой, плох становлюсь...

— Ну, и мне, дедушка, не по себе...

Дед, мигая от солнца, посмотрел на Ветлугина.

— Что так? — спросил он.

— Точно хмельной... Иду вон мимо цветов, голова кружится...

— Оно бывает, сердечный. Кого сегодня ни спроси, все будто в угаре. Ишь, и цветики ожили, — точно кадильнички курятся... А пчел-то, пчел после грозы! Ровно мошки реют. Всякому жить хочется, всякому... и старому, прости Господи, и молодому...

За обедом собралась вся семья. Даже Фросинька, так было недружелюбно расставшаяся с Аглаей, сидела здесь же, рядом с нею. Все, кроме Кириллы Григорьевича, знали мысль Ветлугина ехать в тот день. Ему только Антон Львович еще не успел этого сообщить.

Минувшая ночь оставила глубокие следы в Аглае. Она сидела, почти не замечая того, что вокруг нее говорилось и делалось, и несвязно отвечала на шуточные расспросы отца о ее пребывании с матерью, год назад, в какой-то пу́стыни, где под видом иеромонаха-проповедника несколько месяцев проживал беглый солдат.

— Представьте, Антон Львович, — сказал при этом Вечереев, — благочестивого дезертира тем только в этой обители и уличили, что ловкий следователь подкрался к нему в келью и громко сказал: «Сазонов, где фельдфебель?» Тот в испуге и ответил: «Не могу знать, ваше благородие». А

эти добродушные барыни, да и другие с ними, наперерыв искали его внимания, слушали его поучения...

— Совсем же он не поучал, а только с прочими пел на клиросе, — защищалась Ульяна Андреевна.

Аглая виду не показывала, как ее тяготили эти шутки отца. Только ее лихорадочно блестевшие глаза, минуя Ветлугина, пугливо и пристально порой взглядывали на мать.

— И охота тебе, Кирилло Григорьич, — сказала Ульяна Андреевна, — говорить такие вещи? Что за празднословие! Этим ты бросаешь тень и на истинно благочестивых людей, живущих по монастырям.

— Благочестивых? — с досадой вскрикнул и закашлялся старик, — ну, нет... Не знаю, где больше благочестия... Дубки — тот же монастырь. Спрятаться от бурь житейских, коли пошло на то, можно и здесь, в родном гнезде.

Мать и дочь переглянулись.

— Вот хоть бы и я, — продолжал Вечереев. — Пусть мятется свет. Пусть работают пылкие молодые умы. Мне не опасны никакие бури и волнения. Что мне! Я вошел в пристань и своей жизни не изменю. Время мое кончилось, песня спета. Остается жить, как живут птицы, деревья да эти цветы. Я так и живу... А там, за этим домом, садом и полями — хоть трава для меня не расти.

— Это — эгоизм, — сказал Ветлугин.

— Эгоизм! Извините: лучше быть скромным злаком, последним быльем родных полей, лучше откровенно ничего не делать, чем представлять из себя шумиху и верой в мнимый ход спящего общества надувать себя и других... Словом, я отрезанный ломоть. Или нет, постойте... Читали ль вы, Антон Львович, про индийских факиров, как они целые годы в родных лесах стоят на одном месте, созерцая тихий священный поток?

— Читал.

— Ну-с, я тоже теперь в некотором роде — индийский факир. А факиры несчастны только тогда, если кто помутит их заветный поток... Надеюсь, убежден, что моего не пому-

тит никто... Я спрятался в нору и — за все блага шумных, душных городов — не отдам этого зеленого затишья...

Кирилло Григорьевич внушительно взглянул вокруг себя.

— Прав ли я? — с сердитым, громким сморканьем обратился он к Ульяне Андреевне. — Я знаю, ты не согласна со мной; что же делать? Останемся всяк при своем. Мой рай греховен, но я верю в него и его не покину.

Все на это промолчали.

— Вы, Антон Львович, кажется, также со мной не согласны? — улыбнулся Вечереев. — Или есть что-нибудь прочнее моих книг, моей музыки и этого мирного деревенского затишья?

— Я с вами не согласен, — ответил Ветлугин, — картины сельского счастья, которые вы сейчас рисовали, не вечны... Но вы, извините меня, упомянули также о волнении света, о бурях общественных, о работе молодых и пылких умов. Такие умы, быть может, где-нибудь и работают, только — увы! — не у нас. У нас вообще любят больше болтать, чем работать. Большинство наших усилий до сих пор походили на нечто вроде прыганья белки в колесе. И мы, я думаю, скорее должны бояться другого — не чрезмерного движения, а возврата общества вспять... Надо много дружных усилий честных и мыслящих людей, чтобы удержаться от напора враждебных, задерживающих влияний...

— Так, так, молодая вы моя душа! Люблю в вас адвоката юности. Но вы меня не переуверите. Не только мы с вами, но, ручаюсь, ваши внуки и правнуки не дождутся того, чего бы вы желали. Припомните мои слова: вот я теперь — один из первых землевладельцев в уезде, а Филат Иваныч, хотя и вольный человек, опять не в меру выпивши, стоит вон у меня за стулом... То же — верьте мне — будет через десять, через двадцать лет и более. Явление грустное; но человечество всегда, и в каменный период, и на свайных постройках, делилось на слуг и на господ. Таково оно было в Египте при фараонах, в Америке при Ментезуме, и при Ное, когда все еще ходили в звериных кожах. Другим оно

не будет и в те времена, когда железные дороги заменятся воздушными шарами, а наследственные собственники, по новому учению, — выборными... Всесветным прогрессистам, что бы ни говорили, не удастся бросить камня, которым окончательно замутился бы поток жизни общества... и этого уголка...

— Опасны не прогрессисты, — негромко возразил Ветлугин.

— Кто же, кто? — допрашивал Вечереев.

Обед в это время кончился. Все встали и перешли в сад, на балкон.

— Равнодушие общества, вот что опасно! — сказал Ветлугин, чувствуя, как все в нем при этом заговорило. — Равнодушие умного — перед заблуждениями глупца, богатого — перед неисходною бедностью нищего, всех — перед вопиющими нуждами друг друга. Всякий ссылается на другого. Вот, извините, хоть бы и вы... Я не понимаю этого вашего гордого отношения к окружающему. Вы говорите: пусть врываются в окна этого дома, в этот сад новые веяния времени; вы остаетесь ко всему равнодушны. Но и вы не отставали от века: вы выписывали машины, новейшие руководства к хозяйству и сами над всем трудились. Положим, что хорошо в теории, то у нас подчас оказывается неприменимым на деле. Вы не захотели продолжать попыток далее; бросили все, сложили руки и сказали себе — довольно! по Сеньке шапка. Но у вас, повторяю, была молодость. Неужели в вас окончательно иссякло негодование против ненужных стеснений, против грубого нахальства одних и лживого потворства всякому произволу других? Я этому не верю... Человек должен жить так, чтоб каждое мгновение быть готовым на призыв своего долга... И добрые, честные люди уже тем полезны, что живут в данное время на свете...

Аглая не спускала глаз с Ветлугина. Он еще ни разу не казался ей так дорог и мил. Она невольно любовалась им, его пылавшим, смелым взором и одушевленным лицом, и с тайным трепетом, замирая, думала: «Боже мой, да неужели

ж меня, дикую и простую, может полюбить этот не погрязший в общей тине, с таким горячим сердцем и чуткою душою человек? Нет, это искушение, бесовский обман, и больше ничего! Боже, прости меня, грешную, и помилуй!» Она искала силы покаяния и с ужасом сознавала теперь, как и прежде, в этом свое бессилие...

— Ого! Браво, браво!.. — воскликнул Вечереев. — Что значит молодая кровь! Да вы — чистый трибун. Вам не по торговой части, а прямо бы там же, поблизости, в Японию, что ли, в миссионеры. Ох, юность, юность! И все это оттого, что у вас самих, милый мой, нет ничего... Были бы вы сами собственником, не то бы заговорили...,

Слушая разговор Ветлугина с отцом, Аглая думала: «Брата Володи нет в живых. Что, если бы он не умирал и сидел здесь же, среди нас? Походил ли бы он на этого человека? Или, рано бросив ученье и мысли о добре, он подошел бы, как и другие, под уровень окружающего, измельчал бы и погряз в общей пустоте?»

При мысли о ночной встрече с Ветлугиным Аглае казалось, что это случилось уже давно, и она радовалась, что это было и что этого никто не знал.

Ветлугин помолчал. Несколько замявшись и обращаясь к Вечерееву, он сказал:

— Теперь, позвольте, Кирилло Григорьич, с вами проститься.

— Как, что? Полноте, полноте, в четверг день моего рождения; неужели вы нас оставите?

— Очень вам благодарен; но у меня дела; надо побыть с отцом, да и далее ехать.

— Нет, мы вас не пустим. Жена, проси...

Ульяна Андреевна пробормотала что-то вежливое, хотя и не столько радушное и ласковое, как в первый день приезда гостя. Фросинька делала какие-то знаки Аглае. Та сидела молча. Когда наконец старик, видя, что гость не остается, сказал: «Ну, нечего делать; останьтесь хоть еще день-другой», — Аглая встала, передвинула у решетки ка-

кой-то цветок и вышла. За нею ушла Фросинька, а потом и Ульяна Андреевна.

Хозяин и гость посидели еще несколько времени. Вечереева вызвали к приказчику.

— Так не останетесь до четверга? — спросил, уходя, старик.

— Не могу; завтра я просил бы у вас лошадей.

— Ну спасибо и за то. А сегодня вечером мы окончательно поговорим об устройстве дела вашего отца. Жду только одной справки, и затем я к вашим услугам.

Ветлугин сошел с балкона. Ему хотелось еще раз взглянуть на то место, где он вчера сидел и говорил с Аглаей. Он направился к виноградной беседке, побыл там и пошел в парк.

В это мгновение раздался благовест ко всенощной. Наутро было воскресенье. «Пойду, загляну в церковь, — подумал Ветлугин, — Аглая, вероятно, будет там».

Но едва он прошел несколько шагов, как невдали от выхода из парка в сад встретил Аглаю.

— Остановитесь! — отрывисто сказала она, глядя в сторону.

Ветлугин замер. Земля заколыхалась под его ногами.

— Сверните сюда, — скороговоркой продолжала она, — вот так, за эти деревья...

Они стали за густую изгородь, окаймлявшую одну из полян.

XVII

Звезды

— Скажете ли вы мне правду? — не поднимая головы, грудным, надорвавшимся голосом спросила Аглая... — Нет, не то... Исполните ли вы мою просьбу?

— Я весь к вашим услугам. А на мою искренность вы можете всегда рассчитывать.

— Да, вы — добрый и... честный человек, — продолжала Аглая, — я в этом убеждена. Думая долго, я, наконец, готова верить и тому, что наша встреча и все это... наше знакомство... произошли случайно... Но что вам надо от меня? Скажите откровенно... Вы следите за мной... Вы у меня постоянно перед глазами...

Она выпрямилась, подняла голову, но тут же, как бы в изнеможении, прошептала:

— Боже, какое мучение, какая казнь!

«Да в чем же, в чем дело?» — порывался сказать Ветлугин.

Но его губы дрогнули, не произнося ни слова. Горло сжалось. В глаза ударил яркий сноп лучей. Ему вспомнились зарницы минувшей ночи...

Он чуть не зашатался. В приливе робости и смущения, с изнывавшим от любви и жалости сердцем, он глядел в умоляющее, измученное ожиданием бледное лицо Аглаи и не знал, что ей сказать.

Впоследствии, много времени спустя, мысленно переносясь к этому мгновению, Ветлугин ясно припомнил, как и что с ним тогда произошло. Аглая говорила ему какие-то слова, а перед ним почему-то мелькала картина синего озера, мрачная, скалистая стремнина и молодой, обессиленный травлей олень, кидающийся в бездну со скалы; где-то темной ночью виденный лесной пожар, а в дыму и в пламени горящего села слабый, чуть слышный плач забытого ребенка...

Он склонился к Аглае, взял ее за руку и сказал ей:

— Не бойтесь меня... перед вами друг... брат, готовый свою жизнь положить, лишь бы вы были счастливы.

— Если вы, — возразила, тихо освобождая от него руку, Аглая, — если моя дружба хоть чем-нибудь вам дорога́, умоляю вас, уезжайте отсюда без колебаний, — и чем скорее, тем лучше, — завтра же, сегодня, если можно... Лучше нам расстаться друзьями.

— Хорошо... Если мой отъезд необходим, если вы того желаете, дайте мне на прощанье сказать еще слово... Выслушайте меня.

— Говорите, слушаю, — робко сказала Аглая, чувствуя, как холод и трепет побежали у нее с головы до пят.

Ветлугин медлил. Он понимал, что это свидание было последним и что спустя мгновение между ним и Аглаей ляжет пропасть, через которую для них обоих уже не будет возврата.

— Вы понимаете, — начал он, — минута расставания. Она все собой заслоняет! Я хотел многое вам передать, а нет сил, чтоб сказать одно слово — прощайте. Неужели мы больше не увидимся? Неужели...

— Послушайте, — перебила его Аглая, — зачем эта нерешительность, слабость? Вы не хоронили друзей? Считайте, что я умерла и что мы с вами теперь на моих похоронах... Право, разберите все это, — продолжала она, ступив опять на дорожку и идя рядом с Ветлугиным, — стоит ли вам, Антон Львович, думать о ком-нибудь в этих местах? Ваше поприще — на ином пути. Вы — другого мира человек. Здесь же — глушь, сон, или, как говорит мой дядя — а он вас очень уважает, — застой. Вы так одарены... Вам ли помириться с ничтожной долей? Вам ли закабалить себя в жалкой житейской пустоте?

— Скорее о вас следует это сказать, — ответил Ветлугин, — вы стремитесь к пути, не свойственному ни вашим летам, ни вашему положению в свете...

— Моя судьба и ваша — большая разница, — возразила Аглая, — что ожидает каждую из нас? Какова доля русской женщины в семье, в обществе? Я мало жила, но я знаю, я видела много несчастных примеров. Стоит ли жить? Сколько несчастий выпадает на долю женщины в наше время... Где ее поприще, в чем ее призвание, где ей применить душевные силы?

— Более веры в жизнь, Аглая Кирилловна, более надежды на себя. Где один не сможет, сможет другой; где

один ослабеет в борьбе с житейской долей, там... не ослабеют двое...

Ветлугин сказал это и никогда потом, в других обстоятельствах и под другими впечатлениями, не мог забыть, как детски растерянно взглянула на него при этом Аглая, какой неподдельный ужас изобразился в ее лице и как она хотела что-то сказать, склонила голову и молча пошла далее.

Они приблизились к мостику через ручей, но не взошли на него, а обогнули смежную с ним аллею и, снова направясь в парк, остановились у его отдаленной поляны.

В это мгновение в виду цветущих, осыпанных пчелами трав и кустов, под теплым лучом тихого, весеннего вечера Аглая показалась Ветлугину такою желанной, такою полной прелести и чистоты, что он невольно подумал: «Как бы ласково и нежно я обнял тебя, как бы приголубил и высказал тебе всю душу, если бы ты была моею!..»

Он искал слов, воображал себе ее борьбу и волнение. Земля точно уплывала из-под его ног.

— Если б вы были... моей женой... — начал он и остановился, — кто помешал бы нашему счастью? Кто сказал бы — умирайте, когда бы обоим нам хотелось жить?

Ветлугин тихо ее обнял. Аглая не отвечала. Белая накидка медленно вздымалась на ее груди.

Они сделали еще несколько шагов, незаметно достигли края парка, взошли на крутизну и сели на скамье, на которой столько лет назад впервые сидели отец и мать Аглаи.

— Вы со мною не согласны? — спросил Ветлугин.

Аглая молча положила обе руки на плечи Ветлугина. Губы ее были бледны, глаза сухи. Сердце билось шибко.

Она вся похолодела. Что-то расцветало, загоралось внутри ее. Таинственная завеса будто распахнулась перед ее глазами, и лучезарные горизонты открывались за нею. «Ты искала истины, боролась, колебалась! — шептал ей внутренний голос. — Вот истина... ты ее нашла — бери...»

— На днях, — сказала Аглая, — мне снилось, что я молила дядю спасти меня, он не слушал меня и не понимал...

Вдруг стены моей комнаты сами собой исчезли, упали; я неожиданно, чудом вылетела отсюда... Я была как на крыльях... Рядом со мною было другое существо...

Она не договорила. Ветлугин взял ее за руку. Рука ее была холодна. Он опять обнял Аглаю. Она не сопротивлялась.

— А Божий суд? — спросила она, обращая бледное лицо к Ветлугину.

— О! мы заслужим прощение всякого суда.

Аглая крепче прижалась к груди Ветлугина.

— Божий суд, — шептала она, — да! Все это так неожиданно... Вы мало меня знаете... Я боюсь... Ах, зачем мы прежде не встретились?

— Не бойтесь, молю вас...

— А если вы не будете со мной счастливы? Что вы нашли во мне? Что?

— Вы себе цены не знаете, вы...

— С одним условием! — перебила, чуть вздрогнув, Аглая. — Даете ли мне слово?

— Клянусь... Приказывайте... все исполню.

Аглая взглянула в направлении к дому, взяла за руку Ветлугина и сказала:

— Об одном молю — сами уж вы там... все это... скажите отцу, матери... У меня сил не хватит.

Церковь, поселок и даль за рекой горели в лучах заката. Старые дубы и липы таинственно молчали вокруг. Над их вершинами синела кроткая, безоблачная глубина вечереющего неба. Слышен был малейший шорох в травке, стук с ветки на ветку падающего сучка. Жаворонки смолкли. То там, то здесь начинали по саду отзываться соловьи...

На колокольне прозвонили опять.

— Ну, голубчик Алинька, будет же тебе от матери, — встретила Аглаю у церковной ограды Фросинька, — поздравляю, ты прогуляла всенощную. А я, хоть дел дома по горло, пошла, чтоб только тебя увидеть...

Аглая не смотрела на свою подругу.

— Раздумалась это я, — продолжала Фросинька, — о твоей да и о своей судьбе. Ты права... Ни ему, да и никому другому я более не пособница и не покровительница... В них влюбишься, а они, противные, такие гордецы... Вздумал ехать! Ну, и пусть едет — счастливого пути... Ох, ох... Видно, так уж нам на роду написано. А чуть ты уедешь в Красный Кут, и наденешь клобук, и я, Алинька, за тобою...

Девушки подошли к паперти. Служба кончилась. Отец Адриан уже был дома. Дьячок запер церковь и, гремя ключами, с поклоном прошел за ограду, ярко залитую лучами догоравшей зари.

Аглая, потупившись и точно не видя ничего, с опущенными, как у статуи, руками, стояла перед Фросинькой.

Вдруг она подняла голову, вздохнула; блуждающим взором взглянула вокруг себя, порывисто и страстно обхватила ничего не ожидавшую подругу, склонилась ей на плечо и, осыпая ее страстными, горячими поцелуями, стала ей что-то шептать.

— Да полно... что ты шушукаешь? Ровно ничего не слышу, — перебила ее с досадой Фросинька, — ты иной раз так тихо говоришь, так тихо, что и сама себя, верно, не слышишь...

— Ах, Фроничка, друг ты мой, слушай! — вся закрасневшись, торопливо и испуганно заговорила Аглая. — Не до всенощной мне теперь; и ни в Красный Кут, ни в другой монастырь я, вероятно, более не поеду... все кончено, все...

— Да что же такое кончено? Ах, да говори же... ничего, хоть убей, не понимаю! — начала теряться в догадках Фросинька.

— Я... я... — дрогнувшим голосом проговорила Аглая.

— Тьфу ты! — сердито вырвалась от нее Фросинька. — Говори, или я уйду...

Аглая бросилась к ней и опять сжала ее в объятиях.

— Я... — сказала она, целуя подругу: — я... дала слово Ветлугину... и... и...

Опять поцелуй. Аглая не договорила.

— Как, что? — в испуге отшатнулась Фросинька. — Что ты сказала? Да говори же...

— Я... выхожу за него, и он увезет меня... О! мы убежим отсюда за тридевять земель...

Фросинька всплеснула руками. Бледная от радости и волнения, она в свой черед бросилась обнимать и целовать Аглаю.

— Так ты его полюбила? Так он тебя переубедил? Ах как я рада! Переубедил? Да говори же, скрытница, говори! — допрашивала она Аглаю, тормоша ее за плечи и за холодные худые руки.

— Что мне говорить? И не спрашивай лучше! — вся просияв, ответила Аглая.

— Но как же, как он тебя переубедил? Не правда ли, умный, достойный человек?

— Как заговорил он опять о монастыре, мне до того совестно стало, до того, Фроничка, и за матушку игуменью, и за все, знаешь, что она и маменька так хвалят, что сквозь землю, кажется, перед ним провалилась бы...

— Вот новость, вот неожиданность! — ломая руки от радости, восклицала Фросинька. — Что же вы теперь? А? Да говори же, неприступная, говори!

Обе девушки, обнявшись, пошли из церковной ограды.

— А когда объявите родителям? — спросила Фросинька. — Надо скорее.

— Нет. Я ему посоветовала написать прежде к его отцу.

— Это зачем? — с удивлением спросила Фросинька.

— А как же, без родительского благословения нельзя. Разве долго списаться? День-два...

— Ну уж извини; я не медлила бы. Ты знаешь свою мамашу.

— О, полно! Неужели она помешает моему счастью? Неужели...

— Да счастье-то, по ее убеждению, в чем состоит? — перебила Фросинька.

— Так отцу надобно сказать. Как полагаешь?

Фросинька задумалась.

— Не советую, — сказала она, — Кирилло Григорьич не вытерпит, проговорится.

— Так как же? — спросила Аглая.

— Уж лучше в таком случае молчи...

Смерклось.

От церкви девушки, обнявшись и толкуя, прошли в сад и долго там ходили, утопая в море золотых мечтаний и надежд.

Они плакали, радуясь, что не все на свете — горе и обман, что их дружба чиста и неразрывна, что сердца их недаром бились верой в жизнь и что одной из них вскоре улыбалась картина полного счастья.

Месяца не было видно. Зато небо ярко мерцало тысячами звезд...

— Где же, однако, наши девицы? — спросил Вечереев, сидя с гостем и с женой на балконе. — Что-то не в меру сегодня загулялись.

— Слушают соловьев, — ответила Вечереева, — скоро конец их песням.

— А каково поют! — воскликнул Вечереев. — Слушайте, Антон Львович, слушайте. Вон тот, что над рекой... или этот, у виноградной беседки... Весны я жду всегда, как праздника. В песнях соловьев слышу души Гайдна, Бетховена, Моцарта... А каковы звезды? Смотрите, — вы знакомы с космографией? Вон белый Сатурн, вон, точно голубой, Сириус. А как сильно блещет и будто волнуется Млечный Путь... У каждого человека своя звезда.

— И у меня? — спросил Ветлугин.

— И у вас, у всякого. У Аглаи тоже. Аглая значит — блистающая, прекрасная. Этим именем называлась младшая из трех харит, дочь Юпитера и Эвримоны. Этим названо одно кохинхинское деревцо, Aglaja odorata, и весьма красивая, небольшая планета — вон в той стороне неба... между Юпитером и Марсом... Этот астероид обращается вокруг солнца раз в четыре года и триста двадцать семь дней...

— Я не знакома ни с ботаникой, ни с космографией, — сказала Вечереева, — но я убеждена, что это небо и эти

звезды так же легко угаснут, как наша жизнь целых народов; вечны только наши добрые дела, во славу Божию...

— И в удовольствие матушки Измарагды, — подсказал Вечереев.

Ульяна Андреевна закусила губы.

«Не верится, не верится! — рассуждал в это время Ветлугин. — Не сон ли все это и меня ли ждет блаженство, которого я не отдам за вечность мира?..»

Обрадованный неожиданным согласием гостя пробыть еще несколько дней в Дубках, Вечереев оставил Антона Львовича с женой, а сам вышел в залу, уселся с виолончелью у раскрытого в сад окна и стал играть. Плавные, гулкие звуки опять огласили темную залу и балкон.

Вслушиваясь в эти звуки и вглядываясь в сумрачные аллеи сада, Ветлугин сидел как очарованный.

Он не заметил, как ушла Ульяна Андреевна и долго ли играл Кирилло Григорьич. Ему казалось, что на балконе он не один. Некто другой, облокотясь о его кресло и положа руку на его плечо, молча стоял возле него. Из мрака на него глядели чьи-то глаза. Кто-то тихо дышал и, не шелохнувшись, любовался его грезами и счастьем... То был другой Ветлугин, и оба они точно были близки друг другу и вместе чужды. И тот, кто смотрел на него, казалось, мыслил: «Тебя ли я вижу и неужели путь твоих испытаний пройден, и ты у берега, у пристани, на пороге хлынувшего на тебя нежданного, светлого счастья?»

XVIII

Письмо

Настало воскресенье.

Утром в праздники от Вечереевых обыкновенно ездили на почту. Ветлугин написал два письма и передал их Филату с просьбой отослать с барским нарочным.

Едва он оделся и напился чаю, как в беседку к нему вошел Вечереев. Старик был в духе, но как-то странно улыбался и рассеянно смотрел по сторонам.

— Спасибо вам, Антон Львович, — сказал он, с чувством пожимая руку Ветлугину, — спасибо; вы уважили мою просьбу, погостили у нас, освежили собой стариков. — Сказал и замолчал. Ветлугин, роясь в бумагах, неспокойно выжидал, что он сообщит далее.

— Теперь надо подумать и о выполнении просьбы вашего батюшки, — продолжал Вечереев. — Срок получения долга с покупщика моего леса, Талищева, — сегодня. Я получил от него письмо, что он готов, и по условию с ним должен отправиться для расчета на его завод. Это, впрочем, недалеко, потребует менее дня времени. И чтоб не откладывать, я дам ему знать, что выеду на свидание с ним завтра или послезавтра.

Ветлугин поклонился.

— Да, еще одно слово... — прибавил, с некоторою заминкой Вечереев. — Одно ваше письмо к отцу, переданное вами Филату для отсылки на почту, я отослал давеча прямо в город. встретилась надобность в губернское казначейство; вы завтра и ответ можете получить... А другое письмо — вот вам обратно... Я случайно взглянул на его адрес. Вы пишете в город. на пакете адрес — Петру Ивановичу Клочкову... А он — ближайший мой сосед... всего в десяти верстах отсюда.

Ветлугин смешался. Ему крайне стало досадно, что отец взял с него слово молчать об участии Клочкова в его делах.

— Скажите, вы почем знаете этого господина? — спросил Вечереев.

— Он мне товарищ по университету.

Старик нахмурился.

— Извините меня, — сказал он, — это — вредный и негодный человек, в полном смысле слова. Его считают дельцом. От души жалею деловых людей, если такие, как Клочков, между ними — не редкость и не исключение.

— Что же он? — спросил Ветлугин.

— Да как вам сказать? Это — образец самого возмутительного, черствого и набитого помыслами о собственном благе мещанства. Жажда к наживе у этого господина так сильна, что покойного своего дядю, при разделе бабкиного имения, из-за каких-то лугов он до того оскорбил, что с тем сделался удар, и дядя умер. Общество было заговорило; но пройдоха как-то отвертелся и теперь опять даже в большом ходу. Этот его дядя был неимоверный добряк и простота, небывалой честности человек; он, пока отец Клочкова служил в столице, сохранил от продажи с молотка его имение — и получил, как видите, должное возмездие...

— Вы с ним видаетесь? — спросил Ветлугин.

— Я? Нет, Бог спас. Из-за некоторых его экспериментов над моей особой я не принимаю его уже давно...

Ветлугин вспомнил слова деда Лукашки о том, будто Клочков отбил жену кузнеца у Вечереева.

— Эксперименты надо мной — еще пустяки, — продолжал Вечереев, — но спросите других, так услышите нечто в роде целой эпопеи. Впрочем, скажу и о себе... Бывая у меня довольно часто, как сосед и в некотором роде свой — он мне внучатый племянник, — Петр Иваныч в один прекрасный день, недолго думая, так исподтишка поднадул меня, что я просто ахнул. Дело, впрочем, нехитрое. Он воспользовался неясностью некоторых в одной моей с ним сделке по хозяйству условий. Я, вероятно, все это скоро бы позабыл. Но вот чем он меня срезал: когда я, спохватившись, уперся было и стал его стыдить, — как вы думаете, что он мне ответил? «Полноте, — говорит, — дяденька, сами виноваты, зачем так оплошно написали условие? Промахнись я, вы бы, пожалуй, тоже не простили...» Хорош барин, а?.. Да так это добродушно сказал, с вежливой улыбкой и мягким голосом.

Вечереев плюнул.

— Я, было, каюсь, и на это отсердился, — продолжал он, — чего в глуши не простишь соседу? Нет, не угомо-

нился, подкупил одну тут сваху и год назад вздумал сватать за Аглаюшку одного соседа. Та вон и теперь еще — дитя; перепугал девочку чуть не до смерти...

Краска бросилась в лицо Ветлугину.

— Кого же он сватал? Это любопытно...

— Съездил к игуменье Сусанне, познакомился с ней и подослал сперва эту сваху, а потом и сам ей открылся: устройте, говорит, чтоб дочь Вечереева вышла замуж за старшего сына Талищева, — он ремонтером служит, и зовут его Рашей, то есть Романом. Как получит, говорит, за нею вечереевское состояние, поделится с вами. Каков гусь, а?.. Вы, кажется, говорили, что познакомились с Талищевым на станции?

— Да, познакомился.

— Этого старшего его сына видели?

— Нет видел младшего.

— Один другого сто́ит. Представьте, лицо у этого старшего Раши чисто лошадиное. А надут, как сыч, как индейский петух. Глуп и зол. Старуха-то, покойница Сусанна, сообщила о его сватовстве моей жене, а я узнал от Милунчикова. Мы посмеялись. С тех пор ни Клочков, ни этот Раша ко мне уж, разумеется, ни ногой. Отец Раши, однако же, наведывается, будто по делу, — но вижу, что мысли об устройстве сына им еще не оставлены...

— Скажите, — обратился Ветлугин к Вечерееву, — Клочков от вас всего в десяти верстах?

— Да, а что, вы съездить к нему хотите? — спросил Вечереев.

Ветлугин прошелся по комнате, поглядел в окно, сел и, со словами: «От вас Кирилло Григорьич, я не утаю!» — передал Вечерееву все, что знал об отношениях Клочкова к отцу и что его теперь тяготило в этих отношениях.

— Понимаю вас, мой добрый друг, понимаю! — с суровою нежностью, крепко пожимая руку Ветлугина, сказал Вечереев. — Вы — истинный сын; уважаете все, даже слабости в отце, — и оберегаете его. Лучшего сына и я бы не

желал иметь... ехать вам к Клочкову надо, надо! И вы не откладывайте: я поеду на свидание с Талищевым, а вы к нему...

А знаете ли, — прибавил совсем развеселившийся старик, — что ваш сотоварищ по учению, Клочков, считается у нас первым финансистом в губернии? Банков наоткрывал, ссудосберегательных касс, взаимных и всяких вспоможений... А между тем удивляешься, неужели он был в университете? Верите ли, он, например, не шутя, под словом юрисдикция подразумевает «дикцию юристов», то есть адвокатское красноречие, да всюду в таком смысле и приплетает это слово.

— Явившись от вас, из столицы, — продолжал Вечереев, — он было, каюсь, пленил и меня. Тогда только что вводились нынешние порядки. Большинство советовало на уменьшение доходов. Клочков решил не унывать. Оделся в простую дубленку и высокие сапоги, стал посещать ярмарки, торговать, вступил в подряды. Имя его загремело. Он казался здоровой, свежей силой. Ему поверили... Теперь не то... Его я раскусил. Это, повторяю, — представитель вреднейшего нарастающего поколения себялюбцев. Помыслы его вертятся на одном — на прибыли. Душа у него хищная, и нравом он хищник — шакал-шакалом и смотрит: лапы мягкие, но когти — мое почтение. Нет подальше от таких людей! Он, слышно, мостится свергнуть Милунчикова и быть у нас председателем управы. Уже набирает партию..

— Что же, едем к Клочкову? — спросил, выходя от Ветлугина, Вечереев.

— Подумаю... время еще терпит...

— Ну, как знаете, я же, кстати, пошлю справиться, в деревне ли он теперь.

До обеда Ветлугину не удалось встретиться с Аглаей и переговорить с нею наедине. Он был как в тумане. Вчерашнее объяснение, его признание и слово, данное Аглаей, казались ему невероятным, чудным сном.

Аглая была весела, ласкалась к отцу, суетилась с услугами ему и на все детски беспечно улыбалась: на шутки отца и на спор его с гостем о каком-то философском вопросе, на ворчание матери и на собственное веселье. Самое солнце как-то особенно радостно освещало комнаты, балкон, сад и всю душу Аглаи...

Ульяна Андреевна, как всегда, была сдержанна, суха и молчалива. Только раз, оставшись с гостем на балконе, она, как показалась Ветлугину, что-то уж очень пристально и недоверчиво посмотрела вслед проходившей Аглае и сказала Ветлугину: «Жаль, что вы едете. Но что же делать. Ваш добрый отец, вероятно, сильно уж по вас соскучился. Зато нам было приятно. Уедете, не забывайте нас».

За обедом Вечереев разговорился о двух предметах: о ярмарке и о частном съезде гласных по вопросу концессии, имеющем быть завтра в поместье Талищева, селе Речном. По соседству же с Речным, как слышал Кирилло Григорьич, завтра утром, — для освящения церкви, вновь построенной при чьей-то купеческой фабрике, ожидали местного архиерея.

— Вы поедете мимо этой фабрики? — спросил Ветлугин.

— Нет, дорога на винокуренный завод Талищева идет левее. Речное — правее и всего отсюда в пятнадцати верстах. Хотя местность там красивая — через реку от Речного, в дремучем сосновом бору, на высокой меловой горе располагается женский Краснокутский монастырь, любимое место прогулок моих барынь, — но я туда не поеду: ярмарку я давно знаю, земский съезд меня не занимает, — вот если бы концерт Серве или покойного Паганини, — а с архиереем я не знаком...

После обеда на балкон подошла и Фросинька.

— К вам, Кирилло Григорьич, — сказала она, — кто-то там, в передней, пришел.

Старик позвал Филата, и тот через минуту подал ему на подносе три письма: одно было к Вечерееву, два к Ветлугину. Пока старик читал свое, Ветлугин издали еще на одном из пакетов узнал руку отца и вскрыл это письмо.

Оно состояло из следующих строк: «Антонушка, друг мой! Долее таить от тебя я не могу. Со мной случилось великое горе. Выручай меня. Я выдал Клочкову скрытое от тебя, по его желанию, обязательство, которое разорит, погубит меня. Твое промедление выводит его из себя. Он грозит представить это обязательство на взыскание. Ради твоей любви ко мне, ради всего, что тебе дорого, либо безотлагательно возвращайся сюда, либо навести Клочкова в его деревне и умоли меня пощадить...»

Ветлугина как громом поразило.

— Представьте, — обратился к нему между тем Вечереев, — приятель-то мой, Ченшин, к которому я ездил, когда вы меня здесь не застали, — совсем, кажется, рехнулся.. Мало одного железнодорожного съезда, на наш затеял явиться. Пишет, что завтра надеется быть в Речном, и меня туда просит.

— Что же, поезжай, — сказала Вечереева.

— С ума ты сошла! Да я и его не пущу... Ему ехать как раз мимо завода, где я буду сводить счеты с Талищевым. Останусь нарочно там ночевать, договорю лесников беречь его, арестую и доставлю завтра к вечеру сюда. А прогляжу его, поеду к Талищеву и все-таки привезу его к нам...

Кстати, — прибавил Вечереев, — теперь и вы, Антон Львович, если хотите, оставайтесь у Клочкова ночевать. Успешнее кончите с ним, что надо. Он завтра, нужно думать, отправится в Речное, а вы сюда. Ну, к обеду или к вечеру опять мы и съедемся. Сейчас я узнал, что Клочков со вчерашнего вечера благополучно обретается в своей Клочковке. Что же, едем? Я велю готовить лошадей.

— Едем, — через силу проговорил Ветлугин.

На нем не было лица.

Через час к крыльцу были поданы лошади: Вечерееву — четверня серых в коляске, а гостю, пожелавшему прокатиться в недалекую Клочковку верхом, — оседланный гнедой.

Сообщая о том Ветлугину, Вечереев сказал: «Захотите, поезжайте мимо церкви, там сейчас и битая дорога; а не

то — через брод и прямо полем. Конь лихо скачет и не спотыкается. Эх! будь я помоложе, я вам не уступил бы и, послав вперед подставу, верст десять-пятнадцать сделал бы на кровном скакуне...»

Вечереев и его гость еще не сейчас уехали. К старику, как всегда перед отъездом хозяев, явились с разными вопросами приказчик, конторщик и садовник. А тем временем как барин, беседуя с ними, отдавал нужные приказания, Антон Львович окольными дорожками пробрался за ручей, миновал одну поляну парка, другою, взглянул направо, налево и некоторое время был в большой тревоге.

Ему после обеда удалось шепнуть Аглае, чтобы та приходила сюда к одной из полян, бывшей в стороне от всех дорожек. И вот хрустнул валежник, раздался шорох платья. Кто-то гущиной, напрямик пробирался к нему. Между ветвей мелькнул серый зонтик и белая накидка.

Аглая стояла перед Ветлугиным.

— Ну, вот и я здесь, — запыхавшись и через силу переводя дух, проговорила она, — едва сюда добежала; отец кончает разговор с приказчиком и как раз вас спохватился... Спешите к нему: не простившись с вами, он не уедет. До свидания...

Ветлугин медлил.

— Неужели мы все-таки простимся, — сказал он, — и на целые сутки?

Он боялся огорчить ее вестью об отце.

— Слушай, — вдруг сорвалось задушевное, нежное слово у Аглаи, — слушай! — продолжала она, сквозь ветви дерев ища глазами крест церкви. — Страшно мне, жутко; я боюсь и заглянуть вперед! Упреки, может быть, даже проклятия матери, стыд перед людьми, ужас загробного наказания... Но я всем, как видишь, пренебрегла. Ты мой и я твоя... Смотри же мне прямо в глаза, — прибавила она, — и вот тебе мой завет — я хочу тебя успокоить... Помни: если кто-нибудь и когда-нибудь тебе скажет, что а тебя разлюбила, — клянусь тебе этою церковью, могилой моего

брата и всем святым, что я никого до тебя не любила, никого, кроме тебя, не буду любить и останусь тебе верна до могилы и за могилой. Ну, ты доволен, доволен?

Она страстно схватила его за руки и притянула к себе.

— А ты... ты мне клянешься? — спросила она, пряча пылавшее лицо на его груди.

— Клянусь... Но ты будто неспокойна?

Аглая взглянула на Ветлугина. В глазах ее были слезы.

— Как быть спокойной? Ведь это — грех, Боже, какой грех! — сказала она, закрываясь руками. — И как все это со мною так неожиданно случилось?

— Мужайся, крепись. Чего нам теперь бояться? — успокаивал ее Ветлугин.

— Так, так. Но все... вдруг... Ты, например, можешь получить депешу от твоих хозяев. Другое что неожиданно помешает.

— Полно; да разве кто теперь властен надо мной, кроме тебя?

— Однако ты едешь.

— Я остаюсь. Сейчас пойду и скажу, что раздумал. Дело не спешное; можно и после.

— Нет, нет, — ласково зажимая рот Ветлугину, проговорила Аглая, — дела твоего отца... Я не знаю, но убеждена, что тебе ехать надо.

Ветлугин передал ей подробно причину поездки к Клочкову.

— Вот видишь, я угадала, — сказала Аглая, — поезжай, устраивай дело своего отца, но прошу тебя, здесь и всегда — думай о Боге... молись ему, и я буду молиться, чтоб он укрепил тебя и еще более просветил твою душу...

— Была бы ты крепка в данном слове, а об остальном я не забочусь.

Аглая задумалась. Она вдруг точно перенеслась куда-нибудь...

Не выпуская из рук руки Ветлугина и глядя в чащу дерев, как будто ожидая оттуда кого-нибудь, она сказала:

— Прости меня, но я скажу правду... Я боюсь за тебя. Ты ведь — маловер, а то, пожалуй, и вовсе не верующий... Ну, да Господь поможет... Твоя любовь — та же твоя вера. Будет любовь, будет и вера! — переведя взор на церковь, прибавила Аглая.

Она вынула из кармана финифтяный, в золотой оправе образок, перекрестилась, поцеловала его и надела на шею Ветлугина.

— Это вот тебе, — сказала она, — икона Богоматери Одигитрии, покровительницы странствующих... Ею меня благословила перед смертью бабушка Сусанна. Ты едешь недалеко и не надолго, но я прошу тебя, не снимай ее, молись ей... Даешь слово?

— Даю...

— Не осуждай меня... Ты — ученый, развитой человек; я — простая. В чем твое назначение и в чем призвание, я не вполне еще знаю. Но я верю, что ты можешь идти только к высоким, честным целям, и я от тебя не отступлю ни на шаг. Смотри только, как бы в этой глуши, из-за меня, ты не отступился от своих заветных помыслов и как бы, хотя на миг, не ослабел в своих трудах. Ну, да об этом еще впереди. А теперь прощай, милый странник, прощай.

Она склонилась к плечу Ветлугина. Он крепко обнял ее....

— Когда же конец? — спросил он.

— Возвращайся, завтра будет ответ от твоего отца. Я приготовлю своего.

— А твоя матушка?

Аглая на это замялась.

— Я соображу, — ответила она, — и все тебе сообщу.

Через несколько минут Вечереев поехал на свидание с Талищевым, а Ветлугин сел на гнедого, расспросил Филата о дороге и через брод отправился к Клочкову.

Но едва он выехал за реку и стал подниматься на взгорье, как увидел, что по мостику из сада вышли Фросинька и Аглая и, стоя на берегу, издали махали ему платками. Он возвратился к ним.

— Алинька решила, — сказала, оглядываясь в сторону сада и подходя по лугу Фросинька, — чтобы вслед за вашим возвращением вам объясниться как с Кириллом Григорьичем, так и с Ульяной Андреевной. Откладывать далее нельзя. Я между тем уговорю своего отца, и он вас здесь, если будет нужно, в тот же день обвенчает. К сожалению, отца теперь нет дома, — а то бы хоть и сегодня... Он уехал к благочинному — с другим здешним духовенством встречать архиерея. Послезавтра возвратится.

— А как вы думаете, согласятся ли родители Аглаи Кирилловны? — спросил Ветлугин.

— Кирилло Григорьич будет рад; за него я ручаюсь. А на Ульяну Андреевну, уж коли на то пойдет, мы и не посмотрим. Главное, что пока еще никто и ничего здесь не знает. Алиньке и без того не до признаний, — а я нема как рыба... Лишь бы это устроилось. Так согласны?

— Тысячу раз согласен и не знаю, как вас, Афросинья Адриановна, благодарить...

— Ну, так с Богом же, поезжайте и возвращайтесь, да поскорее, — сказала Фросинька. — Ох, уж эти влюбленные, — хлопочи о них! Посажу Аглаю за пяльцы; станем вас ждать, да обсуждать подробности дела. Ах, если бы все это удалось!

— До свидания. Смотрите же, не попадитесь в чем-нибудь. Как бы не догадалась Ульяна Андреевна. Она что-то уж очень двусмысленно весь день сегодня на меня посматривала...

— О, будьте спокойны, не бойтесь. Все пойдет как по писаному. Возвратится мой отец, и тогда увидите, — все разом устроится...

Ветлугин тронул поводом.

Породистый конь, фыркая и перебирая тонкими, красивыми ногами, снова выбрался в гору.

Ветлугин еще раз оглянулся на стоявших у берега девушек, на сад и на окна дома, белевшего поверх дерев. Оттуда никто в это время сюда не смотрел. Аглая и Фросинька,

обнявшись, беспрепятственно махали ему из-под верб платками.

Ветлугин стал переезжать за косогор. Усадьба, крест церкви и луга по ту сторону реки исчезли. Ветлугин вспомнил о другом привезенном ему от отца письме.

Он остановился, распечатал его и стал читать.

Письмо было от его былого учителя, товарища и друга Аввакума Столешникова.

Столешников ему писал:

«Ах ты, Сахар Медович, оптимист и идеалист! Насмешил ты меня совсем. Как вольтеровский доктор Панглосс, ты скоро станешь, кажется, говорить, что все идет к лучшему в этом из лучших миров. Поздравляю за открытие. Ты даже перещеголял невинного воробышка, Огюста Конта. Сей пресловутый социолог, вопреки своим великим предшественникам, кончил тем, что стал защищать собственность, а о капитале выразился, что он — сила почтенная, так как составляет необходимое основание разделения труда. Ты же, приехав на родину, начал романтическими грезами о какой-то пленившей тебя на станции монашенке (зри приписку в одном из твоих писем!), а кончил идиллией по поводу перерождения твоего отца, бросившего хлеб духовный для поисков хлеба иного рода. Ты над ним трунишь. Эй, друг Антон, образумься. Вспомни нас, придавленных и голодающих, трудящихся во тьме и не способных на свойственные тебе сделки с толпой грабителей, захвативших в свои руки судьбы бренного мира. Воротись к нам, суровым и озлобленным, пока еще есть время и пока мы считаем тебя своим союзником, а не врагом. Верь ты мне, что весь твой оптимизм — детская мечта. Седовласый старец, твой отец — извини ты меня, — с затеями о школе для бедных, по совести, не сто́ит выеденного яйца. Твоя же монашенка, — опять-таки извини ты меня, неотёса! — может быть, она уже тобой разыскана, и ты с нею пустился в любовные объяснения, — при первом верном случае, променяет тебя на проповеди любого медоточивого и тонкорунного совре-

менного попа или на увещания какой-либо вздыхательницы, матушки Перепетуи, поклоняющейся снам, да Пятнице с Буреломом и с Паликопой. Бросай все и возвращайся к нам. Срок моему сидению также наконец истек, и я, как и ты, могу теперь двигаться, куда угодно. Средств только мало! А потому перееду пока в Москву. Являйся и ты. Разумеется, что и говорить, — на нашей дорожке тебя ждут тернии, а может быть, и еще что-нибудь похуже. Зато мы честно выполним свое призвание. Итак, жду тебя или твоего письма. Откликнись! Друзей у нас прибывает и еще прибудет. Пора действовать наступит, вероятно, вскоре. Отвечай. Твой — Аввакум Столешников».

«Тот же мечтатель и грубый, хоть добрый ворчун! — подумал с усмешкой Ветлугин, разрывая и бросая по ветру письмо. — Как жаль, что так изменился. Оттого и сердится на всех!»

Он оправился, дал волю коню и поскакал по указанной ему дороге в Клочковку.

XIX

Под смоковницей

— Кого я вижу! Антон Львович, камрад! Какими судьбами? Вот разодолжили!

Так восклицал Петр Иванович Клочков с крыльца старого домика Клочковки, в лице въезжавшего в ворота всадника узнавая Ветлугина.

— Милости просим, сюда, сюда...

Ветлугин взошел на крыльцо.

— Ну, помучили вы нас, — продолжал, здороваясь с ним, Клочков. — Очень рад! Видно, Вечереев и вас поприжал. Как вы нашли старика? Не правда ли, чудак? Потчевал музыкой, стихами? И что наш заем? Да говорите же, не мучьте...

— Кто это у вас? — вполголоса спросил Ветлугин, указывая глазами на добродушного, сильно загорелого, сутуловатого и с короткими ножками господина, в нескольких шагах от крыльца сидевшего на беговых дрожках.

Подушку дрожек этого господина заменял потертый коврик. Лошадка была небольшая, хомут и вожжи веревочные. Он сидел сгорбившись и вследствие разговора с Клочковым был, очевидно, не в духе. При появлении Ветлугина он слегка приподнял сплюснутую шляпу, тронул вожжами и медленно поехал за ворота.

— Это — землемер, управляющий моего кума Талищева, — сказал Клочков. — Я продал куму лошадей, то есть, собственно, продал даже и не я, а, по своей глупости, мой приказчик Кузьма; и, представьте, так продешевил, что просто обидно. Срок сдачи подошел, а цены между тем поднялись чуть не вдвое.

— Ну, для кума можно и уступить, — заметил, еще не входя в сени, Ветлугин, — между приятелями счесться легко.

— Так-то так, — вздохнул Клочков, — только всему же есть границы. Не будь у приказчика доверенности, я бы даже имел право не признавать этой сделки Фокина.

«Фокина? Вот это кто!» — подумал Ветлугин, вспоминая слова Ульяны Андреевны, что Фокин сватался за Фросиньку.

— Ну-с, дорогой гость, милости же просим под мою смоковницу, — любезно сказал Клочков, вводя Ветлугина в залу, а оттуда в кабинет, — извините за беспорядок. Вы у человека дела, застрельщика и пионера практики, а не белоручки. Помните университетские времена? Не то было тогда. А потому не удивляйтесь, если родительская зала у меня зачастую, при ссыпке хлеба, идет за амбар, а спальня матери за кладовую или за швальню конской сбруи. Родители чуть не дотла промотали состояние, зато я наживаю.

Зала-амбар невольно заняла Ветлугина. Половина этой комнаты чуть не до потолка была завалена связками выделанных кож, льна и пеньки. Другая половина загромождена сдвинутой мебелью, на спинках которой висели образцы ве-

ревок и хомуты. Тут же клочками лежали свежеостриженные овечьи руна, мешки с пробами муки и снятые со стен фамильные портреты, из которых одним был даже прикрыт ящик с каким-то многоплодным ячменем.

— Ко мне ездят люди деловые, серенькие, — сказал Клочков, — они не обижаются при виде этой житейской лаборатории. Дорожка пыльна, зато цель светла... Разбогатеем и в золоченых палатах сумеем жить. Батюшка был генерал, да постоянно без гроша денег; а я как поустрою дела, так никакого мне и генеральства не будет надо...

При входе в отцовский кабинет Клочков несколько смутился и бросился даже кое-что прибирать.

Да и как не смутиться?

На стене, на старинной и дорогой раскрашенной гравюре Дианы-охотницы, висели снятые с дороги парусиновые панталоны; на портрете Ермолова просушивалось бритвенное полотенце. Несколько заношенных, с невынутыми запонками рубашек были брошены по стульям и по диванам. На письменном столе, рядом с бюстом Кавура, было выстроено несколько запечатанных разноцветных фляг с водкой. На невысоком шкапике, за печью, лежала кучка книг светского и, судя по переплетам, духовного содержания, а возле них виднелись просфора и четки. На этажерке, с вышитыми золотом рукавами и воротником, был брошен мундир почетного мирового судьи. На оттоманке, под нарядным шелковым халатом, спала борзая собака. На окне, сердито косясь на Ветлугина, сидела другая собака — легавая. В полурастворенную дверь из коридора, рыча, просовывалась морда третьего пса — водолаза...

— Охранителей у вас, однако, немало, — сказал, сторонясь от собак, Ветлугин.

— Не бойтесь, не кусаются. Я — охотник; да и места здесь глухие. Не ровен случай. Вот я и держу.

— Эти фляги с вином зачем у вас?

— Держу несколько питейных в главных селах. Нельзя — надо влиять на писарей и старшин... царство кабака-с...

— А эти четки?

— Так... одна знакомая духовная особа прислала, — ответил Клочков, пряча просфору и четки в шкаф.

Он ушел распорядиться с чаем.

Ветлугин взглянул на книги, лежавшие на шкафу, и, сверх всякого чаяния, рядом с «Поездкой на Валаам» и какою-то брошюрой «Агафьюшка», увидел «Остров Утопию» Томаса Мора, «Будущность обществ» Консидерана и еще что-то подобное.

— Зачем вам эти книги, — спросил он вошедшего Клочкова, — и как они у вас мирятся с «Агафьюшкой»?

— А как же... нельзя... Надо со всеми ладить... Вращаешься в разных слоях. Священник, влиятельная монахиня заговорят, я им об Агафьюшке. Милунчиков с братией припрут к стене, я из Конта или из Спенсера. Да согласитесь, друг, оно ведь и любопытно заглянуть, как, мол, душегубы-прогрессисты нашему брату собственнику виселицу готовят... В особенности мил Консидеран, как он излагает шельмеца Фурье, — эти его фаланстерии, уна́рхов и омна́рхов. Настанет, говорит, общее удовлетворение страстей, — и тогда, говорит, на полюсах будут расти лимоны... Это недурно. Не правда ли? Что может быть выше ублажения грешной плоти? Там, на небесах, будет ли хорошо, философы еще не решили. Здесь же мы спуску не дадим ничему, не правда ли? А все жаль: анафемски Кузьма продешевил лошадей... Больше тысячи целковых потеряю... А теперь милости просим в сад; хотя он тоже несколько запущен, но там, на просторе, приятнее.

Они прошли в сад, где у пруда, под яблоней, уже пыхтел самовар, были разложены подушки и стояли все принадлежности к чаю.

— Да-с, — продолжал, протягиваясь на траве и предлагая то же сделать и гостю, Клочков, — приятна доля притесненного землевладельца, когда у него благодаря посильным трудам в кармане очутится пятьдесят тысяч и он приляжет отдохнуть под своею смоковницей. Не правда ли?

Хе-хе... А еще приятнее доля того землевладельца, у которого в кармане очутится не пятьдесят, а сто или даже двести тысяч... Тогда... о, да что и говорить...

Клочков вздохнул и замолчал. Лежа на спине с закинутыми за голову руками, он глядел на Ветлугина, на деревья и на тихо шушукавший самовар и от преизбытка собственного благодушия, очевидно, даже умилился. Вечер между тем разыгрался во всей красе. От кустов запахло росистой листвой. Где-то вблизи, за садом, начал выщелкивать перепел. Солнце пышно золотило верхи дальних дерев. Из-за пригорка доносилось мычание подходивших с поля коров, блеяние овец и веселые крики загонявших их ребятишек.

— А наживи землевладелец триста тысяч, — заключил в сладком раздумье Клочков, — его отдых под смоковницей был бы еще отраднее.

Ветлугин слушал его рассеянно.

— Интересно, однако бы, знать, Петр Иваныч, — обратился к нему, чтобы чем-нибудь поддержать речь, Ветлугин, — зачем вам большое богатство? Меня давно занимает вопрос: что именно шевелится в душе людей, подобно вам ищущих быстрой и значительной наживы? Я и других об этом спрашивал. Отвечайте мне откровенно... Положим, вы наконец нажили пятьдесят, ну, даже сто тысяч... Что же далее?

— Выдумали, сто... Пятьсот тысяч!.. О меньшем, милый вы мой ягненок, я и не мечтаю... На пятистах, вот на чем, будет моя пристань...

— Хорошо, пусть и пятьсот. Вы их со временем, может быть, и наживете... Ну, признайтесь же, что вы с ними станете делать?

— Что стану делать?

— Да...

Клочков не отвечал. Ветлугин рассматривал его с презрительным, брезгливым любопытством.

— Вот видите, вы молчите, — сказал он, — да иначе и быть не может. Вы ничего нового по части житейских

благ не придумаете. Привычки у вас останутся те же. Вкус разве притупится, да ослабеет желудок. Но не ослабеет позыв к большей и бо́льшей наживе. Ведь жажда к богатству, Петр Иваныч, это — современная бездонная бочка Данаид... Разве вы этого не знаете? Сколько туда ни лейте, все будет мало...

— Я от вас, Антон Львович, такого мнения не ожидал, — даже обидевшись, сказал Клочков, — эх, вы, извините, — простота, простота. А еще деловой человек. Пятьсот тысяч!.. Да ведь это, друг вы мой, — полмиллиона... Ай-ай! Чего только не сделаешь на эти деньги, чего не приобретешь?

— Но вы не отвечаете на мой вопрос, — не отставал Ветлугин, — что же именно сделаешь и что приобретешь?

— Всякая твоя прихоть будет исполнена, — продолжал с искренним увлечением и точно в каком-то опьянении Клочков, — каждая, каждая, наконец... красавица... ну, женщина-перл... первейшая француженка... станет тебе доступна...

— Странно мне, — перебил его Ветлугин, — чуть только русский человек задумает об увенчании своего задушевного дела, ему прежде всего мерещатся заезжие француженки.

— Настроишь дворцов, — продолжал, откинувшись к дереву и не слушая Ветлугина, Клочков, — пожуируешь в Париже, умрешь в Ницце... А уж кланяться-то тебе будут разные губернские ротозеи, ноги, руки станут целовать, твоей тени будут молиться, от рюриковой дружины твой род произведут...

Мысль о губернских ротозеях и о Рюрике окончательно умилила Клочкова. Он улыбался про себя, что-то мычал и, слегка подремывая, даже забыл о самом присутствии своего гостя.

С соломенной крыши кирпичного, неоштукатуренного здания, видневшегося в конце сада, слетела какая-то ночная птица. Она уныло крикнула в деревьях.

— Что это у вас за здание? — спросил Ветлугин.

— А?.. что?.. Да... это — купол над памятником моего родителя... он ведь скончался здесь, будучи в отпуску...

— Что же этот памятник в таком виде?

— Крыша год назад провалилась, так я ее прикрыл соломой... Некогда починить... Да, по правде, родитель полежит и так... Починю, как окончательно поправятся обстоятельства...

— Но каких же вам еще обстоятельств?

— Вот покончу кое-какие затеи... устроим, как следует, с вашим батюшкой контору, тогда и расскажу... Позвольте, однако, как ваше посольство к Вечерееву? Мы еще и не говорили с вами.

Ветлугин помолчал.

— Ну, зачем вам мой отец? — сказал он. — Право, удивляюсь! Разве он годится вам в товарищи? Не лучше ли вам поискать другого, побойчее и поопытнее?

Клочков привскочил — и сел на корточки. Глаза его мигом проснулись.

— Извините вы меня, милый друг, — сказал он, стараясь быть как можно спокойнее, — буду говорить откровенно. Душа у вас отцовская, мяконькая. Оба вы — практики на деле, но не в душе. Вон вы и горяченькие там статейки пописывали в журналах, и любовный роман, чай, способны разыграть с какой-нибудь девочкой. Все это в вашей натуре. Оттого так и боитесь всего. Забыли пословицу держи нос по ветру?.. А не забыли — так и баста. О нежностях, о пустяках не думайте... А чтоб вас, милейший камрад, окончательно успокоить насчет отца, я кое-что вам покажу. И это даже — мой долг: я совершенно понимаю ваши сомнения, понимаю и ценю...

С этими словами Клочков пригласил гостя обратно в дом, провел его в кабинет, зажег лампу; отомкнул ящик письменного стола и, выкладывая из него разные бумаги, сказал:

— Вы, очевидно, сомневаетесь в моих средствах? Угадал я? Успокойтесь. От моего отца я получил мало или почти

ничего. Говоря на древнем российском языке, у него была сотняжка душ, да и те заложенные и перезаложенные. Кое-что я получил еще от бабки. Ну-с, это все, однако, было вздор. Долги моего превосходительного родителя чуть не поглотили всего. Да я взялся за ум. Приехал сюда и стал работать. Ничем не пренебрегал — торговал хлебом, пенькой, даже воском и пухом. Перины в Москву поставлял. Ох, тяжелые были времена! Я унижался, корчился в три погибели, отказывал себе во всем. Но вскоре вздохнул свободнее. И уже теперь могу сказать, что собственным трудом и родовое имение почти удвоил, да обзавелся, милый вы мой, капитальцем. Это с тех пор, как стал бумагами торговать. Вот вам в доказательство закладная купца на пивной завод; а вот несколько векселей с одного матушкина сынка — по пятиалтынному за рубль достались; что, хорошо? Эти вот с трактирщика; этот... ну, этого не стоит... — Клочков замялся и сунул вынутый вексель в кучу других бумаг. — А это, камрад, с Милунчикова... да-с! на тысчонку, не более... Но все полезно, чтоб держать его на уздечке при иных его общественных подвигах. Это вот опять — расписка с прокурора судебной палаты, — в карты его на всякий случай на пятьсот рублей обыграл: что ни говори, пригодится! — он теперь — сила... Итого сорок семь тысяч!.. Еще три тысчонки — и пятьдесят. А там и выше, и выше. А вот письма от первейших торговых и промышленных тузов: зовут меня в свои предприятия, шлют на заключение разные проекты, предлагают занятия, места... Что, милорд, хорошо? И все это добыто собственным трудом... Да, ночей недосыпал; по уши иной раз сидел в грязи... И скоро, скоро откроются перед вашим покорным слугой такие жизненные пути, о которых теперь еще жутко и думать.

— Только все же я полагал бы, — сказал Ветлугин, — что мой отец — вам не пара.

— Оно, если хотите, и я, наконец, так думаю, — ответил Клочков, — но кто мне заменит его, добряка, ну, и его средства?

— Поискали бы другого, авось найдется.

Клочкову блеснула счастливая мысль. Он неопределенно глянул в отпертый ящик, медленно задвинул его, звонко щелкнул замком и точно про себя сказал:

— Вы не хотите ли занять его место?

— Да... уж лучше хоть бы и мне! — ответил Ветлугин, не зная, как приступить к решительному объяснению об обязательстве отца и вместе остерегаясь сделать ложный шаг.

— Так, значит, держи нос по ветру? — подмигнул, хихикая, Клочков.

— Именно, — ответил Ветлугин.

— Так и отцовский векселек подмахнете своим поручительством? — спросил Клочков, опять собираясь отомкнуть стол, — а не то, может быть, и вовсе его на себя перепишете? Мне это, если сказать по правде, было бы даже покойнее: то — старик, а то — вы... У вас вон какие связи торговые, опытность. Вы скорее устоите в деле; да с вас, извините, и взыскать вернее. Ведь я говорю начистоту, своя рубашка, знаете...

— О каком векселе вы сказали? — спросил Ветлугин.

— А как же; ваш батюшка выдал мне, за вступление его в мои дела, вот это обязательство. Нельзя, надо было на всякий случай себя обеспечить. Ведь его дом и двор заложены, при моем пособии, другому...

Ветлугин взглянул в бумагу: то был, действительно, вексель на его отца, и вексель на весьма крупную цифру. Сердце его сжалось. «Вот что проглядел я при поверке счетных книг, — подумал он, — как бы, однако, помочь делу, как бы выручить отца?»

Ветлугин выдержал себя и спокойно заметил:

— Что ж, я готов подписаться и на векселе. Надо только это оформить. Мы посчитаемся с вами, составим домашнее условие о моем вступлении в ваши дела вместо отца, вы подпишете условие, а я от себя вексель.

— Когда ж, сегодня? — спросил, поглядывая на него, Клочков. — И притом старый ли вексель вы подпишете,

или мы заменим его от вашего лица новым? У меня бумага для этого есть....

— Я на все согласен, — ответил Ветлугин, — и готов это устроить хоть сегодня.

После ужина Клочков провел гостя в отведенную ему комнату. Они посчитались, и старый вексель был уничтожен, а новый переписан на имя Антона Львовича. Условие в ограждение векселя они решили написать поутру. Проект условия Ветлугин хотел обдумать повнимательнее.

Гость и хозяин провели ночь под разными впечатлениями. Клочков был очень доволен и рассуждал: «Из этого вертуна выйдет прок».

Ветлугин почти не спал. «Я взял на себя немаловажное обязательство, но я спас отца, — думал он, — как-нибудь выплачу, извернусь, зато отцу теперь не будет грозить полное разорение, а не то и тюрьма...»

За утренним чаем в кабинете Клочкова Ветлугин застал вчерашнего посетителя, Фокина. На этот раз он его лучше рассмотрел.

Управляющий Талищева оказался человеком лет сорока, небольшого роста, с добродушными, ленивыми и будто смеющимися зеленоватыми глазками. Круглое загорелое лицо, мясистый, пухлый нос, светло-русая, клином, бородка, и объемистое, несколько отвисшее брюшко — дополняли его черты. Он был в сером потертом пиджаке, в полинялом голубом шейном платке и с кнутом в руке. Он сидел у письменного стола, слева. Ветлугин с стаканом чая поместился у того же стола, справа. Клочков расположился между них, посредине.

Ветлугин хотел покончить с условием, но выжидал, пока уедет Фокин.

— Ну-с, Козырь Иваныч, — начал прерванный разговор с Фокиным Клочков, — скажите... так... знаете, откровенно, по-соседски, — почем Кузьма продал вам лошадей?

— Как почем? — удивился Фокин.

— А так же, — многозначительно подмигнул Ветлугину Клочков, — цены бывают всякие, тайные и явные.

Фокин уныло окинул глазами концы своих расставленных ножек и молча вздохнул.

— Странное, Петр Иваныч, дело, — сказал он, — мы с вами толковали вчера, да, видно, будем говорить о том же и сегодня... Сами изволите знать почем. Мы не впервые с вами встречаемся. Были-таки в общих делах. Цену вашему приказчику вы сами назначили в письме. Я прочел это письмо и тогда только приступил к покупке... Так кто же здесь виноват?

— Условие... расписка Кузьмы... с вами? — спросил, взглядывая на Ветлугина, Клочков.

Его глаза как бы говорили: «Что? слышали? каков гусь?»

— Еще бы не со мной, — ответил Фокин, — я ваши обычаи, Петр Иваныч, знаю: шутить в делах не любите... Из молодых вы, да ранний... Балагур, но требуете точности...

— Покажите расписку...

Фокин из кармана панталон вытащил объемистый сафьяновый бумажник; щурясь, поглядел в него, как в некий глубокий колодец, бережно вынул оттуда требуемую расписку; послюнив палец, развернул ее, разгладил на колене и не подал, а как сидел, несколько издали, показал ее Клочкову.

Петр Иваныч улыбнулся. Улыбнулся, глядя на него, и Фокин. Оба они, как видно, хорошо знали друг друга.

— Ну-с, — как бы успокоившись, сказал Клочков, — радуйтесь; поддели меня. Чуть не даром теперь придется отдавать вам лошадей.

— Полноте, Петр Иваныч, полноте, — глядя в бумажник и снова собираясь туда уложить расписку, перебил Фокин, — вам ли это говорить? И такие ли вы поправляли дела? Известная вещь — торг: нынче дешево, завтра втрое дороже... А будете по совести расплачиваться, начистоту, верьте, время все вам возвратит сторицей...

— А покажите, однако, еще мне эту расписку, — заметил Клочков, — срок, кажется, еще не вышел...

И когда Фокин, продолжая поучение, сказал: «Желай пользы другим, будет польза и тебе... на этом-с, Петр Ива-

ныч, стоит теперь вся школа позитивистов!» — и в рассеянности двинул расписку по столу, Клочков мизинцем левой руки незаметно столкнул расписку в ящик, щелкнул ключом и тихо отодвинулся от стола.

— Ну-с, любезный позитивист, — объявил он, — теперь давайте торговаться снова...

— Как снова?

— А так же: я в свете — джентльмен; в торговых же оборотах я — кулак и кремень. И такова уже почва в России; как видите, я этого даже и не скрываю.

— Что вы, что вы, Петр Иваныч, — захихикал и задвигался животом оторопелый Фокин, — оставьте шутки. Я вашему Кузьме под расписку дал тысячу целковых... И деньги не мои...

— Да я и не шучу. О каком задатке и о какой расписке вы говорите? Нет расписки, и вы не докажете, что она была, Меня надули, и я тем же отвечаю... Не хотите снова торговаться, не прогневайтесь: я вас более не задерживаю...

Фокин встал. На нем не было лица.

— Это — ваше последнее слово? — спросил он, судорожно сжимая ручку кнута.

— Последнее...

— Вы не шутите?

— Не шучу.

Фокин сделал два шага к двери и опять возвратился.

«Что же это он? — подумал, краснея, Ветлугин, — за кого же меня-то он, негодяй, считает?»

— Позвольте, — сказал он Фокину, — Петр Иваныч действительно пошутил. Он вам сейчас отдаст расписку обратно.

В глазах Клочкова сверкнули змейки.

— То есть как отдаст? — спросил он, не глядя на Ветлугина.

— Ну да; вы господину Фокину возвратите этот документ, так как вы же сами... мне давеча сказали, что хотите над ним только подтрунить; иначе и быть не могло....

— Когда я вам это говорил?

Ветлугин не ответил.

— На пару слов, — сказал, вставая, Клочков....

Ветлугин вышел с ним в смежную комнату.

— Что все это значит? — глухо спросил Клочков. — Вы, милейший, серьезно вздумали вмешаться в это дело?

— Да, серьезно! — ответил Ветлугин. — И мне жаль, что вы не оценили моей услуги.

— А если я вас не послушаюсь? — дергая себя за галстук, злобно прошептал Клочков.

Он задыхался.

— Не думаю, — ответил Ветлугин, — вы должны поступить по моему совету... для вашей же пользы.

— Так и ты, Брут, против меня? — с изуродованным от бешенства лицом, постарался улыбнуться Клочков.

— Послушайте, — глядя в глаза Клочкову, твердо сказал Ветлугин, — если вы сейчас же и при мне не отдадите этому господину расписки, я буду свидетелем против вас на суде... А не то — лучше одумайтесь, — я ни за что не ручаюсь...

— Ого, так вот вы как! Этого еще недоставало, угрозы в моем доме...

Клочков оглянулся. Руки его судорожно вздрагивали. На углах губ проступила пена. Он вспомнил стычку с Ветлугиным в университете.

— Вы не очень-то, — продолжал он запальчиво, — теперь вы — мой должник! Вексель бессрочный. Я подам его ко взысканию, и вам несдобровать.

— Можете делать все, что вам угодно, — спокойно ответил Ветлугин, — ни я, ни отец мой в обиду вам отныне не дадимся... примем меры...

— Ах вы, заяц Иваныч, — вдруг засмеялся и даже на диван от смеха упал Клочков, — да ведь я, в самом деле, только пошутил. Вот, смотрите, смотрите...

С этими словами он бросился в кабинет, отпер стол, отдал Фокину расписку и с извинениями, весьма любезно проводил его на крыльцо.

— Ну, не стыдно ли вам, — обратился он сумрачно к стоявшему на прежнем месте Ветлугину, — эх, эх, камрад; нехорошо, вообразили, что я и взаправду...

«Тьфу ты, какая гадость! — думал тем временем, стоя у окна, Ветлугин. — Надо же было наткнуться на это скверное происшествие... В какие руки попался было отец!»

— Впрочем, что же я? Не хотите ли закусить? Не поедем ли вместе к Талищеву? — засуетился вкруг него Клочков. — Пока вы спали, я и лошадей велел приготовить; вон и ваш верховой. Его расседлать бы... Отсюда недалеко...

Ветлугин пришел в себя и уже хотел обернуться, заговорить. Он вспомнил, что условия, в объяснение и ограждение векселя, Клочков еще не подписал. Но вдруг и уже против его воли в нем закипело такое негодование и омерзение к этому Клочкову, к его вспотевшему, взволнованному лицу и старавшимся придать прежний, добродушный вид масленым глазкам, что он схватил фуражку, не оборачиваясь к Клочкову, вышел на крыльцо, сел на коня и без оглядки поскакал со двора.

«Отлично, однако, я от него отделался! — размышлял тем временем, глядя на него из-за занавески окна, Клочков, — чего доброго, еще учинил бы скандал. А если я с Фокиным сплоховал, зато вместо старика Ветлугина моим должником теперь сам этот господчик — да еще по бессрочному и безденежному векселю, — недурно, Петя, недурно!»

Клочков погладил себя по животу, достал ключи, отпер шкафчик, достал с полки бутылку старого портвейна, серебряную старинную чарочку и банку с ананасовым вареньем. Налил чарочку, отпил, посмаковал и всю ее допил; налил, погодя, и выпил другую. Наложил на блюдце варенья, съел его с расстановкой, запер все по-прежнему в шкаф, ключи положил в карман и, закурив сигару, прошел во внутренние комнаты. Там, с чулком в руках, в дешевеньком ситцевом, густо накрахмаленном платье и в башмаках на босу ногу, сидела круглолицая, с красными руками, ямочками на щеках

и с нежными карими глазами девушка, по-видимому, недавно взятая где-нибудь на селе. Губы ее при входе Клочкова передернуло, на ресницах висели слезы.

— Ничего, Верочка, ничего, — заговорил Клочков, прохаживаясь перед нею по девичьей, — вот разживусь... поправлюсь... ну, и тебе, и тётке... ну, и ты — заживем...

«Молчал бы, пучеглазый! — срывалось с языка девушки, — молчал бы, аспид... тошно!..»

Но она ничего не сказала; только пригнулась ближе к работе, и слезы чаще стали капать на руки, державшие чулок.

«Да и в самом деле, — рассуждал, уходя в кабинет, Клочков, — из-за чего я стану сорить деньгами, великодушничать? Вот в председатели бы скорее, в предводители, а там... Все, что пока скопил, в обороте... Наличных, свободных денег нет...»

Сказал это он себе о деньгах и соврал. В последнюю поездку в город он на акциях торгового банка заработал несколько тысяч чистоганом и собственноручно положил их на текущий счет в обществе взаимного кредита.

XX

Бойцы сел и городов

Очутившись в поле, Ветлугин вскоре заметил, что сбился с дороги.

Он проехал один перекресток, другой, но пути к Дубкам не находил. Клочковка давно скрылась за пологим холмом. Хлебные нивы шли вправо и влево, вперемежку с пахотями. Вдали синели, покрытые лесами, какие-то возвышенности. Кое-где торчали стоги сена, чернели межевые тропинки. Но ни жилья, ни одинокого путника не было видно.

Ветлугин решил возвратиться к Клочкову, чтоб получше расспросить дорогу к Вечереевым. Но проехал версты три

и увидел, что попал в еще более незнакомую местность. Начались овраги, глубокие долины. На дне какого-то луга журчал ручей.

«Что за странность!» — рассуждал Ветлугин, оглядываясь по сторонам. За одним из холмов он приметил пыль, поехал в ту сторону и под небольшим леском нагнал какую-то тележку. На облучке сидела и правила тощею лошаденкою девочка лет десяти. За тележкой, держась за ее кузовок, шли трое нищих слепых. На вопрос Ветлугина, не знают ли они дороги в Дубки, девочка только сильнее стала погонять еле двигавшую ногами клячонку, а нищие ответили, что они нездешние, а едут на ярмарку в Речное.

— Где же Речное? — спросил Ветлугин.

— Кто их зна. Верст семь, коли не боле.

«Значит, опять надо назад!» — подумал Ветлугин.

Но не проехал он обратно и двух верст, как навстречу ему, из молодой осиновой рощи, на тройке сытых саврасок, вылетел небольшой тарантас. В тарантасе сидел Милунчиков.

Они поздоровались.

— Вы, верно, от Талищева? — спросил Милунчиков.

— Нет, от Клочкова; но никак не попаду обратно в Дубки.

— Вы сбились. К Вечереевым отсюда не менее двенадцати верст. А к Талищеву версты три. Я еду туда и мог бы вас подвезти. Вместе оттуда мы проехали бы и к Вечереевым.

— Очень вам благодарен, — ответил, поглядывая на своего усталого коня, Ветлугин, — но я запылен; да и конь мой, видите, вряд ли поспеет за вашими.

— Мы его привяжем за тарантасом и потихоньку доберемся; а при въезде в Речное приоденемся на постоялом.

«Может быть, и Кирилло Григорьич туда подъедет, если не перехватил по дороге своего приятеля!» — помыслил Ветлугин.

— А что это за церковь белеет вон на горе? — спросил он, указывая вдаль.

— Это — Красный Кут, монастырь. Он через реку, за Речным, а невдали за ним и моя усадьба.

Ветлугин принял предложение Милунчикова, и вскоре перед ними открылся поселок и барская усадьба Речного. Пока они умывались, чистились и вновь одевались на постоялом дворе, Ветлугин рассказал о столкновении Клочкова с Фокиным.

— Вот они, мои соперники по общественным делам, — с отвращением сказал Милунчиков, — а что прикажете делать? Надо бороться. Самый этот съезд, собственно, устроен против меня. Я везу туда один проект, хотя знаю, что на этом пробном сеймике, на этой маленькой бирже, перед осенним собранием, сделают попытку заранее и наверняка уронить мое же имя. Талищев и Клочков все это время работали, ездили и подбирали голоса, чтобы сместить меня во что бы то ни стало.

— Да, и я слышал, что против вас готовится поход.

— Я не боюсь, — ответил, выходя с постоялого двора, Милунчиков, — за меня будут крестьянские и мещанские голоса. Я — недоучка, и это — мое великое и тяжкое горе; но я по возможности старался чтением наверстать оборыши воспитания. Я искренно полюбил дело народа и не изменю ему до конца...

— Но что вы сделаете один?

— О, я не один. Армия честных людей понемногу пополняется новобранцами. Их будто мало, не видно; но это так только кажется. Выбыл из строя один, взамен его являются другие...

Вы думаете, я мало вынес от этих наглецов? — продолжал Милунчиков, подходя к тарантасу. — С первого моего появления в здешнем околотке обо мне заговорили как об изменнике своему сословию; ославили меня как опасного демагога и революционера... На меня посыпались всякие сплетни; мерзейшие пасквили сочинялись обо мне здешними тупицами, не только в прозе, но и в стихах.

Милунчиков нервически закашлялся.

— Верите ли, ко мне и к моим знакомым по почте рассылались бесчестнейшие анонимные письма, в газеты проникали невероятные выдумки и клеветы.

— Понимаю, как это вас должно было огорчить.

— Огорчить и озлобить, — подхватил Милунчиков, — но что же делать? Так хороша природа, и так среди нее подчас безобразно человечество, особенно его всем обеспеченная и сытая половина...

— В чем главные нападки ваших врагов? — спросил Ветлугин.

Милунчиков помолчал.

— Все из-за того же, — ответил он, как-то робко глянув в сторону, — из-за упорного нежелания признать силу вещей и честно откликнуться на голос века,

Впрочем, — решительно прибавил Милунчиков, садясь в тарантас вслед за Ветлугнным, — против личных оскорблений — а без них, вероятно, дело опять не обойдется — я принял некоторые меры. Вон, в ногах у меня ящик с пистолетами... Я полагаю, что давно пора пустить кровь клеветникам. Немало накопилось всякой дряни, которую следует вывести на свежую воду,

Павел Федорович Талищев весьма радушно встретил Ветлугина.

— Очень рад, — сказал он, вводя его в залу, — будьте гостем. Но какими судьбами вы попали в наш околоток?

Ветлугин передал, что ночевал у Клочкова, а по пути от него встретился с Милунчиковым, который и привез его сюда.

— Так это вы ночевали у Клочкова? — многозначительно заметил Павел Федорович. — Ну, вдвойне же рад вас видеть... Вы там из-за меня воевали с моим кумом. Ох, уж этот куманек! Он, впрочем, тоже здесь. Милости просим.

Талищев представил Ветлугина своей жене, познакомил его с обоими своими сыновьями, гусаром Рашей и гимназистом Николушкой, а также с некоторыми иэ гостей.

— Не поскучайте у нас, — сказал он, — прежде в деревнях было веселее. Собственная музыка, певчие... Теперь же мы — разбитые, припертые к стене. Как отшельники первых веков, мы оделись во вретище, посыпали пеплом главу и, точно в подземелья, только изредка собираемся в оставленные усадьбы — посетовать на развалинах некогда процветавших хозяйств... Словом, перед вами — бойцы сел и городов...

Бойцы сел и городов, однако, как сразу заметил Ветлугин, отнюдь не походили на древних отшельников: не одевались во вретище и пеплом своих голов не посыпали. Съезд был как съезд. По комнатам мелькали высокие шиньоны, шуршали длиннейшие шлейфы, а за ними увивались щегольские фраки, пиджаки и сюртуки. Всюду слышался оживленный, беззаботный разговор о модах, местных и столичных новостях. Словом — все было по старине и отнюдь не напоминало ни об упадке веселья вообще, ни о развалинах сельских хозяйств в особенности.

«Ишь, старый плут, какого Лазаря мне пел тогда на станции!» — подумал Ветлугин, прогуливаясь с Талищевым по залу.

— Не угодно ли закусить? — отнеслась к Антону Львовичу хозяйка дома.

Об руку с ней Ветлугин направился в столовую. Где-то послышалось нетерпеливое пощелкиванье карт. Он обернулся. С бубновой десяткой в руке и с улыбкой посланца строгих, но милостивых богов, навстречу ему с старшим Талищевым показался Клочков. В новом фраке, в лаковых полусапожках и в белом галстуке, Петр Иваныч, об руку с другом, несся по зале, отыскивая для одной важной и чиновной особы партию в ералаш.

— Вы не играете? — спросил он как ни в чем не бывало Ветлугина.

И не успел тот опомниться, как Клочков прибавил:

— Очень рад... Ну, как находите здешнее общество? Анна Романовна, приберите моего старого соученика к ру-

кам... Найдите ему невесту. Что, попались? Посмотрите-ка, сколько хорошеньких.

Хозяйка собственноручно поднесла Ветлугину закусить и налила ему вина.

— «Куда, однако, делся Милунчиков?» — подумал Антон Львович, усевшись в стороне.

— Вы говорите об управе; но хорош и новый суд! — произнес кто-то из кучки фрачников, стоявших у стола. — Поехал я по делу в город. Смотрю, наши митрохинские по улицам шляются, милостыню просят... «Что вы, братцы? — спрашиваю. «Мы — присяжные, — отвечают, — нагнали нас эвонда, держат в суде, а денег на харчи не дают; мы и ну-ка-си просить на хлебушку». Вот наши российские жюри!.. Вот наша неподкрашенная народная совесть!..

— Ха-ха-ха! — отозвались на это густые и сытые голоса, — именно — жюри... народная совесть!

— А Милунчиков съезд учителей затеял, о волостных банках толкует! — сказал кто-то.

— Да где он?

— Говорят, здесь.

— Как? Приехал?

— Да.

— Ну, много же, видно, у него храбрости. Несдобровать ему. Отзовутся кошке мышкины слезки.

— А слышали вы, — перебил кто-то, — в газетах опять явилась пасквильная статья о нашей губернии. Тут все: и меньшая братия в обиде, и тупость высших слоев, и невесты, не уберегшие светильников в ожидании жениха.

— Кто же, кто ее автор? — послышалось со всех сторон.

— Автор открыт, — произнес, подходя из залы с газетным листом, старший сын Талищева, Роман Иванович, — вот и статья. Сейчас получил от сестры Петра Иваныча.

— Открыт? Это любопытно. — Гусара окружили.

— Детей сестры Клочкова, — начал он, косясь на Ветлугина, — как вы, может быть, знаете, обучал медик студент... брат председателя нашей управы, Милунчикова...

— Говорите, слушаем! — не совсем, впрочем, смело и оглядываясь, подхватили некоторые из слушателей.

— Этот именно молодой человек и оказался автором статьи, в которой в таком черном виде изображен весь здешний край...

— Будьте осторожнее, — шепнул кто-то из непосвященных ремонтеру, — у вас, говорят, в настоящее время в гостях брат Милунчикова.

— Мне стесняться нечего, — в благородном негодовании, храбро сказал старший Талищев, краснея, — пусть, кто хочет, меня слушает... У молодого человека сделан обыск, найдена переписка с чужими краями... Его схватили и, вероятно, вышлют за Урал. Граф ездил к жандармскому генералу и просил его избавить нашу губернию от этих послов интернационалки.

«И все, представьте, врет!» — чуть слышно шепнул кто-то сзади Ветлугина.

Ветлугин оглянулся.

За ним стоял его утренний знакомец, управитель Талищева, Фокин. Руки последнего с трудом обхватывали шевелившийся от позывов к смеху живот, а насмешливо прищуренные глаза, лениво и презрительно обращаясь кругом, как бы говорили Ветлугину: «Какова, батюшка, коллекция? И каково это вам, на свежий-то нос, так сказать, с вольного воздуху?..»

— Так это неправда? — спросил, отходя с ним к стороне, Ветлугин.

— Прежде всего, позвольте вас поблагодарить за давешнюю услугу, — сказал, пожимая руку Ветлугина, Фокин, — сейчас только узнал, кто вы. А теперь и об этих господах. Все, что вы сейчас слышали, — чистое вранье. Я все их гадкое нутро насквозь вижу и знаю... Помилуйте... Впрочем, нет, тут не совсем удобно... Если вы

удостоите пройти ко мне во флигель, так я вам и не то о них расскажу..

— А Вечереева, Кириллы Григорьича, здесь нет? — спросил Ветлугин.

— Не видно что-то. Он ночевал у нас нынче на заводе, с моим принципалом счеты сводил и остался там кого-то поджидать.

Ветлугин с Фокиным прошли во флигель.

— Вот моя пещерка, — сказал Фокин, усаживая гостя в кресло в своей комнате, а сам располагаясь против него на кровати. — Что же касается до истории со студентом Милунчиковым, так она разыгралась почти на моих глазах. Я — сосед сестры Клочкова и, как нарочно, в ту пору — это было дня четыре назад — ездил навестить свое хозяйство. Отсюда недалеко — верст двадцать. Учитель Милунчиков, добрейший и весьма неглупый малый, стал поперек горла у Клочкова, во-первых, тем, что его брат председателем здешней управы трудится, как муравей, и не якшается с прочею здешнею мразью; а во-вторых, и потому, что сперва сдержанно, а потом и без всяких стеснений стал сообщать как сестрице Клочкова, так и кое-кому из соседей о множестве не совсем нравственных делишек ее братца... Там, знаете, в числе иного прочего, случилась незадолго весьма печальная история с одной крестьянской сироткой, Верочкой, — у слепой тетки он ее сманил... Ну да это в сторону. Статью же о здешних палестинах, может быть, точно написал и студент Милунчиков. Я про то не знаю и не спорю. Да я бы и сам ее написал, если бы только напечатали. Но никакой переписки с чужими краями у студента не было и не нашли; политическими делами он не занимался, и граф, губернский предводитель, жандармского генерала против него не вооружал. А напротив, сам Клочков, без дальнейших околичностей, при мне налетел с приятелем становым к своей сестрице. У юноши-учителя сделали формальный обыск и отобрали кое-

какие, по всей вероятности даже цензурные, рукописи и книжки. А после обыска беднягу рассчитали, да, не говоря худого слова, и выпроводили за межу имения: вот-де каковы все эти Милунчиковы. Контракта у студента с этими господами не было. Брат его находился в отлучке. Защитить было некому... Я его в ту пору нагнал на дороге и даже подвез до первой станции... Случилось все это так неожиданно... Плакать сердечный не плакал; зато уж ругался так-то зло и хорошо и столько про всех этих господ причитывал, что я, верите ли, чуть со смеху доро́гой не умер... Между прочим, он заверял честью — да это и из других источников я знаю, — что будто мой принципал совместно с Клочковым уже несколько лет сряду сочиняет некий новый и совершенно гениальный проект российской конституции...

— Как, что? — невольно улыбнулся Ветлугин.

— Честью заверял, что не лжет.

— В чем же состоит этот проект?

— Между прочим, в таком преобразовании сбора податей, чтобы несостоятельных плательщиков из крестьян было разрешено отдавать в особые уездные арестантские недоимочные роты... Вы не верите? Ей-Богу, я не шучу. Эта конституция замечательна, наконец, и тем, что предлагает возобновить Семибоярскую Думу и, как бы вы думали, еще что? новгородское вече, куда бы, впрочем, от народа могли быть избираемы не все, а лишь те, кто чином не ниже статского советника...

Сказав это, Фокин разразился таким детски-пискливым и раскатистым смехом, что рассмешил опять и Ветлугина.

— И едва лишь где-либо, — продолжал, помахав на себя шапкой, Фокин, — разумеется, после доброй дружеской выпивки заходит речь о будущих боярах-министрах этой Думы, министром финансов называют Клочкова, а внутренних дел и сельского хозяйства — Талищева...

— Вы упомянули о своем имении, — сказал Ветлугин, — отчего вы сами там не хозяйничаете?

Фокин вздохнул.

— Долго рассказывать... Душа болит. Слишком тяжело было бы мне там одиночество. Именьице крошечное, оборотного капитала нет, и я давно бы его продал. Но там умерла моя мать... После смерти отца мы остались с нею вдвоем. Я был еще дитя; у нее долги. Не на что было меня учить. Она нанялась к соседу-помещику, другу Вечереева, Ченшину — в ключницы, а меня на свои сбережения, при пособии этого доброго человека, отправила в Межевой институт. И жила она по найму у Ченшина, пока я вышел в землемеры. Дом и хозяйство наше пустели. Я поспешил на родину, часы считал, чтобы скорее перевезти старушку на родное пепелище. И мы с ней там поселились. Но только что она вздохнула на свободе, принялась за устройство старого гнезда, размечталась о счастье, думала, наконец, меня женить, как простудилась в хлопотах по хозяйству, заболела, — докторов в нашей глуши мало, время было зимнее, насилу их дозвался, — у нее открылась скоротечная чахотка, и она умерла...

Однако нам пора, — заключил, вставая, Фокин, — пойдем в дом... Будущий министр финансов уже, наверное, гласит там о любимом своем предмете, о близком будто бы, из-за нынешних порядков, государственном банкротстве России, — чтоб ему черти есть не давали на том свете, как он утром-то меня, расподлейший человек, настращал с этою распиской...

Возвратясь к остальным гостям, Фокин оставил Ветлугина, а сам ушел заняться размещением привезенных военных музыкантов и фейерверка. Ветлугин присел в зале.

В одном углу этой комнаты, за карточным столом, сидели Клочков, хозяин дома и два посредника. Они говорили о назначении нового губернатора, причем один из посредников утверждал, что губернатор — из нынешних, богач, имеет сто тысяч дохода и вместе такой обходительный, такой обходительный.

— А уж насчет глядения в сторону, — заметил Клочков, — так этот еще почище, чем наш нынешний-то двужильный... Никаких, говорит, направлений не потерплю, ни за земство, ни против земства, ни за школы, ни против школ, — сиди в своем вертограде и молчи, как бы ничего этого не было или как бы все это было, и даже в избытке. У меня, говорит, взгляд прямолинейный — гляди в одну точку, ожидай внушений, и баста; все остальное — соблазн, которого, разумеется, я не допущу, и в этом, без сомнения, мне помогут все добронадежные силы губернии.

— Но их уже нет, этих сил, — сказал со вздохом, сдавая карты, хозяин дома.

— Как нет? — спросил Клочков.

— А так же, — продолжал Талищев, — разве вы не читали последних известий?

— Каких?

— Пишут, что вскоре станут обсуждать вопрос о введении общей воинской повинности.

— Это еще впереди, — заметил Клочков, — и бабушка вообще надвое сказала...,

— Ну, уж извините, не надвое, — отозвалась от другого карточного стола важная дама, — приступают, и вскоре приступают. И чем, я вас спрашиваю, вознаградят нас за то, что наши Васи, Вани и Поли будут сравнены с солдатами, и ротным офицерам, дядюшкам наших лакеев, станут сапожищи чистить?

— И притом за что же это все, за что? — сказал, прикрывая королем шестерку соседа, один из посредников. — Век идет, и мы идем. Хотели, чтоб либералами были — мы ими стали: в комитетах о собственности, как о прошлогоднем снеге, отзывались, всякий искус, терпение и сокращение выносили, свелись почти на нет... Раздался голос о патриотизме, о нравственном преоборении, — где мы были? Тут же... Мы страхом Божьим исполнились, церковные попечительства везде завели...

— И зачем им все это понадобилось? — прибавил Талищев. — Или Суворов и Румянцев, говоря по совести, были слабее без этих новейших российских прелестей?

— А нравственность, нравственность? — отозвалась от другого карточного стола жена мирового судьи. — Что почерпнут у солдат наши дети? Какой дух от них вынесут?

— А манеры, ма шер, манеры? — возводя глаза к потолку, сказала сидевшая возле нее хозяйка дома. — Ведь в полках такой сброд, такой... дети коновалов, барабанщиков...

— Притом и всякой пропаганде при этом будет легче, — продолжал Талищев, — не пройдет двух-трех лет... Встал бы Суворов, отпел бы он им... впрочем, говорят о переменах...

Тут Талищев, оставя карты, вполголоса передал слух о выходе в отставку нескольких высших сановников, в том числе разом чуть не трех министров, и о замене их такими лицами, о которых никто и не слышал и которых он чуть ли не сам откопал где-то в глубине двадцатых годов, — а наконец, и о близком будто бы упразднении всех, не только произведенных, но и предположенных реформ...

Ветлугин не дослушал. Сил у него не хватило.

«Да где же это я?» — рассуждал он, оглядываясь по сторонам. Он встал и вышел в гостиную. Там он присел на диван и принялся просматривать лежавшие на столе иллюстрации.

— Слышали, Авдотья Петровна? — спросил старший сын Талищева нарядную дамочку, жену почетного мирового судьи, сидевшую с ним у рояля.

Стол, у которого расположился Ветлугин, отделялся от рояля решеткой, обвитой плющом.

— Что? — спросила дамочка.

— О матери Измарагде?

— Ну?

Гусар произнес несколько слов, которых Ветлугин не расслышал.

— Да что вы шепчетесь? Говорите громче! — сказала дамочка.

Гусар указал глазами на плющевую решетку, за которою сидел Ветлугин.

— Quelle idée! — усмехнулась, прикрываясь веером, дамочка. — Он не опасен... правда ли, говорят, что это — купеческий приказчик из Кяхты?

— Что вы, что вы! — возразил, оглядываясь на решетку, гусар.

— Да присмотритесь — от него, право, нанкой и корицей пахнет...

Гусар, уткнувшись в платок, так усердно рассмеялся, что дамочка принялась его останавливать: делала ему знаки и махала на него платком; он же стал весь красный, а его старообразное лицо даже прослезилось.

— Ну, так что же Измарагда, что? — спросила вполголоса дамочка, видя, что сидевший у стола Ветлугин окончательно углубился в рассматривание иллюстраций.

— Да вечереевскую-то дочку? — ответил гусар. — Неужели не слышали?

— Вашу бывшую страсть?

— Бывшую, да! — сказал, сладко жмуря глаза, Талищев. — Теперь вы знаете, кто моя богиня...

— Farceur! — вскрикнула, отвернувшись, дамочка, шаловливо ударяя его веером по руке. — Так что же Измарагда с Вечереевой?

— Сподобила...

— Как сподобила?

— А так же, настоящим то есть манером, — в аккурат пикнуть не дала... Как хотите, дело выгодное... Старики не долго протянут. Ну, а после них уж, разумеется... и не долго ждать...

— Кто же помогал, кто? Неужели?..

Талищев опять заговорил вполголоса; Ветлугин раза два услышал имя Клочкова. В гостиную в это время вошли другие гости. Кто-то сел за рояль. Раздались звуки из «Пре-

красной Елены». Чей-то голос фальцетом запел: «Я царь, тьфу! я муж царицы».

Ветлугин прошел в сад. «Толкуйте себе, — рассуждал он, — стройте планы — каково-то будет ваше разочарование?»

Возвратясь через несколько времени к остальным гостям, Ветлугин увидел Милунчикова.

— Где вы были? — спросил он его. — Я вас искал.

— Я встретил здесь нашего земского подрядчика и все его уговаривал что-нибудь сбросить в цене на мост, — ответил Милунчиков.

— Когда же обсуждение вашего проекта?

— Что-то медлят: вероятно, после обеда. На сытый желудок, видно, спокойнее.

Подошел Николушка Талищев и сообщил, что отец просит Николая Ильича и Антона Львовича в кабинет.

— Вот, господа, — начал Талищев-отец, подвигая кресла Милунчикову и Ветлугину, — из Петербурга пишут, что податная комиссия подходит к концу и что, вероятно, в ней выскажутся за всесословные подати.

— Что же, давай-то Бог, — ответил, спокойно усаживаясь, Милунчиков, — я думаю, этого нельзя не желать.

— Как кому, — несколько в сторону сказал старший Талищев, — есть люди, которым, без сомнения, нечего терять. Эти господа, можно сказать, даже еще выиграют в общем водовороте... Перепадут кое-какие крупинки...

Милунчикова передернуло. Все молча впились в него глазами.

— Вы утверждаете, — начал он, — что люди бедные, люди без состояния готовы на всякие крайности. Устраните их бедность, и они вам грозить не станут. Если у меня нет собственности, это еще не значит, чтобы я ее не признавал и не уважал. Нет собственности сегодня, она у меня, при моих трудах, может быть завтра... Но вы не мешайте мне

трудиться, а главное — не берите с меня более того, что вы сами даете.

— Ну, дяденька, — не вытерпел на это Клочков, — поздравляю вас, это — учение санкюлотов...

Взрыв хохота покрыл эти слова.

— Я уж вам однажды сказал, что вы — неудавшийся фарисей, — ответил, стараясь не выйти из себя, побледневший Милунчиков, — но, впрочем, вы и этого названия не стоите... потому что...

— Договаривайте, договаривайте, российский Мирабо, — насильно посмеиваясь, сказал Клочков.

— Да что, — презрительно отрезал, вставая, Милунчиков, — еще вернее выразиться, вы — даже не земский деятель, а земский ярыжка...

В кабинете настала мертвая тишина. Большинство слушателей потупило глаза. Талищев-отец не знал, что делать. Клочков сидел опешивший, с раскрытым ртом и куда-то пропавшими глазами. Милунчиков об руку с Фокиным молча вышел из кабинета.

— Однако он тебя отбрил! — заметил кто-то Клочкову.

— Сочтемся... Не то еще ему будет, — злобно ответил, уходя с Романом Талищевым, Клочков, — я ему все припомню... да и Фокину, который с ним дружит...

— Вот, подите с ними, — заговорил, подсаживаясь к Ветлугину и утирая лицо, Талищев-отец, — индо в пот прошибли. Не могут не сцепиться. Как сошлись, так и пошла писать: соперники...

— Что же, пора бы и обедать? — вполголоса отнеслась к мужу вошедшая хозяйка.

— И я думаю. Все ждали, вот и к делу еще не приступили.

— Кого вы ждете? — спросил Ветлугин.

— Вечереева. Он остался ожидать у меня на заводе своего приятеля Ченшина. Да, видно, тот запоздал. А от

завода недалеко и до другой вотчины Вечереева. Как бы не проехал туда навстречу своему приятелю. Очень уж они дружны.

— Кто этот Ченшин?

— Золотопромышленник, богач. Нам бы его участие было очень полезно.

Позвали всех обедать. В окна столовой с крыльца раздался хор трубачей. Идя с другими из кабинета, Клочков сказал в столовой Фокину: «А вы, дружище, готовьте свои кишечки: будет у нас погром, на первого на вас напустим доморощенных Пугачевых, чтоб вы поменьше любезничали с меньшими братьями и не прибавляли им на чужой счет и в подрыв соседям разных льгот и облегчений».

— Я недолго буду вашим соседом... уже просил у Павла Федоровича расчет... Не могу-с...

— Ну, это еще мы увидим.

За обедом Клочков, перешепнувшись со старшим Талищевым, то и дело подливал Фокину вина. «Да не пью же я, Петр Иваныч, — отозвался тот, — говорят вам, что не пью! Мне нездорово, запрещено». «Вздор!» — перебивали его услужливые соседи.

Настроение взрослых перешло и на юное поколение, под предводительством Николушки Талищева восседавшее на другом конце стола. Хозяин дома сперва было защищал своего управляющего. А потом и он, подвыпив портеру и соображая, что этот бука-Фокин как раз перед рабочей порой попросил у него расчета, махнул на все рукой и сам не без удовольствия стал следить за нападками на него Николушки и его друзей. «Да потешайтесь вы, чтоб вас! — думал Павел Федорыч, поглядывая на шумевшую вокруг него веселую компанию. — В самом деле, отчего бы Фокину и не пить? В наши дни, в старину, этаким господам вино выливали за галстук...»

Взволнованной и подгулявшей компании нужна была искупительная жертва. И эта жертва нашлась...

XXI

Посол

После обеда дамы решили кататься. Они уговорили хозяйку и некоторых из мужчин, в том числе Ветлугина, и в трех экипажах спустились к реке с целью проехать к заливу, против которого был расположен Краснокутский монастырь. Ветлугин охотно согласился на эту прогулку: Вечереев не являлся; Милунчиков с прочими гласными был приглашен в кабинет, где наконец началось обсуждение разных проектов, в том числе записки Клочкова. Остальные гости не занимали Ветлугина.

«Какая тоска, — думал он, прислушиваясь к их речам, — все изменяется на свете, только суждения и анекдоты этих господ те же, что были еще в те времена, как я учился азбуке и ходил в курточке и в детских воротничках».

Поездка к заливу не удалась: река, от прорыва чьей-то плотины, затопила в том месте луга. Ездили в монастырскую рощу. Возвратились поздно вечером.

Ветлугин отыскал Милунчикова.

— Что с вами, Николай Ильич? — спросил он. — Вы будто не в духе...

— А, прах их побери; это — не слуги края, а враги. Уж я спорил-спорил. Непременно подам протест. Потому только и норовят вести дорогу на эти места, что здесь их собственные норы... Возмутительно. Особенно этот Клочков. Он меня до того взбесил, до того... Едем!.. Велю сейчас запрягать. Надо только условиться еще кое о чем с нашим подрядчиком. Подождите меня.

Милунчиков вышел в сад. В это время на крыльце разносили чай, ликер и мороженое.

На одной из дорожек к нему подошел младший хозяйский сын. Об руку с Николушкой шел его приятель, гимназист Коребякин.

— Разрешите наш спор, — отнесся последний к Милунчикову. Николай Ильич остановился.

Коребякин был юноша лет восемнадцати, несколько сурового вида, плотно остриженный, дебелый, сутуловатый и застенчивый. Круглый сирота, без протекций и поощрений пробившись до седьмого класса гимназии, он, от природы не одаренный блестящими способностями, учился весьма усердно, был на хорошем счету у товарищей и страшно трусил срезаться на выпускном экзамене. Он втихомолку строил планы о том, как по выходе из гимназии займет у отца Талищева денег, уедет в Петербург, поступит там в университет, выдержит экзамен на кандидата, а там и на магистра, добьется кафедры, — словом, плавал в волшебных мечтах. Экзамены были на носу. В Речное, по зову Николушки, он приехал дня на два с кем-то из городских гостей. «Подготовлю почву, — думал он, — там и за экзамены. Николушка моими тетрадями только и жил — и не заметить моей нужды он не может». Николушка, однако, его нужды не замечал. Он уже успел приобрести ту своеобразную дальнозоркость, при которой иные смертные ничего не видят вблизи, хотя зато все отлично видят вдали. Юный Талищев давно уже глядел на остальных людей не прямо, не в лицо, а как-то поверх головы, через человека, точно стоявшие перед ним были до того мелки, что их нельзя было и заметить.

— В чем же у вас, господа, спор? — спросил Милунчиков, бывший в дружбе с Коребякиным.

— Коребякин уверяет, — начал Николушка, — будто скоро уничтожат чины. Возможно ли это?

— Да, — ответил рассеянно Милунчиков, — он прав. В Англии да и в других странах чинов давно нет. Там я сегодня — пивовар, завтра — член палаты общин, а через месяц министр и канцлер королевства или, как в Америке, — даже и главнокомандующий.

— То в Англии и в Америке, а мы в России, — возразил Николушка, глядя сквозь лорнетку на носки собственных ботинок.

— Так что же, что в России? — перебил Коребякин. — Издадут закон, и у нас не будет чинов.

— А то, — усмехнулся юный Талищев, — что пока вы, господа, будете мечтать об издании этого закона, я попаду в мировые судьи, а там, при связях отца, в члены окружного суда; года через три-четыре меня сделают председателем суда, там уже недалеко и в члены судебной палаты, а следовательно, и в генералы... Вот и говори мне тогда: ваше превосходительство... И буду я вас, молодчиков, в те поры принимать не иначе, как по докладу дежурного...

— Ну, это еще мы увидим, — сказал не совсем уверенно Коребякин, — до той поры как бы не упразднили не только чины, но и способ раздачи мест...

Юноши, как видно, чересчур хватили ликеру и потому болтали несколько неумеренно.

— Ай, ай, в ваши годы, Николай Павлыч, и такие суждения! — как бы про себя, хмуря брови, заметил Милунчиков. — Немного же вы внесете в ваше поколение...

— Чего-с? — обиделся и вспыхнул по уши юный Талищев. — Лучше бы вы читали наставления своему брату, не другим.

— Нечего мне ему читать наставлений; он сам за собой смотрит.

— Плохо же он смотрит, — усмехнулся озлившийся юноша, — был бы умен, не попался бы в историю, что его обыскали и ссылают.

— Что за вздор, в какой истории? — меняясь в лице, спросил Милунчиков. — Кто это вам сказал? Отвечайте, или...

— Нечего грозить, нечего; я и так с удовольствием сообщу. Тайны нет никакой. Спросите у любого; это всем рассказал мой брат...

«Новая бесчестная клевета! Что за мерзости!» — пробежало при этой вести в голове Милунчикова. Он невзвидел света перед собой и, не слыша, что́ ему далее говорил юный Талищев, бросился отыскивать старшего брата, Романа Павлыча.

Пользуясь отсутствием дам, старший Талищев в саду под вербами затянул «Феню». Друзья подхватили хором. Он скинул венгерку и, в красной канаусовой рубахе, вскрикивая и вскидывая кверху руки, пустился вприсядку. Его примеру последовал его друг, улан Подсыпанин, за уланом — секретарь окружного суда. Все были в духе, веселы и беззаботны. Ликер и прочие напитки начинали оказывать свое действие.

Когда гусар кончил пляску, Клочков взял его под руку, отошел в сторону и стал с ним шептаться. Вслед за тем гусар вмешался в круг молодежи и вполголоса сказал:

— Господа, дамы еще в уборной... Следовало бы кое с кем разделаться. Среди нас есть человек, которого не мешает проучить, хотя бы только для острастки...

— Кто такой, кто? — подхватили слушатели.

— Наш управляющий, Фокин, — ответил, озираясь, гусар, — он непременно что-нибудь умышляет. За обедом ничего как есть не пил; а после обеда ни с того ни с сего попросил у отца расчет. Он только слушал нас... Не напоить ли его общими силами?

— Напоить, напоить! — отозвались довольные голоса.

Тотчас же вызвалась кучка охотников. Самого гусара в это время отозвал в сторону подошедший с нахмуренным лицом Милунчиков. А пока они отправились объясняться в дом, остальные бросились отыскивать Фокина. Они его нашли у пруда, за устройством выписанного из города фейерверка. Под предлогом разрешения какого-то пари они дружески провели его в сад и сперва ласково, потом настойчивее стали требовать, чтоб он пил.

Ничего не подозревая и видя в настоянии подгулявших шалунов одну из обычных этой братии забав, Фокин начал было отшучиваться, упираться ногами и руками, брыкаться и даже подпрыгивать, причем опрокинул несколько поднесенных ему стаканов вина. Шутники перемигнулись, подхватили его под руки и увели в амбар, временно преобразованный в довольно удобное помещение для гостей.

Вслед за тем здесь произошла сцена, какой, разумеется, не ожидали не только управляющий Талищева, но и сами расходившиеся шутники.

Фокин в неравной борьбе порядком толкнул младшего хозяйского сына. Николушка освирепел, при помощи других повалил Фокина на кресло, а потом на диван, надавил ему грудь коленом и крикнул: «Ну, господа, теперь помогайте!» Кто-то схватил Фокина за руки, а остальные с хохотом стали ему насильно лить в рот вино, а потом и водку. И когда, наконец, понявший грозу Фокин начал с ругательствами стыдить обезумевших озорников, стиснул челюсти и спрятал в угол дивана голову, нападающие вспомнили, что они еще недавно были всемогущими потентатами своих околотков, и общими силами — юные и взрослые — навалились на Фокина...

Ветлугин ничего этого не знал. Клочков, подзадорив других, подослал к Антону Львовичу одного из членов уездной управы. Этот последний догнал Ветлугина в конце двора и, выйдя с ним за ворота, стал ему объяснять свой давнишний проект о необходимости поощрения прочных и неизменных стихий в государстве, о замене сельских школ древонасаждениями и почвоорошениями. Этот господин говорил долго и с азартом, присюсюкивая и брызгая слюною. Ветлугин не знал, куда от него деться. На пути ко двору Антон Львович услышал какой-то странный и как бы задержанный, щемивший душу крик. Он остановился, повел глазами к крыше талищевского амбара и остолбенел...

По гребню амбара, прячась за его слуховое окно, без шапки и в разорванном сюртуке пробирался Фокин. Во дворе, глядя на амбар, толпилась часть талищевских гостей.

В стороне, с ручной пожарной трубой, стоял Николушка Талищев. Он качал из бочки воду. Другие, пересмеиваясь и громко разговаривая, ждали, что́ из этого будет.

— Что вы, что вы, господа? — сказал, подходя к Талищеву, Ветлугин. — Как вам не стыдно? Управляющий вашего батюшки...

— Да вода не холодная, — отозвался совсем охмелевший Николушка, — надо же его согнать оттуда... Еще ушибется... Он вырвался от нас и пролез в слуховое окно...

— Да что глядеть! — крикнул кто-то из толпы. — Качай, Талищев, и целься...

— Антон Львович, крикните людей! — отозвался с крыши Фокин.

— Лучше лезьте опять в окно! — захохотал, целясь в него трубой, Николушка.

Судьбе было угодно положить предел этой истории. С выгона загремели колеса двух экипажей. То подъезжали новые гости.

Шутники разбежались.

Осада с Фокина была снята.

Ветлугин при помощи подоспевших на его зов дворовых достал лестницу и снял с амбара взволнованного и огорченного до слез Фокина. Они прошли во флигель.

— Вот они, передовые-то! Вот вожди народа! — со скрежетом зубов в бешенстве восклицал Фокин. — И это теперь-то, теперь, во дни реформ... Что же было прежде, Антон Львович, прежде?

Обмыв грязь и даже следы крови со своих рук и с лица и кое-как снова приодевшись, Фокин приказал косолапому мальчонке-слуге скорее снаряжать ему в повозку коня и объявил, что тотчас же едет в город с жалобой к судебному следователю. Ветлугин также решил немедленно отсюда уехать. Он пошел отыскивать Милунчикова.

— Это вы, Антон Львович? — спросил, встретясь с ним среди окончательно стемневшего двора, Коребякин. — Куда идете?

— Ищу Милунчикова. Мы условились с ним отсюда ехать вместе.

— Опоздали, он уже уехал.

— Куда?

— Да где же вы были, что ничего не знаете?

— Я был у Фокина.

— Да, слышал, слышал, и с ним история... бедный!

— Но что же с Милунчиковым?

— У него что-то вышло с Романом Павлычем. Они долго и крупно говорили, и вслед за тем Клочков увел Талищева в кабинет, а Милунчиков крикнул лошадей и уехал. Это у них часто бывает. Вам же он поручил сказать, что извиняется — дело встретилось... Ох, в воздухе накопилось много горючих веществ. Быть, кажется, грозе... Надо в город возвращаться, выпускные экзамены у нас начинаются, а надо к Милунчикову, он очень просил к себе...

Ветлугин возвратился к Фокину и сообщил ему слышанное.

— Что же, едем в город теперь вместе, — сказал ему Фокин, — не скакать же вам ночью к Вечереевым верхом.

— Нет, не могу, я им дал слово возвратиться сегодня. Попрошу у вас провожатого...

В сенях в это время послышался разговор.

— Кто там? — окликнул Фокин.

— Письмо барину, — ответил мальчик-слуга, подавая Ветлугину пакет.

— Кто привез? — спросил не совсем спокойным голосом Ветлугин, вскрывая печать.

— Вечереевского попа, что ли, дьячок... Поповна, сказывает, на беговых дрожках прислала...

Письмо было от Фросиньки. Оно состояло в следующем:

«Произошло непостижимое и уж на этот раз совершенно неожиданное, печальное событие. Перо падает у меня из рук. Но вас надо предупредить, я и пишу. Вслед за вашим отъездом Аглая Кирилловна, несмотря на известные вам объяснения и решения, вдруг и уж теперь, кажется, окончательно изменила образ своих мыслей. Она, — по двум-трем словам, переданным мне, — в минувшую ночь увидела какой-то глубоко поразивший ее

сон и сегодня рано объявила матери, что бесповоротно и немедленно поступает в монастырь... Матушка ли ее все у нее выпытала и снова пригрозила ей всякими страстями, или и в себе уж она, сердечная, усомнилась... Только теперь они заперлись у себя и никуда не выходят. Ульяна Андреевна стережет ее, как архангел с грозным мечом, и никого, даже Егоровны, к ней не допускает. Как они поступят? Неизвестно. Полагаю, однако, что дождутся Кириллы Григорьича». *Приписка*: «Это я вам писала утром. Посланный возвратился от Клочкова и сказал, что вас там нет. Посылаю в Речное. Не там ли вы? Наши ждут с часу на час Кириллу Григорьича. Приезжайте скорее. Может быть, не все еще потеряно. Вас старик любит и послушается. Не придумаете ли с ним чего-нибудь для спасения Аглаи? Посылаю нашего дьячка с тем, чтобы он сперва заехал на завод Талищева, — не там ли вы с Кириллом Григорьичем, а потом в Речное. Спешите, хотя надежды мало, но, быть может, сила любви сделает то, чего не способны сделать другие людские средства. Вы друг друга так полюбили... Притом же... ну да остальное при свидании... Спешите... Уважающая вас, покорная слуга — Евфросиния Верхоустинская».

Ветлугин, как сумасшедший, бросился в сени и на крыльцо, потом возвратился, хотел что́-то сказать Фокину и обессиленный упал на кресло.

— Что с вами? — испуганно спросил Фокин, видя бледное, изменившееся лицо Ветлугина.

— Ничего, так себе. По одному торговому делу получил неприятное известие от Вечереевых.

Фокин подозрительно покосился на него. «Странно! — подумал он, — гостил у Вечереевых, а переписывается с Фросинькой. Уж не влюбился ли он в нее?»

— Письмо к вам Верхоустинская прислала? — спросил нерешительно Фокин.

— Да.

— Как вы ее находите?

— Славная, славная она, добрая такая — осчастливит хорошего человека, осчастливит, — протянул Ветлугин, сам не сознавая, что говорит.

И вдруг он опять вскочил.

— Не могу, — сказал он, — не могу, извините меня. Прощайте, до свидания. Надо ехать... А будете когда-нибудь в городе, вот вам адрес; меня не найдете, так отца.

Крепко пожав руку озадаченного Фокина, он опять вышел на крыльцо, отыскал дьячка, предложил ему в дрожки запрячь свежего вечереевского коня и сказал:

— Веди его, голубчик, сторонкой, к пруду; а я схожу в дом, прощусь с хозяевами... своего коня привяжи сзади.

Он вошел в переднюю, оделся. Его никто не заметил. Слуги толпились у двери в залу. Из сада гремел хор гусаров-трубачей. Начались танцы. Ветлугин решился уехать, никого не беспокоя. Он прошел в садовую калитку. Обогнув угол дома, он обернулся. В одно из окон в сад было видно, как по зале двигались танцующие пары и как в какой-то фигуре кадрили, мелькая фалдочками фрака, легким зефиром носился по паркету и любезничал с первой красавицей бала Клочков. Визави с ним, с Авдотьей Петровной танцевал румяный, раздушенный и завитой гусар Раша Талищев.

Пройдя сад, Ветлугин вышел к плотине, сел с дьячком на дрожки и поехал в Дубки.

— Что, почтенный, так запоздал? — спросил он дьячка.

— На завод еще было велено заехать.

— Кириллы Григорьича там уж не застал?

— Отъехали.

— Куда?

— Знать, домой. Как-нибудь разминулись в лесу. На заводе кум у меня при амбаре; так лошаденку подкормил и сам маленечко вздохнул. Теперь мы напрямик. Мигом доедем.

Путь некоторое время шел лугами.

Проехав версту-другую, Ветлугин через реку в темноте, как бы на воздухе, увидел ряды ярких огней.

— Что это? — спросил он. — Не монастырь?

— Он, сударь, самый и есть, — отвечал дьячок, — преосвященнейший владыко храм вчера здеся-ча у купцов на заводе святил и переехал по дороге в Красный Кут. Нешто вы не были нонче в обители у обедни? Много, сказывают, было народу, здешних и дальних... А это вон монастырские окна так сияют на радости, что всемилостивейший наш владыко архипастырь сподобил посещением — как мать игуменью, так и всех тутошних сестер. Ныне ж, сказывал встречный народ, в присутствии архипастыря, введенский городской иеромонах кстати постригал очередных белиц... Оно, к случаю, всегда так бывает... Вы, барин, однако, потише... Гóните, точно на курьерских... Моя пегашка в таком разе за вашею не поспеет — как бы еще и ног не протянула.

Тут только Ветлугин обратил внимание на то, что конь его спутника был далеко не из резвых, притом значительно утомлен. Да и мирный служитель храма уже давно, одною рукой держась за коврик дрожек, а другою за собственную серую пуховую шляпу, на каждом толчке подпрыгивал за спиной Ветлугина, едва успевая переводить дух.

Путь от Речного к Дубкам, то ускоряя, то замедляя бег коня, Ветлугин проехал в сильном волнении.

Бойкий конь Вечереева нес шибко. Поповская пегашка также сначала было расскакалась, но потом стала сильно натягивать повод. «Нет, лучше я встану, поеду верхом! — сказал дьячок, — а то оторвется еще, и не поймаешь». Это было уже невдалеке от Дубков, когда с вершины заречного холма в лунном сиянии обрисовался очерк вечереевской усадьбы и повеяло запахом близкого сада у реки.

Чего не передумал в эти часы Ветлугин!

Вглядываясь в ночную тьму, он соображал, отчего не видно огня в верхнем окне дома? Там ли Аглая или внизу, в кабинете у матери? И что за сон такой она видела?

Странные картины проходили в мыслях Ветлугина. Он будто в церкви. Стоит перед алтарем, рядом с Аглаей. Их венчают. С клироса гремит хор певчих, а в глубине, между темных колонн, в длинных черных мантиях и скуфьях толпятся нахлынувшие монахини. Они окружают Ульяну Андреевну и с бледными, угрожающими лицами что-то шепчут, показывая на него... «Грех, великий грех!» — говорит еле живая от страха Аглая. «Ты не бойся, — отвечает он, — все кончено, ты моя...» Они выходят из церкви, садятся в карету. Свежий вечер гаснет над полями. Лошади мчатся. А сзади несется грозная погоня черных мантий и клобуков... Слышатся крики: «Держи их, держи!..»

— Вот и приехали, — сказал, нагнав Ветлугина на взгорье, дьячок. — Вы себе спускайтесь, а я дойду пешком; что-то уж больно подбился... на вашей раструске... поясницу ломит...

Ветлугин поблагодарил дьячка, съехал к реке, миновал брод, привязал лошадь с дрожками у сада к вербе, перелез через ограду и впотьмах, знакомыми дорожками, направился к балкону.

Месяц склонялся к закату. Теплая майская ночь стояла во всей красоте и таинственности, без птичьих криков и звона стрекоз, с ярко мерцавшим звездным небом, с светляками в траве и в кустах и с благоуханием полного дремоты, росистого сада.

Ветлугин остановился.

«Не пойти ли прежде к Фросиньке? — подумал он. — Не разбудить ли и не вызвать ли ее? Что произошло после ее письма ко мне с Аглаей? Э! Прямая дорога — самая короткая... Надо немедленно и теперь же видеться не с Фросинькой, а с самой Аглаей... Но как с нею видеться? Как ей дать знать, что я здесь, в саду, у ее окна?»

Ветлугин терялся в догадках. «Переднее крыльцо в доме, — рассуждал он, — наверное, заперто. С девичьего же крыльца и подавно невозможно проникнуть к Аглае, так как у входа к ней из коридора — спальня Ульяны Андреевны.

Сверх того на крыльцах, по деревенскому обычаю, надо думать, спят очередные сторожа́. Балкон и подавно, вероятно, заперт. А повидаться с Аглаей, сказать ей несколько слов — необходимо».

Ветлугин неслышными шагами обошел дом, постоял у обоих крылец, где явственно слышался храп спавшей прислуги, и с замиранием сердца тронул ручку балконной двери... Дверь оказалась не заперта.

«Не войти ли в дом и не проникнуть ли через библиотеку и коридорную лестницу вверх, в комнаты Аглаи?»

Эта смелая мысль явилась непрошено, мгновенно. Точно трубный звук она отозвалась в ушах Ветлугина и обдала его холодом и страхом. Волосы шевельнулись на его голове...

«Невозможно... безумие! — сказал он сам себе. — Но почему же невозможно?.. В доме спят; я пройду тихо, незаметно — уговорю ее, — завтра будет поздно...» Ему вспомнилось бегство Казановы из-под свинцовой тюремной крыши в Венеции, страница из какой-то легенды о лестнице, свитой из белокурых кос заточенных в башне и обреченных на казнь монахинь...

Дыхание Ветлугина замерло, глаза застлало туманом. Он вошел в гостиную. Пол скрипнул под его ногами. В зале также раздался какой-то звук, будто тоже под чьею-то ногой там заскрипела половица. Ветлугин переждал, вошел в библиотеку и остановился. Ему показалось, что кто-то в это время глянул на него в окно из сада: то был бледный лик заходившего над деревьями месяца...

«Что со мной и что я делаю? — пробежало опять в голове Ветлугина. — Я — гость, я — посторонний, заезжий, и пробираюсь ночью в комнаты дочери приютившего меня человека! Нет, прочь отсюда, прочь!»

Ветлугин, однако же, не остановился. Он вошел в девичью, в коридор, постоял перед дверью Ульяны Андреевны и начал взбираться по лестнице к комнатам Аглаи. Окно в девичьей было раскрыто, и в него с ночной прохладой проникало сияние заходившего месяца.

В это мгновение, будя ночную тишину, раскатисто и звонко заржал оставленный за садом конь. Ему поблизости ответило ржание поповой пегашки.

«Ну, и отлично, — подумал Ветлугин, — дьячок отвяжет коня и отведет его на конюшню».

С этою мыслью Ветлугин миновал последние ступени лестницы и уже взялся за ручку двери в комнату Аглаи.

На дворе ясно прозвучали копыта вечереевского коня, домовито и ласково фыркавшего в ожидании близкого стойла и корма. На девичьем крыльце потянулся один из сторожей и, громко зевнув, что-то проговорил, точно сказал товарищу: «А барин-то этот... пробирается к барышне... Не всполохнуть ли его?»

Вправо, на селе, как бы невзначай нарвавшись на кого, трусливо и злобно залаяла испуганная голосистая собачонка. Где-то в стороне, и уж точно не в этой деревне, а далее, крикнул одинокий, чуть слышный петух. И опять тишина...

Ветлугин перевел дыхание.

Держась одной рукой за по́ручень лестницы, другую он протянул перед собой, коснулся впотьмах двери, бережно нажал ее скобу, и дверь без усилий отворилась.

Лунный свет слабо освещал эту комнату.

— Аглая, Аглая! — шепнул Ветлугин.

Ответа не было.

— Аглая! — повторил он.

Никто не отвечал.

Ветлугин подошел к окну, в которое из сада виднелась вершина соседней липы, отворил его и стал соображать, что это за комната?

«Что, как дьячок, отводя коня, из усердия разбудит кого-нибудь из прислуги, и меня станут тут искать?» — пронеслось в мыслях Ветлугина.

Не успел он это подумать, как внизу под липой в то же мгновение послышался шорох чьих-то торопливых и, казалось, тревожных шагов...

XXII

Молитвенник

Ветлугин стал ни жив ни мертв. В глазах его потемнело. Он стал за откос окна и из-за него взглянул вниз: в саду, под липой, действительно мелькало что-то белое... Не то служанка, не то сторож шарили, по-видимому, отыскивая его.

Ветлугин еще переждал. Наконец он вздохнул свободнее: из-под дерева беззвучно выкатилась серая собачонка. Прислушиваясь кругом, она несколько постояла и, обнюхивая дорожки, убежала в глубь сада.

«Ну что, если здесь где-нибудь под столом или под диваном спит другая собачонка? — подумал он. — И что, если она с лаем кинется на меня и перебудит весь дом?»

Но в комнате было тихо, как и на дворе.

В правом углу, перед старинным киотом с образами, стояла погашенная теперь большая лампада. По креслам и по столу были разбросаны книги, гарус и узоры. К дивану были придвинуты раскрытые с недоконченной работой пяльцы. На письменном столе стояли две до половины обгоревших стеариновых свечи и вазочка с полузавядшим пучком ночных фиалок...

Ветлугин несколько мгновений постоял над этим пучком, достал из кармана спичечницу, зажег одну из свечей, заслонил ее рукой и поглядел кругом. Из комнаты вели две двери: одна налево, в которую он вошел, другая направо.

Ветлугин запер дверь на лестницу и подошел к комнате направо.

«Если Ульяна Андреевна проснется, услышит мои шаги и придет сюда, — рассуждал он, — я все ей выскажу, все... Я буду с ней беспощаден... Так поступать нельзя. Это — не католический монастырь... Мне дано слово... Я — жених... Если же успею увидеть Аглаю одну, без свидетелей, я ее бережно уведу, мимо матери и сторожей, и мы убежим...

Или нет, я ее спрячу в доме у Фросиньки, и завтра же отец Адриан нас обвенчает...

А что, если Аглая спит не одна? — пробежало в его уме. — И неужели, наконец, здесь, за этим порогом, ее спальня?»

Он отворил дверь направо. Комната за ее порогом оказалась не спальней, а чем-то вроде классной. В таком виде она, вероятно, оставалась с тех пор, как в ней жил и учился покойный сын Вечереева: с географическими картами, с рисунками зверей, птиц и насекомых и с засушенными полевыми цветами под стеклом на стенах. Не найдя никого и здесь, Ветлугин прошел в следующую, как видно, последнюю комнату. Но и она оказалась также пуста. На этот раз была, действительно, спальня. Белый кисейный положек закрывал чистую, несмятую постель. Шитые шелком бархатные туфли лежали возле нес на ковре. У изголовья, на круглом столике, стояла недопитая кружка воды и лежал, заложенный бумажкой, старинный молитвенник.

«Аглая не спит, — подумал Ветлугин, — неужели она еще внизу, у матери? Надо ее подождать. Но где и как я спрячусь здесь?» Он пристальнее взглянул вокруг. Несмотря на уютность и чистоту, в комнате был страшный беспорядок. В одном углу стоял раскрытый сундук с частью выброшенного на диван и даже на пол белья. В другом, на куче сметенного, но не вынесенного сора, валялась половая щетка. Старинный платяной шкаф был также раскрыт, и в него, очевидно второпях, кучей были набросаны платья, пустые картонки и башмаки.

«Что же это значит? — рассуждал Ветлугин. — Или она уж уехала? Но куда? Неужели в монастырь? И не дождавшись меня? А она так мне клялась!»

«Нет, она не уехала!» — замирая от радости, подумал Ветлугин. Сзади его послышались как бы шаги.

Он возвратился в предыдущую комнату.

Там не было никого. Шелест послышался от впорхнувшей в окно летучей мыши.

Ветлугин возвратился в спальню, раскрыл лежавший на столике молитвенник, стал его перелистывать и тут только заметил, что он был заложен каким-то письмом. В глаза ему бросилось имя Аглаи. Он невольно пробежал первые строки письма, стал читать далее, и свеча чуть не выпала у него из рук.

На большой четвертке толстой желтоватой бумаги крупными каракулями были безграмотно написаны слова:

«Поспешай, государыня ты моя, матушка Иульяния Андревна. Поспешай, наша денная покровительница, ночная богомольница. Преосвещенный здесь. Отец Гервасий при такой оказии станит пастригать наших двух белиц; пастрижет и твою милую Аглаюшку. Надейся на Господа. Нет его краше, нет добрее. А о вносе на келью сказ будет и опосля. Благодарим тя и так, на щедрых твоих подарочках, на рыбке, да на медах, на мучице, да на боченочках. Довольны, ах как довольны твоею милостью и будем ждать. Ты наша охрана, наше тепло некупленное. Не доведешь жа, штоб клели за несдержание тваво слова. Припасайтеся к Небесному Жениху, ой, припасайтеся: да наденет Он на вас, на обеих, злат венец, чин ангельской. — Ваша молельщица, скудоумная и смиренная раба Божия, отродия нищего, Измарагда».

Ветлугин, вторично пробежав письмо, без памяти бросился вниз по лестнице, тихо отпер дверь в комнату Ульяны Андреевны, убедился, что и эта комната пуста, прошел в столовую и в кабинет Кириллы Григорьича и остановился. Здесь также не было ни души. Дом совершенно опустел. Вечереев еще не возвращался, а его жена и дочь, очевидно, выехали из имения. «Все кончено, — подумал Ветлугин, — все, и счастье, и жизнь... Куда теперь идти и что станется отныне с моею свободой и верой в себя и в людей?»

Ветлугин стоял перед рабочим столом Вечереева. Среди кучи разных деловых бумаг на этом столе лежала подготовленная к печати тетрадь переводов из Мильтона; а в углу, за печью, как мумия, торчал футляр с виолончелью. Ветлу-

гину припомнился другой старик, его отец. Тот страдал от бедности; этот — в избытке богатства...

Ветлугин ухватился за грудь. Сердце его надрывалось. Ноги подкашивались.

Со свечой в руке он вышел в пустую высокую залу, где в памятный первый вечер его пребывания здесь он с Аглаей слушал игру на виолончели ее отца. Высоко приподняв свечу, он взглянул на потемневшие, в старинных рамах портреты предков этой семьи, на дам в пудре и в кружевах, на разноцветные кафтаны, мундиры и парики мужчин, и с горькой усмешкой сказал: «Так-то, господа богачи... Где же ваше счастье?»

Он задул свечу, поставил ее на стол, прошел к двери на балкон, отпер ее и с рыданьем упал на скамью, с которой столько лет и с такой, по-видимому, гордою верою в неизменность людского счастья Кирилло Григорьич любовался видом полей, цветами и деревьями насаженного им сада. Вспомнились теперь Ветлугину и слова Фросиньки о том, что Аглая — клад на дне глубокого и темного колодца.

«В священный поток факира упал обвал скалы! — подумал, вставая со скамьи, Ветлугин. — Как старик переживет это горе? А я-то, я-то!.. Старики отжили свое — мой век только что еще начинается...»

На востоке белело.

От реки стал подниматься туман. Пернатое население сада, как и в ночь первого объяснения Ветлугина с Аглаей, начинало просыпаться и, чирикая, кое-где уже взлетывало над вершинами еще темных росистых дерев. Занималась заря.

Ветлугин прошел к беседке, посидел на ее крыльце, собрал и уложил свои вещи, еще раз оглянулся на дом и на сад, постоял над спуском к купальне, увидал вдали, меж ягодных кустов, уже вставшего и отгонявшего воробьев деда Лукашку и еще сумрачными дорожками направился ко двору отца Адриана.

Священника не было дома. От его ворот навстречу Ветлугину, с ведрами в руках, шел вчерашний его знакомец, дьячок. Он его остановил, узнал, что Фросинька уже не спит, и попросил его вызвать ее на крыльцо.

Фросинька вышла. На ее нерасчесанные волосы был накинут платок; глаза были сильно заплаканы.

— Что, скажите, здесь произошло? — спросил Ветлугин. — Не жалейте меня, говорите все откровенно.

Девушка повела взглядом к опустелой усадьбе Вечереевых, вздохнула и молча подала Ветлугину письмо.

Он его распечатал. Письмо было от Аглаи к Ветлугину.

Она писала:

«Бесценный и навеки любимый друг! Не корите и не проклинайте меня. Я раньше нашей встречи дала другой обет и должна его исполнить. После вашего отъезда я испытала такие муки, такие угрызения совести, что изнемогла, не выдержала и, окончательно решась покориться своей доле, делаюсь теперь вам изменницей. Увлекшись расположением к вам, я не соразмерила силы первой преданности, преданности обету. Не ищите меня там, за чертой, где иная жизнь. Не тратьте напрасно душевных сил и не делайте попыток меня оттуда исторгнуть. Я — жалкая, слабая, грешная, но — прежде всего — горячо верующая женщина. Для вас не тайна: я вас люблю... Более скажу: я вас не разлюблю до могилы и за могилой. Но я не могу быть вашею. До вас мое сердце было свободно. И если бы я стала великой грешницей и преступницей, если бы — чего, разумеется, не случится никогда! — оставила когда-нибудь монастырь, то я, не задумавшись, вышла бы замуж только за вас... Но я надеваю рясу и клобук и никогда их не сниму. И вы меня не смущайте. Умоляю — пощадите меня. Считайте, что я умерла, терзаясь, любя вас, молясь за ваше будущее и желая вам там, в свете, быть навсегда лучшим, честнейшим и первым между людьми. Доля со мной умалила бы, затемнила бы вас. Служите на пользу родины. Вы, может быть, не верите в загробную жизнь. Я же в нее верю, и моя молитва

за вас дойдет до Бога. Антон Львович! Молю вас: берегите свою душу. Не бросайте ваших сил даром. Не падайте духом. Отдайте себя тем, кому ваша помощь будет дорога. Аглаи более нет. Она отныне в могиле. И не считайте всего, что случилось, загадкой. Говорю вам прямо и от всей души: я иду в монастырь потому, что признаю за неискупимый, смертельный грех нарушить данный обет пострижения. Пожалейте меня, но не проклинайте. Прощайте. До свидания, там — далеко, за гробом. Ваша Аглая».

Ветлугин прочел это письмо раз и другой.

В глазах его вертелись огни. Что-то отрывалось от него, прощалось с ним, уходило прочь и навсегда...

Рядом с ним слышалось сдержанное, глухое рыдание. Он оглянулся на Фросиньку. Та сидела, склонясь на руки головой.

— Итак, — начал Ветлугин, стараясь говорить как можно спокойнее, — где же Аглая Кирилловна?

— Вчера уехала и вчера же... постриглась в Краснокутском монастыре...

Громовой удар менее сразил бы Ветлугина, чем эта весть. Но он с виду остался спокоен. Только пальцы его рук судорожно сдвинулись.

— Жаль Кириллу Григорьича... Где он? — спросил Ветлугин.

— Еще не возвращался.

— Но неужели его не известили, и он не знает ничего?

— Кирилло Григорьич возвращался вчера из другой своей вотчины и случайно на постоялом монастырском дворе узнал обо всем. Он бросился в обитель. Были уже сумерки. Под горой он встретил карету преосвященного. Он вышел из экипажа, хотел остановить владыку, хотел ему что-то передать. Но старика либо не узнали, либо в темноте не заметили. Тогда Кирилло Григорьич поехал в монастырь и потребовал свидания с женой и с дочерью. Что между ними было, неизвестно. Люди только сказывают, что Кирилло Григорьич сильно гневался и пожелал видеть игуменью. А

когда та к нему вышла, он стал ей грозить процессом, потом начал что-то объяснять, но не докончил, на всех вдруг затопал ногами, закричал, заплакал... и расхохотался...

Что же, — заключила, утирая слезы, Фросинька, — мудреного тут нет ничего... Хоть кого убьют такие дела. Будь и посильнее его человек, так тронется умом. А бедная Аличка! Бросилась к нему, повисла на шее. Но уже было поздно: он ее не узнавал... Тогда его опять посадили в коляску, и кучер — с Ульяной Андреевной — повез его к Ченшину, где, говорят, есть доктор. Все эти вести и письмо от Алиньки к ночи привезла мне провожавшая ее в монастырь Егоровна.

— И вы думаете, что теперь все кончено? — спросил Ветлугин.

У него еще теплилась надежда.

— Все... О, я хорошо знаю Аглаю! Она верно выразилась: теперь уж она зарыта в могиле.

— Нельзя ли мне добыть здесь лошадей? — спросил, затаив тяжкий вздох, Ветлугин. — Я бы уехал... Хоть до станции нельзя ли или обратно в Речное? Там мне дал бы других лошадей Фокин.

Фросинька при имени Фокина вспыхнула.

— Разумеется, можно, — сказала она, — вот я пошлю за Филатом. Он вам все устроит. Люди здесь потеряли головы. Хоть бы Филат... Перед вами вот прибежал ко мне, дрожит и клянется, что в барских хоромах домовые, что кто-то там поверху и понизу ходит со свечой. Насилу его успокоила.

— А ваш батюшка когда возвратится? — спросил Ветлугин.

— Жду его с минуты на минуту. Видно, благочинный задержал.

Пока Филат ладил лошадей, подъехал и отец Адриан. Этот на себя не походил от горя и досады, что такие беды стряслись над почтенной семьей Вечереевых. Он задыхался от волнения. Воротник рясы давил ему горло. Посуда на поставце дрожала от его тяжелых шагов по комнате.

— Вы бы, папенька, повлияли, — сказала Фросинька, — вы бы сообщили ключарю, отцу протопопу Закхею... Он человек с весом, близкий к владыке, и мог бы оказать помощь, открыть ему глаза...

— Протопоп? Закхей?

— Да...

Отец Адриан тяжело нагнулся к окну.

— Он неразлучен с владыкой в дороге, — продолжала Фросинька, — и если бы сказал, я убеждена...

— Неразлучен? Сказал бы? Изволь, матушка, слушай! — ответил, глядя в окно, отец Адриан. — Изволь... И уж так-то неразлучен, что и других не допускает к нему! Сажает в карету и высаживает под руки... Да что... Веришь ли? Ночевать владыко решил в Марьином. Ну, и я по пути прибился — только не у отца Савла, а у пономаря, — знаешь, через двор. И насмотрелся же я на заботы да на хлопоты этого ключаря, Закхея... Сказал бы! Неразлучен!.. Один соблазн, да и только...

— Что же, что, — приготовилась слушать Фросинька.

— А вот что, — обернулся отец Адриан к дочери и к гостю, — зашел ключарь в кухню отца Савла и говорит его стряпухе: «Собаки злые?» «Злые», — отвечает бабенка. «А петухи есть?» «Как не быть!» — смеется та. «Да ты, говорит, не смейся; кричат по утрам?» — «Кричат». — «Ну, бабочка, смотри же ты у меня, чтоб ни один петух у тебя не подал голосу до утра и чтоб ни одна песья глотка не тявкнула». «Да как же быть тому?» — смеется пуще прежнего стряпуха. «А как знаешь... собак спрячь в подвал, а петухам хоть носы позавязывай». Озадачил он бабу. Однаце своего добился: ни петух, ни единая шавка, представьте, голосу не подали до утра, пока спал владыка...

Мало того, — продолжал, принимаясь ходить по комнате, отец Адриан, — встал я нынче чуть зорька и пошел у отца Савла табачку на трубочку попросить. Глянул с галерейки в оконце: а ключарь уж встал и сидит одетый у двери, за которою владыка почивал, — сторожит, значит. Но от-

чего, думаю, сидит он под часами? Смотрю, часы остановил, чтоб маятником да боем не беспокоить владыку... Постоял я, подумал: знает ли сам-то пастырь, как старается для него соборный протопоп? Подумал, табаку не стал просить, да так сюда и отъехал... Дай-ка, Евфросинья, своего; с горя нашим набьем трубочку...

В полдень Ветлугин простился с Верхоустинскими.

— Позвольте, — сказала, отозвав его на прощанье в сторону, Фросинька, — еще слово... Вы были вчера в Речном... и видели там талицевского управляющего Фокина.

— Видел.

— Не собирался он сюда?

— Нет, не собирался.

Фросинька замялась.

— Видите ли, — продолжала она, стараясь говорить небрежнее, — он обещал обмежевать здешнюю церковную землю, и мой отец его просил об этом... Неужели он забыл?

— Не знаю... Мне об этом он не говорил...

— Жаль... А я было, кстати, хотела сообщить ему... одно тут, впрочем, небольшое дело, — начала Фросинька, но покраснела и не договорила.

«Что делать, как быть? — думал Ветлугин, выезжая из Дубков, где для него блеснуло было такое счастье. — Ее обманули и насильно увезли в монастырь. Иначе быть не могло...»

XXIII

Мать Измарагда

— Где вас, сударь, прикажете высадить? — спросил Ветлугина Филат, на этот раз проехавший несколько кабаков и нигде не решившийся выпить.

Горе барина, которого он с приказчиком ехал проведать, разом вышибло у него всякую мысль о хмеле.

— А? Что? — отозвался погруженный в раздумье Ветлугин.

— В Речном у Талищева встанете? Или с нами поедете к Ченшину?

— Разумеется, к Ченшину, — сказал Ветлугин. — Не видясь с Кириллом Григорьичем, не уеду. Жаль старика, вот как жаль.

— Уж и как не жаль, — искренно вздыхал Филат, — пропали наши головушки... Решилась... решилась наша барышня... из сударыни, из господской дочки черницей стала!

Путники миновали Речное. Их лошади, приехавшие в ночь с Егоровной, притомились. Да и зной был довольно силен. «Покормить бы, сударь, следовало, — сказал приказчик, — а то за заводами пойдут пески; не пристали бы наши кони. По холодку доедем скорее».

Тележка заехала на постоялый двор, стоявший под лесом, у озера, на перекрестке нескольких дорог. Филат задал корма лошадям, закатил тележку под сарай и, закусив, отправился с приказчиком отдыхать на сенник.

Ветлугин также забрался в какую-то темную боковушку и, наморенный тревогами прошлой ночи, заснул, а когда его разбудили, на дворе уже вечерело. Подкормленная тройка весело похрапывала у крыльца. Путники двинулись далее. Обогнув лесок, они стали спускаться к реке. За рекой открывался ряд гор. На одной из них блеснули церковные главы и забелела ограда монастыря. Сердце Ветлугина сжалось.

— Это чья усадьба? — спросил он, отвернувшись от горы.

— Где? — отозвался с облучка Филат.

— За рекой вон, левее монастыря. Сад по горе и зеленая крыша видна...

— Николая Ильича Милунчикова, — ответил Филат, — нешто вы тут не были? Нам ехать мимо их двора.

Пробравшись по мосту и свернув берегом влево, в объезд монастырской горы, телега вскоре действительно поравнялась с усадьбой Милунчикова, миновала его двор, шумевшую темными колесами водяную мельницу и стала подниматься в гору. Когда она проезжала окраиной сада, зелеными уступами спадавшего к реке, — вверху, на одном из уступов, раздался резкий и отрывистый звук, как бы от брошенной полосы железа или пистолетного выстрела.

— Что это? — спросил Ветлугин.

— Молодые господа, видно, воробьев пужают, — ответил Филат, — у Николая Ильича постоянно гостят ихние родственники и друзья, покромские барчонки, Коребякин, Подсыпанина, их соседа, шурья. Оченно Николая Ильича все любят.

Тележка взобралась на вершину горы. Лошадям дали вздохнуть.

— Вон наша дорога, — сказал Филат, — а эвона синеет и к Ченшину.

Вправо и влево с горы открылась неоглядная даль холмов, лесов и полей, будто плавающих в голубой пелене тумана. От монастыря послышался благовест к вечерне.

Ветлугин вздрогнул.

— Вот что, Филат, — сказал он, — поезжайте-ка вы вперед, а я зайду к Милунчикову; есть дело. Да, кстати, уговорю его тоже навестить Кириллу Григорьича. Мы с ним вас догоним.

— Счастливо оставаться, — раскланялись приказчик и Филат, — а ваши вещи мы возьмем с собой.

— Берите.

Ветлугин, однако, отправился не к Милунчикову.

Когда телега скрылась из виду, он напрямик, вершиной горы, обогнул усадьбу Николая Ильича, выбрался на торную, проезжую дорогу, достиг монастырской ограды, вошел в ворота и, не замеченный никем, проник в церковь, где в то время кончалась вечерня и находилось немало окрестного и дальнего народа, гостившего здесь со

вчерашнего праздничного дня. С клироса неслось мерное пение стихир. Кадильный дым застилал полуосвещенную церковь. Ветлугин посмотрел во все стороны: ни Аглаи, ни ее матери не было видно. Пропели «Свете тихий». Вечерня кончилась. Народ стал выходить из церкви. Вышел и Ветлугин. По мосткам монастырского двора, с потупленными головами, отвешивая поклоны встречным, в черных мантиях, рясах, с четками и в клобуках, потянулись старицы, послушницы и клирошанки.

Ветлугин осведомился, где помещение игуменьи, подошел к ее крыльцу, доложил ей о себе, как о проезжем путнике, и получил ответ: «Матушка Измарагда просят обождать в ихней горенке, сейчас выйдут».

Ветлугин сел в горенке игуменьи, поглядел вокруг себя и стал гадать, что за человек была матушка Измарагда?

Келья, где он сидел, находилась в верхнем отделении главного обительского здания. Окнами она выходила на реку и на заречные леса и луга. Это была просторная, прохладная, чистая и весьма нарядная комната, с белыми кружевными занавесками, с мягкою шелковою мебелью, с дорогими лампадами у горящих золотом образов и с портретами духовных знаменитостей по стенам. Цветы стояли на всех окнах, пол был устлан дорогим мягким ковром. На столе лежало несколько священных книг. За открытым окном, в большой красивой проволочной клетке, поглядывая на синеющие по низу луга и леса, с жердочки на жердочку мерно прыгал черный с желтым клювом дрозд.

«Изнеженная, сластолюбивая черничка! — злобно подумал Ветлугин, подходя к окну, — заранее вижу ее — чистоплотная, худенькая, на ладан дышащая старушка, с желтоватым, в мелких складочках личиком, с плаксивыми и усталыми от долгого церковного бдения глазками. Придет, сядет, смиренно сложит на коленях ручки, зевнет, перекрестит рот и, перебирая четки, станет ждать, что я ей скажу. Я стану говорить, а ей, в предвкушении скорого ужина и сна, вон за той, вероятно, дверью, будет мерещиться другая,

еще более уютная и прохладная горенка, занавешенная кисейным пологом постель, мягкие подушки, отсутствие мух и сладкий, заслуженный долгим молитвенным стоянием покой. Воображаю, как она растеряется, когда я ей себя назову; сонные глазки мигом проснутся. И ей ни с того ни с сего, пожалуй, представится еще темная осенняя ночь: разбойники с ножами ломятся в дверь, к железному сундуку с монастырской казной. Сверкает лезвие широкого ножа. «С нами крестная сила! — вскрикнет она, ломая руки. — Пощади, кормилец, пощади, отродия нищего не погуби...»

— Что угодно вашей милости? — спросил негромкий, но твердый голос за спиной Ветлугина.

Он оглянулся.

Перед ним стояла высокая, дородная, с красивым белым и полным лицом и с большими серыми глазами инокиня. Густые черные брови, усики над вздернутой губой, взгляд строгий, властный и проницательный. Вся она будто из камня изваяна, стройная, гордая, точно говорит: «Вот я какая, смотри на меня и робей перед моей силой и красотой!»

— Что вашей милости нужно? — вежливо повторила инокиня, указывая гостю на кресло у стола и пристально оглядывая его. — Вероятно, не здешние, устали с дороги? Садитесь.

Ветлугин невольно сел. Он угадал, что перед ним была игуменья Измарагда.

— С кем имею честь? — перебирая четки и также садясь с другой стороны стола, с расстановкой, небрежно спросила она.

— Я Ветлугин, — ответил Антон Львович, вглядываясь, какое впечатление произведут эти слова на игуменью

Что-то вроде легкого облачка мелькнуло в серых, ясных, как у сокола, и полных ума глазах Измарагды. Но ни одна черта в ее спокойном, мраморном лице не дрогнула, ни одна складка ее шерстяной черной рясы не шевельнулась.

— Очень почтена вашим посещением, — с снисходительным поклоном проговорила игуменья, — но чем же я могу быть вам полезна?

— У вас, сударыня, в обители находится дочь господина Вечереева.

— Так точно. А вам она сродственница приходится, что ли?

— Она мне дала слово, — проговорил Ветлугин, — я ей — жених.

Игуменья помолчала.

— Что же от меня-то вам, сударь, угодно? — спросила она.

— Аглаю Кирилловну заперли здесь противозаконно, — ответил Ветлугин, — силой увлекли ее сюда, обманом...

— Противозаконно! Как вы изволили сказать? Не ослышалась ли я.

— Да, ее заманили сюда, воспользовались ее неопытностью... Вы это хорошо знаете.

— Во-первых, не противозаконно, и, во-вторых, не обманом, — строго, но вежливо продолжала Измарагда, — мирской пол, сказано в законе, да не постризает монахов; девицу Вечерееву постриг иеромонах. Не достоит, сказано там же, без искуса постригати и возлагати рясу на них. Аглая Кирилловна почитай три года, в мирской одежде и без принуждения, у назначенной ей в приимицы старицы, всякий искус на дому и в нашей честной обители выносила... Что же, милостивец, где беззаконие и где притеснение? Отвечайте, слушаю.

Ветлугин не узнавал себя. Куда делась его смелость, находчивость и непреклонность? Судорожно ухватясь за ручку кресел, он сидел, не шелохнувшись, глядел на белолицую, с темными усиками, светлоокую инокиню и не знал, что ей говорить. Он чувствовал — перед ним была сила...

— Молодую девушку, — проговорил он, — не видевшую света, почти дитя, спокойно допустить до такого шага, принять ее к себе! Где же уважение к духу закона?

Измарагда смерила его глазами.

— Может, вы, сударь, полагаете, что ваша невеста одумается, возвратится в свет? Так, что ли, я поняла ваши слова?

Надежда блеснула Ветлугину.

— Разрешите... не мешайте мне, — сказал он, — повидаться с Аглаей Кирилловной.

— Это зависит не от меня; я уж вам доложила — здесь ее мать.

— Ну, так вот что, — сказал он, — я напишу записку, и вы не откажите сейчас же переслать ее к Аглае Кирилловне.

— А далее?

— Предоставьте ей поступить так, как она сама пожелает.

Чуть заметная, с примесью лукавства и презрения усмешка мелькнула в бесстрастных глазах игуменьи.

— А ты, сударь, поступишь ли так, как тебе скажет Аглая Кирилловна? — с грубою откровенностью, покачивая головой, спросила Измарагда. — Даешь ли слово?

— Даю.

— В таком разе пиши, — небрежно сказала игуменья.

Ветлугин вынул из кармана визитную карточку, придвинулся к столу и дрожащей рукой стал на ней писать. Слова несвязно ложились под карандашом.

Измарагда в раздумье стала перебирать четки. Многое ей вспомнилось в это мгновение: собственная молодость, лютая купеческая семья, темные ночи, густой лесок, брак уходом, пирушки в каком-то пехотном полку, измена, разлука — клобук...

«Искушение! — искоса поглядывая на гостя, думала игуменья. — Искушение! Глаголю безбрачным и вдовицам — добро им есть... О девах же повеления Господня не имам... Ох, искушение!»

А тихий вечер ласково глядел со двора. Душистой прохладой тянуло в раскрытое окно. Где-то внизу, под горой,

гоготали гуси, куковала кукушка, раздавался грохот и плеск мельничных колес.

Дрозд в клетке перестал прыгать. Он сидел и слушал — слушал кукушку, шум мельниц и крики гусей. И вдруг, протянув желтый нос, он вздрогнул, закрыл глаза и защелкал так порывисто и звонко, что, казалось, вообразил и себя не в клетке, а там — на приволье — внизу, где шумели мельницы, кричали птицы и стояли, полные вечерней прохлады, синеющие озера и леса.

Ветлугин писал: «Аглая Кирилловна! Я здесь, в монастыре, у вашей игуменьи. Смело идите ко мне. Я никому вас не дам в обиду и, если пожелаете, отвезу вас обратно к вашему отцу. Там вы решите свою судьбу. Жду ответа. А. Ветлугин».

— Вы кончили? — спросила Измарагда.

— Кончил.

Игуменья позвонила.

Вошла и в пояс настоятельнице поклонилась белокурая, с румянцем во всю щеку, с карими лучистыми глазами и с густою косой молодая келейница. Измарагда строго сказала ей: «Неси, Лушенька, знаешь, к той... барышне Вечереевой...» Келейница взяла записку Ветлугина, опять низко поклонилась игуменье и удалилась. Прошло несколько мгновений. Дрозд за окном то смолкал, то опять неистово щелкал, сквозь проволочные прутья клетки косясь на синеющую под горою даль. Измарагда шевелила четками... Ветлугину мгновения казались часами. «Покажут ли Аглае мое письмо, — думал он, — и допустят ли ее ко мне?»

Лушенька возвратилась. Отвесив на этот раз поклон и Ветлугину, она ему подала на подносе две записки, а сама стала поодаль, не глядя на него, но как бы думала: «Жаль мне тебя, сердечный, вот как жаль».

Ветлугин стал читать принесенные записки.

В одной был ответ Аглаи.

«Зачем вы не исполнили моей просьбы? — писала она. — Зачем вы меня смущаете? Еще раз и окончательно

повторяю вам, что я здесь не по принуждению, а по своей доброй воле. Я посвящаю себя молитве и прошу меня забыть навсегда. Аглая В.».

Другая записка была от Ульяны Андреевны.

«Признаюсь, — писала Вечереева, — я никогда не ожидала, чтобы сын доброго, почтенного и всеми нами уважаемого Льва Саввича позволил себе такой недостойный поступок. Неотлучно находясь при моей дочери, как ее друг и мать, я отношу ваше поведение к промаху молодости и прошу вас, милостивый государь, оставить в покое как этот, ни в чем перед вами не повинный дом молитвы и смирения, так равно и всех нас, — тем более что в эту минуту я сильно расстроена болезнью мужа и, возвратясь сюда, сама слегла в постель, а потому и лишена всякой возможности лично вам доказать всю непозволительность и легкомыслие вашей выходки. Готовая к услугам, уважающая вас — Иулияния Вечереева».

Сердце Ветлугина облилось кровью.

«Бедная, бедная Аглая!» — рассуждал он, сжимая в руке оба письма и сознавая, что через мгновение, едва он отсюда уйдет, между ним и Аглаей навсегда ляжет бездна.

Он обернулся с целью сказать на прощанье игуменье все, что накипело в его душе. Но ни игуменьи, ни келейницы Лушеньки в комнате уже не было. За дверью раздавался шепот. Были слышны сдержанные шаги.

На пороге, с ключами в руках, улыбаясь и кланяясь, появилась седая, с лицом ребенка и совсем глухая инокиня-старушка. Что ей ни говорил Ветлугин, она только трясла маленькой головкой, моргала бровями и, топчась на месте да разводя руками, ласково повторяла: «Ничего, соколик ты мой, как есть не слышу. Десять годов уже не слышу; оглохла еще в те-воси поры, как наши монастырские леса было загорелись...»

Ветлугин в изнеможении присел на стул.

— Не хочешь ли, сударик, в трапезу, с дороги закусить? — спрашивала сердобольная ключница. — У нас све-

жая севрюжина, грибочки, балычки, а не то лапшицы не хочешь ли молочной, медку?

— Выпустите вы меня, матушка, отсюда прочь; вот что мне нужно, — прокричал на ухо глухой старухе Ветлугин.

Ключница сначала озадачилась, но потом сильно обрадовалась, что поняла наконец нетерпеливые знаки гостя. Она провела его за ворота, указала ему каменную лестницу, просеченную вниз по горе, и, низко кланяясь, точно по заученному, проговорила: «Господа купцы, вы — наши отцы; мы вами сыты, не забывайте нас и на дальние дни».

XXIV

Сон

Становилось темно. У монастырского постоялого двора, по милости вчерашнего праздника, было немало народа. «Милунчикова успею навестить и завтра, — подумал Ветлугин, — надо спешить повидаться с Вечереевым. Что-то с ним, бедным?»

Он отыскал попутчика, уговорил его и благодаря сытой крестьянской лошаденке приехал к Ченшину часа через два. Но Кириллы Григорьича здесь уж не было. Ему к вечеру стало хуже, и доктор, живший у его друга, посоветовал немедленно везти его в город, куда он с Ченшиным, этим доктором и с Филатом и уехал.

«Ну, я его хоть там еще увижу», — подумал Ветлугин. Он переночевал в доме Ченшина, при помощи вечереевского приказчика добыл добрую тройку и уехал в город. «Старик болен, — рассуждал Ветлугин, — ему теперь не до меня. Спасти Аглаю может еще один человек — Милунчиков. Он ей дядя, и она его любит, верит ему. Навещу старика и сейчас обратно сюда, к Милунчикову».

По пути в каком-то селе, где была волость и где нужно было кормить нанятых лошадей, он познакомился со стано-

вым. Разговорились о том, о другом. Ветлугин передал ему и о случае в вечереевской семье.

Старичок становой был из отставных моряков, балагур и некогда щеголь, любивший и доныне при случае кутнуть и поволочиться. Он выслушал Ветлугина со вниманием, и даже слезы выступили на его глазах.

— Эх, — сказал он, — эх! Я знаю Вечереева, знаю и его жену. За нею я даже когда-то и ухаживал. Барынька была деликатная и обходительная. Дочурки, впрочем, ихней не знаю и не видел. Но только тут уж не поделаешь ничего...

— Почему же?

Становой крякнул в ус.

— А вот почему-с, — сказал он, расставляя пальцы, — эта баба-с, сказать, Измарагда, самая язвительная. Случится что в монастыре, и на порог не пустит. Иди, говорит, не иначе как по закону и с понятыми. А уж о поклоне каком и не думай... Самая прекратительная и недоступная гордячка. Уважения к нам нынче мало; все следователи забрали в свои руки. А работы не уменьшилось: везде поспевай по первоначальным дознаниям. Там — убийство, там — конокрадство и пожар, здесь — дуэль...

— Как? Даже и дуэль? — спросил Ветлугин.

— Что же вы удивляетесь? Не далее как вчера была дуэль возле тех мест, откуда вы теперь едете.

— Между кем?

— История скверная. Дрались... председатель уездной управы Милунчиков и один здешний помещик...

— Клочков? — спросил Ветлугин.

— Нет, не Клочков, а гусарский ремонтер Талицев, сын здешнего предводителя, коли знаете. Дело вышло из-за сплетни о брате Милунчикова, обучавшем детей сестры Клочкова.

«Вывернулся и тут, — подумал Ветлугин, — даже на дуэль за себя выставил другого...»

— Есть раненые? — спросил он.

— Ранен вызвавший на дуэль, — ответил становой, — и, как говорят, весьма тяжело...

— Кто? Талищев?

— Нет, Милунчиков.

— Где они дрались?

— В имении Милунчикова.

Ветлугин вспомнил выстрел, слышанный им накануне, при проезде мимо усадьбы Милунчикова. «И эта надежда спасти Аглаю ускользает!» — пронеслось в его мыслях.

— Не туда ли вы изволите ехать? — спросил он станового.

— Туда. А что?

— И я с вами бы... Я знаком с Милунчиковым.

— Извините меня. Кажется, это будет напрасно...

— Почему же?

— Да никого там не застанете, — ответил становой, — раненого увезли в город; а ранивший с повинной головой уехал в расположение своего полка, в другой уезд. Остаются секунданты.

— Кто они?

Смешно сказать: со стороны Талищева какой-то немец-учитель, а со стороны Милунчикова — гимназист старшего класса Коребякин.

Ветлугин простился со становым и уехал.

«Бедный Коребякин, — рассуждал он, — пропал его окончательный экзамен и вся его карьера. А Клочков? Даже в секунданты не пошел, а уступил эту честь немцу-учителю. Жаль Милунчикова! Нарвался-таки на кровавую развязку... И где же? У себя дома. Как-то обойдется ему эта дуэль?»

«Но Аглая, Аглая!» — схватывая себя за голову и чуть не задыхаясь от слез, повторял себе, под звон колокольчика, Ветлугин.

Он терялся в догадках и не мог себе простить отъезда к Клочкову, не мог понять, как случилась такая быстрая перемена с Аглаей.

Дело между тем произошло следующим образом.

Проводив Ветлугина, Аглая осыпала поцелуями Фросиньку и, сказав ей: «Иди теперь, иди, милочка, я останусь одна — дай мне надуматься!» — до позднего вечера бродила по саду, радостно перебирая в уме все странное и все неожиданное и дорогое, что произошло с нею за эти быстро мелькнувшие дни.

Ульяна Андреевна издали видела, как та ходила по дорожкам, садилась на скамьи, опять вставала и принималась ходить. Старуха недоумевала, что значило это состояние Аглаи. Настали сумерки. В доме все стихло. Узнав, что дочь прошла к себе в комнату, она также поднялась к ней наверх, подождала, пока Аглая разделась, прилегла на диване против ее кровати и проговорила с нею далеко за полночь. О многом они беседовали: о прошлом, о своих поездках, о некоторых знакомых. О монастыре старуха не упоминала.

«Сказать ли матери, обрадовать ли ее моим счастьем? — срывалось у Аглаи с языка. — Вот удивилась бы... не поверила бы!» — думала она, улыбающимися, счастливыми глазами вглядываясь в суровое и тощее, омраченное раздумьем лицо лежавшей перед нею матери.

— Я тебе почитаю Лествицу, — сказала Ульяна Андреевна, — хочешь?

— Читайте, родная, читайте, — сквозь золотые грезы, сладко свернувшись на постели, ответила Аглая.

Слушала она, однако, недолго. Сон начал ее одолевать и она не заметила, как под тихое чтение старухи заснула.

Потушив свечу и прислушиваясь к спавшей дочери, задремала и Ульяна Андреевна.

Был третий час ночи.

Аглая проснулась. Ей померещился какой-то шум. Она вскочила, села на кровати и стала вслушиваться. В комнате было тихо. Ульяна Андреевна также спала, склонясь на ручку дивана.

«Душно что-то, — подумала Аглая. Она встала, отворила окно, перевесилась с подоконника в сад и, жадно по-

тянув в себя свежего воздуха, прошептала: — Где же ты? Хоть бы приснился...»

И Ветлугин Аглае приснился.

...Где она?.. В ските у бабушки. Он обещал к ней прийти. Но как и когда? Она дрожит от страха. Что, как его увидят? Огни по кельям гаснут. Надвигается ночь. В окна светят звезды. Везде тишина. Но неужели он, безумный, войдет в ее горенку ночью? Она прислушивается. Нет, она этого не вынесет. Лучше бы он не приходил. А в комнате длинного, темного коридора, там, где уже не видно и ночных огней, раздаются чьи то знакомые легкие шаги. Она вскакивает, запирает на ключ дверь и гасит лампаду. Неужели он войдет и теперь?

...Шаги ближе и ближе. Кто-то стал у самой двери, тронул ручку замка. «Нет, он не войдет, — думает Аглая, — дверь замкнута на ключ». А он — и вот он... И что же это? Дверь без малейшего звука распахнулась. Кто-то незримый шагнул через порог и остановился. Это не Ветлугин. Его не видно, но Аглая чувствует, что он — власть имеющий. Благоухание смурны и ладана распространяется от его одежд. Он простер руки, ищет ее во мраке. Где от него спрятаться? Куда уйти? Аглая в страхе бросается с постели, хватается за подоконник. Поздно... Она слышит шелест его одежд. Что-то, будто крылья, движется за ним по воздуху... Горячее дыхание касается лица Аглаи. Голова ее кружится... Борьба с ним бессильна...

Страстные поцелуи осыпают ее руки, плечи.

Сон улетел.

Сидит Аглая, и сладко ей, и слезы ее душат. Да где же он? Куда скрылся? И кто это был? Ветлугин ли? И неужели он ей нынче больше не приснится?

Аглая увидала новый сон.

Грезится ей, что она стоит на краю отвесного утеса. У ее ног бушует море. Она ждет Ветлугина. Небо ясно, но волны пенятся, шумят и с ревом бросаются на берег. «Где он, где, и скоро ли возвратится?» — думает Аглая.

И видит она: к берегу по волне несется труп. Лицо его бледно. Глаза закрыты... Она вглядывается, — это Ветлугин. «Милый, милый!» — силится она крикнуть. Но голос ее замирает, оборвался. Она хочет сбежать к волнам и не может двинуться с места. Ноги ее не слушаются. «Ты погиб, и я жить не хочу! — вскрикивает, наконец, она. — Прощайте, люди, прощай, мир!» — Аглая бросается со скалы... Но у нее за спиной вырастают крылья, она взлетает в воздух и белой чайкой уносится по зыбким волнам...

— Мамочка, родная, проснитесь, да проснитесь же! — очнувшись, в ужасе звала свою мать Аглая.

— Что? Что тебе? Господь с тобой! — испуганно успокаивала ее Ульяна Андреевна.

— Сон... ах, какой мне привиделся сон! — блуждающими глазами вглядываясь в темноту, повторяла Аглая.

— Страшный или приятный?

— Сперва приятный, потом такой... такой, что я уж и не знаю...

— Что же за сон?

И в забытьи, почти еще в бреду, пересев на диван к матери, Аглая, недолго думая, передала ей все, что видела в ту ночь во сне.

Ужас объял Ульяну Андреевну, когда она среди отрывочных и несвязных слов Аглаи дважды услышала имя Ветлугина.

«Так вот что, — огненной струей пробежало в седой голове старухи, — так вот куда теперь ее мысли! А я-то присматривалась, гадала...»

Ульяна Андреевна встала, зажгла свечки, дала дочери напиться святой воды и опять села возле нее.

— Добрые сны, Аличка, от Бога, злые от дьявола, — сказала она, — вспомним же о Боге. Станем ему молиться, чтоб он простил и во всем помиловал бы.

— Ах, нет, нет! — шептала Аглая, обнаженными, жаркими руками страстно сжимая шею матери. — Не то... со-

всем вы не о том... Вы его не знаете... Позвольте мне, разрешите... Я люблю его... Благословите меня на счастье с ним...

«Медлить нечего, — раскидывала умом Ульяна Андреевна, тихо освобождаясь от объятий и поцелуев Аглаи, — пропущу это мгновение, тогда уж ничего не воротишь...»

Она скрыла бурю, вставшую в ее душе, покорила себя и до конца ласково и тихо выслушала тайну дочерниной любви, выведала весь ход ее встреч, сближения и объяснений с Ветлугиным.

Аглая кончила свою исповедь.

— Что же, родная, вы согласны?.. Благословляете нас? — спросила она.

Старуха прошлась по комнате, накинула на плечи Аглаи платок, упала на колени пред образом и, ломая руки, проговорила:

— Велика и неисповедима твоя милость, Господи. Ты ослепил меня. Ты же и открыл мне глаза...

Ну, Аглая, теперь слушай! — обратилась, подходя к дочери, старуха. — Я все теперь тебе должна открыть... Сон твой развязал мне руки... Грех, великий грех — жаловаться дочери на отца... Ну, да уж так тому, верно, быть. Слушай...

Ульяна Андреевна помолчала, собралась с духом и рассказала Аглае об отношениях Кириллы Григорьича к жене кузнеца Антропа. Она не скрыла своего негодования и ревности и своих мучений без конца.

Аглая слушала ее, устремляя немой, молящий взгляд на иконы и по временам вздрагивая. Смертный ужас хлынул в лицо Аглаи, когда мать кончила рассказ. Ульяна Андреевна прижала ее к своей груди. Горькие, жгучие слезы катились из глаз старухи.

— Ты молода еще, Аличка, — сказала она, — но теперь-то тебе и подумать о спасении. Далее будет видно. Всем, всем нам грозит такая же судьба.

— Да не все же люди на один лад, — ломая похолодевшие руки, восклицала Аглая, — за что всех осуждать? Я жить, мамочка, хочу, жить...

— Жить? — грозно отшатнулась старуха. — А что значит сон? Отвечай... В какую бездну ты готовишься упасть?

— Вы знаете, — возразила Аглая, — отец никогда не позволит мне пойти в монастырь...

— Отец? А знаешь ли, чему ты можешь подвергнуться, если... если послушаешь его?.. Ты станешь женой, будешь матерью... А знаешь ли ты, чем стала, по милости твоего отца, твоя мать?..

Ульяна Андреевна встала, выпрямилась. Глаза ее зажглись недобрым огнем. Она побледнела. Губы ее дрожали.

— Мамочка, молчите, ради Бога, молчите! — кинулась к ней, зажимая ей рот, Аглая. — Не гневайте Бога!

— Поздно, — сказала глухо Вечереева, — поздно! Я стала... я...

Ульяна Андреевна произнесла несколько несвязных, чуть слышных слов.

— Изба, изба? — в ужасе спросила Аглая. — Мамочка, неужели это правда?

— Хуже! — ответила старуха. — Хуже, хоть в этом... в избе... я не виновата...

— Что же, что? — хватая за руки мать, вскрикнула Аглая.

— Я, — проговорила старуха, — я — великая грешница! И в искупление своей вины, я обещала тебя Богу... Я... видела, — при мне тонуло дитя той женщины, — я стояла в кустах, на берегу... никого кругом не было... и я не помогла, когда оно утопало... — заключила шепотом свое признание старуха.

Аглая зашаталась и замертво упала к ногам матери.

«Мученица Фиваида, целомудрия ради убиенная, помоги ей! — твердила Ульяна Андреевна, приводя дочь в чувство

и не спуская глаз со старых икон, по которым уже скользили лучи загоревшейся зари.

Через час мать и дочь отослали вперед гостившую в Дубках обительскую казначею, наскоро уложились, велели запрягать и незадолго до полудня уехали в Краснокутский монастырь.

XXV

Возврат

Был теплый, тихий вечер, когда Ветлугин снова подъехал к воротам отца. Солнце еще не заходило.

Льва Саввича дома не застал, как и при первом свидании. Няня Власьевна встретила его, пригорюнившись и со вздохами. Она уже, очевидно, знала о его неудавшемся сватовстве.

— Ты, няня, еще здесь? — спросил Ветлугин. — А я думал, что ты уже оставила отца и торгуешь в лавочке на базаре.

— Как же! У тебя все торговать... Брошу я его на старости лет, особливо теперь. У него, сердечного, душа по тебе не на месте, и сам-то уж он не рад, что и посылал тебя в эдакие дела...

— Где же отец?

— Тут, батюшка ты мой, такая оказия подошла, что жалости подобно. Утром-то привезли больного-преболього этого Вечереева...

— Как, где он, где? Я сейчас к нему поеду.

— Не знаю, сокол. Сам-от, старой, придет, скажет.

— Но как же здоровье Вечереева? Говорил отец?

— Сперва Ченшин барин приехал, сказал, что у него удар, а после звали дохтуров, говорят — рехнулся, что ли.

— Куда же, скажи, отец теперь уехал?

— А приходил за ним толстый-претолстый такой, землемер он, что ли ча, шут его побери. Глянула я на него —

тумба-тумбой и с козлиной бородкой. От тебя адресную записку приносил. И оба они, с нашим-то, вдвоем поехали к другому, опять-таки больному... как бишь его? Тоже, сказывают, твой знакомый... и его также быдто привезли сюда к дохтурам... Застрелил его кто-то, что ли...

— К Милунчикову отправились?

— Ну, да, да... к эвтому самому и есть...

— Где же это, няня? Я съездил бы пока хоть туда.

— Опять-таки, милый, не знаю, не говорили. Не наше бабье дело, да очень уж и торопились.

— Ах, как жаль! Но кого звали из докторов?

Власьевна назвала.

— Ну, няня, так поезжай же хоть к кому-нибудь из этих докторов. Узнаешь там адрес Вечереева и Милунчикова и разыщи у них отца, да, кстати, я напишу записку... Будешь у Вечереева, узнай, коли он при памяти, то попроси прочитать.

— Пиши записку, — вздохнула Власьевна, — поеду... Эко горе-то на людей... Тот умом, горемычный, тронулся, а этого, как галку, ахвинцеры подстрелили... Не водись с ними! Я мимо ружжа иду, так от страху-то индо в пятки колет. А они стреляться! Давай записку, отвезу.

Ветлугин к Вечерееву написал следующее: «Если ваша болезнь не так тяжела, если вы в силах меня принять, не откажите мне в этом. Дайте мне до отъезда отсюда вылить душу перед отцом Аглаи Кирилловны. Дайте высказать вам благодарность за ваше гостеприимство и за ласки ко мне и к моему отцу».

Отослав Власьевну, Антон Львович взобрался на вышку. Сколько событий совершилось с той поры, как он сидел здесь на крыльце! Он стал глядеть на город, на его заречье и на окрестные поля.

Заря догорала. Голубые сумерки легким туманом застилали главы городского собора, ряд освещенных лучами заката домов, церкви предместий, ближние огороды и сады и вершины леса, сплошным кряжем уходившего за синеющие из-

дали равнины и холмы, туда, где еще так недавно был Ветлугин.

Все, что пережил он давно и что случилось в эти быстро мелькнувшие дни, воскресло и встало теперь перед его глазами.

Он вспомнил такой же вечер. То было давно, а именно двенадцать лет назад. В горьком раздумье, убитый тоской стоял он с отцом на городском кладбище. Наутро он оставлял родину и пришел проститься с могилой матери.

Помнил Ветлугин, как и где он в ту пору стоял. Помнил он гимназическую поношенную курточку, тетрадь дневника и каких-то стихотворений в кармане, подступившие к горлу слезы, мысль о чужбине, тени заката и сильно подбитые сапоги... Одной ногой он стоял на дорожке, а другою, как живо он помнил теперь, потрагивал траву на могиле матери. Ласточки реяли. Чирикали воробьи. Отец стоял возле. «Антоша, — сказал он тогда, — не забудь этой минуты... Ты вырастешь, станешь человеком... Меня, вероятно, уже не будет на свете. Приходи сюда почаще... Ее, матери твоей, нет в живых... Она не дождалась тебя видеть большим. Но она так тебя любила». Отец закрыл руками лицо и отошел... Он плакал.

А Антон Львович продолжал смотреть на могилу и думал: вот именно здесь, под этой травой, лежит она; и не увидит он более никогда ее кротких, ласковых глаз, не услышит ее нежного голоса. И не хотелось ему тогда верить, что его мать умерла, хотя он ясно помнил ее тихую кончину и весь печальный, надрывавший душу похоронный обряд. Он прислушивался в то время, не вздохнет ли она под землей и не скажет ли: «Антонушка, возьми меня отсюда; мне жить хочется, любоваться тобой...»

Мысли роились. Ветлугин глядел с балкона. Ему грезилась иная темная могила и в ней иное дорогое существо...

«А бедняк Милунчиков? — спрашивал он себя. — Будет ли он спасен или уж мучается в последней, предсмертной борьбе?»

Снизу на вышку кто-то взошел, сделал по комнате несколько шагов и остановился.

— Кто тут? — спросил Антон Львович, вглядываясь в темноту.

Стоявший за дверью ступил на крыльцо.

Отец и сын бросились в объятия друг другу.

— Что, Антонушка, оборвалось? — сказал Лев Саввич. — Что делать! Неудача мне и тебе...

Они сели. Антон Львович начал рассказывать. Лев Саввич его остановил.

— Все знаю, мой друг, все, — сказал он, — сперва этот помещик Ченшин, что привез Вечереева, кое-что мне сообщил, да вечереевский камердинер; потом землемер Фокин.

— А сам Вечереев? — спросил Антон Львович.

— Никого не узнает. Бредит, как в горячке, и, кажется, от нервного удара, действительно, даже тронулся умом... Вот катастрофа, вот жалость!.. Ну, а еще скажи ты мне: Аглая-то, Аглая!.. Ах, бедная, бедная! Неужели?.. Еще до твоего письма я слышал о ней. Ее так хвалили. А твоя встреча! Нужно же было тебе ехать. И все я виноват, я...

— Полноте, папенька, вы-то здесь при чем?

— Ну, не говори, не говори. И это правда, скажи? В самом деле она осталась в монастыре? В городе только и разговора. Вот времена... Каковы явления в обществе, каков поворот!.. Милый ты мой, извини, но, если тебе не очень в тягость, облегчи душу, расскажи, сделай милость, как все это случилось?..

Антон Львович с остановками и отступлениями в подробности передал отцу весь ход своего знакомства с Аглаей, свое сближение с ней, окончательное объяснение и свой отъезд.

— Но как же, как она решилась изменить тебе, нарушить слово и остаться в монастыре?

— Поздно, видно, встретились мы, — ответил Антон Львович, — ранее было надо. Не судьба.

— А как находишь мать? — спросил, погодя, старик. — Она всегда мне казалась какою-то странною. Что-то тайное, необъяснимое проглядывало в ней.

— Много тайного, — сказал и замолчал Антон Львович.

— Ну, а игуменья, игуменья? — спросил отец. — Ты, говоришь, пытался видеться с Аглаей, был в монастыре. Что за человек эта благоверная Измарагда?

— Особа, из рук которой Аглае, уж, разумеется, не вырваться никогда.

— Бой-баба! Антонушка? Бой? Говорят, едва грамоте знает, а какие обделывает дела...

— Сила, — ответил Антон Львович, — и если там достаточно таких сил, борьба с ними нелегка.

— Еще бы, — вздохнул отец, — одних богатств сколько у них... Земли, воды, леса, постоялые дворы, а у иных даже лавки, гостиницы... Могилами на кладбищах торгуют. Как не быть силе... Дай-ка их миллионы на науку, в помощь народу, не сидел бы он в кабаках.

— Что Милунчиков? — спросил, погодя, Антон Львович. — Вот еще кого мне жаль. Что с ним, и есть ли надежда на его выздоровление?

— Ох, и не спрашивай. Я прямо от него. Ранен он в правую грудь и, вообрази, говорят, смертельно... По крайней мере таково мнение здешних медицинских тузов. Вот тебе и дуэли, и суд чести. Вызвал негодяя, думал его проучить; а выходит, что гибнешь сам...

— Не поехать ли нам к нему? — спросил Антон Львович.

— Что же, я охотно. Он с Фокиным в «Московской» гостинице, а Вечереева поместили в «Петербургской».

На дворе между тем окончательно стемнело. По ближним улицам и по заречью засветились ряды огней. Лев Саввич, поглядывая на сына, молчал. Молчал и Антон Львович.

Многое проносилось в голове старика: горе сына, собственные несбывшиеся надежды. Он повторял про себя:

«Кто мог думать, кто мог ожидать: Клочков — этот делец, эта бойкая неугомонная природа, оказался таким недостойным, таким темным человеком. Фокин теперь все мне рассказал о нем. Прав был сын, что не доверял ему, опасался его. Надо расспросить Антонушку... да уж расспрашивать ли? Треклятые полчища!.. Нет с ними общего, нет примирения! Не жить овце с волком, не плавать плотве со щукою...»

Антон Львович встал. Облокотясь о перила крыльца, он взглянул вниз. Темное пространство усеянного огоньками города затихало у его ног. Так затихло прошлое Антона Львовича; так мелькнет и затихнет неясное, подступающее будущее. Чье-то стихотворение о тихом, светлом ангеле с белыми крыльями и золотыми кудрями, слетающем в душу страдальцев, вспомнилось Ветлугину. Ангел улетел. Душа осиротела.

И было теперь опять два Антона Львовича: один стоял здесь, на крыльце отцовской вышки; другой витал далеко, там, где — на вершине зеленой горы — ограда и церковь, а возле церкви, в глухой келье, Аглая...

Увидит ли он ее когда-нибудь? Или все улетело, все простилось и умерло навсегда?

За спиной Антона Львовича снова послышались шаги. Кто-то опять и еще тише взошел наверх по лестнице, приблизился к порогу крыльца и остановился.

— Это ты, няня? — спросил Антон Львович.

— Я.

— Была у Милунчикова?

— Не нашла. Чуть собаки хвоста на площади не оторвали.

— А у Вечереева?

— Этого разыскала.

— Принесла ответ?

— Принесла... на словах...

— Самого Вечереева видела? Что он, скажи, лучше ли ему?

— Как не самого! Жди... Племянничек подъехал...

— Какой племянничек?

— А наш-то обалдуй, Петр Иваныч Клочков, чтоб ему, лешему, счастья не было ни на этом, ни на том свете. Я ему, треанафемской, иродовой душе, и подарки его отнесу назад. Знала бы и не ходила бы к нему; да наткнулась на него в гостинице, возле вечереевского номера. Он говорит: «Подай мне письмо». «С какой, — говорю, — стати? Не к вам...» А он, аспид, вырвал, распечатал твою записку, прочитал, да и говорит при их-то людях: скажи, говорит, тетенька, молодому-то своему барину, да и старому тоже скажи, чтоб мимо меня теперь больше к Кирилле Григорьичу, к Вечерееву, не обращались... Его жена, говорит, и дочка перебрались в монастырь, так предводитель, говорит, по эштахвете вызвал меня и упросил взять дядюшку на мое попечение. Может статься, и опекуном его буду... Да я, говорит, притом кое-что узнал — от игуменьи письмо получил. И в колодец советую не плевать, как молодой-то твой у меня, в Клочковке, плюнул; придется напиться, да еще, может, как! Видели мы, говорит, таких... Скажи ему, прибавил дьявол, чтоб готовил денежки по вексельку за отца... у того, говорит, скоро ничего не будет, продадут его дом и двор, со всем его курятником и голубятником, а он, говорит, расписался мне теперь за отца.

Последние слова Власьевна проговорила через силу, отвернулась, плюнула и, не выдержав, расплакалась.

— Как, расписался за меня? — спросил, вспыхнув, Лев Саввич.

Сын объяснил.

— Ах он, негодяй, ах, наглец! — вскрикнул старик. — Да я на него... да он у меня... Как он смеет! Слышите ли? Срок векселю еще к Покрову; да и дела у нас тоже совместные... Сколько общего товару... Примусь-ка считать, так, может, еще и на него насчитаю. А он впутал, уговорил...

— Полноте, папенька, оставьте его в покое. Ваши дела с Клочковым я разобрал и вас в обиду ему не дам. Хотя вы, извините, и банкрот, — но еще не унывайте. Я не еду отсюда до тех пор, пока не избавлю вас как от товарищества Клочкова вообще, так и от его угроз в особенности. Обращусь к купечеству. Моих сибирских хозяев, чай, здесь знают. Нужно будет, и по телеграфу с Сибирью спишемся. Словом, будьте спокойны. Мы с няней снимем вывеску с крыльца; а вы, куда следует, немедленно заявите о прекращении вашего агентства. Живите, папенька, по-прежнему, с старыми вашими друзьями, с книгами, с садом. А устроятся не нынче завтра мои дела, тогда мы и без вашего агентства откроем задуманную вами школу. Так ли? Идет?

— Идет, — тихо вздохнул старик.

— А я и кахетинских кур опять присмотрела, — радостно воскликнула Власьевна, — троицкая дьяконица дешево продает. Наплодилось столько, что весь огород у них выели. И самые настоящие — перо к перу, — желтые, есть и белые; а ноги тебе, как у гренадера...

— Ну и отлично, няня, — заключил Антон Львович, — а теперь, пойдемте, проводите меня к Милунчикову...

— Мы пешком, Антонушка, пешком. Тут недалеко, и пройтись не мешает.

— С удовольствием.

Сперва улицей, потом переулками отец с сыном прошли на площадь, где была «Московская» гостиница и где в двух смежных комнатах было помещение Милунчикова и Фокина.

Перед одной из комнат, в узеньком, полуосвещенном коридоре, Ветлугиных встретил совершенно растерявшийся Фокин.

Без галстука и в расстегнутом жилете, он вполголоса отдавал спешные приказания заспанному гостиничному слуге и сперва не заметил гостей. Лицо его было измучено тревогой и бессонницей, глаза красны, волосы всклочены. В руке он держал записку. «На извозчика скорее, за доктором», — сказал он, понукая слугу.

XXVI

У пристани

— Какие события! — воскликнул, завидя Антона Львовича и его отца, Фокин. — Кто бы мог ожидать? Я думал о своем деле начать хлопоты, а пришлось... Такой отличный человек, в цвете деятельности, надежда общества, и вдруг...

— Оно, бо́льшею частью, с подобными людьми так-то вдруг! — заметил со вздохом Лев Саввич. — И из-за чего он себя погубил?.. Дела общества плохи; но они еще не дошли до такого трагического диапазона, чтоб прибегать к этому утонченному виду самоубийства. Надо было бы терпеть, ждать... Жаль его, жаль...

— Ну, что же теперь с ним? — спросил Антон Львович. — Есть надежда?

— Вот войдите, увидите сами, — сказал, глядя куда-то в угол, Фокин. — Тоскует он; все это время метался, стонал... Боль, очевидно, адская... Сильная жажда, изредка бред... Все говорит: воздуху мало... А какое мало! Пуля, по словам доктора, пробила ребро и, зацепив верхушку правого легкого, остановилась в груди... Я ему настежь раскрыл все окна... Говорит, напрасно увезли его из деревни, — там бы свежее... Я отправил нарочного к его брату-студенту: он тут, у одного учителя-приятеля, в тридцати верстах. А этого опять послал за доктором... Что-то уж очень подозрительно стал он покоен и даже будто храбрее... Это либо к поправлению, либо скоро капут. Вас же, Антон Львович, он раза три сегодня вспоминал... О какой-то все вашей статье толковал в бреду...

— Ну, а дело ваше... с обидчиками? Были у следователя?

— Ну их, я рад, что и так от них отделался. До того ли теперь!

Фокин махнул рукой. Он на цыпочках провел гостей сперва в свой номер, потом отворил дверь в комнату Милунчикова.

Первое впечатление при взгляде на эту комнату и на самого больного подало посетителям некоторую надежду. Ни запаха лекарств, ни вида бинтов, корпии и вообще каких-либо грозных хирургических препаратов не было здесь. Гостиница этою стороною выходила в смежный купеческий сад. В окна комнаты врывался свежий, напоенный ночным запахом трав и дерев воздух.

Милунчиков лежал на кровати, облокотясь левым боком о подушки. Правый бок, прикрытый чистой простыней, страшно вздувался от наложенного на него пузыря со льдом. Маленькое лицо Милунчикова стало как бы еще меньше и было мертвенно-бледно. Глаза горели сухим, лихорадочным блеском. Грудь дышала порывисто и тяжело. Нос заострился и потемнел.

— У пристани, у пристани! — надтреснутым, звенящим голосом проговорил Милунчиков, силясь улыбнуться навстречу входивших гостей. — Жизнь ставит точку, пунктум... Вот все мне пророчили, что умру от чахотки. А меня, — добавил он, тревожно вглядываясь в лица посетителей, — подцепила глупая пуля гусарского ремонтера... и вся-то она, представьте, с горошину величиной, — засела, проклятая, в самых ребрах... Кто бы мог думать, Антон Львович, а? А бедняжка-то, племянница моя Аглая?.. Едучи сюда, я о ней узнал... Она умерла нравственно, я умираю физически...

— Полноте думать о смерти, — перебил его, стараясь скрыть и собственное смущение, Антон Львович, — я полагал, что вам хуже, а вы молодцом. Крепитесь. Да и что падать духом? Если б вы были ранены в грудь навылет, дело другое; а ваша рана положительно не опасна... Люди с пулей в груди живут по десяткам лет...

— Я и сам так думаю, — ободрев и устремляя ласковый взгляд на Фокина, сказал Милунчиков. — Вот благодаря моему спасителю пулю на днях вынут. Теперь еще нельзя. Придется, разумеется, потерпеть. Ну, да что ж делать... Хочу, господа, без хлороформа... Теперь зато пока

жуирую... Ах, вас вспомнил сегодня, Антон Львович. Представьте, нет худа без добра...

— Не говорите, Николай Ильич, так много: вам вредно! — остановил его Фокин.

— Нет, позвольте, не перебивайте, надо досказать, — закашливаясь странным, звенящим кашлем, возразил Милунчиков. — Хочу Антону Львовичу сообщить одну весьма приятную новость, а при этом скажу и одни стихи...

— Поэзия! Где она?.. Аглая — вот поэзия, не правда ли? — шепнул Милунчиков, притягивая к себе за руку Ветлугина. — Знаете что? Посватайтесь, вы ее, может, спасете. Впрочем, извините, говорю, кажется, в бреду, жаль ее, вот как жаль...

Милунчиков, морщась, но удерживаясь от стонов, приподнялся на подушке, закрыл на мгновение от боли глаза, помолчал и, улыбаясь, проговорил вслух:

— Да, Антон Львович, поздравьте... Губернская управа приняла наконец на днях мои проекты как об открытии новых школ в здешнем уезде, так и об издании самостоятельного местного о́ргана нашего земства... Теперь-то закипят у нас вопросы... Не в Петербурге ум, в провинциях...

Милунчиков опять помолчал.

— Я как узнал об этом сегодня от доктора, — продолжал он, — то все думаю, думаю, — земство так и стоит у меня перед глазами: споры, борьба с враждебными элементами, с собственною ленью и равнодушием. Ведь земство, господа, — единственная надежда общества...

— Полноте, полноте, не говорите так долго! — остановил его Ветлугин-отец.

— Нет, погодите, — перебил, замахав рукой, Милунчиков, — едва оправлюсь, возьму отпуск и напишу в деревне для первой же книжки нашего издания статью, по мысли родственную с вашей... о будущем... Да!.. нельзя не радоваться... Как это выразился поэт? Помните?

Милунчиков снова закрыл глаза. Он еще более побледнел, помолчал и, задыхаясь, тихо проговорил:

— Бессмертный Пушкин... Вот наш вожак. Вот гражданин... Рядом с отчаянием у него всегда надежда. Помните его стихи из не вполне изданной девятой главы Евгения Онегина. Как, бишь, это?.. Да, вспомнил:

На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал...

Он надеялся, верил, что и девятый, грозный вал не всегда топит утлые житейские корабли...

С последними словами Милунчиков окончательно не выдержал, обессилел, покачнулся и упал спиной на подушки. Глаза его полузакрылись. Щеки подернулись синевой. Из груди продолжал вылетать резкий, как бы обо что-то цеплявшийся и обрывавшийся свист.

Через день Милунчикову стало хуже. Через два он уже был в непрерывном бреду. Ветлугины навещали его по несколько раз в день. Зайдя к нему как-то вечером, они его застали в лучшем состоянии. Фокин от усталости и тревоги не походил на себя. Больному нужно было переменить повязку. Его приподняли, он хотел что-то сказать, склонился и, бледный, с померкшими глазами, упал на руки Ветлугиных.

В соседней комнате раздались шаги.

— Что? — тихо спросил вошедший доктор.

— Обморок, — ответил Фокин.

Доктор нагнулся к кровати. У него были редкие ровные и необыкновенной белизны зубы, круглая лысинка и щегольские светло-русые баки. За ним вошел фельдшер. Удаляясь в соседнюю комнату, Антон Львович слышал, как Милунчикова приводили в чувство, как он опять заговорил и как доктор, прописав ему лекарство и сдавая его на ночь фельдшеру, на вопрос больного: скоро ли операция и буду ли я жив? — ответил: «Операцию можно завтра: после нее вам окончательно будет лучше...»

— Ну что, доктор, он и в самом деле может еще выздороветь? — спросил Антон Львович медика, выходя с ним и с Фокиным в коридор. Ветлугин не хотел помириться с

мыслью, что он в Милунчикове потеряет последнюю надежду на спасение Аглаи.

— Если у него есть отец, мать, сестры или братья, — сказал с расстановкой доктор, тонкими, в перстнях пальцами расчесывая шелковистые бакенбарды, — то я на эту ночь посоветовал бы посадить у его изголовья кого-нибудь из сердечно любимых им его близких... Остальным же, господа, советую лучше отсюда уйти...

— Почему? — несмело спросил подошедший Лев Саввич. — Мы бы возле него посидели, помогли бы ему.

— Помощи ему не нужно... Не мешайте ему... Пусть остается один, со своими надеждами на жизнь... Нам более нет тут дела... Мы... в конце нашей латыни. Она здесь уже ни при чем.

— Вы думаете? — испуганно спросил Лев Саввич.

— Он завтра к вечеру или, много, к ночи умрет... Агония же начнется, вероятно, около полудня. Его задушит экссуда́т, отек легкого... В таких случаях это скоро... чик, и конец...

Доктор слегка поклонился, сурово принял от Фокина что-то в бумажке, сел в новенькие щегольские дрожки, нахмурился и, выпрямившись как шест, уехал.

— Погиб! — прошептал Лев Саввич.

— А, врет он! — сердито сказал Антон Львович. — Точно всезнающий! Медицина ошиблась, да еще как!

Прощаясь с Фокиным, Ветлугины взяли с него слово известить их, если с больным произойдет какая-либо перемена к худшему, и также ушли.

— Как мне его жаль, как жаль! — повторял, идя обратно с отцом, Антон Львович. — Да я, кажется, жизнь за него отдал бы... Сколько искренности, беззаветного увлечения. Кажется, дела кругом вот как плохи, а он умирает, надеясь и веря... Даже смешно...

Льву Саввичу показалось, что сын, говоря это, утирает слезы.

Ветлугины не сразу воротились домой. Они, сами того не замечая, прошли в ближайшее предместье, взобрались,

уже почти за городом, на обрывистый берег реки и, беседуя, просидели там, пока начался рассвет.

— Не верю я в будущее общества, — сказал, вставая, отец. — Дуэль Милунчикова что? Явление исключительное... Страшен повсеместный застой, страшно равнодушие всех к своим делам.

Антон Львович молчал. Светлые, чистые образы Аглаи и Милунчикова не отходили от его глаз.

Еще сумрачными, полными дремоты улицами Ветлугины пошли домой. Они не переставали говорить о Вечерееве и его дочери, о Милунчикове и о тех, кто выигрывал от их общего горя.

— Да неужели же, — сказал Лев Саввич, — в самом деле на весь этот сильный мир негодяев, невежд и глупцов не явится кары по заслугам? Густая, ух какая густая тьма еще кругом. И где, спрашиваю я тебя, спасение от общего зла? Неужели мы так и не дождемся надежной пристани?

— А зачем нам пристань? — останавливаясь у своего двора, с сердцем возразил Антон Львович. — Рано нам еще заботиться о пристани... Мы — общество юное. Нам еще думать не о покое. Вон, говорят, у нас четыреста столичных и провинциальных журналов и газет; но зато и пятьсот монастырей. Видно, нашей ладье еще немало носиться по бурным житейским волнам...

— По волнам-то по волнам, — сказал, переступая порог калитки, Лев Саввич, — только не все мореходы возвращаются оттуда, куда пошли. Вот и Милунчиков сказал нам полные надежды стихи о девятом вале... А старые моряки говорят, что, на кого набежит этот роковой, грозный вал, тому несдобровать. Захлестнет он и потопит всякого... И выбрал же Милунчиков какие стихи!.. Даже и Пушкин, как нарочно, не кончил именно этой самой девятой главы, которую в шутку сравнил с гибельной для мореходов, но будто бы не для него роковою волной.

— Да... как кому! — в раздумье, как бы про себя, заметил Антон Львович. — Иной раз человек, кажется, вот-вот окончательно погиб. А глядишь, его опять вынесла эта же грозная пучина на радостный берег...

У него еще роились кое-какие надежды. Он уповал на выздоровление Милунчикова, а с ним и на перемену в судьбе Аглаи.

Отец с сомнением покачал головой. Они подошли к крыльцу.

Здесь, прикорнув у ступеней, ожидала их Власьевна.

— Ты, няня, уже встала? — спросил Антон Львович. — Не спишь?

— И всю ноченьку, друг ты мой, глаз не смыкала... Вот тебе записка...

Власьевна утирала слезы.

— От кого? — спросил Антон Львович.

— Этот-то толстый, Фокин, что ли, сперва сам на извозчике приезжал, а не застав вас, прислал это письмо.

— Что же, видно, Милунчикову хуже? — спросили в один голос сын и отец.

— Читайте вот, я и свечу зажгу, — сказала Власьевна, — лампадку в спальне давно засветила... сказывают, ему плохо...

Антон Львович вслух прочел следующие строки Фокина: «Доктор ошибся... Агония у нашего бедного друга началась ранее, чем он ожидал. Он уже в беспамятстве...»

— Ну, Антоша, ты — человек молодой, ложись спать, — сказал, опять сходя с крыльца, Лев Саввич, — а я — старик... пойду взгляну на Милунчикова, закрою ему глаза...

— Нет, папенька, пойдемте вместе... Мне дорого принять его последний вздох. Да, наконец...

Антон Львович не договорил.

Ветлугины вышли снова на улицу, разбудили спавшего вблизи извозчика, доехали до гостиницы и робко вступили в коридор.

Здесь, сверх ожидания, все спало и было спокойно. Только из крайней двери направо раздавался какой-то странный, гудящий и звенящий звук, точно там проснулся ретивый и неугомонный мастеровой, слесарь или токарь, — сел он за станок и уже завел свою далеко слышную и надоедающую мирным соседям шестерню.

— Не ошиблись ли мы комнатой? — подходя к этой двери, сказал Лев Саввич...

Но они не ошиблись. Их на пороге той комнаты встретили Фокин и фельдшер.

— Что у вас... там, за дверью? — робко спросил старик, испуганными, растерянными глазами указывая налево.

Фокин бережно отворил эту дверь.

Комната Милунчикова приняла несколько другой вид. Поперек ее теперь помещалась створчатая, обитая зеленым потемнелым коленкором ширма. По сю сторону ширмы перед круглым столиком стоял в старенькой рясе и со свечой в руке, негромко читая отходную, худенький священник. Лев Саввич нагнулся, поглядел в щелку ширмы и дрожащею рукою привлек к ней сына.

— К пристани, к пристани идет! — зашептал, всхлипнув, старик. — Скоро счастливее всех нас будет...

Антон Львович также приник к ширме. За нею, вытянувшись во весь рост и со сложенными на груди руками, неподвижно лежал на кровати Милунчиков. Он действительно подходил к пристани: бредил в последней агонии.

Ему грезилась некая обширная храмина, ораторы на трибуне, речи о благе страны, рукоплескания... Грудь его вздымалась судорожно и высоко. Нечеловеческие, гудящие и свистящие звуки, как от расшатанной, сорвавшейся с оси шестерни, вылетали из этой груди. Было видно, какую борьбу за жизнь выдерживали эти еще недавно живые силы.

— Если это — смерть, — пожимая руку сыну, сказал бледный как полотно Лев Саввич, — то могу одно заметить, что это — тяжелая, мрачная история...

На похороны Милунчикова Антон Львович не пошел. В день этих похорон он поднялся на вышку, лег ничком на постель и так, не раздеваясь, пролежал более суток.

— Что с тобою, Антонушка, друг мой, — спросил, навестив его, Лев Саввич. Сын ничего не ответить. Старик несколько раз после того опять поднимался на вышку, стоял на пороге комнаты сына, прислушивался, не стонет ли, не вздыхает ли он, качал головой и уходил.

Сын лег одним человеком, встал другим. Лицо его стало бледно, осунулось. Глаза были сухи. Но он не жаловался ни на что. Встал и принялся за дела. Снесся с хозяевами, посещал купцов, биржу.

Вывеска с крыльца была снята и спрятана на чердак; картонки и касса отосланы знакомому нотариусу. Рассыльный рассчитан. Власьевна наняла поденщицу и с нею вымыла щелоком не только полы, окна и двери в доме, но и оба крыльца. А когда все было приведено в прежний порядок, достала святой воды и обрызгала ею все комнаты. Лев Саввич велел затопить печь в кабинете и тайком от сына бросил в нее кучу книг, которые было завел: туда попали руководство к промышленным предприятиям и к высшей коммерции, вексельный устав и другие. Портреты Ротшильда и Стефенсона также были брошены в огонь.

Через две недели после похорон Милунчикова Антон Львович собрался, наконец, в путь и послал за почтовыми лошадьми. Вечереев, которого он в это время не раз навещал, по-прежнему его не узнавал. Доктора нашли Кириллу Григорьича безнадежным. Аглая, по слухам, также заболела.

— Куда же ты теперь, Антонушка? — спросил, стараясь казаться бодрым, Лев Саввич. — Опять умчишься далеко!..

— Я устроил, папенька, ваши дела, перевел и остальные ваши обязательства на себя, — ответил Антон Львович, — теперь вам остается начать вашу прежнюю беззаботную жизнь. Не печальтесь. Я предчувствовал, что ваши затеи с агентством — случайное, навеянное другими настроение, и я от души радуюсь тому, что вы от него отказались...

Сын обнял и поцеловал отца.

— Но куда же ты теперь, куда? — спросил опять отец.

— Я должен немедленно заняться делами моих хозяев-сибиряков. Вы уже знаете, что с ними в мое отсутствие приключилась немалая беда: московские первостатейные купцы, от имени которых они вели азиатскую торговлю, — получили от них последние товары и вдруг прекратили платежи... Дело обыкновенное, заурядное... Надо, видно, приниматься за прежние занятия юстицией и начинать в защиту хозяев процесс.

— Что же, помоги тебе судьба.

Перед выездом от отца Антон Львович отправил в Москву, к Столешникову, следующее письмо:

«Благодарю тебя, любезный Аввакум, за указание нового места твоего жительства. Это пригодилось мне скорее, чем я ожидал. После столь долгой разлуки с тобой в твое жилище в Москве, вероятно, вскоре за сим явится и сам писавший эти строки. Ты во многом еще идеалист, но касательно меня, кажется, угадал... Между нами и теми, кто в настоящее время не с нами, кто на той, более сильной теперь стороне, примирение действительно, по-видимому, невозможно. Меня подхватила роковая волна... Куда она меня унесет, не знаю. Но не будем унывать и пойдем навстречу ожидающей нас и наших друзей борьбе... Пока еду в Сибирь, а там, через месяц, через два, — я у тебя. Твой А. Ветлугин».

К отцу Ветлугин, месяц назад, приехал рано утром. Выехал он от него теперь поздно вечером. Власьевна плакала навзрыд. Она действительно отнесла Клочкову обратно его подарки — как кофту, так и часы с кукушкой.

Клочков, однако же, не унывал.

В благородном клубе в тот день был по подписке обед. Проезжая мимо клуба, Ветлугин на его убранном цветами балконе увидел оживленное общество. Среди нескольких гу-

бернских тузов, во фраке, в белом галстуке и с сигарой в руке, стоял Клочков. Он, очевидно, был в отличном настроении духа, о чем-то ораторствовал, размахивал руками. Тузы глубокомысленно его слушали. «Не стесняется и во всем верен себе!» — подумал, глядя на него, Ветлугин.

В нескольких верстах за городом Ветлугина захватила ночь.

Теплый воздух спящих полей был неподвижен. Месяц в эти ночи уже вовсе не всходил. Небо зато мерцало тысячами звезд.

«Аглая... — думал Ветлугин. — Ее отец сказал, что этим же именем называется одна из звезд между Юпитером и Марсом и что путь ее совершается вокруг солнца в четыре года и во сколько-то дней...»

Ветлугин невольно поднял глаза к небу и стал на нем чего-то искать.

Тележка быстро катилась по мягкой столбовой дороге. Звезды тихо мерцали в безоблачной вышине.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В СВЕТЕ

XXVII

В Москве

Прошло более трех лет. Было начало осени 1871 года.

Погода стояла теплая и светлая. К небольшому двухэтажному домику на Никитском бульваре в Москве, едва стало смеркаться, подошел, с портфелем под мышкой, озабоченный человек. Он дернул за звонок, спросил слугу, не заезжал ли кто-нибудь без него, и вошел в дверь, на которой была прибита медная дощечка с надписью: «Ходатай по делам». Поднявшись на крыльцо, этот господин прошел в небольшой, уютный кабинет, бросил портфель на этажерку, взял с рабочего стола пачку нераспечатанных писем, подошел к окну, сел в кресло и задумался. «Одно и то же, — размышлял он, — старая вечная песня... Тех грабят чужие, эти жалуются на своих; те ищут потерянного, эти — новой прибыли; в том месте требуют приданого, в этом — развода; тех обидели, эти сами обижают... Труда немало. А время бежит и бежит...»

Человек, рассуждавший таким образом, был Антон Львович Ветлугин. Но как он изменился: его сухое и строгое лицо стало еще суше и строже. Седина пробивалась в бороде и волосах. Глаза были так же светлы, но в них отражалась преждевременная усталость. Руки были бледны и худы, движения угловаты.

Он прочел некоторые из писем и, не распечатывая остальных, просидел в кресле до поры, пока на дворе окончательно стемнело. Фонарей на улице еще не зажигали. Езды почти не было слышно. Комнаты мало-помалу утонули в потемках и тишине. Из маленькой приемной со старою мебелью, потертым ковром и кучами газет и книг по окнам и столам слышался мерный стук часового маятника. Одно из окон кабинета, уставленного книжными шкафами, этажерками и картонками с делами, выходило в небольшой сад. Над вершинами стемневших дерев и над крышей соседнего дома еще мерцала бледная полоска зари. Скоро и она погасла.

«Пора зажигать лампу, пора за работу! — подумал, решившись встать, Ветлугин. — Надо приготовить дело к завтрашней защите; надо справиться с судебным уставом; а сколько писем писать».

Но лампа не зажигалась, судебный устав не раскрывался, рука не бралась за перо. Ветлугин сидел, глядел на угол рабочего стола, прислушивался к стуку маятника в гостиной, к шагам прохожих за окном и размышлял... Где были его мысли? И какими судьбами он очутился на жительстве в Москве?

Расставшись три года назад с отцом, Ветлугин возвратился за Урал. Туда его звали дела хозяев. А эти дела в то время приняли весьма дурной оборот. Первостатейные московские купцы, на деньги которых хозяева Ветлугина вели торговлю, в том году совершенно неожиданно прекратили свои платежи. Стала носиться молва, что это банкротство, грозившее окончательным разорением нескольким второстепенным торговым домам, было умышленное.

Ветлугин, с доверенностью от хозяев, уехал в Москву и повел переговоры с их компаньонами. Но на первых же порах он убедился, что мировая невозможна, и решился начать формальный процесс. Он много вытерпел с этим процессом: не разгибая спины, просидел несколько месяцев над подбором необходимых бумаг и изучением подходящих законов; советовался с опытными юристами, писал и подавал прошения, разъяснения и с утра до вечера ездил по старым и

новым присутственным местам. Весь этот труд Ветлугин нес, живя в тесной конуре отдаленного подворья, и зачастую нуждался в рубле.

Начав иск против московских тузов, Ветлугин наткнулся на целый ряд таких же точно процессов. Это дело тянулось около двух лет и кончилось победой для Ветлугина. Он выиграл его во всех инстанциях, вызвал к расчету с противниками своих хозяев, но ехать с ними обратно за Урал отказался.

— Я, господа, ваш слуга по-прежнему, — сказал он, — но Москвы не оставлю. Ко мне стали обращаться другие, и мне удалось им пособить так же, как и вам. Дел теперь у меня, сверх ожидания, столько, что не оберешься. Записываюсь окончательно в адвокаты...

— Ох, барин, берегись, — говорили на это его хозяева, — дело берешь трудное; с ним либо рыбку есть, либо на мель сесть.

— Не боюсь, господа, — отвечал Ветлугин, — время для судов настало иное. И комар лошадь свалит, коли волк пособит...

Ветлугин как решил, так и сделал: стал заниматься хождением по делам и на этом поприще оказался далеко не из последних. Имя его, впрочем, редко попадалось на столбцах газет, отводящих место судебным известиям, и не было связано ни с одним из тех более или менее громких и знаменитых уголовных процессов, которые за последние годы наделали столько шума в столичных и губернских судебных округах. Произошло это, вероятно, потому, что Ветлугин брал на себя ходатайство и публичную защиту только по таким делам, которые он заведомо считал совершенно чистыми.

В первый год своего пребывания в Москве, Ветлугин, для лучшего ознакомления с судебным миром, занялся в качестве помощника при конторе одного из адвокатов по гражданским делам. В середине второго года московской жизни он открыл собственную адвокатскую контору, а в начале третьего года у него было уже столько дел, что он не знал, как с ними справиться. Не все процессы Ветлугин, как во-

дится, выигрывал, зато ни по одному он не вызывал укоризны и проклятий своих доверителей. Значительную долю заработков он уделял на уплату отцовских долгов и от души обрадовался, когда ему удалось частью на собственный заработок, частью займом погасить последнее из обязательств, выданных им за долги отца.

Это случилось в конце третьего года его пребывания в Москве.

Ветлугин в это время уже жил без тех лишений, какие привелось ему испытать в начале его переезда в Москву, хотя его обстановка и теперь была далеко не так щеголевата, как у значительной доли его модных товарищей по ремеслу.

Был у Ветлугина, для справок и переписки с доверителями, и секретарь. Это место занял у него бывший его учитель, а потом приятель и товарищ по университету Аввакум Андреич Столешников.

Столешников был из тех смертных, происхождение которых даже и для близких к ним людей остается иногда всю жизнь загадкой. При появлении его в университете на вопрос товарищей, откуда он и кто его родители, Столешников отвечал, что он — обыватель Голодалкиной волости, села Обнищухина, а что состояния у его отца — таракан да жуколица, крест да пуговица, мешок да рядно́... Между студентами он был коноводом всех недовольных, шумел и горячился на сходках и слыл за человека с сильной волей, отважного и стойкого, вообще — бойца за правду. Он учился усердно, хотя не выдержал выпускного экзамена, — единственно, впрочем, потому, что не имел приличного платья и почти не посещал в последние полгода лекций одного из самых строгих профессоров. Ветлугин, на которого Столешников с первого же знакомства произвел глубокое впечатление, был лет на пять, на шесть моложе своего приятеля. Университетская история, бросив Ветлугина за Урал, и Столешникова одновременно с ним точно ветром сдула с лица земли. Его арестовали по поводу той же

истории и еще из-за каких-то заграничных воззваний в квартире знакомого ему фортепьянного подмастерья. Он исчез из университета и, как говорится, пера не оставил. Знал о нем кое-что только Ветлугин: они были в переписке, и дружба их в долговременной разлуке не ослабевала. Попав на житье в Архангельск, Столешников терпел страшную бедность, голодал и, водясь с черным народом и с мелким чиновничеством, жил из милости сперва у какого-то отставленного за старостью от службы канцеляриста, а потом в сырой землянке у расстриги-попа, где заболел тифом и чуть не умер. Он не покидал своего любимого занятия — чтения, и то и дело умудрялся попадаться в проступках против местных предержащих властей. За неуважение к распоряжениям полиции он не раз был отводим в участок и сажаем под арест, а однажды был призван для внушений за смелые и необдуманные речи к самому губернатору. Последний после продолжительных распеканий и наставлений сказал ему следующее: «Послушайте, Столешников, за вас меня просят. Но ваше положение изменится, и вы отсюда уедете только тогда, если окончательно и навсегда оставите вашу неумеренную и ни к чему не ведущую завирательную болтовню и станете заниматься не баклушами, а каким-нибудь полезным делом, ну, например, хоть бы службой... Но если бы вы, паче чаяния, уехали отсюда, не переменя нрава, то, верьте мне, старому воробью, опять где-нибудь попадетесь: от своего хвоста не уйдешь...»

В мае 1868 года Столешникову разрешили оставить место его ссылки. Он переехал в Москву, где в какой-то купеческой семье жила учительницей одна его дальняя родственница. При ее помощи и он на первых порах принялся давать уроки. Малый он с виду был степенный, даже внушал к себе своим большим ростом, басистым голосом и длинною рыжею бородой некоторое невольное уважение. Труду он отдавался, особенно вначале, со всем пылом, имел крайне доброе сердце, трусил женщин и страстно любил детей. А потому в качестве учителя и при помощи старушки родственницы, не чаявшей в нем души, — ему так повезло, что он вскоре не только приобрел мно-

жество выгодных уроков, но и завел обширный круг знакомства, особенно между учащеюся молодежью. Часы, свободные от учительских занятий, он посвящал посещению публичных лекций и диспутов, съездам педагогов и заседаниям различных благотворительных и воспитательных комитетов. Голова его горела. С языка не сходили слова об общем благе. Он опять ожил, переродился, не чувствовал под собой земли и, разумеется, вскоре забыл и свое недавнее пребывание на севере, и свои тяжкие невзгоды.

Ветлугин, как обещал Столешникову в письме, так и сделал: едва приехал в Москву, тотчас пустился его отыскивать. Он его застал на полном ходу его педагогической и ораторской деятельности. Жил в это время Аввакум Андреич в качестве репетитора двух гимназистов, сынков какого-то торгового туза, в Плетешках, у Денисовских бань. Отсюда он ежедневно и большею частью пешком делал невероятные концы на другие уроки: сегодня шел на Патриаршие пруды, завтра — на Арбат или на Волхонку, послезавтра — к Спасу в Оливках и в тот же день иной раз поспевал еще на заседание какого-нибудь благотворительного комитета в Лефортово или к Покрову в Лёвшине.

Оба приятеля при встрече после столь долгой разлуки до того обрадовались друг другу, что на первое время почти не расставались. Ветлугин более недели прожил в тесной учительской каморке Столешникова, чтобы только досыта наговориться с былым другом и наглядеться на него. Столешников пленял и тешил его: несмотря на признаки довольства, добытого учительским усиленным трудом, он по-прежнему ходил нечесаный, в старом, потертом пальто, с большою, как у древних ревнителей благочестия, бородой и в невыразимо скрипучих и редко чищенных сапогах. Он беспрестанно курил какие-то крепчайшие бурые папиросы, уверяя, что табак достает за невероятно дешевую цену, по знакомству, первой масти и без бандеролей. Мнений о всем он держался, как и во время óно, совершенно крайних. С Ветлугиным с первых же дней их новой встречи он стал спорить обо всем. Ветлугин от такого разговорного задора

и споров с приятелем сначала было даже сильно опешил. «Уж не отстал ли я от движения общества за эти годы, — подумал он, — не устарел ли я наконец? Сколько пылу, сколько беззаветных и чистых верований в этой душе! О! хоть бы капелька этих надежд и верований мне...» Он с особым вниманием стал следить за Столешниковым и за диспутами, которые иной раз поднимались в его комнате, насквозь прокуренной крепчайшим безбандерольным табаком.

Проберется, бывало, Ветлугин к приятелю и остановится на пороге. В дыму папирос и сигар по стульям и по дивану виднеются разгоревшиеся лица его гостей, а сам Столешников, понурясь, сидит на постели, глядит себе под ноги и сурово ораторствует. Его речи в подобные часы отзывались вдохновенною смелостью. Он забывал, что находится в Москве, в Плетешках, у Денисовских бань. Задачи педагогики отодвигались назад. Вперед выступали иные, более, как он выражался, широкие и насущные задачи. И когда Ветлугин, вмешиваясь в слова Столешникова, старался допытаться, какими же средствами он и его приятели располагают для выполнения своих задач, Аввакум Андреич восклицал: «О! успокойся, мирный скворец! Не воображай себе нас безумцами, идущими в воду, не спросясь броду... Есть у нас уже и осязательные начинания... Мы основываем свой печатный орган — приобретаем в пользование на правах аренды одну здешнюю газету... Но этого мало: мы на днях покупаем типографию... Будем на складчину печатать дешевые книги для народа... Да погоди же, не вскакивай и слушай далее... Ты отстал от того времени, когда мы с тобой изучали «Ueber die Freiheit des Willens» великого Артура Шопенгауэра, — а я ему верен... И помяни ты мое слово, не пройдет и двух лет, как по нашим следам двинутся новые дельцы...»

— Все это так, — скрепя сердце, говорил иногда глаз на глаз своему другу Ветлугин, — но я замечаю, Аввакум, что ты начинаешь отставать от уроков... Ты же сам передал мне на днях жалобу своих хозяев на то, что ты оставляешь без внимания их детей.

— Э! об этом я думаю менее всего, — отвечал Столешников. — Надо же кому-нибудь действовать. Погляди получше вокруг себя. Неужели не видишь? Что перед нашими глазами? Что? Совершенно уснувшее общество... Да и сам-то ты о чем мне писал, окунувшись накоротке хоть бы в благодатную жизнь твоей родины? А? Неужели забыл? Ну, а я так помню... Отвечай: отчего погиб в вашей губернской трущобе этот бедняк, этот ваш земский деятель Милунчиков? И отчего опять-таки торжествует хоть бы этот прощелыга, ваш Клочков. Да, наконец, отчего... пошла в монастырь... и эта... ну, не буду, не буду, Антон, молчу!.. Так подумай, дружище, получше, и тогда ты не скажешь, по силам ли я беру на себя мои новые труды.

XXVIII

От своего хвоста не уйдешь

Заботы об общем благе вскоре печально отозвались на Столешникове. Не прошло и полугода, как он лишился большинства своих уроков. «Что же, оборвалось на учительстве, вывезет литература!» — подумал он. Но оказалось иное. Типографию, основанную по мысли Столешникова неким благотворительным комитетом для печатания дешевых учебников для сельских школ, за несоблюдение каких-то важных формальностей опечатали, а потом и закрыли. Это до такой степени озадачило Аввакума Андреича, что он совершенно растерялся: лишился сна и аппетита, стал бросаться к встречному и поперечному с жалобами, написал несколько едких обличительных статей и более месяца не имел присутствия духа явиться на глаза к Ветлугину. Но одна беда, как всегда случается, вела за собою другую. Случилось новое горе. В один сквернейший октябрьский день, после трех нежданных и почти последовательных предостережений, закрыли и ту преобразованную по мысли Столешникова и не лишенную простодушной

злости газету, которую с такими усилиями и с такими пылкими упованиями на лучший ход дел удалось взять в аренду одному из зажиточных москвичей. Раздражение Столешникова при этом достигло крайних пределов...

Во-первых, об этом он известил Ветлугина не лично, а почему-то объемистым и полным отчаяния письмом по городской почте; затем в тот же день он ему назначил депешей свидание в аллее на Чистых прудах. Явясь туда и ходя с ним взад и вперед под намокшими от холодного дождя деревьями, он говорил о своем горе битый час и все-таки не успел, как бы того желал, излить другу всю горечь и злобу наболевшей души. Он жаловался на притеснения свыше, на трусость и измену товарищей. Наворачивая, от ливня и бури, на затылок воротник пальто, он уверял, что напрасно мешают друзьям народа; что их дело не умрет, а будет развиваться во что бы то ни стало, хотя бы нынешние сподвижники этого дела погибли все до единого. Утаптывая мокрую дорожку бульвара и едва сдерживая под порывами пронзительного ветра шляпу и какой-то совершенно неправдоподобный зонтик, он озирался по сторонам тусклыми, помутившимися глазами и, крепко сжимая в холодных костлявых руках дрожавшие от скорби и жалости к нему руки Ветлугина, кричал ему на ухо: «Не сдавайся, и я не сдамся! Все принесем в жертву чести и общего долга, все!»

Буря не унималась. Ветер шумел в деревьях. Дождь наискось, крупными каплями хлестал по зонтику и по спинам приятелей. Небо было серо и пасмурно. Зловещие облака низко неслись над кровлями потемневших домов.

— Слушай, Ветлугин! — сказал на прощанье Столешников. — Вот три недели я не сплю в сутки более трех-четырех часов. Видишь, как я обносился и похудел... Ох, брат, совестно сказать... я давно питаюсь чуть не подаянием... Но я не унываю и, надеюсь, наше дело не погибнет... Слушай, брат Антон!.. Дай мне взаймы — погоди, не вынимай бумажника, сочту, сколько именно, — дай мне пятьдесят, нет! сто целковых... Так видишь ли, у меня созрел такой план, такой — ну,

да увидишь тогда... На днях у нас явились новые, нежданные пособники, да какие! Львы... До поры — никому, даже тебе, ни слова, молчу... Я нарочно на время скроюсь, так сказать, стушуюсь, но вскоре ты обо мне услышишь... О, ты услышишь, и тогда решишь, был ли я прав. Прощай!

— Эй, Аввакум, лучше обожди. Вот тебе деньги; но послушай меня, дай пройти этим невзгодам, дай выясниться делу. Лучше успокойся и хоть на время перейди жить ко мне.

— Ни за что, ни за что, — кричал из-под зонтика Столешников, — ты стал адвокатом, следовательно, другом собственников. И ты нас не понимаешь, да и не можешь понять... Не я к тебе, а ты ко мне, любезный друг, явишься с поклоном и с повинной головой. И если мы, обладатели будущего, пощадим тебя, то разве за то, что ты теперь — мало на что пригодный инвалид, хотя был когда-то тоже ретивым служакой... Прощай, до нового свидания, при ином порядке вещей, у порога жилища, на котором будет написано: «Гражданская свобода и восстановление прав человечества...»

Снабженный пособием Ветлугина, Столешников исчез из Москвы.

Слухи о нем замолкли. Даже его родственница ума не могла приложить, куда он делся, и уверяла, что либо его вагоном где-нибудь раздавило, либо он ушел за границу.

А между тем через полгода после его исчезновения стали ходить слухи о смутах в среде молодежи, о стычках школьников с полицией, о каких-то подметных письмах и арестах, — то в той губернии, то в этой, а наконец, и об открытии некоей целой подпольной организации. Сердце Ветлугина, что ни день, стало обливаться кровью. Он с тайным трепетом обращался к каждому газетному листу, всякий раз боясь в известиях о заварившейся каше натолкнуться на дорогое для него имя неугомонного и сердечно любимого им товарища.

«Где-то он теперь? — размышлял Антон Львович. — В каких местах и в каких слоях носится в эти смутные, неприглядные дни достойный лучшей участи бедняк Аввакум? Попался ли он, нераскаянный боец, в какой-нибудь неверо-

ятной передряге и сидит ныне где-нибудь под арестом или его уже нет более на свете? Что значит его молчание и отчего он не подает о себе вести?»

Прошло более года. Подъехал как-то поздно вечером к своей квартире Ветлугин и увидел на выступе крыльца высокого, согнутого и как бы дремлющего от сильной усталости господина в смятой фуражке, забрызганной грязью одежде и обуви и с дорожным, как у богомольцев, мешком через плечо. Поднявшись на крыльцо, Ветлугин невольно его разбудил. Незнакомец встал, протянул руки... Антон Львович остолбенел: перед ним стоял Столешников.

Несколько мгновений они молча глядели друг на друга.

— Аввакум! Ты ли это?

— Я сам и есть...

Приятели обнялись. Ветлугин потащил Столешникова к себе, усадил его, раздел, дал ему умыться, облек его в собственное чистое белье, в халат и в туфли, накормил его, напоил чаем и стал расспрашивать.

— Ах ты, беспутный, столько времени не писал... Где же ты странствовал и откуда явился?

— С той стороны...

— С какой?

Столешников пальцем показал за спину...

— Понимаешь? — сказал он. — Да что и толковать... От своего хвоста, как видишь, не ушел... Или нет, врут, дьяволы, подлецы, назло им ушел... ну, да... спасся и в зубы им не дался.

— Как спасся? От кого? Разве ты в чем-нибудь попадался? Расскажи...

— Эх, брат, тяжело и рассказывать. Попасться-то я, действительно, попался, на первых же порах, да переодетый ушел. А когда окончательно все подготовилось, в самую что ни на есть роковую пору, ну, словом, понимаешь ли, когда наконец и мне выпадала честная доля действовать, тут, как нарочно, нежданная судьба, роковое стечение обстоятельств... и умчали меня в тартарары...

— То-то я никогда не встречал твоего имени.

— И мудрено было встретить. Меня там не было...

— Где же ты находился в этих передрягах?

— На родине был... у родителей, — отвернувшись, мрачно ответил Аввакум Андреич.

— Как, разве у тебя и родители есть?

— Еще бы... Смешной вопрос!.. Мать-старуха при смерти в то время была, ну и захотела меня повидать; а отец написал... Нельзя же, я поехал туда, да там всю эту бурю, больше двух месяцев, и пробыл. Ну, разумеется, все и пропустил, все пролетело мимо, и я, как видишь, цел...

Столешников, ероша бороду, сердито смотрел себе под ноги.

— Да и отлично, что ты уцелел. Ах ты, чудак, чудак... Еще жалеет. Но кто же твой отец? Я, право, извини, до сих пор не знал...

— Что извиняться! — уныло ответил Столешников. — Срам и сказать... И ты этого, сделай милость, не открывай никому... Мой родитель — из мелкопоместных дворян, и жил он постоянно управляющим то на винных, то на лесных заводах у разных помещиков; ну а с недавнего времени не то, позор и сказать! — становым в родном уезде служит... может быть, даже... и взятки берет! Сам не видел, но спорить против того не буду! — опять отвернувшись и как-то дико улыбаясь, добавил Столешников.

— А матушка же твоя, надеюсь, выздоровела?

— Умерла, — еще мрачнее ответил Столешников, — умерла на моих руках.

Приятели замолчали. Им было тяжело смотреть друг на друга. Ветлугин вспомнил о «жилище гражданской свободы», у порога которого Столешнннков надеялся с ним встретиться.

— Однако, брат, у тебя уже и некоторое благосостояние? — с напускною усмешкой заметил Аввакум Андреич, озираясь по сторонам. — Мягкая мебель, просторные комнаты, даже зеркала и цветы... Ах ты, эстетик, эстетик. Был добродетельным скворцом, им и умрешь. Не понимаю, как

можно допускать у себя такой избыток, когда столько неимущих, приниженных и гонимых гибнет в подвалах, не только без зеркал и цветов, но даже без куска насущного хлеба... Постепеновец, паинька, лежебока...

— Ну, перестань браниться, успокойся, — улыбнулся Ветлугин, — нет худа без добра... Я счастлив уже и тем, что могу, наконец, хоть бы тебе предложить опять разделить со мной этот угол. Ведь ты, Аввакум, теперь тоже из числа неимущих... А отказываться не имеешь права уже потому, что и я когда-то пользовался твоим гостеприимством. Так идет, идет? Ты согласен? Мы станем жить вместе. А чтобы тебе не тяжело было делить со мной все, что я имею, будем вместе трудиться. И ты увидишь, что моя адвокатская работа ничуть не ниже тех задач, о которых мы с тобой мечтали в о́ны дни...

Столешников искоса и робко взглянул на приятеля. Ему показалось, что он ослышался.

— Как? Что ты сказал? — спросил он, посматривая на Ветлугина. — Ты мне предлагаешь у себя занятия, зовешь меня к себе после всего, что было со мной, и не боишься... огласки?

— Я нуждаюсь в добром помощнике, — ласково и искренно ответил Ветлугин, — и если ты, Аввакум, хочешь, если подаришь меня своими услугами, это место за тобой и на каких хочешь условиях.

— Нет, брат, что-то странно, не могу, дай подумать! — нерешительно ответил Столешников, поглядывая то на свои жилистые, в туфлях, ноги, то на свои загорелые, потрескавшиеся от дороги руки. — У тебя, чай, народ не такой, как я, бывает, надо приубраться, одёжой обзавестись — надо приличное обхождение; ну, а я — ты знаешь... не из белоручек...

Приятели поспорили, но скоро поладили.

Столешников в качестве помощника поселился у Ветлугина. И хотя по-прежнему род жизни он вел несколько странный и подчас даже дикий, по неделям не позволял зимой топить в своей печке, спал, не раздеваясь, отказывался от вина, езды на извозчиках и даже от сигар, но за работу принялся усердно, а

в свободные от занятий дни с утра до вечера не выходил из своей комнаты, шагал там взад и вперед; либо, заунывным басом напевая бурлацкие песни, писал какие-то заметки, рвал их, снова писал и опять разрывал в мелкие клочки.

— В чем наше спасение? — спросил он однажды Ветлугина.

— В нас самих...

— Как так? — даже привскочил Столешников.

— Очень просто. Надо, чтобы всяк из нас и все мы вместе были готовы каждый миг встретить лучшие времена. Надо, чтоб обновленное будущее застигло нас способными к его восприятию. Иначе это будущее станет такою же мертворожденною попыткой, как и многое бывшее у нас... Согласись, еще далеко до увенчания общественного здания...

— Далеко? Что же мы-то в нем за припасы? — спросил, усмехаясь, Столешников.

— Мы — сваи... — ответил Ветлугин.

— Сваи только, даже не кирпичи? Иначе, мы — свайные люди?

— Именно. Разве не почтенное дело — быть вогнанным по маковку в землю в сознании, что над тобою, на твоих плечах, со временем возведется счастье родины? Если бы не росли те дубы да сосны, что более полутора веков назад забивались в трясину под петровские постройки, не было бы у нас ни родного нам с тобою университета, ни академий.

— Свайные люди! — не мог успокоиться Столешников. — Будущее счастье!.. Но где же отрада для настоящего?

— В семье, — тихо ответил Ветлугин.

Столешников подумал: «Уж не затеял ли он жениться на какой-нибудь купчихе? Так нет... сколько ни смотрю, ничего подобного не видно...»

— Так, по-твоему, отрада — только в семье, в норе? — спросил Столешников. — Вот как, значит, везде отбой? Значит, коли не удалось быть орлами, то всем, подобно тебе, стать трудолюбивыми зерноядными скворцами? Не ожидал я этого от тебя.

Кстати, впрочем, как поживает твой отец? — спросил он, погодя, чтобы замять тяжелый разговор.

— Помаленьку... Стал, впрочем, в последнее время что-то уж часто похварывать.

— Лета подошли... Пора...

Настало молчание. Маятник уныло отзывался из гостиной.

— Расскажи, что вообще нового на твоей родине? — спросил Столешников. — Пишет ли тебе оттуда, как, бишь, его, Фокин, что ли?

— Как же; я с ним в постоянной переписке. Он, как ты знаешь, три года назад женился на дочери вечереевского священника, на Фросиньке, и имеет от нее двух близнецов-детей. Да, я от души рад, что он устроился, а главное — поселился в одном городе с моим отцом.

— Так и он туда переехал?

— Да, он служит кассиром в одном из тамошних банков; а жена его прослушала курс в школе акушерок, основанной там, как ты знаешь, по мысли покойного Милунчикова, и удачно практикует по окрестным волостям. Талищев более не предводителем; сынки же его не унывают: гусар, отбыв арест за дуэль с Милунчиковым, жуирует; не отстает от него и Николушка; говорят, очень успешно выдает векселя, и его отец уже немало за него заплатил — дела их вообще пошатнулись...

— Ну, а старик Вечереев?

— Он все еще в помешательстве.

— На чьих же руках?

— Под ведением своего опекуна, Клочкова.

— Ну, а сей великий муж?

— О, он, говорят, блаженствует, помочил нос в крупных прибылях на разных спекуляциях и теперь, слышно, черт ему не брат.

— Ах ты, Петька треклятый, — не выдержав, крикнул Столешников, — свинчатка себялюбивая!

— Да, братец, он на второе трехлетие избран в председатели уездной управы и по-прежнему вообще в почете и в ходу... Да и что ему! Теперь такие-то только люди и

торжествуют. Как тараканы, выползают из щелей и засиживают еще недавно чистые стены... На днях, представь, я читал в газетах его речь, произнесенную им по случаю проезда через те места какого-то сановника... Уж чего там этот Худояр-хан ни наплел: выражал желание, чтоб Россия была русскою, чтоб царствовал везде порядок, а в сердце каждого — неукоснительность, неупустительность и еще, кажется, чувствительность, — чтоб все сидели под своими смоковницами и прочее... «Юрисдикция» у него, правда, исчезла. Зато явилось новое слово: целесообразность... Все у него должно быть целесообразно: нужны деньги — о развитии сил страны нечего думать, а увеличивай только подарки, и дело в шляпе; нужны солдаты — бери с тысячи хоть по сто человек... Мы на все, говорит, готовы, — а потому и подносим хлеб-соль... Это он запел, разумеется, как все свое состояние, по слухам, обратил в капитал, и в капитал что-то очень круглый и крупный...

— Ну, а дочь Вечереева? — негромко и как бы нехотя спустя несколько минут спросил Столешников.

Ветлугин в это время перебирал бумаги на столе.

— Дочь Вечереева? — спросил он, по-видимому, совершенно спокойно.

— Ну, да... ты меня извини — я не из пустого любопытства... Вчуже жаль ее...

— Помилуй, я охотно, — ответил, закуривая сигару, Ветлугин, — но что тебе о ней сказать? Она по-прежнему в монастыре и не думает из него выходить.

— Не думает?

— А разумеется... Из-за чего ей выходить? Там постараются всячески ее удержать... Да что ты, чудак, так на меня смотришь? Разве узнал о ней что-нибудь особенное?

— Я?.. Ничего!.. Так, просто вспомнилась она мне, я и спросил! — ответил, искоса вглядываясь в Антона Львовича, Столешников.

Но как он ни глядел, ничего не прочел в лице Ветлугина. Последний при словах об Аглае и бровью не повел. Он сидел совершенно спокойно и с виду был даже в духе: с

улыбкой смотрел на своего собеседника и мысленно радовался, что его приятель за это время жизни у него не только оправился, поободрел и стал спокойнее, но даже, сверх всякого чаяния, начинал оказывать некоторое внимание к своей одежде и к своей личной судьбе. Адвокатскими делами в качестве помощника Ветлугина он занимался до того усердно, что последний стал даже стесняться в поручениях ему.

— Так твой отец похварывает? — спросил Столешников своего приятеля.

— Да.

— Откуда ты это знаешь?

— Сам он об этом мне не писал, но я это знаю от Фокина. Впрочем, что-то и Фокин в последнее время не очень-то отзывается на мои вопросы об отце, и я несколько теряюсь в догадках, что бы это значило? Вот уже более двух месяцев не имею от него писем.

— Не удивляйся, друг Антон. Видно, и он также зерноядной птицей стал, скворцом там или дятлом. Долбит себе носом по мирным дуплам, усердно ищет червячков для деток да для супружницы, а о других у него, надо полагать, и помыслов нет...

— Ну, я этого не думаю.

— А я так думаю, и весьма, — возразил Столешников. — Займешься собственной норою, верь мне, об остальном вольном свете как раз и забудешь.

XXIX

Опустевшая усадьба

Итак, поздно вечером, в начале осени 1871 года, Антон Львович Ветлугин сидел у себя в комнате и тщетно собирался приняться за обычную работу. Мысли его были далеко, а именно на родине, откуда до него в последнее время доходило весьма мало вестей.

Наконец он встал, зажег лампу, взглянул на часы, увидел, что скоро полночь, протянул руку к коробке с бумагами и тут только разглядел, что на столе лежало еще одно, им не замеченное, а потому и нераспечатанное, письмо. Он по почерку угадал, от кого оно, дрогнувшей рукой распечатал его и стал читать. Письмо было от Фокина.

«Не гневайтесь на меня, многоуважаемый Антон Львович, — писал Фокин, — причина некоторой остановки в моей переписке с вами произошла оттого, что моя жена, любезная и несравненная моя Фросинька, снова за это время готовилась к родам и недавно благополучно подарила мне третьего сына. Но что же я говорю о себе? Знаю, что вы не того ждете от меня...

Ваш отец — может ли быть милее и достойнее человек? — более и более заставляет меня задумываться. С виду он как будто и ничего; даже считает себя совершенно благополучным, особенно с тех пор, как вы (это он мне сообщил по секрету) уплатили его последние долги и, казалось бы, окончательно обеспечили ему тихую и безмятежную жизнь. Он по-прежнему возится с садом, огородом и с птицами. Одна из последних, а именно каменный дрозд (Petrocincla saxatilis), по милости как-то забравшейся в клетку знакомой вам белой кошки ослепла на оба глаза. Сколько ни хлопотал Лев Саввич о восстановлении его зрения, ничто не помогло: дрозд остался навсегда слепцом Велизарием. Но, представьте, заботами вашего отца он доведен до того, что начал петь по-прежнему, и посторонний человек даже не догадается, что он слепой.

Словом, с виду ваш батюшка как будто и ничего: все у него, кажется, хорошо и благополучно. Он разговорчив, ласков и, разумеется, не нахвалится вами; читает высылаемые на его имя книги и журналы, навещает старых друзей. А между тем — странное и, казалось бы, необъяснимое дело, — он видимо и с каждым днем хиреет. Вы меня извините, но я буду говорить совершенно откровенно, тем более что вы меня об этом и просили...

Сперва я думал, что он чем-нибудь болен. Вследствие того я попытался послать к нему, по вашему наставлению, одного из лучших здешних врачей. Тот осмотрел его, совершил над ним аускультацию и всякую перлюстрацию и объявил мне, что Лев Саввич, по его мнению, не болен ровно ничем. А когда я спросил медика, надежен ли ваш отец, он ответил: «Поручиться ни за что нельзя — и определил причину постепенного упадка его сил отсутствием, как он выразился, более энергического импульса, а вследствие того заметным нарушением кровообращения, дыхания, питания и проч. Вспомня ваш совет, я на днях, как бы от себя, сказал Льву Саввичу, не съездить ли ему к вам, а не то, не переехать ли и вовсе на житье с вами в Москву? Что там-де и для умственной деятельности больше пищи, и кругозор столичный шире. Но он и слушать не захотел. «Сын у меня занятой, работящий человек, — сказал он, — и стеснять его собою я не хочу». А посему, если бы вы меня, Антон Львович, спросили, что же вам в таком случае предпринять, я бы вам посоветовал одно: сами приезжайте и взгляните на отца... Три года разлуки — тяжелы хоть бы и не для старого человека. Ваш приезд если окончательно и не спасет его от медленного угасания, то хоть на время его оживит...»

Ветлугин дочитал последние строки, уронил письмо на стол, склонился на руки головой, задумался, и когда очнулся, часы пробили три часа ночи.

«Если ваш приезд окончательно его и не спасет, то хоть на время оживит, — размышлял он, глядя на портрет отца, висевший над столом, — бедняк, бедняк! А я-то был за него покоен. Нет, так его оставлять нельзя... На днях же надо ехать к старику. А там, при свидании, мы вместе придумаем, как устроить его на будущее время».

Сборы Ветлугина не были велики.

Благодаря чугунке, соединившей за эти годы его родной город с Москвой, он мог доехать к отцу с небольшим в сутки.

А потому защиту ближайших к слушанию дел он передоверил товарищу по профессии, а контору и текущую переписку поручил Столешникову, уложил в дорожный мешок небольшой запас белья, газет и сигар и безотлагательно выехал.

Погода в день его выезда стояла пасмурная и холодная. Накрапывал дождь.

Выехал Ветлугин вскоре после обеда. Сперва он читал и беседовал кое с кем из соседей по вагону, но вскоре заснул. Наутро вагон, где он сидел, почти опустел. От скуки он опять принялся за газеты. Чтение, однако, не шло на ум. Он стал курить и глядеть в окно. Скоро и это надоело. Нехотя он выходил к завтраку и обеду. К вечеру вагон опять наполнился. Где-то путники пересаживались в другие вагоны. Дождь усилился и без умолку, мелкими каплями хлестал в окна. Дорога шла сперва лесистыми холмами, а потом потянулись обнаженные, почти безжизненные равнины. Звенели железные мосты, мелькали станции, телеграфные столбы и будки. Паровоз пыхтел и расстилал облако дыма и пара. Проезжие отваливали и опять приваливали. Кто-то ночью заспорил с соседом, потом стал препираться с кондуктором. Кто-то тонким, жалобным голоском рассказал о падеже скота, о неурожае хлеба, конокрадстве и поджогах окрестных сел. Какие-то господа из военных играли на чемодане в карты. А паровоз гремел, пыхтел, свистел и в непроглядной тьме сыпал вороха вертевшихся и медленно гасших искр. Ветлугин задремал на мысли: «Так блеснула в так угасла и скрылась Аглая...»

Утро следующего дня было также пасмурно, но сухо. В воздухе потеплело. Ветлугин проснулся. Поезд после обычной стоянки медленно отъезжал в это время от какой-то станции.

— Где мы? — спросил Ветлугин проходившего через вагон кондуктора.

— Красный Кут.

Что-то знакомое, далекое, забытое страстно мелькнуло и замерло в его мыслях.

«Красный Кут, — мыслил он, — уж не тот ли это монастырь, куда поступила Аглая?»

Он бросился к окну, опустил стекла и с шибко забившимся сердцем направо и налево стал высматривать знакомую картину: не мелькнет ли где в стороне высокий обрывистый берег реки, сплошной лес по гребню издали синеющей горы, крыши келий и золотые церковные главы над белокаменной монастырской стеной? Ничего этого не было видно. Ветлугин снова отошел от окна.

Поезд выбрался из цепи невысоких зеленеющих холмов и несся по гладкому, изрезанному черными пахотями полю. Ни деревни, ни горы, ни лесистого оврага. Кое-где только виднелись потемневшие от ветра стога; вдали, по проселку, тащились возы, да с молодых озимей, от свиста и грохота набегавшего паровоза, взлетали стаи галок и грачей.

Через полчаса поезд опять начал уменьшать ход. Очевидно, приближалась другая станция. Вправо от дороги еще тянулась прежняя гладкая равнина. С левой же стороны открылся довольно крутой, сбегавший к реке косогор. Ветлугин опять подсел к окну и, пользуясь тихим ходом поезда, в рассеянности начал разглядывать картину чьей-то деревенской красивой и, как казалось, заброшенной усадьбы.

Прямо против холма, по гребню которого двигался поезд, за небольшой рекой, обрисовался старый, обширный сад, за садом белый двухэтажный дом, а за домом церковь. Правее, по берегу той же реки, обозначились избы села.

Ветлугин глядел на эту картину, и то, что представилось ему в это мгновение, казалось сном...

— Станция! — крикнул кондуктор на площадке.

— Какая? — спросил Ветлугин.

— Дубки.

Ветлугин выскочил из вагона.

— Долго ли стоит здесь поезд? — спросил он сторожа, бывшего у звонка.

— Пять минут...

Ветлугин узнал, что до города остается всего три станции, расспросил, когда в тот день опять идет туда поезд,

бросился в вагон, взял дорожный мешок, и, когда раздался последний звонок, — он уже был в поле.

«Куда ж это я иду и зачем? — сам себя спросил Ветлугин, по небольшой тропинке от станции спускаясь к реке. — Вот сад, дом, а вон и крыльцо, с которого когда-то был виден этот самый, тогда еще пустынный косогор... Ставни в доме наглухо закрыты, значит, никто в нем по-прежнему не живет...»

Ветлугин миновал луг, подошел к реке и не сразу в высоких, пожелтевших от осени камышах отыскал место, где на другой берег были перекинуты те две жердочки, по которым в первое утро его приезда в Дубки прибежали к купальне Фросинька и Аглая...

Ветлугин прошел в сад, миновал знакомые прибрежные вербы и остановился. Купальни уже не было, и место, где она стояла, можно было узнать только по нескольким торчавшим из воды столбам. «Где же беседка, в которой я тогда гостил? — размышлял Ветлугин. — Она была невдали от купальни».

Он пошел влево. Беседка по-прежнему стояла за липами. Но он ее не узнал, так она обветшала и потемнела. Штукатурка на ней потрескалась и кое-где обвалилась. Окна были с выбитыми стеклами, наружная дверь не заперта. Ветлугин ступил на крыльцо, вошел в сени и взялся за знакомую дверную скобу. Сердце его сжалось. Здесь он провел столько отрадных и вместе столько мучительных часов. Здесь некогда между картин, изображавших охоту в горах Шотландии, висел портрет Аглаи; рядом была молельня, с киотом и с постоянно теплившейся лампадкой.

Ни охотничьих картин, ни портрета, ни молельни в настоящее время здесь уже не было. Беседка была пуста. Под потолком лепились гнезда ласточек. Воздух свободно проникал в разбитые окна. Пол, как ковром, был устлан листьями соседних дерев.

Ветлугин постоял, вышел опять на крыльцо и углубился в сад, убранный последними цветами осени... Яблони стояли сизые, клены и липы золотые, рябины красные... Разноцветный лист в тишине медленно сыпался с дерев... Пахло мхом

и древесной корой. Паутина белыми длинными нитями неслась по воздуху, цепляясь за травы и за кусты.

Сад был до того запущен, что Антон Львович на первых порах с трудом распознал несколько дорожек, когда-то расчищенных и усыпанных песком.

Никем не сдержанные ветви на приволье раскидывались во все стороны. Древесный молодняк и высокие разнообразные травы дружно глушили поляны и просветы аллей. Это был не сад, а дикий, полузаглохший лес.

«Чудеса! — мыслил Ветлугин. — Как мало нужно для разрушения усилий человека! Прошло каких-нибудь три года, и как все здесь запустело... От потраченных когда-то усердных трудов не сохранилось почти ни следа!.. Что же за это время сталось с самим человеком, с хозяином этого сада, и с его судьбой?»

Ветлугин направился к дому Кириллы Григорьича, причем каждый шаг ему пришлось делать с немалым трудом. Колючие травы цеплялись за его платье, ветви сбивали фуражку с его головы. В одном месте он через силу пробился сквозь огромные пожелтевшие лопухи. В другом ему преградила дорогу поляна, заросшая седым, с красными шишками репейником.

В знакомых ракитах, где была землянка Лукашки, он спугнул зайца. Вислоухий русак, заслыша его шаги, сделал несколько неуклюжих, ленивых прыжков, присел на полянке, поводил ушами и не спеша, теми же ковыляющими прыжками направился в соседние кусты. Ветлугин пошел ко двору. Пестрый вальдшнеп с шумом вырвался из-под его ног и, беззвучно мелькая между дерев, пронесся в надречный березняк. Ветлугину померещились чьи-то шаги... Он оглянулся: по невысокой траве у корней молодого осинника, суетливо разгребая влажную листву, топталась стайка диких куропаток. Передняя завидела Ветлугина и присела; за нею, наставя головки, присели и другие. Еще мгновение, стайка взвилась и, звеня крыльями, перелетела за ручей, в другую такую же разноцветную и пустынную часть сада...

Деревья редели. Ветлугин вышел на поляну перед домом. Вот балкон, а вот и старая липа у окна Аглаи. Но ни скамьи, ни навеса на крыльце, ни цветов на поляне не было. Бурьян, вперемежку с каким-то бойким кустарным молодняком густо застилал эту поляну.

Ветлугин присел на балконе. Ему вспомнились беседы с Аглаей; вспомнилась и та тяжелая последняя ночь, когда он, возвратясь сюда и не найдя в опустевшем доме никого, вышел на балкон и с рыданьем бросился на скамью. Тишина вокруг дома и в саду была и теперь такая же, как тогда.

«Куда же и к кому мне теперь идти? — размышлял Ветлугин. — И зачем нескромными и бесполезными расспросами нарушать этот покой и эту общую тишину? Что мне могут сказать? И знает ли могильщик то, что скрыто в недрах могилы? А этот дом теперь — та же могила... Думала ли в те часы Аглая и думал ли я сам, что когда-нибудь, как в это мгновение, я одиноким, случайным пришельцем буду стоять здесь, у двери этого некогда полного жизни дома, тщетно ожидая, что он снова проснется и снова оживет? Где-то бедняк Вечереев и как ему живется под охраной столь заботливого опекуна? Уж жив ли он? Да и жива ли сама Аглая?»

В воздухе над Ветлугиным послышались серебристые звуки. Точно кто-нибудь поблизости тронул струнный инструмент или ветром с поля занесло чью-либо далекую песню. Антон Львович поднял голову...

В небе, над садом, тянулась чуть видная вереница диких журавлей.

XXX

Просители

Ветлугин сошел с балкона.

В нескольких шагах от него, глядя на улетавших журавлей, чуть заметной тропинкой меж кустов пробиралась от

двора босоногая девочка. В руках у нее было лукошко. На вид ей было лет девять-десять.

— Вам, дяденька, кого? — закидывая за уши русые волосы, обратилась девочка к Ветлугину.

— Священника, отца Адриана, хотел бы я повидать, если он дома.

— Нетути. Третий день, как уехал. И изба его заперта.

— Куда же он уехал?

— В город, к дочке.

— Дед Лукашка жив?

— Помер.

— Кто же у вас за домом здесь смотрит?

— Егоровна...

— Веди же меня к ней, — сказал Ветлугин.

Худенькая, бледная Егоровна до того обрадовалась Ветлугину, что выронила заступ, с которым копалась на грядке у своего жилья, и долго не знала, как и о чем с ним заговорить. Ее сапоги были оборваны, черный коленкоровый шугайчик на плечах обносился, а робкие, добрые глаза смотрели испуганно.

— Ну, как же вам тут живется? — спросил ее Ветлугин.

— Плохо, сударь; совсем нас разорил опекун. Был у нас прежде и хлеб, и скотинка, — а теперь на семь дворов один топор... А тут дети. Хвороба на них пошла. Я троешку похоронила, как муж помер; одна Пашутка осталась. Ни откуда ни совету, ни привету нет.

Долго жаловалась Егоровна.

— Можешь ли, милая, отпереть и показать мне барский дом? — спросил Ветлугин. — Хочется старое жилье ваших господ посмотреть.

— Что же, отчего нельзя? Можно.

Егоровна захватила ключи, при помощи дочки раскрыла кое-где ставни, отомкнула передние сени и ввела гостя в дом.

Здесь все было на месте. Только спертый, отзывавшийся погребом воздух напоминал, что тут давно никто не жил; да пыль густым слоем лежала на полу, по мебели и рамам портретов и картин.

— Где же, милая, теперь ваш старый барин? — спросил Ветлугин, проходя с Егоровной из залы в гостиную.

— На руках Франца Карлыча, лекаря, живет.

— А из прислуги кто к нему приставлен? Верно, Филат?

— Когда бы Филат Иваныч! Он бы его, сердечного, вот как жалел и доглядал... А то опекун выжил и Филю, а приставил как есть постороннего, из тамошних, что ли, фершалов. Ну, какая постороннему человеку нужда с умалишенным возиться? Фершал же притом, понятное дело, день-денской по другим больным занят и препоручил нашего барина своей супружнице; а та, сказывают, сдала его на руки сыну, парнишке лет двенадцати... Ну, и слышим мы, сударь, что этот парнишка Кириллу Григорьича сильно обижает: дразнить там его и ему грубит, а не то — запрет его, сорванец, в комнате, да и уйдет с другими мальчишками в бабки на улицу играть...

Ветлугин не верил своим ушам.

— Что же вы не жалуетесь? — спросил он.

— Кому?

— А хоть бы старой барыне...

— Бог прибрал, — ответила, крестясь на образ, Егоровна. — Еще запрошлую осень, на Покрова, она — голубушка наша — в монастыре и померла...

Ветлугин задумался. «А что же вы не жалуетесь вашей барышне?» — хотел он спросить. Но слова его не слушались.

— Барышня не однова навещала отца, да он ее, сердечную, не узнаст! — прибавила Егоровна.

Ветлугин молча прошел из гостиной в библиотеку. Здесь также все было по-старому: шкафы с книгами, кресло, на котором три года назад, при первом появлении Ветлугина, сидела Ульяна Андреевна; скамеечка возле кресла, стол и высокие старинные подсвечники на столе. Прибавились только два объемистых, наглухо заколоченных ящика.

— Что это? — спросил, указывая на них, Ветлугин.

— А это, сударь, Кирилло Григорьич еще до своей болезни выписал из Петербурга какие-то книги. Только не

удалось ему, сердечному, их читать; книги привезли, как уж он ума лишился...

— Ну, а опекун видел эти книги? — спросил Ветлугин.

— Показывала я их опекуну; только тот толкнул их этак-то ногою по ящику, да всего и проговорил: «И охота была старику выписывать эту дрянь!» Вон и след от его сапога виден: тогда еще грязно было на дворе. А при господах на цыпочках тут ходил, барина дяденькой звал, денег у него все просил, как еще не повздорились.

— Дурной же, видно, человек ваш опекун, — сказал Ветлугин, чувствуя, как краска бросилась ему в лицо. — Не бережет чужого достояния. А эти книги мне хорошо известны; их Кирилло Григорьич выписал по-моему совету. Да, жаль, от души жаль старика!.. Как все здесь без него пошатнулось и опустело...

— От беды, батюшка барин, ни на каком коне не уйти... А опекун одно толкует, как наедет сюда: не смейте барышню тревожить ничем. О чем нужно, ко мне, говорит, обращайтесь... Аки змей, дракон лютый, так и рыкает тут на всех...

— Ну, прощайте же, Егоровна, — сказал, выходя опять в сад, Ветлугин.

— Куда же это, сударь, вы изволите путь держать? — спросила Егоровна.

— Отца-старика еду навестить.

— А сами где нынче изволите жить?

— В Москве.

— Служите?

— По судейским делам хлопочу...

Егоровна стала вертеть в руках платок. Ей пришла на ум счастливая мысль.

— Как же вы, сударь, так-то, не закусивши, ехать отселева хотите? — засуетилась она.

— Спасибо, голубушка, не могу. Доберусь засветло до станции и там перекушу. Видишь сама, разгуливается ветер, дождь опять собирается, буря заходит...

— Ну, батюшка барин, а вы уж меня, старуху, извините. Далеко ли тут до станции? Рукой всего подать. У меня же хранится господский самовар, да найдем чаю и сахару — к дьячку Пашутка сбегает. Милости просим не отказать, хоть стаканчик на дорогу откушайте.

Ветлугин взглянул на часы и согласился. Егоровна провела его к своей каменке, а сама у ее порога принялась вздувать самовар.

Каменка представляла небольшую, довольно опрятную комнату. Два ее окна были почти вровень с землей. За печью были примощены нары для спанья. Под образами стоял стол, вдоль окон тянулись скамьи. Ветлугин снял пальто и присел на скамью.

На дворе начинало темнеть. Ветлугин поднял глаза на стену между окон и невольно привстал. Рядом с крошечным зеркальцем здесь висел тот самый портрет Аглаи, которым он когда-то так любовался в беседке. Ветлугин снял его, поднес к окну, долго смотрел на него и со вздохом опять повесил на стену. Глядя на него, он и не заметил, как вошла Егоровна, как она и чай ему подавала и о чем-то снова, с причитаньями и со слезами, ему рассказывала...

С надворья послышались голоса. Ветлугин глянул в окно. У крыльца толпилась куча крестьян.

— Что это? — спросил Егоровну Ветлугин.

— Здешние старики к вашей милости с поклоном и с просьбой пришли; не откажите, выдьте к ним...

Ветлугин вышел. Дымчатые клочковатые тучи со всех сторон надвинулись над потемневшим садом. Порывистый ветер, качая деревья, врывался на садовые поляны и столбами кружил по ним засохшую листву.

— Что вам, братцы? — спросил, отвечая поклоном на поклоны крестьян, Ветлугин.

— К тебе, кормилец, пришли. Как, значит, наслышамшись про твою милость, что ты хлопочешь по судам. Не откажи, помоги и нам на нашем сиротстве.

— Что же у вас за дело?

— Оченно терпим от здешнего опекуна... Не человек он, сударь, — ирод треклятый, душегуб...

— Но что же я, господа, могу для вас сделать? Я, действительно, хлопочу по судам. Но для ваших дел с владельцами есть особые власти. К ним обратитесь.

Крестьяне, однако же, и слушать не хотели возражений Ветлугина. «Ты нас разбери и защити», — говорили они, выкладывая перед ним целый короб своих обид и огорчений.

— Перво-наперво, наши господа, — говорили они, — нам, а не другим отдавали внаймы залишние земли; а опекун летось роздал их все на несколько лет захожим гуртовщикам... Потом и сюда погляди, каково оно; прежде мы пользовались и лугами, и лесом, и рыбной ловлей; а ноне и это все отдано чужим... Ну, где же правда? Была нам рассрочка и в отбывке издельной повинности, и под казенные подати раздавали нам на отработок деньги. Опекун же, чтоб ему нелегко на том свете дышалось, и это отменил. Обедняли мы, кормилец, совсем. А штрахвами нас эти опекунские приказные уж так-то разоряют, что не токмо коровенке али там овце, — курице за межу нынче выйти нельзя... Уж коли твоей милости чего нельзя, то хоша прошение от нас, куда след, напиши. Прежде-таки писывал за нас эти просьбы батюшка, отец Адриан; а таперича и ему пути заказаны. Опекун намедни ему так пригрозил, что коли, говорит, батюшка, ты не уймешься, так я и архиерея на тебя подниму. Я, мол, с ним свой человек...

— Хорошо, — ответил Ветлугин, — я найду, кого за вас попросить. А теперь прощайте... Мне пора ехать.

— Счастливого пути, кормилец!

Ветлугин отправился к станции. Ветер не умолкал и до того шумел по саду и стучал запертыми ставнями и дверьми, что, казалось, хотел разрушить и дом, и сад. При виде мгновенно склонявшихся древесных ветвей и вершин, казалось, откуда-то налетели злые крылатые духи и железными когтями рвали с оголенных деревьев последние поблекшие листы.

Ветлугин взобрался на гору, сел в вагон и уехал, когда на дворе уже стояла непроглядная темнота.

На ближайшей станции к поезду подвалило несколько новых путников. Эти господа, очевидно, были между собою знакомы и находились в отличном расположении духа. Несмотря на других путников, они громко разговаривали, шутили и смеялись.

Ветлугин не обратил было на них никакого внимания. Но когда один из этих проезжих, бывший, очевидно, душой и вожаком остальных, заговорил о какой-то истории в среде местной молодежи, неблагосклонно отзываясь о слабости нового начальника губернии, выразился: «Нет, тетенька, будь я губернатором, я бы их пробрал», — Ветлугин приподнялся из своего угла и через спинку скамьи, при свете фонаря, в господине, недовольном властями, узнал старого своего знакомого, Клочкова.

Петр Иваныч за это время, впрочем, несколько изменился. Для бо́льшей представительности и благоприличия он сбрил усы, но зато отпустил длинные, дипломатические баки, и до того возмужал и раздобрел, что напоминал если не штатского генерала, то банкира. На нем была щегольская, на сибирских куницах шубка и боярская соболиная шапочка. Он говорил еще круглее и полновеснее, держал себя еще степеннее и осмотрительнее, а на шутки собеседников посмеивался ровным, ласковым, но вместе и внушительным баском.

— Да! — вдруг сказал он, обращаясь к кому-то из собеседников, — насчет акций-то, насчет бракованных... Ты, Роман Павлович, вероятно, помнишь, как четыре года назад я выразился Иосифу Димитричу, что не умру без того, чтобы не нажить пятисот тысяч... Помнишь?..

— Помню, помню, — отозвался Раша Талищев.

— Ну, так поздравь... Мои учредительские паи проданы — я вчера получил депешу, — и эти пятьсот тысяч я уже нажил....

— Значит, держи нос по ветру? — воскликнул и подобострастно захихикал Талищев.

— Именно, именно, — ответил, снисходительно улыбаясь, Клочков.

Когда поезд, приблизясь к городу, остановился и публика засуетилась у выходных дверей, Талищев снова обратился к Клочкову:

— Петр Иваныч, это твоя коляска?

— Моя.

— Не подвезешь ли меня?

— А тебе куда?

— Я тут поблизости, десять шагов...

— Садись.

Талищеву было вовсе не по пути. Но он подобострастно шмыгнул в коляску, лишь бы проехаться рядом с Клочковым. А Петр Иваныч расселся на упругих подушках и, запахиваясь куницами, крикнул остальным собеседникам:

— Господа, смотрите же, в клуб: сегодня суббота. Эконом прислал мне навстречу депешу, что получена невероятной величины лососина и притом живая... не пропустите...

Клочков, как оказалось, не только вместо Осип Дмитрич говорил Иосиф Димитрич, но уже был сластун и объедало и последнее качество ставил себе в особую заслугу.

XXXI

Счастливый мирок

Проезжая мимо квартиры Фокиных и видя в их окнах свет, Ветлугин подумал: «Заеду я к ним: родитель, пожалуй, уже спит. Посижу у них, расспрошу о старике и переночую в гостинице, а к отцу лучше отправлюсь поутру».

Был десятый час, когда Ветлугин вошел в незапертые сени и в переднюю Фокиных. Из-за двери направо, по всей вероятности в небольшую залу, неслись веселые детские голоса; казалось, за этой дверью помещалась обширная и шумная детская школа. Ветлугин остановился и некоторое время не решался туда войти.

Несколько голосов напевали какую-то песню. Ей вторил смех, звон погремушек, дробь барабана и писк оглушительной игрушечной дудки. «Да тише вы, тише, тише!» — как бы в отчаянии раздавался чей-то голос, тщетно пытаясь унять непокорное полчище резвых весельчаков.

Антон Львович отворил дверь, но вместо школьной залы очутился в спальне хозяев. Шум, оглушивший его, производили двое хозяйских детей, веселые и пузатые мальчуганы-близнецы Ганя и Даня. Первый из них, а именно Ганя, толстощекий и белый, как пряничный генерал, сидя на игрушечном коне, дудел в дудку и из всех сил бил кулаком в барабан. Второй, кудрявый и черноглазый, как жук, Даня, в отцовском жилете и в матушкином чепце сидел на полу, кричал и размахивал какой-то костяной, с бубенчиками, погремушкой. Сама Фросинька, в блузе и платке на небрежно причесанных волосах, держала третьего мальчика, новорожденного Вовика. Вовик только что проснулся и также слегка брыкался и кричал. Она его распеленала, покормила грудью и, покачивая и осыпая его поцелуями, напевала песню, отчего и не заметила, как вошел нежданный гость.

— Антон Львович! Какими судьбами! Миша, Миша, сюда! — закрасневшись, с криком бросилась в соседнюю комнату Фросинька.

За дверью налево послышались тяжелые и торопливые шаги. Кто-то впопыхах двинул стулом и уронил книгу.

Ветлугин думал обратиться вспять.

На пороге маленького полуосвещенного кабинета показался совершенно квадратный, без галстука, с полуобнаженной мохнатой грудью и в широчайшем сером пиджаке русобородый, невысокий и добродушный господин. Глаза его улыбались, руки несмело и ласково были протянуты вперед.

— Представьте, я вас едва узнал! Здравствуйте! — сказал Ветлугин, пожимая руку Фокина.

— А вы-то как подарили! Глазам не верится, наконец-то! Сюда же, сюда, ко мне! — засуетился Фокин, вводя гостя

в кабинет. — Что это, саквояж с вами? Угадываю... значит, у отца еще не были?.. И отлично... ночуйте у нас...

— Нет, благодарю, я к вам на минуту; как здоровье отца?

— О, мы вас не пустим. Отец здоров... Утром пойдем к нему вместе, — а теперь и его только потревожите и сами не заснете до утра.

Делать нечего, Ветлугин размыслил и сказал, что остается.

— Но где же вы меня положите? Не лучше ли я пойду в гостиницу?

— Слышишь, Фросинька: где мы его положим? В гостиницу хочет! Вот они, столичные-то мудрецы.

— Полноте, Антон Львович, — обратилась к Ветлугину подоспевшая хозяйка, — вы — такой редкий гость; а у нас кабинет этот свободен и угольная еще есть.

Фросинька пустилась хлопотать. Она и в спальню бегала, и с кухаркой шепталась, и ключами гремела, и чуть не плакала от радости. Через полчаса на ярко освещенном и уставленном всякой снедью столе кабинета пыхтел самовар. Приодетая и раскрасневшаяся от суеты и удовольствия Фросинька с великими усилиями и даже угрозами уложила детей спать. Новорожденный скоро затих. Зато близнецы долго еще не унимались, оглашая спальню смехом и криками и то и дело просовывая краснощекие, веселые головки в переднюю. Раз, в порыве неудержимого любопытства и задора, они даже выскочили в одних рубашонках и босиком в кабинет.

— Радуюсь вашему счастью, — сказал Фокиным Ветлугин, когда все кругом угомонилось и затихло, — радуюсь и сердечно вас поздравляю...

— Но, вероятно, не завидуете? — улыбнулся, поглядывая на жену, Фокин.

— Нет... и завидую... от всей души...

— Что же, за чем дело стало? Мало ли на родине невест? Приглядитесь-ка, да и сватайтесь. А уж как отца-старика этим утешили бы, да и с нами, может, в таком случае не расстались бы...

— Не по коню корм! — ответил со вздохом Ветлугин и заговорил о другом.

Фросинька влажными, искренне сочувствующими глазами молча глядела на него, невольно переносясь мыслями за три года назад. «Боже мой, Боже! — думала она. — Да неужели же все это на самом деле случилось? И можно ли поверить, можно ли допустить, чтобы теперь передо мной сидел тот самый Антон Львович, который тогда, в те золотые дни, нежданно-негаданно явился в Дубки и так увлек было Аглаю? Куда делась эта навек улетевшая пора? Куда делись их грезы, свидания, клятвы, любовь? И неужели, наконец, не сон и то, что Аглая, бедная Аглая, до сих пор томится в монастыре?»

Фросинька плохо спала эту ночь. Не очень-то спокойно провел ее на новом месте и Ветлугин.

Давно не виданные картины чужого тихого и полного счастья убаюкивали и вместе раздражали его. Перед ним в темноте, не уходя от него, как живые стояли волшебные и светлые образы семейных радостей, мерцали ласковые и теплые лучи их. Что-то благоуханное, кроткое и нежное носилось и веяло над ним. Он прислушивался к возгласам ребятишек, смеявшихся и бредивших во сне, и к шепоту матери, осторожно унимавшей их. Детский смех казался ему не смехом, а шелестом ручья, где-то бежавшего в затишье дерев. Детские возгласы напоминали жужжание пчел по берегу этого ручья. Близнецы Ганя и Даня тащили его туда, в сочную зелень спящих дубрав, боролись с ним, прятались от него и опять с ним барахтались, теребя его за нос и за бороду. А крохотный Вовик сидел у него на плече, и Ветлугин, придерживая его за голенькие полные ножки, бегал с ним где-то по ярко освещенным дорожкам и лужкам.

«Нет, нет, я вам не отдам этого карапузика, не отдам!» — твердил Ветлугин, крепко ухватясь за простыню и не замечая, что никакого карапузика у него не было и что перед ним, заливаясь хохотом и тщетно пытаясь его разбудить, давно в пунцовом домашнем халате стоял Фокин.

Ветлугин глянул во все глаза и вскочил.

На дворе было ясное, теплое утро. Комната была залита светом, падавшим сквозь зелень стоявших по окнам цветов. Ветлугин оделся, напился чаю, поблагодарил хозяев за угощение и за ночлег, взял извозчика и с Фокиным отправился к отцу.

— Нет, — сказал Фокин, когда они подъехали к калитке, — идите сами; не хочу мешать вашему свиданию, Зайду позднее; а не то вы с ним к нам пожалуйте вечерком, условьтесь.

Отца Ветлугин застал еще в спальне, за утренним кормлением его пернатых и четвероногих друзей. Старик сидел на постели в красной фуфайке и в белом вязаном колпаке. Перед ним, ожидая обычной подачки, на задних лапках стояла вновь добытая собачка Шарик. На скамеечке, мурлыча и шевеля хвостом, сидела белая кошка Машка. В окно заглядывал новый ручной журавль. А на краю чайного столика, временно вынутый из клетки, нахохлившись, сидел слепой каменный дрозд. Размоченный белый хлеб, крынка молока и остатки жареного помещались здесь же, на столе.

Антон Львович вошел, в то время как Лев Саввич до́сыта накормил дрозда и, отлив в тарелку молока, только что собирался подать его Шарику.

— Ах, ах, — вскрикнул старик, завидя на пороге сына, — ах, да что же это, что?..

Он хотел приподняться, хотел что-то сказать, но только развел руками и, отмахиваясь ими, молча опустился на постель.

Антон Львович смотрел на отца и не верил глазам: так он снова переменился за эти годы.

— Антонушка! Антоша! Да ты ли это, в самом деле?.. — вскрикнул наконец, заливаясь радостными слезами, старик.

Он привстал, крепко обнял сына, целуя посадил его возле себя, сдал на руки вбежавшей с новыми возгласами и слезами Власьевне кормление своих друзей и, стараясь быть как можно бодрее, принялся одеваться.

Перед Антоном Львовичем, в поношенной фуфайке и в сбившемся на затылке колпаке, суетливо топтался не прежний, жаждавший трудиться, хотя помятый годами человек, а совершенно ослабевший и упавший духом старик. С погасшими глазами, улыбкой без жизни и с выдавшимися еще более лопатками плеч, Лев Саввич дрожащими, неверными руками хватался то за одну вещь, то за другую, в рассеянности держал перед собой подтяжки, запонки или шейный платок и не знал, что с ними делать. Власьевна поспешила к нему на выручку. Она ему дала умыться, одела его, застегнула и объявила, что подан самовар. Отец с сыном перешли в залу.

— Ну, как же ты поживаешь и что твои адвокатские успехи? — спросил Лев Саввич сына. — Слышал, слышал; немало из вашей братии подают надежды. А сперва чуть было не все кинулись на это поприще, как на золотоносную россыпь... Так ты доволен занятиями?

— Доволен.

— Дело по тебе?

— По мне.

— Отрадно наполняет твою жизнь?

— Не могу пожаловаться.

Лев Саввич обмакнул кусок хлеба в чай, хотел его поднести ко рту и задумался.

— Приятно слышать, — сказал он, — новая дорожка; и пока она не заросла быльем да терпением, иди по ней смело. Ну, и нам, педагогам, наставникам юного человечества, видно, зубы на полку класть.

— Как так? — спросил Антон Львович.

— Все кончено, Антонушка, все! — как-то безнадежно, насмешливо поморщился Лев Саввич. — Мы, учителя старого закала, свое отжили, стали ненужным хламом, а потому и долой нас со света, бесполезных, долой... Другим место, лучше нас... Так-то! Все новые системы изобретают...

— Дело, о котором вы заговорили, — нахмурясь, ответил Антон Львович, — настолько же важно и сложно, как вопрос о совести, о вере... Легко его касаться — нет пользы.

Такие вопросы по очереди всплывают в человечестве, глубоко и порой страшно, страшно потрясая общество. Но они лучше всего решаются в жилищах, в недрах семейств. Там им подводится оценка; там они принимаются или отменяются. Время — лучший судья...

— Так ты проповедуешь о сидении сложа руки, о выжидании у моря погодки? Спасибо тебе... А знаешь ли ты пословицу?

— Какую?

— Пока солнце взойдет, роса очи выест.

— Я не отвергаю частных усилий.

— А! договорился-таки, договорился! Так слушай же! — понижая голос и дергая сына за руку, сказал старик. — Помнишь мои мечты об общеобразовательной школе? Помнишь? Чем кончилась тогда эта затея, чем? Разлетелась дымом... Ну, а если бы она не разлетелась, я посмотрел бы, как легко далась бы нашим противникам борьба с нами...

Вечер отец с сыном провели у Фокиных. Лев Саввич возился с детьми. Ганя и Даня сперва носили и накладывали ему на колени свои игрушки, потом прятались от него, а его заставляли искать себя под стульями и диванами; наконец запрягли его в повозочку и до того, погоняя его, смеялись и опять шумели, что Фросинька выбилась из сил и заперла их, а с ними и Льва Саввича в угольную, откуда, впрочем, шум и гам неслись еще в бóльшей степени.

— Премилая семья, чистейшая Аркадия! — сказал, уходя от Фокиных и утирая лысину, старик. — Не расстался бы с ними. Счастливый мирок... Как видишь, у них только и отдыхаю.

— Позвольте узнать, — спросил сын, — сколько потребовалось бы денег для устройства школы, подобной той, о которой вы когда-то думали?

Старик остановился. Они шли в это время глухим переулком.

— Странный вопрос, — сказал Лев Саввич, — зачем тебе нужно это знать?

— Да я так спросил. О детях Фокина вы заговорили, — мне и вспомнились ваши мечты о воспитании.

Лев Саввич поглядел себе под ноги, двинулся далее и, приложа пальцы к губам, нерешительно ответил:

— Как тебе сказать? Да немало: тысячи две, а не то и более потребуется на первое время. Все зависит от того, как вести дело: самому или с товарищем.

— Ну, положим, вы сами повели бы это дело. Есть ли у вас помощники, есть ли надежные дельцы, чтобы устроить и двинуть такое предприятие?

— Э, — свистнул и головой покачал Лев Саввич, — о чем ты спрашиваешь! Есть ли знающие и дельные люди? Да кабы только на нашу ниву да слетела бы такая благодетельная фея... А о пособниках, друг ты мой, я и думать не буду...

Более двух недель в этот приезд прожил Антон Львович у отца и не заметил, как мелькнуло это время. Об Аглае ни с отцом, ни с Фросинькой он заговорить не решался. Кое-что о ней узнал он только вскользь от Власьевны. Но эти вести были далеко не утешительны. «Живет Аглая Кирилловна безвыездно в Красном Куте, — говорила Власьевна, — и уж так-то примерно, так примерно, что хоть бы и не такой молоденькой да богатой. Барыня Фокина намедни ездила к ней, так индо чуть не плакала, сказывая мне... Стоит, говорит, вечереевская барышня на клиросе — как свеча негасимая теплится, молится... А уж бледна, да худа — ну, в гроб краше кладут.

В эти дни Антону Львовичу довелось побывать в заседании окружного суда и послушать двух знаменитостей из местных товарищей по профессии. Один из них, защищая какого-то мещанина от обвинений в краже тулупа и объясняя значение косвенных улик, ссылался не только на Бентама, Стерки и Вильяма Уильза, но даже на какое-то девятое филадельфийское или бостонское издание трактата об уликах американца Симона Гринлея.

По пути из суда Антон Львович посетил и земское собрание. Но и оно оставило в нем не лучшее впечатление. Он забрался на хоры и сел с упорною решимостью пробыть там до конца заседания. Терпения, однако, у него не хватило. Более часа он просидеть там не мог.

Прения собрания велись до того вяло и непроходимо скучно, что сами гласные дремали, а председатель, какой-то отставной с красным носом генерал, и прямо заснул.

— Каков наш парламент, — сказал, подсаживаясь к нему на хоры Фокин, — подумаешь, столпы отечества! А у каждого ноет мысль: батюшка, Сидор Федорович, когда же отпустишь нас водочки выпить да клубную кулебяку уплести.

— Всеми делами земства, — продолжал Фокин, — успешно и мирно заправляет у нас секретарь губернской управы, некий Агафонов, бывший что-то долго секретарем закрытого ныне приказа общественного призрения. Он знает все ходы и выходы, и все им тут довольны, а он уж и пуще того — второй дом строит.

Случился какой-то праздник.

Возвращаясь от Фокиных домой, Ветлугин у подъезда красивого новенького дома заметил особую суету. Щегольские кареты, коляски и пролетки то и дело высаживали у крыльца этого дома разных чиновных, торговых и иных тузов.

— Кто здесь живет? — спросил Ветлугин одного из кучеров.

Кучер презрительно смерил его глазами и, вынув изо рта трубку, нехотя ответил:

— Известно кто... Петр Иваныч Клочков...

— Что же это у него за съезд?

Кучер на это уже ничего не сказал. Ответил за него невзрачный и оборванный мужичонка, дровосек соседнего двора, под надзором сердитого и мрачного городового за какую-то провинность подметавший целую улицу.

— Вы про этот дом? — спросил он, косясь на плечи городового.

— Да, — ответил Ветлугин.

— Рождение грахва Клочковского, — сказал мужик, — краснокутская игуменья, значит, купечество и сам архиерей таперича у их сиятельства чай пьют.

«Вот оно что значит пятьсот тысяч! — подумал Ветлугин. — Уж и графом его величают».

XXXII

Тепличка

Перед отъездом от отца Ветлугин сходил в одну из банкирских контор, куда по переводу из Москвы Столешников выслал ему занятые у кого-то из доверителей деньги.

— Где отец? — спросил он Власьевну, возвратясь домой.

— Где? Известно — в теплице... цветы какие-то затеял еще с утра пересаживать.

Антон Львович вошел в тепличку.

— Что это вы, папенька? — спросил он. — К зиме готовитесь?

— Да, дружок, кое-что в новую землю переношу. То вон — гиацинты, нарциссы; а это — японская лилия, диво, братец, а не цветок. Пять целковых немцу в Гааге заплатил, по почте выписал.

— Я к вам с одной просьбой, — сказал, несколько помолчав, сын.

— С какой? — спросил, не переставая по локти возиться в черной, как пух, рыхлой земле, отец.

— Оставьте эти места и переезжайте жить со мною в Москву.

— Это на каком основании? — сморщив брови, спросил старик.

— Видите ли... Что так-то жить нам все порознь? Право... Вспомните: в ожидании успеха от затеянной вами конторы, я был когда-то готов поселиться в этих местах и работать вместе с вами. Контора не осуществилась... Зато

мне удалось устроиться в Москве. Отчего бы вам теперь не жить и... не трудиться вместе со мной? Поверьте, рядом с моими занятиями и вы могли бы предпринять какое-нибудь почтенное дело, по душе...

— Например? — с горькой усмешкой спросил старик.

— Ну, вы могли бы заняться изданием учебников, пристроиться при каком-нибудь ученом учреждении, а не то и сами основать хоть бы контору нотариуса... Последнее занятие даже было бы как раз по вас. Вы — доброго, честного нрава, строго образованны, трудолюбивы и точны в словах и делах. Нотариальная контора, с человеком, подобным вам, во главе, — была бы находкой, кладом для всех.

Лев Саввич отставил цветочный горшок.

Покашливая и кряхтя, он пересел на выступ изразцовой печурки, устроенной в углу теплицы, а сына усадил на скамеечку, на которой сам перед тем сидел, и, отирая платком землю с рук и с колен, с нескрываемою досадой сказал:

— Послушай, Антон... Ты, видно, мало меня знаешь... Я никогда, слышишь ли? — никогда не оставлю этого города и этого угла... — Он указал пальцем на рассохшийся, запачканный песком и перегноем пол теплички. — И ты, я тебя прошу, не возобновляй более этого разговора... Я здесь состарился... Каждый год, месяц и час, каждое мгновение моей жизни связаны с судьбами этих мест.

Лев Саввич замолчал.

Руки его бессильно упали на колени. Лицо приняло суровое, полное безнадежной тоски выражение.

— В таком случае у меня другая к вам, папенька, просьба, — тихо и несмело подвигаясь к отцу, сказал Антон Львович.

— Говори! — не глядя на сына, сухо отозвался старик.

— Ваша решимость остаться здесь, верьте, понятна мне и дорога. Нельзя ее не ценить и не уважать... Я и сам бы... Ну, да что тут... О вашем переезде ко мне я заговорил единственно потому, что нас с вами на свете только двое... Притом же труд вместе... я думал, я хотел... И это еще может осуществиться, по крайней мере я не теряю надеж-

ды... — Голос Антона Львовича дрогнул и оборвался. — Словом, — сказал он, подавляя слезы, — вот, папенька, деньги... Но это еще не все, не все... Я вам вскоре еще вышлю, к Новому году вышлю или весной... Прошу принять это... И так как вы решились остаться здесь, то теперь же и приступайте к открытию задуманной вами общеобразовательной школы...

Лев Саввич взглянул на сына и денег не взял. Но в лице Антона Львовича в это мгновение выразилась такая любовь к отцу и такая мольба о согласии на его просьбу, что старик молча склонился к сыну, припал головой на его плечо, и только тихие, горячие слезы, хлынувшие из глаз отца, показывали, с каким восторгом он принял нежданный и так кстати предложенный ему подарок.

— Ну, Антонушка, — проговорил он наконец, придя в себя и громко, неестественно сморкаясь, — спасибо тебе! Вот одолжил... Я теперь дважды родился: один раз — там, давно, шестьдесят, что ли, лет назад, а другой раз — сегодня... Да, вот так сын у меня... да... Теперь ты, мой друг, увидишь, что и как я сделаю на этот капитал... А эта лилия надолго мне будет дорога. С нею будут связаны мои лучшие воспоминания о тебе...

Лев Саввич встал, бережно отставил в сторону пересаженный цветок, еще раз крепко обнял сына и, повеселевшими глазами глядя вокруг себя, бодро вышел с ним из теплички.

Через два дня у Льва Саввича был званый вечер.

В ярко освещенном кабинете сидели кое-кто из духовенства (в том числе разминувшийся с Антоном Львовичем и опять приехавший в город отец Адриан), два-три соседних домовладельца из купцов, Фокины и несколько молодых представителей местного учебного мира.

После долгих прений и споров на этом вечере был обсужден и всеми одобрен составленный Львом Саввичем план начальной школы для приходящих бедных детей.

Антон Львович по просьбе отца отсрочил свой отъезд.

Разрешение на открытие школы было получено не без затруднений. Антон Львович для этого ездил к инспектору училищ, к полицеймейстеру и губернатору. Сносились для того почему-то депешами с начальником учебного округа и даже с Петербургом.

Для школы в ближней улице было нанято опрятное, теплое, хотя и незатейливое помещение. «Храмина созидается, храмина!» — радостно шептал Лев Саввич сыну, возясь с покупкой мебели, книг и прочего.

Антон Львович не раскаялся, что остался так долго у отца. Он имел удовольствие присутствовать не только при основании, но и при самом открытии школы.

Лев Саввич был наверху блаженства и положительно ног под собою не чувствовал.

Куда делась его старческая слабость, куда делся пасмурный, ворчливый и угнетенный вид! Он помолодел на десять — пятнадцать лет, ходил бодро, говорил с жаром, суетился, ездил к учителям, по начальству и в лавки. Та же была обстановка в доме, те же стены, мебель; но теперь другой человек жил здесь, и будто все для него дышало и звучало новым.

— Увидишь, Антонушка, увидишь, — твердил он, — одна-другая такая школа, и общество одумается, выйдет на настоящий путь... А ты еще сомневался, глядя на меня!..

Устроив отца, Ветлугин, наконец, себе сказал, что ему более здесь делать нечего, и через день, через два решил обратно ехать в Москву.

Накануне отъезда он обедал у Фокиных.

— Вы — маг, — сказала ему в конце обеда Афросинья Адриановна, — вашего отца положительно теперь не узнать.

— Маг-то он маг, — перебил жену Фокин, — только отчего бы и самому Антону Львовичу не перенести сюда хоть бы и своей адвокатской деятельности?

— Что же, я не теряю надежды! — ответил Ветлугин, окидывая радостным взором счастливые, разгоревшиеся лица хозяев и миловидные рожицы, ехавших тут же, верхами на

стульях, в Москву их детей. — Что и говорить... Уж как хотелось бы пожить с отцом на закате его дней... Да и вообще здешний край... родина... Подыскивайте мне дело. Попадется в этих местах подходящий процесс — давайте знать; я охотно возьмусь за него. А там, смотря по ходу дел, и совсем, может быть, разобью здесь свою палатку...

«А об Аглае и не вспоминает! — взглядывая на Ветлугина, подумала Фросинька. — Неужели он ее забыл?»

Фокину принесли из банка бумаги. Он извинился и ушел с ними в уго́льную.

— Афросинья Адриановна, — тихо сказал, подсаживаясь ближе к Фросиньке, Ветлугин, — скажите, как поживает... вы ее видели... вы ее нашли?..

Фросинька обомлела. Широко раскрыв изумленные, кротко вопрошающие глаза, она несколько секунд не могла проронить ни слова.

— Вы об Аглае? — наконец проговорила она. — Так вы о ней помните, вам она по-прежнему дорога́?

— Фросинька, голубушка, милая! — не выдержав и совершенно забыв, с кем говорит, вскрикнул и двинулся к ней Ветлугин. — Убейте меня, растерзайте, только скажите, увижу ли я ее и выйдет ли она когда-нибудь из монастыря?

— Что вы, что вы, успокойтесь! — отшатнулась от него в угол дивана Фросинька. — Как ей теперь выйти? Это невозможно... ее не выпустят.

— Ну, поезжайте к ней, просите ее, молите — пусть отдаст все, что имеет, монастырю, коли в ней нуждаются! Пусть только бросит его и возвращается в свет.

— Жаль мне вас, Антон Львович, но, повторяю, этому не бывать...

— Да отчего же? Разве души в ней нет? Ведь она гибнет... Голубушка, Афросинья Адриановна... Извините, извините меня — я сам не помню, что говорю... Я — безумец...

Ветлугин еще хотел что-то сказать, но ухватился за голову, закрыл лицо руками и молча выбежал из квартиры Фокиных.

Вечером он прислал Афросинье Адриановне письмо, извиняясь, что под влиянием предстоящей разлуки с отцом наговорил ей много лишнего, а отцу объявил, что утром окончательно уезжает.

Новое расставание с отцом и с родным краем сильно заботило Ветлугина.

«Все счастливы по-своему, все полны отрадной хлопотни, надежд на близкое и далекое счастье, — думал он, облокотясь о подушку и вслушиваясь в шум и гул городских улиц. — Один я все еще на распутье; один я не имею твердой почвы под ногами... Те же тщетные усилия, холод и сухость одиноких, ни с одним горячим, близким и любящим сердцем не разделенных забот...»

В мыслях Ветлугина роились впечатления пережитого, картины прежних и теперешних Дубков, образы Аглаи, Столешникова, Фокиных и их детей.

«Да, — повторил сам себе Антон Львович, — все заняты по душе, все копошатся, тащат пылинки, воображая их бревнами... Один я все еще — кимвал брящающий, медь звеняща... Умру — что пользы было в моем существовании? Миллионы Ветлугиных, миллионы мошек рождаются и умирают без следа. А другие, не Ветлугины? Чем они похвалятся?.. Нирва́на, нирва́на — угасание, примирение всех и всего в небытии...»

Что-то робкое, молящее о жизни, о надеждах на жизнь, тихо прильнуло к груди, к сердцу Ветлугина. Он невольно вздрогнул, повел перед собою руками. Никого... Мертвая тишина!.. Только слышно, как сердце мерно колотится в груди.

Ветлугин встал, зажег лампу, взглянул на часы, взял перо и сел писать.

Первые попытки ему не удавались. Он начинал и опять разрывал написанное. Прошло более часа. Он принялся ходить взад и вперед по комнате. Отворил форточку. Светлое здешнее небо широко раскидывалось над стихшим городом. «Где-то она?» — чуть слышно прошептал Ветлугин, глядя в окно... На него повеяло чем-то нежным, опьяняющим, ду-

шистым... Он оглянулся: на столе стоял, не замеченный им до того, горшок с цветком. Лилия, пересаженная Львом Савичем, пышно расцвела за эти дни, и старик с вечера перенес ее в комнату сына. Ветлугину вспомнилась ночь на станции, беседка в саду Дубков... Он опять сел, уронил голову на знакомый с детства гимназический столик, пробыл в полузабытьи с четверть часа, схватил перо и, с горькой усмешкой сказав себе: «Да! я любил эту странную девушку, я верил ей!» — написал следующее письмо:

«Аглая Кирилловна! По всей вероятности, вы удивитесь, может быть, останетесь даже недовольны, увидев, кто к вам пишет это письмо. Что делать... Иногда люди поступают вопреки собственным убеждениям и желаниям. Я же, сверх того, действую так теперь еще и под влиянием некоторых совершенно случайных и даже посторонних обстоятельств. Итак, к делу. Три года назад мы с вами встретились и расстались навсегда. Я думал, что в жизни мне уже не представится случая с вами говорить. Вышло иначе. В прошлом месяце я прибыл в этот край с целью проведать своего отца, но — каюсь — не утерпел и мимоездом заглянул в Дубки. Не скрою от вас: я вспоминал вас там на каждом шагу, вспоминал и — простите за откровенность — невольно осуждал. Чем вы были до выбора печального жребия и чем стали теперь?.. До мгновения, в которое вы окончательно и бесповоротно решились выполнить так рано и так опрометчиво данный вами обет — ваша совесть, ваши помыслы и все ваши поступки были чисты, без упрека и без греха. Теперь вы — грешница, мало того, вы теперь — почти преступница... О! не бросайте этого письма, если оно вас огорчит, прочтите его до конца и не старайтесь объяснить моих слов безумием, дерзостью или недостойным желанием вас обидеть. Против той, кого я так искренно и так сильно когда-то полюбил, не будешь ни дерзок, ни мстителен, ни зол. Я могу вам сказать только правду, вылить перед вами свою душу...

Аглая Кирилловна! Оглянитесь на себя и оцените, взвесьте все, что вы сделали за это время. Ваш отец до вашего поступления в монастырь был по-своему спокоен и

счастлив. Он отрадно и тихо доживал мирный век в устроенном им мирном углу. А теперь где он и что с ним?

Далее — ваша собственная жизнь. Не знаю, нашли ли вы в вашем тихом и запертом от веяний мира пристанище тот невозмутимый, тот душевный покой, которого ищут все, мечтающие о подобных местах? Не стану спорить о том, что обыденный, простой и скромный мирской труд и простые, житейские заботы о близких к нам и о их насущных, кровных нуждах, по-моему, во сто крат выше иной, хотя бы самой искренней молитвы о тех же близких. Убеждения могут быть разные... Но я не могу не передать вам, Аглая Кирилловна, того, что я своими глазами увидел и своими ушами услышал в дорогом мне по воспоминаниям имении вашего больного и всеми — боюсь прибавить, даже и вами — забытого отца.

До вашего поступления в монастырь имение вашего отца если не было в особенно цветущем положении, то не было разорено... Ваши былые крестьяне, по разным причинам, если не видели полного обеспечивания тех или других своих нужд, то не были и бездушно угнетаемы. Теперь ваше имение — знаете ли вы это? — пустыня... Дом и некогда так взлелеянный вашим отцом сад — могила... Ваши былые крестьяне обеднели. Скажу более: они теперь — почти нищие. Вы, может быть, не поверите, но у них нет к наступающей зиме ни дров, ни сносной одежды, ни хлеба детям, ни корма для уцелевшего от падежа скота. Договорю ли остальное?.. Ваш опекун довел их всевозможными притеснениями до того, что они, случайно проведав о моем пребывании в Дубках и о моем адвокатском ремесле, явились ко мне в вашей усадьбе с просьбою взять их защиту — против кого же? — против вас... Я им дал слово ходатайствовать за них и выполняю этим письмом свое обещание... Это ли та награда, которую вы думали заслужить принятым на себя, никому не дорогим и никем не оцененным подвигом?

Таким образом, вы нехотя нравственно убили отца, привели в запустение ваш родной угол и погубили собственную молодую жизнь. Кончаю еще одним и последним горьким

признанием... Судьба, вероятно, имела глубоко разумные виды, если нас с вами — я ли это говорю? — вовремя тогда развела... Мы, надо думать, не были бы счастливы друг с другом по разности наших нравов и убеждений. Оно, правда, жизнь для вас и для меня — не наслаждение, а подвиг. Но я стою за подвиг — во имя прав и потребностей своей жизни. Вы же нашли подвиг там, где, по-моему, жизнь кончается и начинается царство смерти...

Прощайте и не поминайте лихом. Простите меня великодушно за эти слова. Я должен был их сказать и, если бы их не сказал, я не был бы достоин того внимания, которым вы когда-то меня дарили». *Приписка*: «Еще хотелось мне вам сказать несколько слов... Но для чего? Не все ли равно?.. Ах, Аглая, Аглая!.. Неужели?.. Нет, довольно... Прощайте. А. Ветлугин».

Антон Львович выехал, как и решил, на другой же день. Провожали его отец и Фокины. Письмо к Аглае он думал переслать по почте. Но, боясь, чтобы оно не пропало, он передал его на прощанье Фросиньке с просьбою переслать его при случае в монастырь.

— Однако загостился ты у своего Цинцинната! — ворчал, встречая Ветлугина на московской станции, Столешников. — Уехал на неделю, а пробыл там месяц...

— Особого ничего не случилось без меня; из-за чего же было торопиться?

— Как не случилось? Сколько выгодных предложений пропущено! Сколько блестящих речей за тебя другие сказали... Вон от одной, что Птицын произнес, до сих пор газеты, как в чаду...

— Пусть их в чаду. На нашу долю еще станет.

— Ну, а выгоды, выгоды? На днях одно дело предлагали, да какое? Я чуть волос не рвал с досады, что тебя не было здесь. Потом с родины тебя обогнала депеша...

— От кого?

— Фокин телеграфирует... Две некие девицы, как, бишь, их?.. Да! Ченшины... Дело о злоупотреблениях опеки, разорившей огромное имение их малолетнего племянника. И Фокин непременно советует тебе взять этот процесс...

— Но против кого дело?

— О, ты не ожидаешь... зверь выслежен красный... Представь — против Петра Иваныча Клочкова...

Ветлугина бросило в холод и дрожь.

«Уж не о друге ли Вечереева, Ченшине, идет дело?» — подумал он.

XXXIII

Тихое пристанище

Часть высокой каменной стены, окружавшей церковь и кельи общежительного Краснокутского монастыря, одной стороной примыкала к проезжей нагорной дороге, а другою к оврагу, по которому весной с шумом сбежали воды и за которым начинался сплошной, венчавший обительскую гору лес.

На площадке, внутри стены и несколько поодаль от других домиков, была построена каменная, в один ярус, просторная и под железом келья Ульяны Андреевны Вечереевой. Много труда и забот положила Ульяна Андреевна на построение этого уютного и снабженного всякими удобствами жилища. Здесь она думала в мире, тишине и молитвах, с ненаглядною своею Алинькой прожить долгие годы, дождаться принятия дочерью, «последования малыя схимы», то есть окончательного пострига, а там — может быть — и счастья увидеть Аглаю во главе обители, преемницей матери игуменьи Измарагды.

Келью три года назад начали строить в июне и кончили в одно лето. К зиме Ульяна Андреевна уже поселилась в ней, на своем собственном хозяйстве. Как игуменья, так и все монахини наперерыв старались угождать барыне и барышне Вечереевым. В свободные часы, навещая их и работая

или беседуя с ними, они предупреждали малейшие их желания и не могли достаточно налюбоваться чистотою, опрятностью и убранством их небольших теплых и светлых комнат.

«Сейчас видно барыню знатную, негордую и щедрую! — говорили об Ульяне Андреевне захожим богомольцам внимательные инокини. — В одно лето сударыня поставила экой дом-от и ничего на него, как есть, не пожалела... Цветов из своих теплиц навезла, мебели из деревенского дома, ковров, посуды и всякого добра... Всю дочкину пчелу также сюда перевела, — шутка ли, до полтысячи колодок... Образницу в своей спальне устроила такую, что хоть бы в часовне ей быть не стыдно... В обительскую казну вклад за себя и за дочку, по своим достаткам, вызвалась внести... А помрут, и дом ихний, и все навезенное сюда добро на обитель же, обещают, останется...» Богомольцы, крестясь и вздыхая, в умилении поглядывали на новенькую вечереевскую келью и разносили об ее обитательницах хвалебные вести.

Поселясь с матерью в монастыре, Аглая мало-помалу стала привыкать к тяжелому принятому на себя новому роду жизни. Образы прошлого незаметно побледнели, ушли в темную даль. Душевная рана стала заживать. Строгие, внутрь себя глядевшие глаза внимательнее и приветливее начали смотреть на окружающее. Только ее лицо подернулось желтизной и стало как бы еще холоднее, осунулось и точно окаменело. Ни улыбки, ни упрека, ни малейшего раздражения не было видно на этом лице. Одна твердая, спокойная и непреклонная решимость выражалась на нем. Без ропота и без мысли об утомлении, несмотря на слабость здоровья, отстаивала Аглая ранние утренние и поздние ночные бдения: ектении с кафизмами, седальными, полиелеем и катавасиями, литургии с антифонами, тропарями и кондаками и вечерни с паремиями и канонарханием подобных, самогласных и богородичных стихир.

Как редкая не только из новоначальных, но и давнишних белиц, Аглая беспрекословно выполняла все обительские уставы и послушания: была уважительна к старшим, ласкова и внимательна к младшим. Идя зачем-либо к матери игу-

менье, она с покорностью творила иконам, а потом и ей положенные поклоны, становилась у порога и с опущенными глазами, молча ожидала ее наставлений и приказаний.

Все монастырские власти, мать игуменья и мать казначея, мать регент и мать секретарь, с соборными старицами, клирошанками и всякими обительскими подручницами, не знали, как нахвалиться Аглаей. «Это — не малосхимница, а великосхимница!» — говорили об Аглае в Красном Куте.

Собираясь к Ульяне Андреевне утром в праздники или в будние вечера «посумерничать» да в тихой беседе испить дорогого и душистого барыниного чайку, с изюмом и мягкими тминными булочками, а не то и с винцом, — суровые и постные инокини, мало-помалу оживляясь, откидывали с седых лбов воскрылия камилавок — «плат; еже имать покрывало, сиречь шлем надежды спасения» — и, утирая платочками вспотевшие и раскрасневшиеся лица, добрыми отзывами об Аглае утешали нежное сердце Ульяны Андреевны.

— Вот, сударыня матушка, — говорили они, перебирая кипарисовые, терновые и янтарные четки и большим, мерным крестом крестясь на богатую, серебром и золотом в опочивальне Ульяны Андреевны горевшую образницу, — дочь-от у тебя всей нашей обители краса... Ни с кем-то она, душевная, не спорит и ни с кем-то не сварится. Послушлива к старшим, независтлива, несмутьяна и незлоязычна — а уж кротка, кротка! — и о красе своей ничуть не думает...

— Ну, где уж там красота! — неохотно открещивалась Ульяна Андреевна.

— Ах, нет. Не говори, матушка, не говори, хороша она, ах, как хороша!.. На молитву ли станет, канон ли Богородице читает, аки негасимая свеща по покойнику стоит, не оглянется. В рукодельной али за трапезой — слов ее не слыхать, точно воробынька под дождем-непогодою, нахохлясь, сидит, перынькой не поведет... А как в писании притом начитана, увы нам, увы, да и полно! — даром что молода.

— Много благодарны за похвалы, не стоит Аглаюшка! — с притворным смирением кланялась Ульяна Андреевна.

— А голос-от каков у твоей дочери! — не унимались инокини. — Запоет на клиросе херувимскую ли тебе, «Свете тихий» ли, «Да исправится молитва моя» заведет, так куда тебе и мать Флавиана, — весь хор как есть соловушкой покрывает... Да вот еще: демественному, старогреческому пению обучена... И где ты, матушка, выхолила, вырастила ее таким херувимчиком, в такой тихости да святости, середь грешного мира так ее воспитала?

— У матушки Сусанны в обители первый наказ нам дали! — отвечала Вечереева.

— То-то, видно, что Богом хранимая там обитель, — продолжали старицы, — у нас не то... Вон и старше твоей дочушки, девки наши — Варварушка да Лушенька, а куда им! Мир обуял... хи-хи да ха-ха!.. барабаны в голове... Намеднись матушка игуменья уж их, пучеглазых-то, за нескромные речи да за пересмешки началила, началила, на поклоны обеих чернохвостниц за трапезой, при всех, в который раз ставила, стыдила... А твоя... точно манатейная... Ну, да что и говорить!.. Уж и грех-то любоваться земною красой, человечью персть при жизни возносить, — вот какой грех!.. А не утерпишь, не отгонишь искушения, на твою-то, сударыня, касатку, на белую лебедь, Аглаюшку, глядючи... Ангел херувимский, да и того ей мало...

— Помоги вам Господь, Мать Царица небесная, за ваши приветы да за ласки! — заключала эти отзывы Ульяна Андреевна. — Аглая у меня дочь, надо правду сказать, добрая и покорная... Одного боюсь, матери, одного: слаба она что-то становится здоровьем, да и я вот сама, по моим грехам, все хвораю, хилею... Ох, недолго мне прожить с нею, недолго радоваться на нее. А уж чтоб дожить до того счастья, как она совсем Христовою невестой станет, так я и не думаю. Сподобится же она этой Божеской милости, и я за нею тут навеки останусь...

— Молись, матушка сударыня, молись: Господь праведные молитвы услышит и сподобит тебя дождаться всего, чего ты себе и ей желаешь...

Так толковали сердобольные инокини с Ульяной Андреевной.

Но не сбылись их утешения. Ульяна Андреевна, перейдя в новопостроенную келью, прожила в ней зиму, весну и лето, а осенью, в начале второго года своего пребывания в этом монастыре, простудилась под дождем и ветром на похоронах игуменьиной тетки, глухой ключницы старицы Платониды, заболела горячкой и, несмотря на все старания дочери, окрестных врачей и всей обители, умерла...

Безропотная твердость и преданность воле Провидения, с какими дочь вынесла эту роковую, нежданную для всех потерю, еще более возвысили Аглаю в глазах целого монастыря. Ее здоровье, начинавшее и без того слабеть, было теперь вконец потрясено. Тем не менее она не упала духом, не сломилась. Бледная, с выпрямленным станом и крепко в похолодевших руках сжимая поминальную свечу, Аглая молча и без слез выстояла последние погребальные молитвы. Не спуская глаз с изможденного болезнью, сурового и как бы кому-то даже из-за могильного мира грозившего лица покойной матери, она думала про себя: «Боже, какое горе, какой страшный удар! Но, вероятно, так надо; на то воля свыше...»

Дождавшись мгновения, когда носильщики, при блеске свеч, в ладанном курении, собирались наглухо заколотить крышку черного гроба, Аглая тихо подошла к усопшей родительнице, положила перед нею последние прощальные поклоны, обняла ее, вынула из кармана ножницы, захватила у себя рукой крупную косму пышных, отраставших волос, отрезала ее, положила на грудь матери, прошептала: «Видишь, видишь, родная? Я...», — хотела еще что-то сказать, но пошатнулась и без чувств упала на руки подоспевших к погребальному катафалку монахинь.

Смерть матери не нарушила ничем обычного внимания и добрых отношений к Аглае обитательниц Красного Кута. Напротив, ласки игуменьи и остальных инокинь к ней после этого печального события даже усилились, хотя она сама

этого и не замечала. Да и не до наблюдений ей было теперь, в полной нового, неисходного горя жизненной поре...

Вслед за похоронами матери она сама так занемогла, что прохворала всю осень и часть зимы и окончательно оправилась только к весне третьего года своего пребывания в монастыре.

Жила Аглая в той же, построенной матерью келье. Прислуживала ей, по выбору игуменьи, то есть убирала ее и ее комнаты немолодых лет белица из монастырских чернорабочих. Эта служка была до крайности хлопотлива и добра, но в высшей степени беспамятна и даже глупа. Для особой же охраны и для поддержания в Аглае решимости навсегда посвятить себя монастырю вместе с нею, заботами матери Измарагды, была поселена одна из старейших и смиреннейших инокинь, особо чтимая за чистоту нрава, но страдавшая удушьем мать Асенефа. Заходили, впрочем, навещать Аглаю, хотя урывками, за делом или в праздники, и некоторые из послушниц, в том числе внучка матери Асенефы, Варварушка, и та самая Лушенька, которая когда-то от нее и от покойницы ее матери отнесла Ветлугину известные ответные письма. Обе эти белицы, Лушенька и Варварушка, были, как и Аглая, клирошанками, то есть состояли в хоре, а потому никому и не было в удивление, что, переписывая ноты или разучивая новые песнопения, они заходили к Аглае и порой подолгу просиживали у нее.

С первым весенним теплом силы Аглаи стали понемногу, но заметно восстанавливаться.

«Что так-то сидеть взаперти? — раз в ясный мартовский день, подумала она. — Пойду разомнусь».

Благословясь у матушки игуменьи, она, как пчела, вынутая из душного погреба, несмелою поступью, пошатываясь, направилась в безлистный и еще пустынный сад, а оттуда в рукодельную. Белицы, давно не видевшие ее и, по обыкновению, работавшие в ту пору — кто восковые цветы, а кто фольговые ризы на образа, — встретили ее ласковою, веселою улыбкою.

— Эк, глазыньки-то у барышни подтянуло, туманом заволокло! — говорили, приглядываясь к ней, молодые послушницы. — А белы рученьки захудали, щеки осунулись, плечики, что у малого ребенка, запали...

Аглая улыбалась на ласки сестер, силилась и со своей стороны сказать им доброе слово, пыталась и сама взяться за общую работу. Но еще сил не хватало, кружилась голова, и работа падала из рук.

«Весенним воздухом, что ли, пахнуло на меня?» — подумала она и не спеша возвратилась к себе в келью.

«Добрые они какие! — рассуждала она, останавливаясь на крыльце. — Но все ли они добрые? Может быть, и не все... Да мне-то какое дело? Но отчего же они так ласкаются ко мне, берегут меня, услуживают мне нарасхват?»

Тут только, невольно для нее и необъяснимо почему, вспомнилось Аглае, что когда она сутки назад впервые после болезни вошла к игуменье и, сотворив наперед уставной поклон, подошла к ее благословению, — в строгих и до того времени всегда к ней внимательных глазах игуменьи блеснул какой-то странный и будто враждебный к ней огонек... «Мне так показалось!» — подумала она тогда, тем более что мать Измарагда вслед за тем как бы одумалась и приняла ее отменно радушно и тепло.

На лицах двух-трех стариц, под надзором которых в рукодельной в то утро работали обительские послушницы, Аглая также приметила некую особую, дотоле невиданную ею черту. Эти лица будто говорили: «Да, вот она, богатенькая!.. Как ее встречают и величают... Посмотрим, однако, долго ли будут тебя пестовать да чествовать?..»

И протянулось это, действительно, недолго.

При жизни матери Аглая не знала, как отделаться от общих, охотно предлагавшихся ей услуг. Ей и шубку на плечи при выходе от матушки Измарагды или с церковной службы накидывали, и теплые сапожки надевали ей на ноги во время великопостного всенощного стояния на холодном церковном полу. Она видела эту заботливость и это внима-

ние, и они ее не тяготили. Теперь было не то. Правда, хилой и слабой Аглае приносили особо изготовленные кушанья; по два раза на день Лушенька и Варварушка забегали к ней от игуменьи узнать о ее здоровье; дворовые служки усыпали у ее крыльца песком, и пушистый игуменьин коврик не раз подстилался ей в церкви на клиросе. Но во всем этом, неведомо ей самой — почему, сказывалось что-то подозрительное и неискреннее. «Да ведь они охотно же все это делают! — упрекала она себя. — Не они, а я, неблагодарная, гордая, не искренна...» И Аглая давала себе клятву: быть еще добрее и достойнее расточаемых ей ласк.

— Ты, матушка барышня, в сорочке, видно, родилась, — говорила ей ее сожительница, мать Асенефа, — тобою здесь не надышатся, на тебя не наглядятся.

И в самом деле: суровая купеческая вдова, мать Анфия, несла ей крынку свежего, густого молока от игуменьиной коровы; зубастая и всех бранившая новая ключница, старица Еликонида, несла лукошко грибов, кем-то подаренных настоятельнице, или миску яиц из-под собственных Еликонидиных хохлаток. Аглая щедро всех отдаривала, но те от ее подарков отказывались.

«Что за притча!» — думала она и не находила разгадки своим сомнениям.

— Отчего они ничего от меня не берут? — спросила она как-то свою прислужницу.

— Сама заказала... матушка игуменья! — простодушно ответила работница.

— Но отчего же? Разве я зачумленная какая?

— Махонького не возьмут, больше, гляди, сташшуть! — во весь рот осклабясь, сболтнула глупыш-работница.

«Искушение, искушение, — творя крестные знамения, шептала Аглая, — верно, так следует меня смущать... Надо покориться, надо терпеть...» Она клала земные поклоны, усердно молилась и старалась не думать о том, что видела и слышала.

Дни шли за днями. Силы Аглаи восстановились. Она понемногу опять вошла в отправление положенных уставов и об-

рядов... Но прежнее спокойствие к ней уже не возвращалось. Вопреки собственному желанию, она с каждым днем пристальнее взглядывалась в окружающее. «Да что же это значит? — беспрестанно спрашивала она себя. — Господи, дай мне силу побороть мои сомнения, мои грешные мечты!..» Сомнения и странные, дикие грезы то и дело приходили ей на ум.

Стоя на клиросе или по очереди за трапезой читая вслух положенный канон, она пугливо взглядывала по сторонам, тихо крестилась и старалась сообразить, где она и что с нею?.. Да неужели она в самом деле находится в этом монастыре? И неужели все то, что говорилось, читалось и делалось в нем, исполнялось по обету Господа, для врачевания и спасения души?

«Царство Мое не от мира сего...» — раздавались в ушах Аглаи слова Спасителя. А между тем эта огражденная каменной стеной, суровая и строгая обитель, это «тихое пристанище» немолчных молитв, покаяния и поста, как убедилась Аглая, был тот же мир, то же поприще соблазнов и всякой житейской суеты. Она глядела вокруг себя и не верила своим глазам; прислушивалась к будничному говору и к толкотне обители и не верила своим ушам.

«Что пришла еси и чего ищешь здесь?» — спрашивал в присутствии Аглаи вновь принимаемых инокинь постригающий духовник. «Жития смиренного и постного, спасения от мира и грехов его ищу!» — отвечали постригаемые черницы. Выходило же наоборот. Препоясавшие свои чресла силою высшей истины во умерщвление грешной плоти — служили той же плоти, как и остальные миряне. Давшие тяжкий обет «злопострадати за Христа» и, как оные древние подвижники, «алкати, жаждати и нагствовати, до последнего часа, во имя Его» — сытно ели, сладко пили и одевались не только в теплые, но даже в изысканные одежды, не хуже прочих мирян.

Чтобы не видеть этого, Аглая в свободные часы чаще и чаще запиралась в своей келье и молилась либо читала вслух старице Асенефе «Письма Святогорца» или сказания о подвигах Антония великого и Феодосия Печерского. Но та же

хворая, вечно кашляющая мать Асенефа выслушивает ее, подопрет лицо кулачком и, зевнув, начинает жаловаться на оскудение достатков и доходов монастырской казны. «Миновали красные годы, вымерли знатные печальницы да вкладчицы нашей честной обители! — причитывает, перебирая четки, старая Асенефа. — Была генеральша Асавулова, да купчиха Караулова... Каждый год покойная настоятельница, мать Назарета, да поначалу и нонешняя игуменья, получали в дар от них то деньги, то целые обозы со всякими припасами, с хлебом, с рыбою и бакалеей. А теперь, как померли те радельницы, оскудела наша трапеза, божьими сиротами мы стали... Ни ухи со сняточками да с малосольной белужинкой, ни зернистой икры, ни пирогов с вязигой да с осетровыми молоками... Ахти-хти!.. надоели, барышня, оладьи да грибки, ох, надоели! Когда б рыбки нам али балычков!»

— Да ведь ты грешные мысли мыслишь, — говорила на это своей сожительнице Аглая, — разве так жили отшельники в старину? Ты ж сама говорила мне, как их тело от глада, молитв и труда бденного просветило во тьме...

— То, сударыня, было во́на когда. Мы — не египетски и не ливийски пустынники... До Харитония Ферранского да до Макария Александрийского нам далеко... А попрекать тебе меня, старуху, и не следовало бы, вот что! Одно — грех, а другое и стыдно. Я и сама, раба, знаю, как и что...

Раз — был уже апрель на дворе — Аглая отворила окно в сад с целью подышать свежим воздухом. А на завалинке, невдали от ее спальни, сидели и не приметили ее две строгие «манатейные старицы», мать Евстолия и мать Эмерентиана. Они спорили в это время о том, сколько денег в последнюю дележку, из кружек. досталось на долю каждой из них. И в окно, против воли Аглаи, стали отчетливо долетать задорные слова неподатливых в споре стариц.

— Я ж тебе говорю, что так! — уверяла, сердясь, мать Евстолия.

— А я говорю, вовсе не так! — перебила ее мать Эмерентиана.

— Да ты, матушка, ошалела, что ли? — сверкая злющими, бегающими глазами, восклицала первая. — Вот, я те, грабительку, на весь мир обнесу...

— Не я ошалела, а ты! — задвигавшись по завалинке и размахивая рукавами рясы, не отступала вторая. — Ты с христопродавицей, с прежней-то игуменьей, святым духом, что горохом, привыкла торговать. Оттого все у тебя и грабительки да утайщицы монастырской казны...

— Что, что?..

— А то, что ты будь довольна часовенным да колодезным сбором, а лапищ своих в соборные кружки не суй... Рыло нечисто... Была бы я игуменьей, задала бы тебе на орехи-то...

— И, матушка, — заключила Евстолия, — не всяк игумен, кто зво́нок, как бубен... И черт на старости в монахи пошел, да, слышь, не приняли...

«Боже мой, Боже, я ли это слышу? С нами крестная сила! Искушение!» — крестясь и в ужасе закрывая окно, шептала Аглая.

Искушение!.. Но оно повторялось на каждом шагу и во всем и всюду смущало и преследовало Аглаю. Сидела ли она за трапезой и в свой черед слушала чтение очередных монахинь, от аналоя раздавались слова покаяния и отчуждения от грехов, а сидевшие близ нее белицы весело шушукались, пересуживая старую и кровную распрю матери казначеи с продавщицей свеч, матерью Проклой, или рассказывая о смехотворной схватке и даже об обоюдном таскании за волосы старшей садовницы, старицы Максимиллы, и ее помощницы, румяной и дебелой белицы Параньки.

После обеда Аглая читала вслух матери Асенефе изречения суровых подвижников, вещавших своим ученикам: «Прошедший с женою поприще един, отлучается на семь дней». А едва Асенефа, крестясь, зевая и охая, уходила на лежанку, в свою боковушку, к Аглае врывались Варварушка

и Лушенька. Внося в пахнувшие ладаном комнаты запах свежего и весеннего вечера и ликование дышащих молодостью, румяных лиц, — ветреные зубоскалки затягивали унылую песню:

Не спасибо те, игумну тебе,
Не спасибо те, бессовестному,
Молодешеньку в монашенки постриг,
Зеленешеньку восхимиил мене...

— Полно вам, полно, — останавливала их, покашливая из-за перегородки, Асенефа, — цыц вам, оглашенные!

Но веселые белицы не унимались. Они рассказывали Аглае соблазнительный случай с кем-то из мирян, посетивших в последнее время монастырь, или о только что перехваченном любовном письме некой тихой и вечно молчаливой послушницы Софьюшки.

— А еще инокинями, непутные, зоветесь! — стыдила их из-за перегородки Асенефа. — Вот я матушке Измарагде расскажу.

— Пошла девка в монастырь, ох! да много холостых! — вздыхала, уходя от Аглаи, резвая и бойкая внучка той же Асенефы. — А вы, баунька, лучше молчите... курятинку ели в Богородичном...

«Нет, этого быть не может! — говорила себе Аглая. — Они шутят, клеплют на себя... Так невозможно... А если не шутят?»

Зашла как-то Аглая в прачечную.

Там в это время в больших плетеных корзинах лежало вымытое и только что выглаженное белье щеголявших одеянием, еще нестарых и некогда красивых матери казначеи и матери регента. Целые вороха тонких голландских сорочек, обшитых кружевами кофт, батистовых платков и узорных утиральников красовались на столах среди суетившихся и охавших с горячими утюгами монастырских прачек.

«Я — новопоставленная, еще не совсем монахиня, да, наконец, имею и богатого отца! — изумлялась Аглая. — А они? Они, давшие обет опоясывания вервием и ношения власяницы?

Что же это, в самом деле? И имею ли я право осуждать? Могу ли и смею ли видеть то, чего нельзя не видеть? И как забыть пример мученицы Евгении, не принявшей принесенных ей в дар на обитель серебряных сосудов?»

Немало смущала Аглаю и некая полковница Молокитина, в монашестве Агриппина. Высокая, худая, со впалыми щеками и плечами, страстная и бледная тридцатилетняя вдовушка, Молокитина без умолку бредила о любви. Молилась она по-русски, любовные грезы и сны рассказывала по-французски. Встретит где-нибудь Аглаю или зайдет к ней поправить прическу, одежду, страстно сожмет ей руки и начинает шептать жалобы. Чаще всего Агриппине снился странный, глубоко волновавший ее сон о каких-то петухах. «Придут это они, ма шер, — шептала она, — придут пятеро и смотрят с порога... В ярких перьях, огромные и с такими хвостами и глазами... Что вам нужно, молю их: que voulez-vous? А они смотрят и не отходят всю ночь, пока изною в страхе и в тоске...»

Томимая сомнениями и печалью за слабый, грешный мир, Аглая долго противилась искусу прямого обвинения. «То — другие, — рассуждала она, — не игуменья, не мать Измарагда! Мало ли какие вольности могут тайком позволить себе лица подначальные, вторые. Она одна на высоте обета, одна, как перл, недосягаемо блистает в этой среде...» Аглая верила в правдивую и гордую нравом настоятельницу, горячо любила ее и чтила. Но скоро и в ней, строгой и гордой, она сильно разочаровалась.

Мать Аглаи успела сдержать только часть обещаний, данных монастырю. На деньги, вырученные от продажи ее приданной вотчины, села Пряхина, она выстроила келью. Сверх того, по условию с опекуном мужниного имения, она обязалась ежегодно на жизнь свою и дочери вносить определенную помощь и от доходов с Дубков, что до ее смерти и выполнялось. Но едва она умерла, Клочков сообщил игуменье, что дела им опекаемых пошатнулись, что доходов почти нет и что все они тратятся на лечение и на приличное содержание Кириллы Григорьича. Условные пособия высы-

лать он перестал, а если и высылал, так небольшими частями, да и то когда ему вздумается.

Аглае этого не сообщали, зная, что, пока жив ее отец, она здесь ни при чем. От нее по возможности даже скрывали безнадежное и тяжкое положение, в котором находился Кирилло Григорьич. Боялись, чтоб она и остальных средств, высылаемых опекой в монастырь, не обратила на его излечение. «Я теперь — круглая сирота, — размышляла она, — что с того, что жив отец?.. Он, бедный, пока — тот же покойник... Его сберегают, лечат. Опекун пишет, что он ни в чем не нуждается, что скоро поправится... И слава Богу... А я? — слезы душили Аглаю. — Я — дикая, неласковая и застенчивая, — кому я мила и дорога?.. Что, если меня разлюбит и игуменья? О! как я порочна и полна грехов... Боже, дай мне силы сохранить к себе расположение этой высокой, этой достойной женщины!»

Как-то в конце апреля вышла Аглая в сад. Ей хотелось взглянуть на выставленных из погреба своих пчел. Сюда, на грядки огорода, была выслана гурьба обрадованных теплу белиц. Надзиравшая за ними инокиня, мать Ангелина, прикрыв от ветерка и солнца платком лицо, спала под забором. Работницы также отдыхали. Сидя под гудевшею от пчел и только что расцветшею яблоней и не приметив появления Аглаи, они судачили о том о сем и, между прочим, — почему так скучна с недавнего времени матушка игуменья.

— Как ей не печалиться, — говорила одна из белиц, расчесывая у себя на коленях густые русые волосы другой, — приняли эту барышню-белоручку, ждали от нее богатого взноса в обительскую казну, а та затесалась сюда да и ухом не ведет...

— Что ты, что ты! — остановила рассказчицу Варварушка.

— Как что? Давеча мать игуменья твоей же старой что отрезала? Долго ли, говорит, ты с нею вожжаться будешь? Пора и честь ей знать, — скажи, чтоб вносила вклад...

«А! так вот что! — подумала, прячась в калитку и сгорая от стыда Аглая. — Вот разгадка их ласк и

внимания. Завтра же пошлю за Клочковым и потребую от него присылки вклада».

Клочков по зову приехал, насказал Аглае с три короба любезностей, снова утешил ее насчет отца, но в деньгах отказал. «Вы, сеструнька, отреклись от мира, да и имение не ваше, а вашего отца, — говорил Петр Иваныч, — опека не признает подобного расхода! Да и что я отвечу Кирилле Григорьичу, как он, даст Бог, придет в себя? Будьте вы на моем месте, и вы бы так поступили...»

«Хорошо же, — решила Аглая, — пусть меня осуждают, пусть на меня клевещут! Я не поддамся и другим покажу пример». Она так и поступила — строго блюла все монастырские уставы и, рядом с последними служками, не отставала от общих обительских работ, лепила восковые цветы, переписывала крестьянам молитвы, кроила, гладила, шила и даже подчас, как последние послушницы, носила в келью игуменьи воду и дрова.

XXXIV

Искушения

В прежнее время Аглая была рада в свободное время подсесть к окошку или к растопленной печи и помечтать о прошлом, о былом. Теперь не то. Отрадные, тихие грезы перестали ее посещать. Она была неспокойна. Да и где быть душевной тишине. К Аглае чаще и чаще начали доходить пересуды о ней самой. Досужие языки, не стесняясь, распускали про нее разные слухи.

То говорили будто она светские книги, какой-то роман «Любовь мертвеца» читает. Старица Асенефа, вероятно по поручению игуменьи, в отсутствие ее перерыла у нее все шкафы, комоды и сундуки. А сама мать Измарагда за трапезой прочла всем послушницам по этому случаю строгое и назидательное внушение.

Потом кто-то пустил молву, что барышня Вечереева помадится и держит у себя тайком в шкатулке дорогие притирания и духи. Новый ряд иносказательных насмешек и новый обидный и бросивший ее в горькие слезы обыск.

«Надо терпеть, терпеть надо все, даже несправедливые нападки безропотно и твердо переносить! Мать Царица небесная, укрепи меня!» — говорила себе Аглая, с удвоенною силою кладя поклоны и ожидая, что вот-вот впереди для нее настанет некое светозарное утешение и она будет вознаграждена за все...

Она старалась молиться. Это было ее единственным утешением. Но и молитвенный жар вскоре стал ее покидать. Запершись в спальне, она, бледная, с исхудалым лицом и с заплаканными, покрасневшими от слез глазами, задергивала занавесы окна, зажигала перед киотом лампаду, опускалась на колени и шептала, шептала усердные, неотступные, горячие молитвы.

Но что это?

Стучат в наружную дверь. Видно, мать Асенефа возвратилась от внучки из общих келий. Надо ей отпирать. Нет, это не Асенефа. Прикрывшись платком, с надворья вбегает к ней дышащая здоровьем и силой, статная Лушенька. Что с ней, быстроокой и пылкой? И что она, непутная, шепчет, бросаясь к Аглае на шею? Смеется ли, плачет ли она? Горе или свою радость хочет ей излить?

— А ты, барышня, опять за слезами да за молитвой? — раскрасневшись, затуманенными, страстными глазами вскрикнула полногрудая Лушенька. — Брось, милая, брось! а ты отдохни!.. Али и вправду, сударушка, страха ради иудейска, извести себя так-то без толку хочешь? Спохватился монах, ан смерть в головах...

— Говори, Лушенька, что тебе надо? — нетерпеливо, но дружески, запирая двери, спросила ее Аглая.

— Как что?.. Нешто не в примету, не видишь?.. Весна проходит, маю скоро конец. Мать Царица Господня! Весело таково... Из саду бы не вышла... В лесу девки деревенски... парни песни поют. Обозы на ярманку день-денской под го-

рою идут — за воротами гомон подводчиков, бубенцы звенят. А мы тут-то сиднем сидим, взаперти вянем... Эх, девка! Ешь с голоду, люби смолоду; любить не люблю, отказать не могу... Слушай, барышня: убежим...

— Куда? — в ужасе спросила Аглая.

— Жизнь распроклятая, скука анафемская, ах, да и скука же, скука! — колотясь головой о стол и заливаясь слезами, вскрикнула Лушенька. — Что глядишь? Нешто не знаю, не помню, как твой-то ясный сокол сюда налетал, как от него я тебе записку носила?

— Какой сокол? Что ты говоришь? Не стыдно ли тебе?

— Мне стыдно, мне? — сверкая блуждающими глазами, продолжала Лушенька. — Ох! коли бы у меня в мошне да деньги, ни на что бы, кажись, я не поглядела. Ушла бы как есть в слободку, наняла бы повозку у мужика, да и — уехала бы к нему...

— К кому? — мертвея от ужаса, спросила Аглая.

— Не к твоему, не к твоему, не бойся. К чиновнику Суркову... Что глядишь? Нешто не знаешь? Мил да люб, так и будет мне друг, вот что... Любящих, барышня, и Бог любит... А уж красавец-то какой!.. Видех его, сатану; аки молнию с небес спадша, видех! да лобжет мя, яко опали меня солнце! — в забытьи шептала безумная Лушенька. — Только нет! видно, он — обидчик... Божился, лоботряс треклятый!.. Как только, говорит, получу место в конторе, так и приеду, и тебя, говорит, Луша, возьму... Что же ты, анафема, не едешь? Что ж, продова душа твоя, весточки о себе не подаешь? Лучше со львом али с тигром жить, чем с совратителем души... Ах, смерть-тоска!.. Тошнехонько, барышня, тошнехонько... Изныло сердце, истомили горючие слезы... И прости ты меня, сударыня, за мои глупые слова да за искушение... А не сказать про то, не облегчить души, так лучше камень на шею да в воду...

Лушенька, однако, не утопилась.

В теплую и тихую, полную душистой мглы июньскую ночь она неожиданно для всех исчезла из монастыря. Чиновник ли

сдержал слово и за нею тайком наезжал из города; сама ли она, списавшись с ним, сбежала к нему, — только незадолго до рассвета в овраге по взгорью мелькнула какая-то тень, по камням под обительской горой чуть слышно прогремели чьи-то колеса и шибко прозвучали копыта резвых лошадей. Игуменьиной келейницы, Лушеньки, в обители не стало.

Наутро бросились ее искать. Весь монастырь поднялся на ноги. Шарили по кельям, сараям, в церкви и в окрестном лесу. «Верно, провальем ушла!» — решили в обители, найдя кухонную лестницу за садом, у монастырской стены. Смятению игуменьи не было пределов. Но вскоре матери Измарагде было суждено испытать новую беду.

Вслед за бегством Лушеньки в городе, в каком-то трактире вышла история с двумя рясофорными прислужницами, ходившими неразлучно по градам и весям для сбора на обитель. В монастыре передавали шепотом, что их накрыли — страх и сказать! — в иноческом одеянии, в винной гульбе с гусарами... А через месяц неизвестно куда исчезла молчаливая и тихая Софьюшка, о перехваченной любовной переписке которой перед тем толковали целые полгода и отсутствие которой на первых порах более суток даже и не заметили. Монастырские прачки, спустясь к реке полоскать белье, нашли у берега ее всплывшее тело: Софьюшка утопилась... Верно, так на роду уж ей было написано: при прежней игуменье случилось несчастье и с ее матерью. Ту, вместе с другою монахиней, с которою мать Софьюшки возвращалась с поездки за сборами по добрым людям, какие-то бродяги в лесу ограбили и зарезали...

Все эти случаи навели такой переполох и такую огласку на обитель, что ее власти растерялись. Сперва щеголиха мать казначея, запросто парой, в тележке, а потом и сама мать Измарагда, в скромной кибитчонке монастырского попа, ездили в губернский город, где объяснялись и отписывались и, как было слышно, едва-едва успели отвратить от обители сильный гнев грозного и неослабного во взысканиях начальства. Даже в газетах что-то печаталось об этом монастыре. А секретарь консистории на вопрос своей жены: «Отчего

ты, Игнаша, так долго держишь матушку Измарагду? Пора и честь знать, сколько она, сердечная, нам перетаскала!» Ответил: «Держу? ну, пусть еще Бога милосердного благодарит... Другой бы и паллий, и параманд, и клобучец с нее за эти все дела-то стянул бы...»

Слушая тревожные толки матери Асенефы и других инокинь об этих происшествиях, Аглая старалась скорее забыть об этом и думать о другом. И никогда, ни прежде, ни после, так горячо и так долго она не молилась, как в те дни, когда обитель ходенем ходила от неожиданных, падавших на нее зол и бед.

Молилась...

Но разве это были те давнишние, так освежавшие и так поднимавшие ее душу молитвы? Что теперь они выражали для нее? Кладя несчетные земные поклоны и по несколько мгновений не отрываясь от пола и лежа на нем крестом, она старалась взывать к Богу о терпении, о силах и твердости в поднятых ею отшельнических трудах, — а ей вспоминался он... он, далекий, несравненный, правдивый и когда-то ей желанный...

Она вставала, выпрямлялась, устремляла испуганные, отчаянные взоры на ярко горевшие в богатом киоте лики святителей, — а оттуда, из серебра и золота, сквозь стекло, на нее смотрели его ласковые, просящие любви и ответа глаза, рисовалось его обрамленное темно-русой бородкой, загорелое и мужественное лицо... Она шептала канон святителю Антонию от наваждения нечистых помыслов, от искушений сатаны, — а ей сами собой припоминались стихи поэта:

Святым захочет ли молиться,
А сердце молится ему.

Ему и ему... Аглая гнала от себя набегавшие страстные воспоминания и соблазнительные, щемившие душу картины минувшего, — изнемогала, боролась, томилась. Она клялась отречься от жизни, от своей души, а в траве кишели муравьи, букашки, в воздухе стояли стон и звон от птичьих криков и пчел. И никому, ни одной душе она не открывала своих

помыслов, в гордом одиночестве молча и безропотно перенося непрестанно терзавшие ее муки. В бессонные, темные ночи, в слезах и в безумной, отчаянной тоске, она ломала руки, зарывала голову в подушки и, тихо восклицая: «Искушение, искушение! Боже, отжени его от меня!» — на несколько мгновений забывалась чутким, тревожным сном.

Неотвязчивые, палившие душу дорогие черты уходили далеко... Но опять, точно звук трубы, раздавалось в ее ушах: «Встань и смотри...» Она вставала в томлении и в бреду, раскрывала испуганные, лихорадочно блуждавшие глаза, устремляла их в темноту, и те же страстные грезы, те же обаятельно жгучие мечты проносились перед нею, мучили и чаровали ее.

Она припоминала имена угодников Божиих, мучениц Фиваиду и Евфразию, свое детство, бабушку Сусанну, советы матери, — ничто не помогало... Закрывала глаза, но опять...

Во мраке ночи
Пред нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал...

«Попрошусь у игуменьи в Парасковéевский скит; наши собираются туда», — говорила себе Аглая. А между тем, чтобы хоть несколько избавиться от неотступных, мутивших ее голову помышлений, она давала себе слово, в наказание и ободрение себя, не пропускать ни одной церковной службы, и ежедневно без ропота, до изнеможения сил выстаивала все ранние и поздние обительские служения. При молитвенных возгласах «о сущих в море и далече» она старалась вспоминать не Ветлугина, а какую-нибудь из монахинь, странствовавших в то время за сборами на монастырь. Наконец, в этом же третьем году своего пребывания в монастыре, Аглая, кроме великого поста, говела еще в петровки и в спасовки и готовилась снова говеть осенью, в филипповки.

Старица Асенефа ума не могла приложить, откуда у этой худенькой, бледной и неподатливой на слова ее сожительницы набиралось столько подвижнического рвения. «Коли капиталом немногим от барышни Вечереевой поживится наша обитель, — говорила о ней игуменье Асенефа, — так примером

своим она наверстает... Глядючи на нее, и другим, матушка, поневоле будет завидно; молода и так угодна Богу...»

Измарагду, впрочем, это не очень утешало.

Прошло лето, и наступила новая осень. Кончилась вторая неделя филипповок.

Особенно усердно молясь, простояла эти недели Аглая перед чтимою иконой Покрова на правом клиросе и уже собиралась, улучив время, сходить к матери Измарагде и, сотворив перед нею уставный поклон, испросить у нее благословение на приступ к новому, добровольно принятому подвигу говения. С началом осени Аглая стала как-то бодрее, лучше спала и вообще чувствовала себя несколько спокойнее и легче... *Он*... Да! К ее радости — он уже более месяца не вспоминался ей ни наяву, ни во сне. Взглядывая иной раз в зеркало, она нехотя рассматривала свое исхудалое, вытянувшсеся и, казалось ей, окончательно некрасивое лицо, сухие и строгие глаза и была рада, что она подурнела. «Ну, теперь, если бы он и увидал как-нибудь меня, — думала она, — то, наверное, отвернулся бы».

Было ясное, еще бесснежное, с легким морозцем ноябрьское утро. Пробило шесть часов. Мать казначея только что возвратилась с покупками из города. Инокини и белицы, выйдя от заутрени, оживленною гурьбой окружали ее подводу и наперерыв расспрашивали ее о городских новостях.

— А к тебе, матушка Максимилла, да еще к барышне Вечереевой письма из города, — сказала мать казначея, — где-ста она? Барыня Фокина, что ли, к ней пишет... сама отдала письмо...

— Да вон она, — указывая на Аглаю, ответила одна из белиц.

«Как я рада, как рада, — думала Аглая, — больше двух месяцев Фросинька молчала... Как-то им живется?»

Она распечатала письмо и чуть его не выронила. Все спуталось и закружилось перед Аглаей: мать казначея, Вар-

варушка, мать Асенефа и Максимилла, ярко освещенный угол церкви, келья игуменьи и лица прочих инокинь и белиц, стоявших в углу двора.

Боясь оглянуться, как бы кто не заметил быстрой перемены в ее лице, она выдержала себя, несколько мгновений молча постояла в толпе, опустила письмо в карман рясы и, не слыша под собою ног, сперва тихо, а потом, за углом церкви, почти бегом пустилась в свою келью.

«Рука не Фросиньки, не ее... — пронеслось в мутившейся голове Аглаи, — его, безумного, рука, его... я узнала!..»

Она страшно испугалась и вместе с тем обрадовалась. Асенефы в это время не было в ее келье. Ветхая старица, «стома́ха ради», еще стояла вместе с другими у подводы матери казначеи, любуясь кузовками да кадочками, ящиками да корзинами со всякою навезенною на потребу обители снедью. Аглая наскоро, дрожащими руками накинула на крылечную дверь железный крюк, обежала все комнаты, удостоверилась, что действительно в то время в ее келье не было ни души, вошла в спальню, бросила шапочку и, ухватясь за сильно бившееся сердце, села на постель.

Несколько мгновений Аглая была недвижима. Взглянув на киот, она снова раскрыла письмо, без остановки, жадно бегавшими глазами прочла первые строки, остановилась, перевела дыхание и до конца прочла то самое письмо, которое незадолго перед тем написал и переслал ей через Фокину Ветлугин.

«Как!.. — вскрикнула она, дочитав и опять, в другой и в третий раз, принимаясь читать это письмо. — Он решился, осмелился обратиться ко мне с такими укоризнами, ко мне, его забывшей и навсегда отказавшейся от него? Какое рассчитанное, какое глубокое и недостойное его оскорбление!»

Аглая плакала, ломала руки, падала головой на стол и в отчаянии повторяла: «Боже мой, Боже, да за что же такие испытания, за что эта новая, нежданная казнь?»

Более часа Аглая просидела в слезах. Старица Асенефа не возвращалась. И ни к кому в эти мгновения Аглая не чувствовала такой ненависти, как к Ветлугину, и никто ей в это же время не казался так дорог, как тот же, так беспощадно осуждавший ее Ветлугин...

«Где-то он теперь, укоряющий, ненаглядный, далекий? — склонясь головой на руки, размышляла Аглая. — И зачем я о нем, безумная, думаю? Зачем вызываю в памяти то, что было и давно прошло? О, как я порочна, и сколько во мне пагубной, грешной суеты! Он вспомнил меня, не забыл... Боже, один человек на свете, один меня полюбил и мог спасти, и тот теперь отрекся от меня... Иначе и быть не могло... Такому человеку, как он, любить и в то же время не уважать невозможно...

Да, невозможно! — громко повторяла, вскакивая, Аглая. — Но что же делать? Писать ему ответ? Но что писать? Что я ему ничтожная, жалкая, скажу?..»

С пылающим взором и с похолоделыми, за спину заложенными руками, она то принималась ходить по комнате, то садилась к окну, упорно глядела на гряды белых, недальним снегом и зимой дышавших облаков. «Все кончено, все! — тихо повторяла она, окаменевшим взором вглядываясь в очертание дворовых тропинок. — Неужели я никогда его более не увижу? И что значат слова в его приписке: «Ах, Аглая, Аглая!..» Что он хотел ими сказать?» Эти слова жгучим звоном, немолчно отдавались в ее ушах.

Прежде, в часы раздумья, замкнутая в себя, Аглая хоть Лушеньку иной раз по душе от тоски слушала. Теперь и той близ нее не было... И не чаяла Аглая, не гадала, чтобы у нее стало сил долее вынести то, что она теперь испытывала. Старалась она опять думать о детстве, об отце, о прежней жизни в ските у бабушки Сусанны, о дружбе с Фросинькой... Мысли не слушались ее... Он и он был один теперь перед ее глазами.

Так прошла неделя и другая. Аглая решилась вызвать Клочкова на откровенные объяснения: «Ко мне доходят неве-

роятные, печальные слухи о моем отце, — написала она ему, — меня извещают и о не совсем утешительном положении нашего имения. Не откажите меня навестить и успокоить по поводу всего этого. До объяснений с вами я воздержусь от мер, которые иначе должна бы принять». Написала Аглая и к Фросиньке, с которой в последние месяцы не переписывалась. Ни от Клочкова, ни от Фокиной ответа не было.

На дворе между тем стало сильно и без перерыва морозить. В воздухе, точно пух или белые яблоневые лепестки, замелькали первые лохматые порошинки снега. Сильнее и сильнее, густым ворохом посыпались они. Забелели крыши келий. Забелели двор и сад.

Наутро уже нельзя было узнать ни красноглинистой, в обрывах, монастырской горы, ни светлых, как зеркало, у ее подножия извивов реки, ни синих лесов, ни белопесчаных холмов, вправо и влево бегущих в туманную даль. Воды замерзли.

Снежный саван покрыл реку, горы, леса и луга. Еще день, сорвался и завыл по горе и по низам ветер. Поднялась метель, и злая выюга запорошила, сугробами занесла последние дороги и тропинки к монастырю.

XXXV

Первый луч

Была особенно злая и долгая метель. Думали, что ей и конца не будет. Но вот она затихла, погода прояснилась, и монастырская прислуга принялась за рытье проходов к церкви и по всему обительскому двору. Аглая сидела под окном своей кельи и соображала, что ей делать, так как ее сожительница, мать Асенефа, и без того постоянно страдавшая одышкой, сходив на тоню под гору за рыбой, сильно простудилась и вторую неделю не вставала с койки в монастырской больнице.

На дворе темнело.

Под заунывный церковный колокол по узеньким дорожкам то здесь, то там мелькали черные мантии, шапочки и клобуки инокинь. Обитель собиралась к вечерне. «Надо и мне идти», — подумала Аглая.

В это время по прорытой в снегу тропинке показалась от ворот, с котомкой за плечами и с палкой в руках, преклонных лет худенькая женщина. В стоптанных валенках и в старой шубейке она шла, поглядывая по сторонам, и от холода, а также от сильной усталости едва передвигала ногами. «Верно, нищая; сестры от трапезной ко мне послали», — сказала себе Аглая и поспешила отпереть наружную дверь. Вошедшая поклонилась и, охая, откинула с головы намерзший платок.

— Кормилица, голубушка! — вскрикнула Аглая, бросаясь на шею Егоровне и осыпая ее поцелуями. — Вот не ожидала. Сюда, ко мне, в спальню. Раздевайся, садись. Ах, родненькая, милая! Как я рада!

Она засуетилась.

— К лежанке, сюда. Вот и дрова. Растопим печку, поставим самовар. Постой: булка у меня есть, молоко, мед... Не хочешь ли? Да садись же, рассказывай. Я и к вечерне не пойду. Откуда ты? Как меня вспомнила и как доплелась? Ах, как я рада, рада...

— Как вспомнила! Ты лучше, матушка, скажи, как забыла нас?

— Ну, раздевайся, раздевайся.

Егоровна, покрякивая, разделась, перекрестилась на образ, присела на знакомый ей с детства барышнин сундучок и, пока Аглая хлопотала с закуской и с чаем, принялась растапливать печь.

— Как доплелась! Уж и подлинно, Бог по грехам терпит! — говорила Егоровна, подсовывая поленья в ярко запылавший огонек. — Уж и была ж непогода, резала-жгла. Совсем, думала, не дойду. Ох, ноженьки разломило, костоньки ноют... Спрашиваешь, откуда я? Лучше и не спра-

шивай. Не одной мне, а и всем нам теперь вот как плохо. Некому нас, барышня, пожалеть и некуда нам, сиротам, голову преклонить.

— Что слышно об отце? — спросила Аглая.

— Была я, матушка, у него намедни. Люди направили. Думала о наших нуждушках сердечному доложить. Куда! Совсем он жалкий. Никого как есть не узнает и ничего, точно дитя малое, не смыслит. А уж в каком забросе да несмотренье, так, кажись, лучше бы ему сразу помереть, чем так-то жить...

Острые ножи от этих слов вонзались в сердце Аглаи. «Прав Ветлугин, — думала она, — и во всем этом я, одна я виновата. Бедный отец, бедный!»

— Скажи, кормилица, где ты теперь живешь? — спросила Аглая.

— Где живу? По милости твоей матушки — царство ей небесное, — хоть помер мой муж, в каменке, как и прежде, до этой поры проживала. А нынче, против зимы, выгнал меня треклятый, прости Господи, опекун.

— За что?

— Осерчал, вишь ли, как я смела этого-то барина, коли помнишь, — Ветлугина, пускать в усадьбу?

Аглая побледнела.

— Почем же опекун узнал о его заезде к нам? — не поднимая глаз, спросила она кормилицу.

— Как ему не узнать! Да он, аспидова душа, под землей на три аршина насквозь все видит. Не без того, и из крестьян, может, кто сдуру сболтнул, что с этим же барином виделись. Со свету, сказал опекун, сгоню, кто хоть слово отныне пронесет к господам.

— Ты же, кормилица, не грех ли тебе, ни разу ко мне не наведалась.

— Была бы, матушка барышня, как не быть! Муж хворал, помер, дети тоже болели, умирали. Писала я к тебе сколько раз, да, знать, письма не доходили.

— Писала письма? Неужели? — всплеснула руками Аглая.

— Вот те Христос, не лгу.

Аглая задумалась. Многое стало ей теперь понятно. Новые мысли и предположения зароились в ее голове.

— Ну, кормилица голубушка, — сказала она в тот же вечер, — вот мое решение... Оставайся здесь: я тебя отсюда более не отпущу.

— Как не пустишь? Что ты!

— Тебе негде жить; живи у меня.

— Да как же так? Здесь — святость, монастырь, нежто я черница?

— Ничего, милая. Не все святые живут и в монастыре.

— А дочку Пашутку куда же я дену?

— Где она теперь у тебя?

— У племянника, у Филата Иваныча, пристроила я ее пока, до весны.

— У Филата? Да разве он не в городе при отце?

— Был при старом барине, только и его давно выжил Клочков.

— Чем же занимается теперь Филат?

— На чугунке лето-с буфет держал с товарищем, да проторговались; а нынче постоялый снял в Крючках.

— Это недалеко от нас?

— Недалеко. До чугунки там, коли помнишь, станция была почтовая.

Чуть не всю ночь напролет проговорила Аглая с Егоровной. А наутро она не спеша оделась, выстояла раннюю службу, пошла к игуменье и, поклонясь ей, объявила свою просьбу и желание, чтобы впредь до выздоровления матери Асенефы с ней благословили и дозволили жить ее кормилице. Мать Измарагда сперва было озадачилась. Ее серые ясные глаза сверкнули досадой и гневом, что так или иначе обходили ее виды на будущее. Она собралась уже дать сильный и стойкий отпор. Но в сдвинутых бровях и в потупленных взорах Аглаи Измарагда прочла такую нежданную решимость и твердость, что, помолчав, объявила ей полное свое согласие. А тут встретилось еще обстоятельство. У Асенефы

вскоре обозначились признаки воспаления легких. Она протянула недели две и скончалась. После ее похорон Аглая выпросила у игуменьи позволение взять к себе и дочь кормилицы, Пашу.

— Зачем она тебе? — спросила Измарагда.

— Буду учить ее грамоте, и мать не станет скучать.

Перед рождественскими святками Егоровна наняла подводу, чтоб ехать к племяннику за своими вещами и за дочкой.

— Ах, я и забыла, родненькая, сказать тебе еще слово, — обратилась к ней при прощанье Аглая.

— Что, лапушка сударыня? Приказывай.

— Если окажется место у тебя в санях, не забудь поискать в доме и привезти ящик с бельем покойницы матушки. Как умерла она, я тебе же его переслала.

— Помню, помню, в кладовой стоит. — На что тебе это белье?

— Детям Фросиньки за зиму перешьем, пусть носят.

— И вправду. Только как бы опекун не увидел да шеи мне не накостылял.

— Скажи, что я приказала. Да вот тебе на всякий случай и записка к приказчику.

Желание Аглаи было исполнено.

Кормилица дня через два привезла свои вещи и дочку, а с ними и увесистый, наглухо заколоченный ящик. На вопрос монахинь, что это, она ответила: «Барышнино белье». Когда ящик внесли в келью Аглаи и Егоровна, управясь, его вскрыла, в нем оказались книги....

— Что это? — спросила озадаченная Аглая.

— Ах я, глупая, ах я, курья слепота! — причитывала Егоровна. — И где мои глаза были? Опекун, знать, велел выкинуть без меня питерски книги, что в доме эти годы стояли. А я их замест белья, прости, на санки-то и свалила...

— Какие питерские книги? — спросила Аглая.

— Ну, что для старого барина этот же Ветлугин, что ли, тогда выписал. Племянник приедет, отошлем назад.

— Нет, — вспыхнув, решила Аглая, — не надо их отсылать, пусть здесь останутся. Я, может, что-нибудь... от скуки... из них почитаю.

— Что ты, что ты! — замахала на нее рукой Егоровна. — Еще игуменья увидит, осерчает.

— Спрашивать игуменьи на это я не стану, сама знаю, что буду читать! — гордо качнув головой, ответила Аглая. — Я не безголовая какая, а отцовские книги — не ересь.

«Да, вон она, кровь Вечереевых! — радостно подумала Егоровна, глядя на свою барышню. — Ишь губу-то вздула. Даром что шапочка на волосах, не всякому смерду наступить на ногу позволит...»

Так как Егоровна с Пашей и за барышней своей, и за ее кельей стали смотреть, то Аглая вскоре объявила игуменье, что ей особой монастырской прислужницы не нужно. Мать Измарагда подумала: «Кума пеша, куму легче» и охотно согласилась на новую просьбу Аглаи.

В свободные от служб и от посещения общей рукодельной часы Аглая теперь не скучала. У нее было два занятия: она учила Пашу грамоте и читала привезенные книги. Сперва это чтение шло урывками, а потом Аглая его почти уже не покидала. Заперев наружную дверь на засов, она сажала Егоровну или Пашу настороже, а сама брала какую-либо из книг и читала, читала до изнеможения сил. Иной раз утро заставало ее за чтением. Большую часть выписанных когда-то по совету Ветлугина книг она прочла одну за другой, и новый мир незаметно стал открываться перед ней. Особенно поразили ее переводы некоторых из драм Шекспира, «Исповедь» Руссо и «Дон-Жуан» Байрона.

Последняя поэма взволновала и совершенно поглотила Аглаю. Слова султанши Гюльбаи: «О, чужестранец, знал ли ты любовь?» не давали ей покоя. Она перечитывала сцену Дон-Жуана с Дуду́. «В гареме ночь, лампады стали гаснуть, — и вдруг Дуду в постели закричала...» — Аглая за-

хлопнула книгу, в страхе задула свечу и до зари, не сомкнув глаз, лежала, как в лихорадке.

Она и Егоровне читала вслух некоторые из книг.

— И это все было? — спрашивала кормилица Аглаю, когда та поясняла ей содержание прочитанного.

— Было, голубушка кормилица, было! — обнимая и целуя Егоровну, отвечала Аглая. — Ты не понимаешь!

— Да где ж именно было, в каком царстве-государстве?

— На свете, кормилица, там, где настоящая жизнь и где нам с тобою, видно, никогда уже не бывать...

— Ну, красавица, это ты напрасно! Мало ли чего не бывает! Нешто ты в кабалу им себя отдала, али некому за тебя и заступиться? Напиши к барыне Фокиной, или к отцу Адриану, или меня к ним пошли: духом все обделаем.

— Никого я просить не стану, и никто мне не указ! Одна совесть людям закон... И против совести я вовеки не пойду, что бы со мной ни сталось.

Дни шли за днями.

Вплоть до великого поста Аглая не отрывалась от привезенных книг. Великие создания гениев продолжали ее потрясать до глубины души. Лишая ее спокойствия, пищи и сна, они как бы твердили ей в уши: «Да что же с тобой? Или ты не сознаешь, не видишь, куда ты попала? Ведь ты заживо погребена, на цепь прикована и замурована в стене... Взгляни вокруг себя: за этою стеной люди живут, с их скорбями и радостями, с их нуждами, тревогами и борьбой за жизнь, за счастье. И во всем — даже в этих тревогах и в этой борьбе — для них отрада, так как все это кровь от их крови и плоть от их плоти. А в чем твоя жизнь? И где твое счастье? Было ли оно когда-нибудь и возвратится ли вновь? Кто его скосил, растоптал и развеял по ветру, как прах? Опомнись... Он говорил тебе: жизнь — трудный подвиг, но подвиг — во имя близких нам, рука об руку с ними, а не вдали от них... Брось же свою преждевременную могилу, становись в ряды бойцов за жизнь, за правду и добро...» «Ах, Аглая, Аглая!» — днем и ночью звучали ей слова приписки Ветлугина.

Она падала на постель, по целым часам не отрывая от подушки лица. Садилась к окну, пристальным взором вглядывалась в прорытые в сугробах дорожки и думала, думала, не мелькнет ли из-за монастырской стены *тот*, кого она столько лет не видела?.. Где семейные радости, жизнь вдвоем? Где приют тихого счастья и любви?

Дорожки были пусты... Что ни день, их заносило новыми бурями и метелями, да в урочные часы, точно могильные тени, по ним мелькали черные мантии, шапочки и клобуки шедших к церкви и из церкви инокинь.

Однажды — это было в конце марта — Аглая после тревожной и полной раздумья бессонной ночи, встала до зари.

Не будя кормилицы, она умылась, оделась, помолилась, написала какое-то письмо и со свечой подошла к постели Егоровны.

— Ты не спишь? — тихо и особенно ласково спросила она.

— Давно, ласточка моя, не сплю. Давно думаю, на твою-то глядючи суету... Что с тобой? Или опять забрала тоска? Или ты, соколик, разнемоглася?

— Вот что, милая, — глядя на свечу и стараясь быть как можно спокойнее, начала Аглая, — надо всему этому положить конец.

Егоровна привстала.

Странный блеск глаз и озабоченность бледного, измученного бессонницей лица Аглаи удивили ее.

— Что же ты, родная, думаешь делать? Приказывай! — вскидывая на плечи платок и моргая недоумевающими глазами, сказала кормилица.

— Вот что, — по-прежнему глядя на свечу, твердым голосом ответила Аглая, — сегодня же, после заутрени, я обо всем постараюсь переговорить с матушкой игуменьей... Ты же, кормилица, найми подводу и поезжай вот с этим моим письмом в Дубки. Если приказчик не даст тебе по

моей просьбе денег, то вот возьми это, — Аглая сняла с шеи небольшой, отделанный алмазами крестик, — поезжай к Фокиным... Это — благословение отца. Заложи его... Ну, словом, достань денег и приезжай сюда с Филатом. Скажи ему, что он мне нужен. Я с ним хочу навестить отца, а может быть, проеду в Дубки.

— Все будет, матушка барыня, исполнено. Душу за тебя отдадим! — не помня себя от радости, ответила Егоровна.

Аглая объяснилась с Измарагдой. Та ей не противоречила. «Верно, одумалась, — рассуждала игуменья, — о деньгах едет хлопотать».

Через неделю настала сильная оттепель. Снег еще не везде растаял, но холмы и поля кое-где уже обнажились, река посинела и вздулась. Леса из черных стали сизые.

Было туманное теплое утро.

У крыльца кельи Аглаи стояла запряженная четверней старая деревенская карета. Филат, в барашковой шапке, в чуйке и в высоких, поверх брюк сапогах, суетился, таская на плечах и прилаживая чемоданы и всякие узлы. На запятках восседала в новых котах обверченная платками Паша. Две-три монахини у подъезда разговаривали с выбившеюся из сил и также носившею разную поклажу Егоровной. Аглаи здесь не было. Она сидела за чаем у игуменьи.

— Что же, Аглая Кирилловна, надолго ли думаешь нас покинуть? — ласково и вежливо спросила мать Измарагда, опрокидывая на блюдечко большую, с изображением Афонской горы чашку и с некоторой тревогой поглядывая на опустившую глаза и спокойно сидевшую перед нею Аглаю.

— Как вам сказать, матушка?.. Навещу отца; переговорю с ним и с докторами; съезжу в деревню, потолкую с приказчиком о делах.

— Вот как, и о делах? Что же, сударыня, делов земных никогда не след вовсе бросать. Пришельцы и переселенцы в свете есмы... Только, мать моя, не лишнее ли это тебе? Что о мире великие учители пишут? Ефрем Сирин, Максим-исповедник, Авва Дорофей и иные? Ты еще смотри,

как молода!.. Не все приметишь. Жизнь, сказано в писаниях, — море страстное, стыд и идолослужение... Еще обманут... А у вас притом есть и опекун... Его ж как обойдешь?

— Предводитель пишет, что этот опекун сколько месяцев в безвестной отлучке по собственным делам, а потому и предлагает мне подать прошение о назначении другого опекуна...

Не ожидавшая такой новости игуменья изменилась в лице, но удержала свое спокойствие.

— Вот как, я про то не слышала! — сказала игуменья. — Когда же ты получила от предводителя это письмо? — продолжала она, тихо перебирая четки.

— На днях.

— А мне и не сообщила?

Аглая на это ничего не ответила. Игуменья продолжала:

— Ну, как же ты думаешь с этим теперь быть? На что решаешься? Заранее скажу: опека, да и всякие дела, — вещь нешуточная... Берегись лести людской. Берегись сплетений мира. Как хочешь, а судьба отца! ты ужс — не ребенок... Да и имение у вас, скажу тебе прямо, большое... Первое — не советую зря всякому верить. А второе: скорее возвращайся и обо всем мне сообщи... Я дам тебе тогда совет... Так ли?

— Что же, матушка, заранее говорить? — ответила Аглая. — Посмотрю, с знающими людьми потолкую, подумаю; дело само и укажет, как быть. Через неделю-другую надеюсь воротиться к вам...

— Знающие люди! Гордость одна! — судорожно одергивая воскрылия камилавки, сказала Измарагда. — Злохудожники, бесовская суета... А впрочем, поезжай... Ты уже — не ребенок... Мать Пресвятая Богородица тебе попутчицей! Да озарит она тебя, светоносная, свыше...

Приняв благословение игуменьи, Аглая сотворила перед нею уставный поклон, простилась и вышла. Не садясь в карету, она сходила на обительское кладбище, помолилась на могиле матери, еще раз, как бы за чем забытым, воз-

вратилась в опустевшие, с занавешенными окнами и задернутым киотом комнаты и села с Егоровной в карету. Низко кланялись ей высыпавшие на крыльца и к окнам инокини и белицы. Только веселой Варварушки не было видно. Осиротев со смертью Асенефы, она долго тосковала, плакала и выпросилась у игуменьи, с другой монахиней постарше, в сборщицы на обитель.

Аглая в тот же день, еще засветло, приехала в уездный город и, не входя на постоялый, отправилась к отцу. К ее величайшему огорчению, старик по-прежнему не только ее не узнал, но даже принял ее еще с большим неудовольствием и даже враждебно. Он закричал на нее: «Оставь меня, оставь! мы — садовники!..» Когда ж Аглая вздумала поцеловать у него руку, он дико посмотрел на нее, спрятался за шкаф и с криком: «Монашка! черничка! чернохвостница!.. в монастырь иди! дорожка скатертью!» — скрылся за дверями...

Больше недели провела Аглая в городе. Положение, в котором она застала отца, действительно ее ужаснуло. Долго она толковала с медиком, с предводителем и другими властями; списалась и свиделась с Фокиной, насчет же сдачи опеки другому попросила приостановиться.

С шибко забившимся от разных ощущений сердцем въехала она, наконец, в ворота запустелой усадьбы Дубков.

Две комнаты в доме — спальня матери и библиотека — были для нее Филатом заблаговременно очищены и протоплены. Новый приказчик, выписанный Аглаей по выбору и по совету Фокиных, принял имение также еще до приезда Аглаи. Она вошла в дом. Не раздеваясь, прошлась по всем комнатам, выслушала соображения приказчика об имении, отдала несколько не терпящих отлагательства приказаний и пошла к священнику. Там она пила чай. Перед вечером с отцом Адрианом посетила некоторых из знакомых ей крестьян, расспрашивала о их надобностях, записывала имена более нуждающихся больных, а по пути осмотрела сад. Стало уже темнеть, когда Филат

ей доложил, что подано кушанье. За обедом она почти ни к чему не касалась; спать легла рано.

— Не нужно ли тебе чего, может, поужинала бы? — спрашивала ее, располагаясь рядом с ее комнатой и гордая новым своим назначением при барышне, Егоровна.

— Нет, милая, ничего более мне не нужно, — со своей давно не мятой деревенской постели, из темноты, ответила Аглая, — разбуди меня пораньше. А теперь, голубушка кормилица, мне так хорошо, так хорошо... будто я вновь на свет родилась...

Наутро отец Адриан, с намоченной квасом косичкой и с утиральником в руках, только что умывшись, вышел, по обычаю, на крыльцо, взглянул на выгон, на церковь, на реку и на еще безлистый, тонувший в белом тумане вечереевский сад, — и подумал: «Ну, дай же ей, Господи Боже, силы, дай, чтоб она, аки луч солнца, пробудила и оживила эти ей родные места... Суета сует! Из-за чего люди бегают от своего счастья?..»

Отец Адриан перекрестился, еще постоял и поглядел вокруг себя. Он уже хотел идти обратно в сени, как со стороны сада послышалось несколько голосов. Точно кто-нибудь охотился с гончими, или людное общество шло вдоль реки... «Верно, гости у Аглаи Кирилловны! — подумал священник; но, прислушиваясь к голосам, сам себе сказал. — Нет, не гости... Вон Федькин голос, Апронькин... Парамошка Кочет им откликается... Что за притча?»

Отец Адриан на́скоро накинул теплую рясу, взял шляпу и трость и, шлепая калошами по непросохшей земле, отправился к саду. Канава опросталась от воды, и он через нее перелез. Но не прошел священник и сотни шагов, как вправо и влево между деревьями, с заступами, лопатами и метлами увидел десятка два-три вечереевских крестьян. Священник остановился. «Что это они?» — рассуждал он, глядя издали.

Одни из крестьян расчищали заглохшие дорожки; другие на лужайках и полянах рубили не к месту выросший молодняк, третьи вывозили на тачках и на телегах сгребаемый в

кучи валежник, сухие листья и всякий сор. «Насилу-то дождались мы нашей ласточки отлетной, нашей голубушки! — заговорили крестьяне, увидев священника. — Вот уж, батюшка, праздник, вот обнова, спаси ее, Господи».

Отец Адриан степенно и ласково побеседовал с крестьянами, даже заступ брал и ленивому Парамошке Кочетову показывал, как следует работать. Потом он направился к беседке, к теплицам и в парк. Везде кипела усиленная работа...

А солнце поднималось выше и выше и парило сквозь туман и росу, чуть не по-летнему сыпало яркими лучами. К обеду Филат, в фартуке и без сюртука, стуча молотком, раскрыл балконные двери, а к вечеру выставил и настежь распахнул в доме все окна. Отец Адриан издали видел, как хлопотала и распоряжалась Аглая, как она переходила из одной проветриваемой комнаты в другую, появлялась с Егоровной и с Филатом то на балконе, то у раскрытых окон. «Пусть ее хлопочет: хорошее дело она затеяла; не буду ей мешать! — думал, прогуливаясь по саду и скусывая с ветвей душистые, липкие почки, священник. — Шутка ли, отец так болен! Кому же, как не ей, и позаботиться о его добре?»

Не прошло двух недель — вечеревской усадьбы нельзя было и узнать.

XXXVI

Пробуждение

Дом был оправлен и подновлен. Сад также вскоре пришел в прежний вид.

Благодаря наставшему теплу Филат закупил и навез из соседних владельческих теплиц целые возы экзотических цветов и кустарников. Балкон, при помощи Егоровны, убрала сама Аглая. Сюда, под парусиновый навес, был принесен тот самый плетеный диванчик, на котором когда-то так любил посиживать Кирилло Григорьич. А пока все это устра-

ивалось, Аглая не знала покоя. Она за всем следила, всем руководила и была впереди во всей этой суете, возне и общих хлопотах в доме и в саду. Слова письма Ветлугина: «Ах, Аглая, Аглая!» преследовали ее и здесь.

А весна с каждым днем становилась ближе и ближе.

Давно прошумели первые снеговые ручьи. Река вскрылась, вышла из берегов и далеко затопила прибрежные нивы и луга. Белые, ноздреватые льдины с кучами зимнего сора, оторванными мостовинами и с громко каркающими грачами и галками неслись по бурным, ликующим водам. Воздух был пропитан ярким, раздражающим блеском солнца, журчанием и грохотом бегущих по скатам и в оврагах ручьев. Стало просыхать.

Обнаженные от снега и воды поля продернулись первою красноватою травкой. Поднимая слой истлевших листьев, выткнулись головки первых цветов. Потянулись стаи перелетных птиц. Отозвались жаворонки. Цапля мерным шагом, высматривая играющую голубыми спинами резвую рыбу, пошла по берегу реки. Щелкнул в безлистом еще вишеннике первый соловей. За ним другой и третий. Солнце, воды и соловьи будто отзывались на мысли Аглаи, будто также кричали ей: «Ах, Аглая, Аглая...»

За постоянными теплыми днями настали теплые, без ветра и заморозков, ночи. Полная луна плыла в светозарной вышине.

Аглае давно было пора возвратиться в монастырь. Но она медлила. Ей не хотелось расставаться с этими, столько отрады ей напоминавшими местами. Здесь, в этом воздухе и на этом просторе, царило когда-то ее счастье. Радужные грезы о нем носились за Аглаей, манили ее, порхали у ее изголовья.

В комнатах все, до последней вещицы, было расставлено на прежних местах. В кабинете Кириллы Григорьича все бумаги, книги, безделушки были разложены так, как они всегда здесь прежде лежали.

— Все кончено, я все привела в порядок! — после долгих хлопот, сказала Филату Аглая. — Теперь пора бы уж мне отправляться и обратно.

— Эх, барышня, барышня! — вздохнул на это Филат. — Давно собирался я вам доложить, да не смел.

— Что, Филатушка? Говори.

— А то, барышня, что уж лучше бы вы и совсем от нас не уезжали. Эх, милая вы наша, золотая! Бросьте-ка монастырь. Из-за чего вам там жить? Помолились бы целителю Пантелеймону... Знаете ли, покойный-то дед Лукашка...

— Что же он?

— Перед смертью — царство ему небесное — совсем он как малый ребенок стал, у Апроньки-пастуха за детьми смотрел, да как заснул в саду у него под яблонею, так и не просыпался... Он советовал: у кого, говорит, душа болит, молебен святому Пантелеймону следует отправить. Я, как проторговался на буфете при чугунке, помолился целителю — с той самой минуты ни в рот-с.

— Так что же ты хотел сказать?

— Да все насчет вашего тятеньки. Помолились бы вы, не спасет ли Господь тятеньки? Не признáет ли он вас?

— Спасибо за совет. Я вот что решила. Послезавтра, или нет — не успею... Ну, дня через три-четыре, — тут надо еще кое-что по хозяйству уладить с приказчиком. Так я сперва поеду в монастырь. Надо туда наведаться. Там, я думаю, ждут меня и уж Бог знает чего только обо мне не наплели... А потом...

— Эх, барышня, да вам-то что до черниц! — нахмурив кустоватые брови, даже рукой махнул Филат. — Приняли имение; принимайте, сударыня, и все дела. Кажется, вот бы как все мы вам служили... Скажите только, я и все остальные ваши вещи оттуда перевезу...

— Нельзя, голубчик Филат, нельзя... Что ты! Боже меня сохрани и помилуй об этом думать... А ты лучше слушай, что я скажу. Я в коляске поеду в монастырь, а ты отправляйся к папеньке. Возьми на всякий случай карету. Отвезешь мое письмо к доктору и с ним обо всем переговори. Передай ему, голубчик, мою просьбу — отпустить папеньку сюда

хоть на недельку. Не все ли одно отцу жить под охраною здесь, что и в городе? Приговори себе, на случай, в помощь фельдшера. И как только доктор позволит, готовься привезти папеньку сюда. Напишешь мне, и я его здесь встречу... Тут воздух, простор и всякие удобства... Он же, бедненький, хоть и не помнит себя, а все-таки, Филат, ну, понимаешь... дома! понимаешь? в своем родном гнезде! Это не то что на чужих руках... А мы... скажи доктору, все приготовим папеньке, все... чтоб он положился на нас и не беспокоился.

Слезы не дали Аглае говорить.

— Все, сударыня, сделаем... Как нам не понимать! Исполнено будет все и в аккурат-с! — ответил Филат.

Но у него опять зашевелились брови, и, дрогнув, несколько набок скривилась нижняя губа. Он сердито, будто грозя кому, глянул в угол гостиной, где на ручке кресла лежало кем-то забытое чайное полотенце, и, громко покашливая и смаргивая непрошеные слезы, странно-пискливо сказал: «В аккурат-с! это как же можно!» — еще покопался над чем-то и с форсом быстро вышел в сад.

Филат шел и сам не знал, куда и зачем идет. Он одергивал сюртук, размахивал руками и что-то угрюмо и решительно обдумывал.

Аглая уехала в монастырь не через два дня, а через две недели. У нее не хватало сил ранее расстаться с родным углом. Да и разные новые хлопоты по имению, отрезка крестьянам полей и лугов задержали ее. Во многом ей помогал советами отец Адриан. В день отъезда Аглаи Филат с ее письмом отправился в город к уездному врачу, Милунчикову-второму, который три года назад благодаря проискам Клочкова чуть было не пострадал за мнимые сношения с эмиграцией. Он охотно согласился выполнить просьбу Аглаи, дал все необходимые наставления Филату и прибавил, что, по его мнению, такая прогулка Кириллы Григорьича в деревню и некоторый отдых на просторе и свежем весеннем

воздухе не только не повредят здоровью больного, но могут в будущем принести ему немалую пользу.

Был поздний, в первых числах мая, вечер. Карета, на козлах которой восседали фельдшер и озабоченный, до глубины души взволнованный Филат, подвезла Кириллу Григорьича к деревенскому, столько лет сиротевшему без него дому.

Вечереев не только при выезде из города, но и всю дорогу, сверх обыкновения, был совершенно спокоен и тих. Он не обращал ни малейшего внимания на то, зачем его приодели, зачем вывезли из городской, так примелькавшейся ему квартиры, для какой надобности усадили в карету и куда повезли. Он только озабоченно пошарил у себя в карманах, с ним ли его сигарочница, молча взял лубочный сборник песен, который он ежедневно в течение этих лет держал в руках, делая вид, что читает. Он и теперь, усевшись в угол кареты, вперил пристальный взор в раскрытый вверх ногами песенник и так сидел вплоть до деревни, лишь изредка сердито взглядывая то на спину дремавшего на козлах фельдшера, то в окна — на зеленеющие холмы и поля.

Кириллу Григорьича бережно высадили из кареты, ввели в переднюю и помогли ему дойти до кабинета. Здесь его умыли, накормили ужином, раздели и уложили в постель. Приказчик и кое-кто из прежних дворовых с любопытством и жалостью заглядывали на больного. Фельдшер посоветовал Филату лечь спать у двери кабинета, а сам ушел ужинать и ночевать к приказчику. Здесь было решено утром, пораньше, с нарочным известить Аглаю Кирилловну о благополучном прибытии ее родителя. И если бы ей самой теперь же нельзя было пожаловать, то спросить, как им быть далее, так как барин прибыл в деревню ранее ее.

Филат постлал у порога кабинета свою чуйку, помолился вслух, лег и свернулся калачом. Но он долго не спал, прислушиваясь в потемках, не будет ли о чем говорить во сне барин. Барин, однако, как лег, раз только тихо прошептал: «О, Боже, Господи Боже!» — вздохнул, повернулся к стене и крепко заснул.

Солнце давно взошло, а Кирилло Григорьич все еще спал. Наконец, уже в десятом часу, он очнулся, раскрыл глаза и долго неподвижно лежал, глядя по сторонам и как бы соображая: где он? и неужели он опять в своем старом деревенском гнезде?

Да, кажется, он снова у себя дома...

Два знакомые окна полузакрыты красными шелковыми занавесками. Солнечные лучи, дробясь по креслам, письменному столу и дивану, освещают зеленый с желтыми и синими разводами ковер. На камине, держа друг друга за руки, стоят знакомые гипсовые Шиллер и Гёте, и на втором из них, точно со вчерашнего дня, накинута белая вязаная ермолка. На стене — Наполеон на коне, под Ватерлоо. На стуле у кровати — серый фланелевый халат. На ковре — старые, стоптанные туфли... А это кто на постели? Он сам, Кирилло Григорьич... Вот его ноги, руки... но как они пожелтели, захудали! Он с презрением отвернулся и вздохнул.

Вечереев медленно встал. Твердя: «Господи Боже, как поздно!» — он накинул на плечи халат, надел на ноги туфли, а на голову ермолку и, бережно отворив дверь, вышел в залу.

Филат не дождался пробуждения барина. Он ушел хлопотать для него о чае и о завтраке, а на свое место у двери кабинета посадил Пашутку. Девочка также, вероятно, соскучилась. Она как сидела в углу, обхватив колени худенькими ручонками, так и заснула. Кирилло Григорьич сурово постоял перед ней, потрогал ее по носу, сердито фыркнул: «Вот, вот... босая и нечесаная!..» — и пошел к двери в гостиную. Мысли его опять стали путаться. Он глядел вокруг по зале и не понимал, где он и что с ним. Рояль, портреты щеголей в лентах, щеголихи в пудре. «Зачем это? — спросил он себя. — Там еще комната, — спальня жены. Она спит... А здесь корабль... или балкон?.. Да! корабль... Нечесаная, босая! корабельный юнга! Срамники!» — громко произнес он и, сердито качая головой, направился далее.

Из гостиной он вышел на балкон. Заслоняя рукой от света глаза, посмотрел на поляну, на взгорье и сад и боя-

ливо опять отступил к порогу. Он не узнал местности... Зеленое пустынное взгорье за рекой ожило. По гребню его тянулся ряд телеграфных столбов и сторожевых будок, и ясно была видна новенькая, в швейцарском вкусе станция. Рабочий поезд собирался делать маневры. Белый дымок взлетывал над трубой пыхтевшего паровоза. «Проспал, пора брать билеты! — засуетился Вечереев, из-под наставленной руки глядя на солнце. — Одиннадцать! Знатно выспался!» Бережно придерживая полы халата, он сошел на поляну, поглядел на цветники и быстро углубился в сад.

Ничего не подозревавший Филат часа через два сказал себе: «Однако, пора будить барина; самовар потух опять. — Он потихоньку отворил дверь, заглянул в кабинет и с ужасом увидел, что барина там уже не было. — Где же он, где?» — Филат напустился на разбуженную Пашутку. Та протирала глаза и сама после сладкого сна не понимала, где она и что с ней.

«Барин, видно, задумал купаться, пошел к реке и утонул!» — пробежало в голове Филата. Он без памяти кинулся на поиски Кириллы Григорьича, заглядывал во все закоулки, в беседку, в купальню и даже под мосты и наконец, после долгих стараний, нашел его в парке. Кирилло Григорьич весьма смиренно сидел на каменной скамье, бросая наломанные ветки в омут, прорытый последними водопольями у ската крутизны.

— А? что? что? — заторопился Вечереев, испуганно приподнимаясь навстречу Филату. — Барыня встала? гости? зовет?

— В комнату, сударь, пожалуйте... Чай пора пить... а барыня, Ульяна Андреевна — царство ей небесное! — давно померла...

— А! бр... бриться, вот!.. бриться надо! — растерянно хватаясь за полы халата, заговорил Вечереев.

Привычно услужливым, плывущим шагом Филат подошел к старику, бережно, точно стакан, полный доверху, взял его под руку и новел в дом.

— Бр... бриться надо... вот! — сердито указывая на стол, фыркнул Кирилло Григорьич в кабинете. — Что же воды, а?

— Воды, сударь, недолго принести, — ответил, вздыхая, Филат, — только уж лучше я сам вас побрею... Вон у вас как ручки дрожат...

— Сам!.. — закричал и затопал ногами Вечереев. — Сам!..

«Отчего не принести! — подумал Филат. — Побалую его... Не зарежется же он при мне так-то, в один мах... на то у меня глаза...» Он, с вывертом, в одной руке принес стакан горячей воды, а в другой полотенце и начал точить бритвы.

— Сам, — повторил Вечереев, — сам! а ты стой на кра... на краул! и смотри...

Филат подал барину мыльницу, щеточку и бритвы. Ему было и забавно со стариком и жутко. «Ну, как махнет по горлу, как зарежется!» — пробегало в его голове.

Кирилло Григорьич удивил Филата. Не торопясь и точно соображая, что он делает, Вечереев выбрил себе обе щеки, бороду и усы, вымыл щеточку, сам умылся и причесался и, как бы вспомнив еще нечто неизбежное, тревожно и упорно стал всматриваться в угол, где стоял платяной шкаф. «А, понимаю! одеться хочет...» — подумал Филат. Он достал из шкафа и подал барину черный, еще новый сюртук.

— Нне... нне, — обиженно, как малый ребенок, закричал и отвернулся в сторону старик, — бе... белый где?

«Вот память!» — нагибаясь снова к шкафу, удивился Филат.

Он вынул из ящика слежавшуюся, в складках, пикейную пару, встряхнул ее и с усердием помог барину одеться.

Кирилло Григорьич успокоился. Напившись чаю, он постоял перед письменным столом, порылся в бумагах, взял с этажерки первую попавшуюся книгу, вышел на балкон, уселся на диване, закурил сигару и принялся читать. Так он просидел здесь до обеда.

XXXVII

Соловьи

— Мне как, значит, по моей препорции, тут уже достаточно быть, — объявил, важничая перед Филатом и приказчиком, краснощекий и толстый фельдшер Мосеич, — ставьте на мое место-с другого... Я его, выходит, сюда предоставил, и моя препорция как есть потому кончена-с... А вы тем временем приготовьте мне тройку, тарантас и благодарность.

— Благодарность, Иван Мосеич, вам не забудется, не такие мы люди! — уговаривал фельдшера приказчик. — Только вы уж сделайте ваше одолжение, обождите. Мы дали знать барышне; не нынче завтра она приедет и все, как быть тому должно, порешит.

— Сколько же чего прочего нам будет? — трунил развязный медикус, — тыща али мелльон?

— Ну, мелльон — не мелльон, да и не тыща: а насчет всего прочего будьте притом вполне благонадежны... Вот и Филат Иваныч поручится. Барышня завтра беспременно будет.

— Будет, — подтвердил и Филат.

Мосеич остался. Да и нельзя было ему, впрочем, не остаться.

Он уже глазом наметил на улице несколько смазливых девок и баб, густо намаслил маслом вихор и виски и, выпустив поверх мундирного ворота воротнички рубахи не спеша с тросточкой отправился на село.

Обедал Вечереев с особым и нескрываемым удовольствием. Он выпил не только рюмку старого, отысканного Филатом в подвале венгерского, но и чашку кофе с густыми сливками. «Сливы... братец; сливочки! хорошо!» — весело ухмылялся старик, подмигивая стоявшему за его стулом Филату.

А после обеда Кирилло Григорьич как заснул с книгой в кабинете, так и вечер наступил, совсем стемнело, и месяц

вырезался над садом, а он все спал — тихо и так спокойно, будто никогда отсюда и не выезжал.

Глядя на барина, и Филат, после доброго угощенья у приказчика, хотя и дал себе слово не пить и сторожить Кириллу Григорьича в оба, так сладко и крепко соснул на стуле у входа в кабинет, что, когда пробудился, на дворе уже было совершенно темно.

Он достал из жилета спичку, зажег ее, осторожно отворил дверь в кабинет — и еще более испугался, чем утром: баринова постель опять была пуста. «Что за наваждение! — подумал Филат. — И сам теперь караулил, да недосмотрел... пропали наши головы! Где его теперь искать?» Он обошел все комнаты, заглянул на крыльцо, во двор и на балкон и со всех ног бросился опять в сад.

Кирилло Григорьич проснулся перед тем около часа. Не заметив Филата, спавшего у дверей, он при лунном свете, заливавшем окна комнат, прошел библиотеку, оттуда в коридор, постоял перед дверью в комнату покойной жены, вышел на цыпочках на балкон и сел на его ступеньках.

— Соловьи!.. — прошептал Кирилло Григорьич, с забившимся сердцем вслушиваясь в звуки, то здесь, то там рокотавшие в стемневшем саду. — Соловьи! — повторил он, робко вглядываясь в сумрачные просеки аллей.

Душистый, свежий воздух ночи живительной волной хлынул в грудь старика. Что-то как бы охватило его, нежно обняло и стало баюкать... Он склонил голову на колени и тихо заплакал...

— Ге... Гендель! — зашептал он в сладком ужасе, идя навстречу соловьиных голосов. — Мистификация! Мистификация...

Он миновал одну дорожку, другую, забрался в глубину сада, прошел сад и опять возвратился на балкон. Лицо его было бледно, встревожено. В глазах светился страшный огонь. Он бережно, точно ожидая чего-то рокового и неизбежного, вошел в залу, заглянул во все ее углы, постоял перед роялем, вынес из кабинета длинный китообразный

ящик, вынул оттуда виолончель, сел с ней под хорами, тронул ее смычком и, сердито и важно покачав головой, начал ее строить.

Прошло еще несколько мгновений...

Не найдя барина в саду, Филат решился снова поискать его в доме. Запыхавшись, вбежал он на балкон, взялся за ручку двери в гостиную и остолбенел: из залы раздавались звуки музыки.

Волосы шевельнулись на голове Филата. «Что, как это домовой?» — подумал он, творя крестные знамения и чуть держась на ногах. Музыка не прекращалась. Филат вошел в гостиную, опять перекрестился и заглянул в залу.

Там, под хорами, освещенный луной, в белой пикейной паре сидел Кирилло Григорьич. Ухватив худыми коленями виолончель, он робкой, дрожавшей от волнения рукой водил по струнам и дико, сурово глядел перед собой, не замечая крупных, бежавших по его лицу слез. Он играл любимую торжественную и мрачную кантату Генделя...

Филат не знал, что ему делать: слушать ли, не мешая барину, провалиться ли от страха сквозь землю, звать ли кого на помощь?

В это мгновение со двора ясно послышался стук колес и легкое погромыхивание экипажа. Филат, чтобы не испугать барина и встретить приезжего, выскочил на балкон и через сад опрометью бросился к дворовому крыльцу. Но он опоздал...

Кто-то уже быстро вошел в переднюю, прислушался, тронул ручку двери в залу и, не отворяя ее, остановился.

Дверь скрипнула...

Кирилло Григорьич перестал играть. Он смутно расслышал шелест чьих-то сперва робких, потом торопливых шагов. Что-то дорогое, забытое, точно некий неземной дух — в сверкающем, как показалось Вечерееву, облаке и с протянутыми вперед руками, — выступило на пороге прихожей, стремительно подбежало к старику, склонилось к его ногам и с глухими, порывистыми рыданиями страстно обхватило его колени.

— Аглая, Аличка, ты ли это? — надорванным, радостным голосом, всхлипывая, вскрикнул старик.

Он встал, приподнял дочь, прижал ее к груди, не выпуская из объятий и пристально вглядываясь в нее, прошептал: «Нет, нехорошо видно, сюда, сюда!» — и, взяв ее за руку, нежно увлек на балкон.

— Так, так! — проговорил он, осыпая ее поцелуями и усаживая на ступеньках, рядом с собой. — Теперь вижу, это ты! моя! моя дорогая...

Аглая обезумела от восторга. Отец теперь ее узнал. Она глядела на него и не имела сил выговорить слово.

— Так это тебя, плутовка, тебя принес сюда этот... огненный крылатый конь? — спросил старик, еще крепче притискивая к груди дрожавшую в его объятиях Аглаю. — Смотри, смотри: вон он, вон, мечет пламя, мечет! — продолжал он, морщинистой, костлявой рукой указывая на темное взгорье; поверх которого в то время, свистя, гремя и рассыпая на небе вороха блестящих искр, тянулся железнодорожный поезд...

Наутро в Дубки, на двойной подставе лошадей, был вызван доктор Милунчиков. А через день эстафетами и телеграммами Аглая из губернского города пригласила еще несколько лучших врачей. Был составлен консилиум.

Медики освидетельствовали Кириллу Григорьича, расспросили о всех подробностях его болезни и лечении и объявили Аглае, что хотя ее отец при благоприятных обстоятельствах, сопровождавших его приезд в деревню, и пришел в себя, но это еще не все. Ему следовало предпринять новый, продолжительный и нелегкий способ лечения.

— Берегите его, как зеницу ока, — сказали Аглае врачи, — что-нибудь наверное решить нельзя. Но при ваших усилиях он может значительно поправиться.

— Что же для этого надо сделать? — спросила Аглая.

— Везите его в теплые края, например в Швейцарию или в Италию.

— Надолго ли?

— Этого определить нельзя. Может случиться, что способ лечения потребует и постоянного там пребывания отца.

Аглая задумалась.

— Но можно ли надеяться, можно ли предполагать, — спросила она, — чтобы отец мог выздороветь окончательно?

— По словам Эскироля, — ответил Аглае Милунчиков, — следует как можно более стараться об удлинении светлых промежутков в состоянии ума душевнобольных. У вашего отца явился такой промежуток. Он вас узнал, рад вам, незаметно возвращается к прежним занятиям. Вам остается быть его охраной. Берегите его, не дайте бесследно погибнуть тому, чего вы теперь дождались. Временный луч света может снова и навсегда угаснуть...

Врачи еще потолковали и разъехались.

В помещении приказчика шли иные рассуждения.

— Это я его, господа, вылечил, — утверждал несколько подгулявший на прощанье фельдшер Мосеич, — так было и с другим барином в одном полку. Помешался он, сказать, на том, что быдто проглотил семь возов с сеном, и все ждал, быдто ему лопнуть. Ну, я догадался, да, этак сказать, под вечер и посадил его у окна над воротами, а со двора велел выезжать заранее приготовленным возам с сеном. Считал этот барин, считал, да как вздохнет: «Слава тебе, Господи! — говорит, — маленечко точно ослобонился...»

XXXVIII

Непогрешимые

По возвращении в Москву Ветлугин не очень охотно принимался за прерванные адвокатские дела.

Столешников передал ему содержание полученных в его отсутствие бумаг и торопил скорее браться за предлагаемый ему процесс Ченшиных против Клочкова.

— Дело о растрате большого капитала, — горячился, уговаривая его, Столешников, — а ты медлишь... Ну, подумай, — этакие процессы выпадают редко. Другой ухватился бы обеими руками... Какой волк идет в тенёта... Петька проклятый... Сколько потрудиться можно, сколько негодяев упечь в тюрьму, а может быть, и в каторгу... Какие речи, наконец, можно произнести...

Ветлугин слушал товарища, расспрашивал о тех или других, выяснившихся из переписки частностях дела, браться же за него еще не решался.

— Да ты только подумай, — убеждал его Столешников, — дело против Клочкова, против анафемского господчика, которого давно пора разоблачить... А потом — сколько уголовщины, сколько, наверное, замешано других подобных тузов... Подделка счетов, купленные свидетели, да какие!

— Вот потому именно, что против Клочкова, — отвечал Ветлугин, — я и боюсь, как бы не вдаться в крайности, как бы не увлечься личною к нему ненавистью и не проглядеть из-за нее главной сути дела... А потом — что́ у тебя за страсть к громким уголовным процессам? Неужели ты не замечал, что большинство их у нас кончается вообще ничем?

Ветлугин медлил с принятием предложенного ему процесса и еще по одной причине. Вслед за возвращением в Москву, он получил от своих былых хозяев-сибиряков, около двух лет почти не вспоминавших его, такое дружеское письмо, что поневоле задумался и с недоумением стал поглядывать вокруг себя. На него повеяло иными, давно забытыми впечатлениями, Востоком, Сырдарьей.

«Уж не бросить ли Москву и ее развитые, толкущие воду кружки́, адвокатуру, слуг спячки, слуг Ваала, словом, все? — рассуждал Ветлугин. — И не возвратиться ли в когда-то излюбленные, суровые и дикие, но полные первобытной красоты места?»

«Первее всего всенижающе, — писали Ветлугину его сибирские приятели, — посылаем вам, досточтимый нами, названый братец Антон Львович, наше сугубое почитание и

усерднейший поклон. Молимся, да пошлет вам Христос Господь много лет жизни и всякое, по твоим добрым делам, счастье. О себе скажем наперво: не по грехам нашим попускает нам Господь. А дела наши, опять-таки благодаря вам, таковы, что вошли в кунпанию с Суждальцевыми и уже полста верблюдов посылаем с товарами в Калган. Вернутся эвти с барышом, готовим же и еще полста, а то и боле. Эй, Антон Львович, батюшка! Брось Москву и переезжай к нам же опять. С китайцем тихо. Бухарец по низа́м тоже потиша́л; потиша́л же и коканец. Таперича, абы товар, рвут нарасхват. Прохоровски ситцы с аленькими капидонцами, да с древом ланбардан, куды супротив аглицких им, азиятам, по душе. Больно ходки. Молчановски платки с драконами, да с пукетцами, ходки жа и не настачишься. Братец Василей онамедни опять пришел с Низо́в, от Ярленя, от Небесных гор. Что за климаты, сказывает, что за теплынь тамотко и всяка табе роскошь. Три ночи спать не давал, те места хвалючи... Брешет, был от аглицкой Индии не боля, что от Танбова до Москвы. Ай, места, сказывает, места!.. Али лесов табе, али всякого жита. Травы, брешет, ростом по горб верблюжий. А горны студены воды, а воздух, хоть бы и в раю. Стонет желтенька китайска голубица. Олени тож, фазаны, козы дикие, а например, даже львы. Есть где нажить, а есть где и поохотиться: это хоть бы и твому благородию. Народ, сказывает, добреющий, тихий такой. Высыплет это, аки стадо овец, из своих мазанок, глазеет, щупает те за руки, за платья, — а товар ему только подавай. Веришь ли, верблюдам наши молодцы чайные листья в тех лесах в корм давали. Эй, барин, приезжай. Подождем вашего ответа до весны. Согласишься — новый караван, в сто, а не то и в два ста верблюдов, прямо под твое начало отдадим. Не выберешься к весне, приезжай на лето или хоша к осени. И тому будем, перед Богом, вот как рады. Савва Уткин».

Это письмо взволновало Ветлугина.

День и ночь думал он о нем и, чтобы не смущать окончательно Столешникова, не сообщил ему его содержания.

Все теперь стало в Москве казаться Ветлугину бедным, ничтожным, бледным и даже как бы чужим. Его душа рвалась к диким, пустынным местам, к простым и неразвитым, отважным товарищам его недавнего прошлого.

«Отца я устроил, — думал он, — с родиною, с *нею* также все кончил. Что же меня здесь еще привязывает? Кому и чему я особенно пригоден? Говорунов... их немало и без меня!.. Да что выходит из их слов? Негромкого же, обыкновенного, но прочного и настоящего дела здесь мне нет по душе... Кончено!.. Сдам дела Столешникову. Это будет по нем. Недаром у него проявилось такое рвение к судам, а в особенности к произнесению защитительных речей. И говорит он, надо отдать ему справедливость, весьма складно, а подчас даже и отменно зло... Пусть тешится...»

Не так об этом предмете рассуждал Столешников.

Видя, что Ветлугин по возвращении от отца заметно охладел к своему ремеслу, Аввакум Андреич не мог прийти в себя от досады и удивления: метался, дулся, спорил или бешено и уже без всякого удержу ругался.

— Да ты что, наконец, думаешь о себе? — восклицал Столешников. — Ты — крайних мнений человек, так тебя и по головке гладить?

— Я этого не прошу. Да и с чего ты взял, что я — человек крайних мнений?

— Не то, не то, погоди, не горячись! — не слушая его, запальчиво кричал Столешников. — Я тебя, братец, давно оценил. Знаешь ли ты себе цену? а? знаешь ли? Ты — баба, свайка, или, как сам же ты выразился, свайный человек... Ты изменяешь своему долгу, совести, призванию; начинаешь мириться с средой... И ты полагаешь после этого, что я смолчу? Эх, брат, не ожидал я от тебя... да что!..

Аввакум отвернулся и неуклюже вытер рукавом слезу.

— Если ты на себя одного, — сказал он, — не хочешь брать дела Ченшиных против Клочкова... пусти туда меня... уж я, верь, не сплоховал бы..

«А что, в самом деле, пущу я в этот процесс Столешникова! — подумал Ветлугин. — Малый он честный, в деле понаторел и не ударит лицом в грязь».

— Хорошо, — сказал он, — одному мне с этим сложным делом не управиться. Если ты так добр и сам вызываешься, я охотно беру тебя а долю...

Столешников не верил тому, что услышал.

— Как, — обрадовался он и весь просиял, — так ты не шутишь, ты в самом деле?

— Вовсе не шучу. Завтра же, если на то пошло, возьму доверенность от наследниц Ченшиных. А ты поезжай на место, собирай справки, расспрашивай свидетелей, выследи, изучи все по документам и привози данные для начатия дела. Я составлю заявление прокурору, а когда утвердят обвинительный акт и дело назначится к слушанию в суде, я, если пожелаешь, охотно устрою тебе и возможность разделения со мной защиты на суде, предоставлю участие в судоговорении, в речах...

— Что же, или один робеешь? — с удивлением покосился Аввакум на приятеля.

— Нет, не робею. А уж ты слышал от меня: я не чувствую особого призвания к искусству твоего бога, Демосфена.

Восторгу Столешникова не было пределов.

Он со всем усердием и с безграничной верой в успех взялся за дело, которому корреспонденты газет и все знавшие о нем на месте пророчили славу одного из любопытнейших уголовных процессов.

Наследницы девицы Ченшины вручили Ветлугину доверенность и возвратились в Петербург, где одна из них служила при телеграфе, а другая была учительницей в женской гимназии. Столешников, снабженный наставлениями и письмами Ветлугина, уехал из Москвы.

Это было в конце декабря 1871 гола.

Вплоть до весны 1872 года Аввакум Андреич лишь изредка подавал о себе вести, без устали и втихомолку работая над собиранием предварительных справок. В конце апреля он возвратился в Москву. В начале мая Ветлугин составил прошение на имя прокурорского надзора. Иск против Клочкова был начат. Следствие было поручено судебному следователю по особым важным делам, который весьма удачно опросил первых указанных ему свидетелей. Улик по делу открылось немало. В начале июня Столешников опять уехал на родину Ветлугина, так как в это время следователь стал подготовлять дело к отсылке на рассмотрение и решение прокурорского надзора.

Усердно следя за ходом следствия, Столешников нигде, кроме Льва Саввича да семьи Фокиных, не показывался, держал себя осторожно и трепетал за малейшие недосмотры в расследовании дела. Как он ни хлопотал о соблюдении тайны, дело это, однако, стало получать общую известность. В газетах начали появляться о нем сперва краткие намеки, а вскоре и целые статьи. Ветлугин читал их и, невольно подозревая в их сочинительстве нетерпеливого и не в меру горячего Столешникова, писал ему из Москвы строгие и назидательные внушения. Столешников в ответ ему клялся всеми богами, что он тут ни при чем, — и, еще более замыкаясь в себя, старался быть осторожным и сдержанным.

Так прошло время до начала июля.

На возобновившиеся с летом письма сибирских друзей Ветлугин отвечал одно: «Подождите, господа: дайте покончить главнейшие из доверенных мне дел и тогда ждите. Полагаю, что выеду к вам никак не далее наступающей осени».

Об отъезде Аглаи из монастыря и о счастливой перемене в состоянии здоровья ее отца Антона Львовича никто не извещал. Это было условленно между Львом Саввичем и Фокиными в тех видах, чтобы Антон Львович попусту не терял своих чувств там, где, по их убеждению, не могло быть успеха. Со Столешникова в этом случае было взято слово молчать, и он это слово выполнял охотно.

Странная между тем и совершенно необъяснимая весть дошла в последнее время до сведения Ветлугина.

В одном из писем к Антону Львовичу Фокин, толкуя о том о сем — о Льве Саввиче, о своих делах и вообще о местных новостях, обмолвился, между прочим, следующими словами: «Все бы хорошо, только я сильно скучаю от продолжительного отсутствия моей жены».

«Что за странность! Где же это его жена?» — подумал Антон Львович.

Мысли Ветлугина невольно опять улетели туда, где были отец Адриан, монастырь, она... Он стал расспрашивать приезжих с родины, но еще более запутался в догадках; одни говорили, что старик Вечереев умер; другие, что он окончательно выздоровел, но что его дочь сильно заболела и он ее куда-то увез. Как всегда, плелись всякие небылицы.

Вследствие того первыми же словами в ближайшем письме Ветлугина к отцу была просьба о разъяснении непонятных слов Фокина. Лев Саввич увидел, что долее скрывать известия об отъезде Аглаи из монастыря было излишне. Он ответил, что за нескончаемыми хлопотами со школой, которую в первые же месяцы ее существования за что-то чуть не закрыли, он давно не виделся с Фокиным, а навестив его, узнал следующее.

«Доктора, — писал сыну Лев Саввич, — посоветовали Аглае Кирилловне везти ее отца в более теплые края. Она охотно на это согласилась. В сопровождении кормилицы, уездного врача Милунчикова (очень хвалят молодого человека: он первый помог и Ченшиным в раскрытии проделок Клочкова) и отпущенной мужем Афросиньи Адриановны Фокиной Аглая в конце минувшей весны оставила здешние места и повезла Кириллу Григорьича за границу. Были они на юге Франции, были, кажется, и в Италии. Теперь, с половины июля, живут где-то в Швейцарии. Старик Вечереев, как говорят, окончательно пришел в себя и начинает заметно оправляться: гуляет, читает. Его изредка возят в

концерты и даже в театры (последние, впрочем, он посещает в сопровождении Фокиной, а не своей дочери). Вспомнил он и прежнее любимое занятие — иногда играет на виолончели. Страдал он, правда, вначале некоторым отсутствием памяти; но теперь, по словам Фокиной, и это прошло. Ай да медицина. Вот ей и не верь. Я и сам думаю прибегнуть к врачам: три зуба только сохранились; хочу вставить новые. Кстати, о наших друзьях. Фокин сначала охотно отпустил в такой дальний путь свою жену. А теперь тоскует, просит ее, чтобы скорее возвращалась, и жалуется, что ничего не поделает с детишками. Знакомые тебе близнецы — Ганя и Даня — не слушают его и решительно не дают ему покоя. На днях, представь, они изрезали в клочки забытую Фокиным счетную банковую книгу, устроили из ее обрезков костер, где-то достали спичек и зажгли его. Банковые дела, впрочем, у нас идут так, что и все бы их книги следовало пожечь. Но при этом чуть не сгорела квартира Фокина, а с нею и все его добро. Он мне сам это все со страхом и презабавно рассказывал и усердно кланяется тебе.

«Так вот где теперь Аглая! — подумал Ветлугин. — Отчего же мне об этом в свое время никто не сообщил? Уж не больна ли сама Аглая?»

Антон Львович в тот же день написал Фокину, умоляя его объяснить ему подробно все происшедшее в семействе Вечереевых. Фокин на это письмо не отвечал ему более недели. Наконец он прислал пространный ответ. В подтверждение же своих слов приложил и некоторые из писем жены, прося Ветлугина возвратить их по прочтении того, что в них было очеркнуто карандашом.

Фокин писал следующее:

«Тысячу раз извиняюсь перед вами, многоуважаемый Антон Львович, что оставлял вас так долго в неведении всего, что произошло за это время в семействе Вечереевых. Но если вы узнаете причину моего на этот счет молчания, то — нет сомнения — хоть отчасти меня оправдаете. Письмо мое будет обширно. Зато я в нем изложу все до мелочей.

Дело в том, что Аглая Кирилловна, увезя своего отца за границу, действительно сделала доброе дело. Отец, вероятно, ей будет обязан своим окончательным выздоровлением. Что же касается до нее самой, то здесь речь другая. Я всегда опасался, что в чужих краях она может подвергнуться тем же роковым влияниям, которые чуть не безвозвратно погубили ее в России. Это-то обстоятельство и было причиной тому, что я не спешил вас уведомлять об оставлении Аглаей Кирилловной монастыря и об отъезде ее из наших мест. Я ждал вестей от жены. Но эти вести таковы, что вас порадовать не могут... Кому же охота прибавлять уважаемым людям новую горечь к старой?

Начну с того, что мне сообщила жена, с третьего же, если даже не со второго своего письма. Наши странники в то время оставили Биарриц и по преподанному им плану парижских докторов, для развлечения больного, через Марсель морем уехали в Италию. Как Германию, так и Францию Аглая Кирилловна проехала почти равнодушно. С вашего позволения, я вдамся здесь в небольшой разбор ее душевных впечатлений. В Берлине, Мюнхене и Вене она останавливалась для совещаний с знаменитыми психиатрами, но не прочь была и от некоторых развлечений: каталась с моей женой, посещала картинные галереи, музеи, окрестности. Париж ей не понравился: его шум, блеск и суета раздражали ее. Она съездила только в церковь Богоматери и святого Евстафия, да на могилу епископа, расстрелянного в последнюю осаду Парижа, и более ни на что не хотела и взглянуть. Зато с первым шагом на почву Италии она точно переродилась. Рим произвел на нее сильное и глубокое впечатление. Она с отцом и с моей женой, а потом и сама, в сопровождении Егоровны и комиссионера, стала усердно посещать храмы и развалины вечного города. Базилика Петра, недоконченный собор Павла и церкви некоторых из монастырей поразили ее своим величием и красой. Из Ватикана она не выходила по целым утрам, просиживала перед произведениями Рафаэля, Тициана и да Винчи. Жена пишет, что католическое

богослужение, с искусной, артистической игрой на исполинских органах, серебряными трубами, оглашающими своды римских храмов, потрясло Аглаю Кирилловну до глубины души. «Боже мой, — шептала она моей жене, вся умиленная и взволнованная, — слышишь, Фросинька, слышишь? Разве это похоже — прости Господи! — на пение там, в наших церквах?..» Во время одного из таких служений, в уединенной церкви монастыря обсервантов, или босоногих кармелитов, Аглая Кирилловна была особенно поражена... Проповедь ли служившего патера, пение ли оборванных, косматых обсервантов, мрачный ли хорал в клубах кадильного дыма, исполненный на органе каким-то замечательным, случайно приглашенным в эту церковь артистом, или собственное настроение Аглаи так подействовали на нее... Только она, сперва порывисто, шепотом, что-то все восклицала, похолодевшими руками хватаясь за руки моей жены. Потом стала рыдать и наконец почти без памяти, в обмороке, была увезена моею женою из этой церкви домой. Рим и на Кириллу Григорьича произвел глубокое впечатление. У него даже возвратились было припадки бессонницы и тоски. Милунчиков настоял на выезде Вечереевых из Рима. Это несколько успокоило и поправило Аглаю Кирилловну. А жизнь в Швейцарии могла бы и окончательно пророчить ей успокоение и излечение. Но, к сожалению, и там Аглаю Кирилловну встретили впечатления далеко не утешительного свойства.

А именно, едва они поселились на берегу Женевского озера, сперва в Лозанне, потом в Монтрё, как откуда ни взялись у них знакомства и с католическими монахинями, и с католическими аббатами. Монахинь моя жена и Милунчиков успели кое-как в начале же сплавить. Зато один аббат какой-то пер-Жак, приехав за ними по следам из самого Рима, поселился не только в том же Монтрё, но и в ближайшем к ним пансионе Лебедя. С первых же дней пер-Жак начал носить Кирилле Григорьичу ноты для виолончели, а Аглае Кирилловне духовные католические книги. Потом он

стал у них по вечерам играть на флейте, а перед завтраком с Кириллом Григорьичем садиться за шахматы; приносил им и читал Штофельсов «Новый апокалипсис», «Историю одной души» аббата Женуда, «Страдания сестры Эммерих» и пр., и пр. Он не преминул ознакомить своих новых друзей и с современными гонениями на ватиканский престол, равно как и с последними аллокуциями святого отца. Словом, этот аббат вскоре у Вечереевых стал почти домашним человеком. Явной опасности от него моя жена еще не видит. Но она пишет, что чуть не всякий день советует Аглае Кирилловне устранить посещения назойливого аббата; а в последний раз даже объявила, что, если та ее не послушает, моя жена бросит их и уедет обратно в Россию. Доктор Милунчиков поступил энергичнее. Открыто рассорясь с аббатом в каком-то споре о России, он сдал Кирилла Григорьича на руки другому, местному врачу (усердному и честному, как пишет жена, немцу Фоссу), а сам поспешил в наши места, куда благополучно и прибыл уже более двух недель назад».

Ветлугин с большим вниманием дочитал письмо Фокина и наскоро стал просматривать отмеченные последним места в письмах его жены.

Эти отрывки состояли в следующем:

«10 (22) июля. *Монтрё*. Pension Suisse. Сегодня вечером опять сидел у нас этот французик, пер-Жак, раздушенный, в батистовых манжетах и белейшем воротничке. Глядя на голубые горы и заходящее солнце, он сперва толковал о падении человечества вообще и о новом искуплении его молитвами Ватиканского Наместника Христа в особенности. Потом перешел к обрисовке, как он выражался, созданной из плача, вздохов и любви неземной личности самого Спасителя. Он говорил плавно, вкрадчиво, красноречиво. Глаза его горели. «Не чувствуете ли вы, — тихо и грустно обратился бледный аббат к Аглае, сидевшей за работой в полуосвещенном углу, — не чувствуете ли вы на себе, когда остаетесь одни в пустом, молчаливом храме, греющих лучей божественных глаз Христа?» Тут, полузакрыв черные лучи-

стые глаза, он вздохнул и начал сперва робко, потом огненными, смелыми красками объяснять влияние на человеческое сердце образа Спасителя. «Вот — бледные, нежные руки, которые вечно бы я целовал», — говорил пер-Жак, робко простирая перед собой красивые, почти женской белизны, в тончайшем батисте, раздушенные руки. — Вот кроткий, задумчивый, изможденный невыразимыми страданиями, но полный вечной, всепобеждающей красоты лик, который обожать и перед которым в трепете благоговеть я готов день и ночь», — грудным, страстным голосом шептал он, вглядываясь в лицо потрясенной и безмолвно внимавшей ему Аглаи.

Можешь себе представить, какое впечатление этот аббат произвел сегодня на нее, да отчасти и на всех нас...»

«15 (27) июля. Пер-Жак вчера был у нас снова. Кирилло Григорьич играл на виолончели; аббат, по обыкновению, вторил ему на флейте. Потом все мы катались на лодке по озеру. Аббат со слезами на глазах рассказывал о злодеях, ведущих войну против бедного «нищего», против «Ватиканского пленника», и представь — ни с того ни с сего — начал уверять, что католичество то же православие... Как я ни слаба в догматах, но я вспомнила уроки батюшки и резко ему возразила. Тогда он передал известие о патере Гиацинте, который, как ты знаешь, всенародно объявил о своем вступлении в брак с любимою женщиной. «У вас, — сказал он, — исстари для духовенства допускаются браки; то же вскоре будет и у нас. Мы в недальнем будущем сольемся с вами во всем. Ведь русские — это французы Востока...» Перейдя к сравнению монастырских уставов русских и католических, пер-Жак, впрочем, отдал предпочтение последним, так как они содействуют образованию народа. «Переезжайте на зиму снова в Рим, — сказал он на прощанье Кирилле Григорьичу, — я тоже буду там зимовать и покажу вам, сколько наши монастыри трудятся на пользу просвещения всех и каждого».

«18 (30) июля. Вчера почти весь день Аглая не выходила из своей комнаты. Сегодня утром я вошла к ней невзначай

и застала ее за чтением принесенных аббатом последних брошюр известного мистика и спирита Аллана Кардека. Оказывается, что пер-Жак — не только аббат, но еще спирит и духовидец. Это меня взорвало. Я спросила Аглаю, зачем ей подобные книги и неужели ее занимает вся эта непроходимая и обидная для всякого неглупого человека чепуха? Она отложила брошюры, молча подошла к окну и долго смотрела на горы и на озеро. Потом так же молча она вышла в общую комнату, где в это время Кирилло Григорьич доигрывал партию в шахматы с аббатом. Я пошла вслед за Аглаей. Рядом с аббатом сидел еще какой-то «непогрешимый» светский, длинный и молчаливый, с тусклыми, безжизненными глазами. Это был мосье Серизье́, как я узнала потом, изгнанный из Германии иезуит. Нас начинают, по чьему-то незримому распоряжению, окружать точно из-под земли растущие фигуры разных мистических проходимцев. Аглая иногда, кажется, и понимает их намеки и подходы. Два дня назад она даже нервно расхохоталась, вспомнив в разговоре со мной одно из таинственных и вместе пошлых признаний пер-Жака о том, что в доме его матери, где-то в Перигё, при нем плясали кастрюли и до потолка поднимался кухонный стол. По его словам, он зачастую слышит голоса духов. А недавно, ночью, уже здесь, в Монтрё, сама собой будто бы в его комнате заиграла флейта, и кто-то в белой мантии впотьмах подошел к столу, развернул всегда лежащее у его изголовья Евангелие; и наутро пер-Жак увидел, что эта книга была раскрыта на изречении Спасителя: «Оставь отца твоего и матерь твою и гряди вслед за мною». «Шарлатанство, богохульники!» — шептала, вспоминая эти откровенности аббата, Аглая. Иной же раз, после подобных бесед с пер-Жаком, она кажется совершенно как бы вне себя: тоскует, плачет, не ест, не пьет, не спит по целым ночам и все пишет, тут же разрывая в клочки, какие-то письма. Аглая меня решительно не слушает и, кажется, уже более мне не доверяет ни в чем... Веришь ли, обидно и горько на них и смотреть. Кирилло Григорьич стал опять похварывать. Несмотря на советы доктора Фосса

(старушка его мать тоже у нас бывает), он вместо прогулок более сидит с пер-Жаком и слушает его россказни. Аббат у нас уже сделал несколько опытов с верчением столов; а на днях обещал привести некоего третьего «непогрешимого» — духовидца, мосье Луи, у которого впотьмах по воздуху будет летать играющая гитара и все на своих лицах ощутят как бы прикосновение мягких, благоуханных волос или нежных, неземных перстов... и пр., и пр.».

— Кончена история... подведен жизненный итог! — с горечью сказал себе, дочитав эти отрывки, Ветлугин. — Нет! В Самарканд, в Кульджу! На родине, вероятно, мне уж нечего более делать... Скорее бы, скорее летело время... Не нынче завтра от Аввакума должно подойти окончательное, решительное известие. Съезжу, покончу дело... И тогда — прощай, милая родина.

XXXIX

Масличная ветвь

Ветлугин возвратил Фокину письма его жены с мыслью поскорее забыть обо всем, что между тем против его воли снова начало его томить и волновать. Свои дела Ветлугин подготовлял так, чтобы через месяц-через два иметь возможность уехать за Урал.

Через неделю после отсылки писем Фокину Ветлугин получил от него телеграмму. Последний извещал, что жена, пользуясь возвращением на родину одной московской дамы, оставила Швейцарию и, проездом домой, скоро будет в Москве. Фокин сообщил Антону Львовичу адрес, прося отыскать Афросинью Адриановну и в случае надобности оказать ей содействие в благополучной отправке домой.

В назначенный Фокиным срок Ветлугин отправился по указанному адресу. Афросинья Адриановна уже была в Москве.

Небольшой деревянный домик, куда она в то утро приехала со знакомой дамой, был где-то в глухом и узком переулке, возле Сухаревой башни.

Ветлугин осведомился о ней. «Пожалуйте», — сказала румяная рябая стряпуха, что-то полоскавшая в корыте на крыльце. Из полуосвещенной, заставленной всяким хламом прихожей Ветлугин вошел в крошечную и опрятную каморку, очевидно принадлежавшую бедной швее. По деревянному некрашеному столу были разбросаны обрезки холста и ситца. Здесь же помещалась сильно потертая ручная швейная машина. Над окном висела клетка с снегирем. У печурки были расставлены утюги. За дверью в соседнюю комнату раздавались оживленные, радостные голоса. Дверь отворилась. Оттуда вышла Фокина.

— Вы, какими судьбами? — всплеснув руками, вскрикнула она.

Ветлугин объяснил ей причину своего приезда.

— Как же я рада! Садитесь. Вот неожиданность! Я только что приехала.

— С кем вы это? — спросил Ветлугин, усаживаясь у окна.

— История поучительная и любопытная.

— Вы приехали с больною дамой?

— Сейчас чуть не разревелась... Ох, и теперь слезы просятся. Представьте, три здешних беднейших квартирантки, вдова цветочника Братцева и две девицы — гувернантка и швея Кучеровы, сложились на последние, скопленные ими деньжонки, даже заложили кое-что из вещей и отправили за границу свою заболевшую одышкой и водянкой старушку мать. И, можете вообразить, эта старушка благодаря им провела год в Ницце и год в Швейцарии; лечилась у лучших докторов и теперь возвратилась со мною совсем здоровая. Довольно сказать, что мы с нею от вокзала дошли сюда пешком, так как ни у нее, ни у меня... словом, не было вовсе поклажи... Восторгу этих милейших особ нет пределов... Я вот это все время тут на них любовалась... Ах,

отчего у меня нет такой же маленькой, доброй старушки матери! Верите ли, Антон Львович, личико, как у дитяти, — кроткое, ласковое, а сама при этом смотрит так строго и важно... Ну совсем как святая — беленькая, сухенькая, вся в комочек, — а проворна, как мышь... И уж как она рада, что оправилась и возвратилась! И те память потеряли — сидят да все глядят на нее, задают смешные вопросы о чужих краях, а она так тихо и по порядку все рассказывает... И главное — кто же? Беднейшие люди — гувернантка, цветочница, швея... Вот пример! Вот утешительное явление...

Фокина прижала платок к лицу.

— Ну, а?.. — начал и остановился Ветлугин. — А наши, как здоровье... что с Аглаей?

Фокина взглянула на него. С обветренным лицом и покрасневшимися от волнения и от слез глазами, она напомнила Ветлугину ту Фросиньку, которая когда-то в роковое утро провожала его из Дубков.

— Так вы все еще не забыли, вспоминаете? — кутаясь в синий дорожный платок, спросила она. — Ах, дорого бы я дала, чтобы вы теперь, хотя на один миг, повидались с Аглаей. Может быть... Да нет! Отчего вы тогда, в бытность у нас, год назад, не съездили в монастырь, не попытались вновь повлиять на Аглаю? Отчего?..

— Скажите, — перебил, не отвечая на вопрос Фокиной, Ветлугин, — что с нею? Мне ваш муж писал; он сообщил и содержание некоторых из ваших писем...

Фокина потупилась.

— Следовательно, вы все знаете, — ответила она, — ох, тяжело и вспоминать. Скажу вам, Антон Львович, одно, да нет... Ответьте мне прежде: писал вам муж об аббате, об отце Жаке?

— Писал.

— Ну-с, мои опасения сбылись. Этот аббат оказался ловким пройдохой. Он разыграл с Вечереевыми невероятную штуку...

— В чем дело?

— А вот в чем... При посредстве судившегося за кражу беглого зуава Луи и иезуита Серизье он под благовидным предлогом помощи какой-то духовно-учебной корпорации в Риме выманил у Кириллы Григорьича форменное обязательство на весьма крупную сумму. Да-с! Ни я, ни Аглая ничего этого не знали. Пер-Жак клялся, что это обязательство ему нужно лишь для кредита и что деньги по нему он будет ждать не менее трех лет. Между тем этот документ он продал другому, подставному лицу, а это лицо немедленно предъявило его ко взысканию. Кирилле Григорьичу грозят большие неприятности. С него взяли подписку о невыезде. Все вещи Вечереевых описаны и находятся под запрещением. Аглая увидела свою оплошность. Она не может простить себе, что подобные личности проникли в общество ее отца.

— Вы же, Афросинья Адриановна, почему их оставили?

— Аглая несколько дней плакала, наконец придумала, чтоб я ехала домой и приготовила все к продаже их последнего леса. Иначе им трудно разделаться по иску с Кириллы Григорьича.

— Бедная Аглая Кирилловна, как мне ее жаль! — сказал Ветлугин. — Но скажите, что ее настроение теперь? В чем ее помыслы о будущем и ждет ли она чего-нибудь от жизни от себя?

— Вы знаете, Антон Львович, как я ее люблю, — ответила Фокина. — А между тем я могу вам дать один совет — забудьте ее... Этот урок — Боже мой! другая бы... Или я ее не понимаю, или она недостойна ни ваших чувств, ни вашей памяти о ней... Люди, люди!..

Фросинька хотела еще что-то сказать, но не договорила. Она закрыла руками лицо, упала головой на окно, и только судорожное движение ее полных плеч, покрытых синим дорожным платком, показывало, что она сильно и неудержимо рыдала.

Был жаркий, несмотря на начало августа, даже душный день.

Ветлугин, утомленный хлопотами по делу, которое он в то утро защищал в суде, возвратился домой голодный и раздосадованный. Припоминая судебные прения, свою строго обдуманную речь и злые и меткие нападки противника, из-за которых он это пустое, в сущности, дело чуть не проиграл, — Антон Львович нехотя пообедал и лег отдохнуть. Ему не спалось. Он позвал слугу, спросил чаю, взял пачку новых газет, сел с сигарой у раскрытого окна и стал читать.

Вечерело. Пошел небольшой дождь.

Ближние улицы затихали; дальние еще отзывались шумом городской езды. С бульвара потянуло свежестью и запахом омытых дождем дерев. Ветлугин пробежал одну газету, другую и перенесся мыслями на родину.

«Что-то отец, — рассуждал он, — как его школа. Да что это молчит уже столько дней Столешников?» Об Аглае в последнее время Ветлугин старался не думать. Ее образ в его мыслях начинал погасать, как дорогое, но далекое и невозвратно улетевшее сновидение.

В прихожей раздался звонок.

Слуга подал Антону Львовичу два письма. Почерк на одном из писем Ветлугин узнал сразу: то было письмо от Столешникова. Аввакум Андреич извещал, что его хлопотам, кажется, суждено вскоре увенчаться полным успехом. Следствие по делу Клочкова было кончено. Злоупотребления опеки подтверждались целым рядом важных свидетельских показаний. И если сам Клочков был еще пока на свободе, зато все его товарищи: улан Подсыпанин, брат последнего, юнкер Мотя, какой-то мещанин Очков и младший сын Талицева, Николушка, — следователем уже были арестованы. «Если все пойдет так, как шло до сих пор, — писал Столешников, — то публичное заседание по этому делу будет назначено, вероятно, в конце августа и никак не далее начала сентября». Столешников советовал Ветлугину самому поспешить на место

и, не теряя времени, настоять на аресте Клочкова, так как иначе, находясь на свободе, Клочков может сильно повредить следствию, в чем отчасти уже и успевает: снова подкупил одного из важных свидетелей, играет в клубе в карты с прокурором и другими властями и пр., и пр.

«Странно, — сказал себе Ветлугин, дочитав письмо Столешникова, — положим, Клочков еще в начале следствия должен был выйти в отставку из управы и дал подписку о невыезде из губернии и о явке к суду. Но ведь он — коновод всего дела: как же его до сих пор не арестовали?»

Краска бросилась в лицо.

«Я в этом виноват! — прибавил мысленно Ветлугин. — Нельзя было такой важный шаг возлагать на одного Столешникова. Надо немедленно туда ехать. Клочков, действительно, может сильно напортить. Или лично против него так мало улик?..»

С этими мыслями Ветлугин взглянул на другое письмо. Штемпель и марка на последнем были заграничные.

«От кого бы это? — не вскрывая письма, старался припомнить Ветлугин. — Кто из моих доверителей или их родственников теперь в чужих краях? Ченшины?.. Но они в Петербурге, и я на днях еще получил оттуда их письмо...»

Антон Львович снова взглянул на штемпель. На почтовом конверте, несколько неясно было оттиснуто слово: Montreux.

Письмо дрогнуло в руке Ветлугина.

«От Кириллы Григорьича! — мелькнуло в его голове. — Он, вероятно, обращается по старой ко мне памяти, прося моего совета или иной, более существенной помощи по его делу с аббатом. А может быть, и кто другой, видя беспомощное положение Вечереевых, пишет ко мне, например Егоровна... Она же, кстати, раз ко мне уж и обращалась. Наконец, с Кириллом Григорьичем могло случиться несчастье. Что, если он умер? Мог повториться удар. В таком случае Аглая — нет сомнения — окончательно подпадет

влиянию разных аббатов... А там, с благословения папы, поступит в какой-либо известный особой строгостью уставов католический монастырь, отцовские земли, воды и леса продаст и все, вместе с собой, принесет в виде лепты Ватиканскому нищему...»

Ветлугин вскрыл письмо.

Сперва несколько рассеянно, потом внимательнее, он прочел первые строки, протер глаза и кинулся ближе к окну. Он взглянул на подпись в конце последней страницы, ухватился за сердце и, чуть не вскрикнув, опрокинулся на спинку стула. Что-то давно подавленное, глубоко спрятанное на дне души мгновенно пробудилось и зазвучало.

Письмо было от Аглаи.

«Она ли это, она ли, дорогая, далекая? — подумал Ветлугин, помутившимся, радостным взором вглядываясь в бегавшие перед ним строки письма. — Да, она... ее почерк!.. Но что со мной? Не вижу ничего...»

Он бросился в кабинет, запер дверь на ключ, распахнул окно, выходившее в сад, и при ярких последних лучах зари прочел следующие строки:

«Швейцария. Монтрё, 2/14 августа. Вы, Антон Львович, по всей вероятности, сильно удивитесь, увидев, откуда и кто вам пишет это письмо. Я не хочу быть перед вами в долгу. Около года назад вы мне высказали в письме столько горькой, поражающей и дорогой правды... Тогда я вам не могла и не решалась отвечать. Я была в то время там, за чертой, в другом, особом мире, откуда — клянусь вам — я никогда не надеялась возвратиться. А между тем вы видите, я возвратилась... И всем этим я обязана вам, вам одному, незабвенный, далекий и — позвольте так выразиться — дорогой мой друг. Вы меня вспомнили в такую пору, когда я менее всего могла рассчитывать на вашу память и, скажу прямо, на ваше снисхождение. Не нахожу слов, чтобы выразить вам горячую, беспредельную благодарность как за ваши тогдашние напоминания, так и за ваши горькие, но бесценные для меня укоризны. Отныне — клянусь вам, хотя

вы имеете полное право не верить мне более, — пока я буду жить, мыслить и чувствовать, во мне никогда не умрет благодарность к вам за все и прежде всего за то, что вы дали мне возможность спасти моего отца. До вашего письма я не могла даже подозревать того положения, в котором он находился. Теперь отец возвращен к жизни и благодаря Бога скоро, вероятно, будет вне всякой опасности. Когда он узнал, кому он этим обязан — я ему это давно сказала, — восторгу его не было пределов. Потом я вам признательна и за себя. С моих глаз окончательно упала завеса, из-за которой мне все казалось в ином, не настоящем свете. Но обо мне лично речь впереди. Да и станете ли вы теперь слушать подобные речи? Если судьбе угодно, чтоб мы когда-нибудь — о чем, впрочем, я не смею и думать — снова с вами встретились, и если бы вы при этом захотели меня выслушать, я вам объяснила бы все те невыразимые душевные муки и всю ту нравственную пытку, которые я выдержала в эти годы. Я искала в монастыре высшей истины и не нашла ее там. И я убеждена, вы не осудите, может быть, даже простите меня — как за мои ошибки, так и за те огорчения, которые я могла невольно вам причинить. Вот, добрый и дорогой мой друг, все, что было у меня на душе и что я теперь хотела вам передать. Времени нашего возврата в Россию определить еще нельзя. Зимовать мы во всяком случае, вероятно, останемся в Ницце или в Неаполе. Если мои письма вам не наскучат и вы расположены на них хотя изредка отвечать, пишите: это будет лучшим и единственным моим утешением вдали от родины. Аглая».

В конце письма, как видно, прибавленная спустя некоторое время, другим, более торопливым и вместе несмелым почерком, была сделана следующая приписка:

«P. S. Не имею сил не сказать вам еще несколько слов... Что со мной? Сама не знаю... Одно слово вашего *того* письма — вечно передо мной. Я долго колебалась, прежде чем решилась отправить к вам эти строки. В них не все сказано... Сердце мое слишком полно в это

мгновение... Я вас просила тогда, при моем отъезде в монастырь, забыть меня. Но я там же писала: до вас я не любила никого, и если бы когда-нибудь оставила монастырь, я, не задумавшись, вышла бы только за вас... Друг мой! Я теперь свободна. Приезжай... Твоя навсегда — Аглая».

Ветлугин вскочил и опять бросился к окну. Не помня себя, он еще раз прочел письмо и приписку к нему.

Мысли отказывались ему служить.

На дворе стемнело. Ясно было только поверх соседних, еще освещенных домов.

Невыразимая, тихая, давно небывалая радость осенила душу Ветлугина, и все в нем заговорило, просияло. Он закрыл глаза. Золотой мир улетевших картин не отходил теперь от него, звал и манил его в чудную даль.

Он схватил шляпу и выбежал на опустевший, покрывавшийся ночными тенями бульвар.

— Извозчик! — крикнул он случайно подвернувшемуся лихачу.

— Куда вашей милости?

— Ступай...

Лихач покатил. С громом пролетел резвый серый с подпалинами рысак одну улицу, другую, понесся переулками, чуть не задел кого-то и, фыркая, выскочил на обширную, застроенную лавчонками площадь.

— Да куда же вам, сударь? — обернулся, приподнимая шапку, лихач.

— Куда хочешь...

Лихач понесся опять.

«Шутник, — подумал извозчик, косясь на барина, — а может, выпивши...»

В тот же вечер Ветлугин попал в какой-то ярко освещенный трактир. Гремел орган. Половые в белых рубахах сновали, ухарски размахивая тарелками. Ветлугину тоже что-то подавали. Его узнал и подсел к нему один из его доверителей. Последний был заика. «Досто-чти-чтимый,

Ан-Ан-тон Львович, — рассказывал ему свое дело доверитель, — пред-пред-представьте, подлецы-то...» Ветлугин, улыбаясь, слушал его, слушал и вдруг вскочил. Он через стол обнял его, расцеловал в озабоченное, потешное, изумленное лицо и со словами: «Извините меня, вы совершенно правы, притом вы — отличный человек!» — бросил половому деньги и выскочил на улицу.

Как в ту же ночь Ветлугин очутился на дворцовой площадке, в Кремле, он тоже не мог объяснить себе.

Полный месяц высоко плыл в ясном, звездном небе, голубым, таинственным блеском пронизывая мерцающую даль. Бесчисленные главы церквей, стены домов, чуть видные в туманной мгле окрестные холмы и леса, яркие просветы улиц с вереницами фонарных огоньков и темный изгиб реки с изредка гремевшими от езды мостами, — все это казалось Ветлугину чем-то сказочным. На Спасской башне прозвонили часы.

«Одно слово моего письма как отозвалось в ее душе! — размышлял Ветлугин. — А я сомневался в силе человеческого слова... Все наши дела иногда не сто́ят одной мысли, брошенной во́время в мир... Дорогая, далекая! Сколько ты страдала, сколько вынесла...»

Ветлугин опустил руку в карман. Он боялся, с ним ли письмо Аглаи, и не сон ли было это письмо.

Долго стоял, опершись о перила площадки, Ветлугин. Ночь затихала над городом. Мглистая даль мерцала в лунных лучах. Там, за этой далью, была дорога на родину Ветлугина. Там он узнал первое счастье, узнал ее...

В три часа ночи Ветлугин возвратился к себе, зажег лампу, сел к столу и написал ответ Аглае:

«Ты поймешь, с каким восторгом я прочел твое письмо. Боюсь теперь одного: стою ли я этого счастья, стою ли тебя? Если бы не одно дело, связанное с судьбою других, я, ни минуты не медля, полетел бы к тебе. Душа моя полна.

Многое хочется тебе сказать. Но — будем терпеливы. Подождем, чтобы с нашим счастьем слилось и счастье тех, чьи радости составят наше лучшее утешение. На моих руках важный процесс, и я с минуты на минуту жду, что меня вызовут на родину. Дело трудное. Противник силен. Не хочу упоминать в эти мгновения его темного имени. О, если б ты знала, с каким нетерпением я буду ждать минуты, когда явлюсь в Монтрё и переступлю твой порог. Я рассуждаю, сам себе даю советы, но не ручаюсь, хватит ли у меня сил вытерпеть, — не запереть на ключ контору и не полететь к тебе? Жди во всяком случае депеши. Твой — А. В.».

Утром Ветлугин сам отвез это письмо на почту. Через день он послал телеграмму Столешникову с вызовом его в Москву. А когда Аввакум Андреич приехал и сообщил, что доклад по делу через неделю-через две будет готов, он ему передоверил все свои дела и, не посылая депеши, выехал из Москвы.

XL

Опять на родине

Вместо двух-трех дней, Ветлугин жил в родной губернии третью неделю и, как это его ни огорчало, все еще не видел особенно благоприятного исхода в деле с Клочковым.

Большинство свидетельских показаний клонилось к обвинению второстепенных подсудимых, почти не касаясь главного из них. Вследствие того Клочков был на свободе и, как казалось, совершенно спокойно и смело ждал близкой развязки дела. Ничуть не изменив образа жизни, он будто стал еще беззаботнее и веселее: посещал знакомых, театр, клуб, играл в карты и сыпал деньгами. Его комнаты с утра до ночи были полны разным деловым людом: предпринимателями новых банковых и торговых оборотов, газового освещения, водопроводов и даже асфальтовых тротуаров и

мостовых. Несколько раз Петр Иваныч, как бы случайно, промчался в коляске на чистокровных рысаках мимо дома Льва Саввича, где, как все в городе знали жил в это время его противник по делу

В аресте Клочкова Антону Львовичу было отказано. Ветлугин пропустил время: в ту пору в город уже приехал главный защитник Клочкова. Это был один из первых столичных адвокатов, известный как своим красноречием, так и тем, что брался за всякое дело, насколько бы неприглядно с виду оно ни было. «Адвокат — тот же врач, а врач разве имеет право разбирать, к кому из больных ему идти или не идти?» — говорил этот адвокат. Он забывал, впрочем, в этом случае главное правило врачей. А именно, прежде чем идти на зов клиентов, он обыкновенно выговаривал вперед — и притом письменным условием — за свою помощь такие куши, о каких редко кто из врачей грезил и во сне.

До дня судебного разбирательства по делу оставалось не более недели. «Уезжать нельзя, — решил Ветлугин, — опасно!.. Пробуду здесь, покончу с защитой и тогда уеду, не связанный ничем». Ему советовали побывать у прокурора, у председателя суда. Он не был ни у кого. Изредка навещал только Фокиных, а остальное время проводил с отцом. Аглае он не давал знать о своих предположениях касательно выезда, чтоб еще более обрадовать ее неожиданностью свидания.

Клочков эти дни не дремал.

Его защитник под благовидными предлогами объездил не только всех крупных представителей суда, но посетил губернатора, вице-губернатора, предводителя и даже полицеймейстера. Он ежедневно обедал в клубе, несколько раз появлялся на гуляньях и настоял перед судом о вызове множества влиятельных и известных связями и богатством лиц. Эти господа приняли на себя благосклонный труд свидетельствовать перед присяжными заседателями о добропорядочности, честности, человеколюбии и прочих гражданских доблестях Петра Иваныча, в том числе даже о его уважении

и любви к наукам и искусствам. Были под рукой, к сроку доклада пущены от лица как бы случайных корреспондентов, и весьма ловкие сообщения в некоторые из столичных газет. В этих статьях Клочков выставлялся неповинной жертвой неблагонадежных пройдох. Упоминались низкие, противообщественные страсти, зависть черни к высшим сословиям и даже интернационалка. Были привезены и собственные, нарочно подготовленные защитником, стенографы д я записывания прений в тех именно красках и с теми оттенками, какие было угодно придать этому делу со стороны усердной защиты. Для избранного же общества Клочковым были даны два вечера, на которых были условлены некоторые особые со стороны граждан действия: составление на всякий случай адреса от города, овации на суде и после суда и проч.

Все, казалось, шло хорошо. Друзья Клочкова не унывали.

Один Клочков был не совсем спокоен. Что-то зловещее, темное и безобразное, мимо его воли, вставало и шевелилось в его душе. Его грыз внутренний, невидимый ни для кого, злой и неугомонный червь. Тяжелое, едкое и неисходное сомнение день и ночь его терзало. Тревожным взором всматривался он вдаль и не видел там ничего утешительного.

«Что, как... — думал он, замирая наедине, и несмелыми, торопливыми шагами принимаясь ходить взад и вперед по кабинету, — что, как оборвется? Что тогда?.. И где этот дьявольский черновой набросок? Где эта распроклятая, забытая мною бумага? Неужели она цела, и я не уничтожил ее?»

Запершись на ключ, Петр Иваныч до того шагал по комнате, что лампа звенела на столе и статуэтка Бисмарка чуть не падала, колыхаясь на книжном шкафу.

«И кому мог понадобиться этот обрывок? Куда — сто тысяч чертей бы тебе в глотку! — куда я его запропастил? Разорвал ли я его, засунул ли куда-нибудь? Вот презрение к бумажному хламу до чего довело... Нет, нет, не может быть! Этой бумаги у меня нет... Следователь в мое отсут-

ствие шнырял здесь везде, обнюхал и осмотрел всякую щель и всякую пылинку. В печах, в трубах, даже под обоями он искал и ничего не нашел. Все, что я вспомнил, уничтожено заблаговременно и со вниманием. Но об этом обрывке я забыл, и он должен быть цел, не истреблен. Где он? И что, если эта бумага попадет в руки суда? А, тетенька, какова штучка? О! скорее лети, распроклятое время! Скорее отбыть судебное следствие, выслушать глупые обвинительные речи, видеть ослиные рожи присяжных... Митро́хинцы, просившие по улицам милостыню, где вы? Идите судить Петра Ивановича Клочкова...»

Бумага, так волновавшая Петра Иваныча, была хорошо памятный ему собственноручный черновой набросок одного из срочных его отчетов по опеке над имением Ченшиных. Этот набросок ловко составленных, но, разумеется, вымышленных цифр был им в конце минувшего отчетного года послан по почте управителю ченшинских имений. Последний, однако, тогда же его известил, что им был получен пустой конверт. Клочков в то время не обратил как-то на это должного внимания. Теперь же это обстоятельство бросало его в холод и в жар. Либо состряпанный им набросок в ту пору кем-нибудь из конверта был вынут, либо сам Петр Иваныч по рассеянности забыл его туда вложить. Но куда ж он делся? И как это случилось? Столько раз он пересылал таким же способом состряпанные черновые наброски, и бывший с ним в стачке управитель постоянно, по миновании надобности, возвращал ему их для истребления.

Подозревать управителя?

Но сам же этот управитель был не только привлечен к следствию и к суду, а даже арестован и, сидя в остроге, всячески выгораживал из дела как себя, так — в равной степени — и Клочкова. Снестись же с ним об этом, для более точных разведок, теперь уже не было никакой возможности.

Петр Иваныч скрепя сердце до последних мелочей пересмотрел и прочел всю свою переписку, справлялся на почте и

подсылал доверенное лицо к жене ченшинского управителя. Это лицо у последней также перерыло весь бабий хлам, лазило на крышу и в погреб, даже срывало половицы и ночью кое-где копало землю. Желаемая бумага не отыскалась.

Толки в городе перед докладом дела Клочкова дошли до сильной степени напряжения. Ветлугина, разумеется, в высших слоях осуждали. «Начать такое вопиющее, несправедливое дело! — говорили о нем местные тузы. — Да кто же после этого из нас безопасен?» Сочувствовали Ветлугину пока немногие из горожан. За два, за три дня до доклада дела (так это было нарочно устроено) из столиц стали подходить газеты со статьями, писанными рукой друзей Клочкова. В одной из этих статей об Антоне Львовиче вскользь говорилось как о человеке во всяком случае недобронадежном, вследствие того что он за свой образ мыслей был посылаем некогда прогуляться за Урал. В другой намекалось на то, что и его отец когда-то за опасные мнения был принужден оставить место учителя гимназии. В конце же концов друзья Петра Иваныча постарались Антону Львовичу нанести удар еще и с той стороны, откуда он менее всего мог этого ожидать.

Председатель училищного совета, в угоду некоторым из влиятельнейших тузов, придрался к неловкому ответу из закона Божия одного из учеников школы Льва Саввича. Не успел Лев Саввич дать объяснений, как инспекция, через подлежащее начальство, сделала ему строгий выговор, да, кстати, при этом отрешила и лучшего из учителей школы, а именно — преподавателя математики Коребякина. А когда Лев Саввич где-то позволил себе выразиться, что так нельзя, что это — насилие и беззаконие, ему заметили, что если дела в его училище пойдут и далее, как шли до сих пор, то оно без замедления будет и вовсе закрыто.

Лев Саввич этими передрягами был глубоко взволнован и огорчен.

— Как, меня подозревать в сеянии плевел? — говорил он. — О, я им покажу, как меня трогать! К начальству учебного округа, в департамент, к министру напишу... И если не возьмут назад несправедливого выговора мне, я сниму вывеску со школы и сам ее, без них, закрою... Пусть бедные мальчики и девочки вместо занятий грамотой шляются по колени в грязи по улицам, отцам водку из кабаков таскают, воруют. Пусть эти дети переполняют приюты несовершеннолетних преступников и всяких извращенных шалопаев. Довольно терпеть! Еду к инспектору училищ... Власьевна, кликни извозчика.

— Полноте, папенька, оставьте, — успокаивал отца Антон Львович, — охота вам так волноваться от всяких кляуз?.. Делайте свое дело честно и тихо и, верьте, все перемелется, мука будет...

— Как? И ты за этих слепорожденных? Коребякина, лучшего моего учителя, надежду юных педагогов, отрешили, а я, сложа руки, буду сносить все это? Нет, шутишь...

— Жаль Коребякина, что и говорить! Но он молод и не пропадет... На его место явятся другие... А вы у меня... у всех... один...

— Нет, закрываю школу! Не уважают моих трудов — столько лет я о ней мечтал и хлопотал, спекулянтом из-за нее чуть не сделался... А какой-нибудь скверный, выгнанный из старых канцелярских трущоб секретаришка подсунул обо мне лживый доклад и его подписали?.. Не надо школы... Кабак устрою на ее месте; за прилавком сам подлою светланой стану торговать... Или кафешантан заведу, где наемные, бесстыдные девицы канкан будут танцевать... Еду...

— Да погодите же, куда вы? Скоро ночь! Инспектор живет на даче, за городом. Дорога идет лесом... Отложите поездку на завтра... выслушайте хоть слово...

Но Лев Саввич был неумолим.

Он схватил шляпу, объявил, что возвратится еще засветло, к чаю, и уехал.

Засветло, однако же, Лев Саввич домой не возвратился. Стемнело.

Антон Львович поднялся на вышку. Его тревожило это долговременное отсутствие отца. Но он успокоился, сообразив, что смежно с дачей инспектора училищ был и загородный домишко одного из сослуживцев отца по гимназии. Лев Саввич в случае запоздания мог найти у этого товарища теплый приют. А потому, не дожидаясь отца к чаю, Ветлугин принялся за окончательную проверку данных для судебной речи. Это навело его на целый ряд тяжелых и грустных мыслей как о деле, занимавшем его теперь, так и о той печальной общественной среде, в которой оно возникло и созрело. Он собирался писать и некоторые письма, в том числе к своим доверительницам Ченшиным, закидывавшим его кучей вопросов по процессу.

Вечер уже был на исходе.

Пробило девять часов. Ветлугин сидел перед столом, заваленным грудою деловых бумаг. Изредка взглядывал он на полки с книгами, на портрет Ломоносова, висевший на стене, прислушивался к свисту машины на железнодорожной станции, к гулу уличной езды.

«Вот и курьерский поезд пришел, — размышлял он, — значит, скоро уж и десять часов. Надо сказать Власьевне, чтоб ложилась спать. Отец, наверное, остался ночевать на даче у приятеля. Такая темь... Да и мне пора. Завтра свидание с вновь подъехавшими свидетелями. Какая-то купчиха Лутошникова с сестрой тоже искала видеть меня с утра: против мужа иск за неверность затевает...»

Ветлугин взял лампу и хотел уже спуститься вниз, как на лестнице послышались знакомые шаги. На пороге показалось недовольное и заспанное лицо Власьевны.

— Там к тебе какие-то две принцессы пришли! — сказала она, зевая в руку. — Времени, вишь, днем мало; по ночам еще, шилохвостницы, ходят...

— Кто такие? Лутошниковы?
— Каки Лутошниковы?
— Да что утром спрашивали? С сестрой приходила...
— Не знаю. Должно, не они.
— Так, верно, к отцу. Спроси, не насчет ли школы?
— Эк зарядил! говорят, что к тебе. Одна с виду — барыня, а другая — так, быдто никономка али горничная. Шут их разберет! — опять зевая, сердито добавила Власьевна.

— Так вот что: скажи им, няня, что меня дома нет, чтоб завтра пришли.

— Ну уж этого нельзя. Пальто твое и шляпа в передней: они увидели, и я сказала, что ты дома. Опять же они говорят — беспременно нужно тебя видеть.

«Уж не Ченшины ли подъехали?» — пришло в голову Ветлугину.

— В таком случае, няня, проси, — сказал он, — только не надолго; скажи, очень, мол, занят и устал. Введи их и ступай спать. Я и сам за ними дверь затворю. Есть в зале лампа?

— А ты думаешь, так-то их держу впотьмах? Разумеется, зажгла! — спускаясь с лестницы, ворчала Власьевна.

Она передала посетительницам ответ барина и отправилась восвояси. Спустя несколько минут по ее уходе оставил вышку и Ветлугин.

Недоумевая, кто бы мог его спрашивать в такую пору, он приостановился и из прохода под лестницей заглянул в залу. В полуосвещенной прихожей с дорожным мешком в руках сидела закутанная платком какая-то старушка. Не видя ее спутницы, Ветлугин вошел в залу и взглянул перед собой...

С дивана, стоявшего справа у двери в кабинет, навстречу Ветлугину встала и робко ступила несколько шагов сухощавая, стройная особа в темном пальто и с вуалью на лице... Из-под шляпки падали пряди густых недлинных

волос. Сквозь сетку вуали глядели черные, как бы усталые глаза...

«А! младшая из Ченшиных!» — подумал Ветлугин. Но устремленные на него ласковые, ожидающие глаза говорили другое...

Что-то близкое, дорогое, с упреком и с мольбой кротко смотрело этими глазами.

— Вы меня не ждали? — тихо спросила, не двигаясь с места, стройная особа...

XLI

Гостья

— Аглая... вас ли... тебя ли вижу? — обезумев от радости, вскрикнул Ветлугин.

Он бросился к Аглае.

— Какими судьбами? Как и когда ты приехала?

— Как видите, прямо с железной дороги. Поезд только что пришел...

— Но с кем ты? Где твой отец? Здоров ли он?

— Ох, дай опомниться, — сказала она, — видишь ли... Отец, слава Богу, совершенно оправился... Но у нас встретилось одно неприятное дело. Впрочем, пустяки... Сверх того, надо было побывать в имении. Сперва было мы все поручили Фокиной. Но где же ей возиться с подобными делами? Вот я... то есть отец и посоветовал... Я решилась сама съездить в имение и, не успев о том предупредить Фокиных, съездила...

— С кем?

— С Егоровной... с ней и к тебе теперь заехала...

Комната, лампа, дверь в кабинет, дверь в коридор — все заколыхалось в глазах Ветлугина.

— Милая, дорогая! — вскрикнул он, сжимая и целуя бледные, худые руки Аглаи. — И я считал мгновения, и я... Но ты меня предупредила...

— Еще до деревни я хотела тебя известить в Москву. Да узнала, что ты здесь — о тебе все говорят... толкуют о процессе... Я покончила с хлопотами — и вот...

— Нет, это невозможно, это сон! — повторил Ветлугин. — Да скинь же вуаль, пальто... Как ты поправилась, возмужала, даже будто подросла!.. А глаза, глаза те же...

Аглая покраснела, отвернулась.

— Рассказывай, слушаю! — жадно вглядываясь в пылавшее от дороги, смущенное лицо Аглаи, продолжал Ветлугин. — Сюда, к столу.

Они пересели на диван, заговорили о прошлом, о страданиях и сомнениях друг друга, перешли к надеждам на будущее. Восторгу их обоих не было конца.

— Но, позволь, у меня к тебе и дело есть, — отстраняясь от объятий Ветлугина, сказала Аглая.

— Никаких дел мне теперь не нужно, — повторял он, — и я знать ничего, кроме тебя, теперь не хочу...

— То, что я скажу тебе, касается не тебя одного. Будешь слушать?

— Говори, — не спуская глаз с Аглаи, нехотя согласился Ветлугин.

— По пути в деревню, на железной дороге, несколько раз при мне произносили твое имя. Тебя хвалили... Можешь себе представить, как это отозвалось во мне. Шли толки о предстоящем процессе против Клочкова... Тут только я поняла намек в твоем письме о трудном деле, которое тебя заботило. Я сознавала, сколько тебя огорчало опасение за счастливый исход дела. Эта мысль не выходила у меня из головы. Тут и я вспомнила твое выражение — помнишь, еще тогда, у нас? «Один человек не сможет, смогут двое». И все я думала, как бы и чем тебе помочь... Вот, подготовляя в деревне купчую на лес, я стала рассматривать с приказчиком бумаги и случайно наткнулась на два черновых наброска... Оба они писаны рукой Клочкова... Я его руку знаю хорошо — памятна она мне...

Аглая из кармана пальто достала связку бумаг и с судорожной торопливостью стала их раскладывать по столу.

— Это — счета, письма, черновые прошения; а на этих двух — надпись прежнего нашего приказчика, — видишь? «Присланы по ошибке — отправить обратно...» Приказчик тот рассчитан, и бумаги остались неотправленными. Так как в них упоминается имение Ченшиных, то я и подумала, не пригодятся ли они тебе?

Ветлугин стал наскоро пробегать поданные ему бумаги.

— Что, годятся, годятся? — лихорадочно горевшим взором заглядывая в лицо Ветлугину, допрашивала Аглая.

— Глазам своим не верю! — вскрикнул Ветлугин. — Не только годятся, в них теперь весь мой успех, вся победа...

— Что же в них? — облокотясь головой на руки, с тою же напряженностью допрашивала Аглая. — Я неученая; мне так представилось... С отцом Адрианом я советовалась, и он одобрил мысль об отдаче этих набросков тебе.

Просмотрев бумаги, Ветлугин главные из них отложил в сторону и с замирающим сердцем обернулся к Аглае. Он посмотрел на нее с такою любовью, с такой ласково-нежной улыбкой, что Аглая снова вспыхнула и невольно опустила глаза.

— Ты хочешь знать, что в этих бумагах? — спросил Ветлугин. — Это — черновой сговор Клочкова с его пособниками — верная, наконец, нить к обличению его подложных опекунских отчетов. То же, вероятно, производил этот примерный опекун и с вашими имениями... Привезя эти бумаги мне, ты поступила как лучший, верный друг... более того, как...

Ветлугин не договорил.

Он еще крепче прижал Аглаю к своей восторгом и счастьем дышавшей груди. И не было, казалось ему, на свете в эти мгновения ни его, ни Аглаи. Вокруг него царили радость и блеск безграничного, полного счастья.

— Ты помогла мне, — шептал он, осыпая поцелуями руки Аглаи, — ты помогла, как та, которую я полюбил с

первой встречи и которой не мог разлюбить и не разлюблю никогда...

— Мы не расстанемся более, не правда ли? — детски-ласковыми, любящими глазами глядя на Ветлугина, спросила Аглая.

— Что ты сказала, что за вопрос?

— Не удивляйся, — продолжала Аглая, — теперь и я боюсь за тебя, за мое счастье, жизнь! Боже мой! Не во сне ли все это? Не ошибаемся ли мы?.. Береги меня... Я же стану молиться, чтобы Господь дал мне силы быть тебя достойной, помогать тебе в достижении успеха в твоих трудах... Когда у тебя доклад по делу?

— Теперь он, вероятно, будет отсрочен. Эти бумаги передадут к сведению подсудимых.

— Но как, однако, ты рассчитываешь, когда состоится суд?

— Через неделю, может быть, и через две.

— А через день после того мы все — слышишь ли? — все опять поедем в Дубки: ты, я, твой отец и Фросинька с мужем. Согласен?

— А ты будешь ли согласна исполнить одну мою просьбу?

— Какую?

— Разрешить мне снестись с отцом Адрианом.

— О чем?

— Чтобы он принял все нужные меры...

— К чему?

— Чтобы немедленно по нашем приезде нас обвенчать...

Аглая вздохнула и с улыбкой, как во время оно, молча положила обе руки на плечи Ветлугина.

— Еще не все, — сказал Антон Львович. — Ты когда-то желала знать согласие моего отца. Не уведомить ли и Кириллу Григорьича?

— О! давай бумаги и перо, — ответила Аглая, — пошлем ему сейчас телеграмму.

— А твоя игуменья? — шутил Ветлугин. — Я теперь — законник... Знаешь ли ты изречение из номоканона?.. «Монах или монахиня, аще приидут в общение брака, да отлучатся...»

— Я — не настоящая монахиня, а рясофорная! — ответила Аглая. — Да хоть бы и постриглась, так я не посмотрела бы ни на кого...

Депеша в Монтрё была написана. Ветлугин взглянул на часы — была полночь.

Он вспомнил о Егоровне.

— Ну, милая, — сказал он, разбудив кормилицу Аглаи, — где думаете с барышней пока остановиться?

— У Фокиных господ, ваше благородие, — кланяясь, ответила Егоровна. — Где же и лучше? Почитай что свои... Да и не пора ли, барышня, чай, уже спят — не достучишься.

— Да, голубушка, пора, — сказала Аглая, — сходи, кликни извозчика.

— Что вы, что вы так скоро! — остановил их Ветлугин. — Отдохните, посидите. А чтобы Афросинья Адриановна не легла спать, пошлем за нею, и она, без сомнения, явится сюда немедленно.

— Нет, нет, — засуетилась, глядя на знаки, делаемые Егоровной, Аглая, — как можно беспокоить Фросиньку! Лучше я к ней поеду.

Но Ветлугин не согласился так скоро отпустить дорогую гостью. Он выбежал на двор и стал стучаться в кухонную дверь к Власьевне.

— Кто там, леший? — сердито крикнула бывшая уже в постели Власьевна.

— Самовар, няня, самовар! Приехали, милая, приехали!

— Да кто приехал? И чего ты кричишь как оглашенный? — допрашивала, не отпирая двери, Власьевна.

— Невеста моя приехала, — шепнул сквозь двери Ветлугин.

«Господи Иисусе Христе! — говорила себе Власьевна, летя на извозчике к Фокиным и крестясь большим кре-

стом. — И взаправду ведь прилетела лебедочка!.. Да какая смирная, тихая да ласковая! А уж статная какая, королева — да и все, красавица писаная... Пошли им, Господи, пошли!»

Лев Саввич, вопреки ожиданиям сына, не остался ночевать на даче у своего приятеля.

Сердитый от неудачного заезда к властям (он по пути побывал и у председателя училищного совета), измученный ночною ездой по тряской дороге напрямик, Лев Саввич подъехал к своим воротам, вошел в калитку, увидел свет в нижних окнах дома и, брюзгливо качая головой, пошел к крыльцу.

— Этот Антон из рук отбился со своей добротой! — ворчал он, неверными шагами взбираясь на ступеньки. — Далеко за полночь, люди везде спят, а он все еще с просителями возится... И какой с того толк? Кроме общих пересудов вкривь и вкось, ничего, кажется, не выйдет. Вон инспектор-то как о нем отзывался! Вы, говорит, мутьяны здесь оба... задаст вашему сыну Клочков, как его оправдают присяжные...

С такими мыслями Лев Саввич вошел в прихожую, снял шляпу и пальто, отворил дверь в залу и несколько мгновений рассеянным, сердитым взглядом прищуривался к тому, что увидел перед собой.

Вокруг стола, уставленного чайным прибором, закуской и даже бутылками с вином, сидели, весело разговаривая и не замечая его появления, несколько лиц: Антон Львович, Фокина, какая-то, по-видимому, из прислуги, старушка, повязанная платком, и совсем раскрасневшаяся нянька Власьевна.

«Что за чепуха, — презрительно скривив рот, подумал Лев Саввич, — Антонушка чай распивает с горничными...»

Но то, что вслед за тем разглядел с порога Лев Саввич, еще более озадачило его.

По другую сторону стола, несколько заслоненная пыхтевшим самоваром, сидела сухощавая, стройная особа. Она была молода и очень красива: большие черные глаза, строгие губы, гордое и бледное, обрамленное пышными волосами лицо. Антон Львович, нагнувшись, что-то ей нежно говорил, и в его руке была рука этой особы.

Приход Льва Саввича первая заметила Власьевна.

— Барин! — в испуге шепнула она, вскакивая и впопыхах почему-то хватаясь за самовар.

За нею встали и отошли в сторону Егоровна и Фокина.

— Папенька... — начал, подходя к отцу и как-то растерянно, а вместе торжественно-радостно глядя на него, Антон Львович, — позвольте вам представить... мою...

«Мою?.. Кто это?» — с прежней суровостью хмуря брови, подумал Лев Саввич.

Он чопорно и важно, склонив голову набок, ступил два шага вперед...

Красивая и стройная, гордо державшая себя молодая особа об руку с Антоном Львовичем молча подошла к старику.

Льву Саввичу как бы шептал кто-то в ухо: «Коли она его, так и твоя, твоя!..»

Старик оглянулся. Точно ожидая чьей-либо опоры, он поднял на девушку растерянно мигавшие глаза. И вдруг заметил, что и она, также пугливо, с простой и несмелой улыбкой, будто ожидая от него какой-либо милости, любящими глазами покорно смотрела на него.

— Ах, да что же... что это?.. — залепетал Лев Саввич, чувствуя, как слезы сдавили ему горло. — Антонушка, да неужели же это?..

Он не договорил. Что-то прелестное и робкое, шурша шелковым платьем, торопливо склонилось к нему.

— Так это вы?.. Аглая Кирилловна?.. — радостно всхлипывая и дрожащими руками нежно обнимая голову Аглаи, вскрикнул старик. — Бог вас благословит, Бог... а вы, а я...

Слезы не дали Льву Саввичу договорить. Ноги его подкосились. Он присел на край дивана. Фросинька и обе старухи, стоя поодаль у окна, также утирали глаза.

— За мной, за мной! — сказал, вставая, Лев Саввич.

Он провел сына и Аглаю к себе в спальню, снял со стены образ, которым он и его покойная жена были когда-то напутствованы в церковь, спросил Аглаю и сына: «Любите друг друга?» — и, прибавив опять: «Ох, да что же я!» — еще с бо́льшим чувством благословил жениха и невесту. Образок Аглаи, висевший эти годы у его изголовья, он надел на себя. «С ним, с *твоим* — *ему* благословением, — сказал Лев Саввич Аглае, — я не расстанусь никогда! Тебе я уступаю сына, а ты... уступи мне то, чем ты вымолила себе и ему это счастье...

Был второй час ночи.

Аглая в сопровождении Фокиной, Антона Львовича, Егоровны и Власьевны, шедшей впереди всех с фонарем, отправилась пешком к Фросиньке.

Улицы были пусты. Месяц еще не заходил. Светлая августовская ночь была тиха и тепла. Общество шло весело. Вспоминали прошлое. Говорили о будущем.

Возвращаясь с Власьевной домой, Антон Львович зашел на телеграф и отправил депешу Аглаи к Кирилле Григорьичу. В этой депеше дочь извещала отца о данном ею слове, просила его согласия и благословения и, приглашая от себя и от жениха на свадьбу, прибавляла, что они готовы ждать его, сколько бы он того ни пожелал.

Через полторы недели в окружном суде начались заседания по клочковскому делу.

Сам Клочков, вследствие новых открывшихся против него улик, был арестован и с другими подсудимыми содержался в губернском, им же с подряда когда-то построенном остроге. Зала суда не могла вместить всех любопытных, желавших слушать это дело. Раздавались особые впускные билеты. Вся

губернская, служебная и неслужебная знать — в том числе какой-то заезжий высший сановник, командир военного округа, губернатор, предводитель, председатель управы и городской голова присутствовали при этом. Судебное следствие тянулось два дня. На третий приступили к прениям сторон. Прокурор был находчив, но чересчур придирчив и вообще более боек, чем спокоен и сдержан. Защитники подсудимых, и в том числе развязный адвокат Клочкова, произнесли столь блистательные и полные редкого остроумия речи, что публика, несмотря на звонок председателя и пожимания плечами в первых рядах зрителей, несколько раз оглашала судебную залу громкими рукоплесканиями. Престарелый сановник, нагнувшись к уху губернатора, прошамкал: «Вот красноречие... Перед Богом, — Тьера я слышал в сорок восьмом, — ни в подметки-с, ни в подметки-с...»

Адвокаты гражданских истцов — подъехавший из Москвы Столешников и Ветлугин — не оправдали ожиданий большинства слушателей. Столешников в ночь перед заседанием видел сон, будто Клочков убежал из острога и он его догонял с губернаторским полномочием по трем железным дорогам, — догонял и не догнал... На суде Столешников просто срезался: вышел, что-то тихо промямлил, немилосердно ероша бороду, озираясь по сторонам, замолчал и ушел.

Ветлугин также сначала не понравился публике. В нем ждали видеть молодцеватого, с картинными движениями оратора, из уст которого должно было вылиться нечто вроде огненной, пересыпанной дерзкими и смелыми намеками речи Цицерона против Катилины. Предполагали, что этот плебей, сын бывшего учителя гимназии, не преминет швырнуть в глаза высшему местному обществу целый град беспощадных укоризн, едких сближений и тонких, как убийственный яд, сравнений, напоминаний и разоблачений. Вышло другое...

С адвокатской скамьи, во фраке и в белом галстуке, поднялся ничуть не картинный, простой и скромный на вид, более среднего, чем высокого роста господин с небольшой

темно-русой бородкой и значительно поредевшими, с проседью волосами.

— Кто это? — qui est ca — кто *сей*? — послышалось со скамей зрителей. Лорнеты, бинокли и пенсне обратились к месту оратора.

— *Сам*! — многозначительно улыбаясь, шепнул предводитель сановнику.

— Тот, что в *эвтих* делах... за Уралом?

— Сам! — повторил, кивая головой, предводитель.

Председатель суда переглянулся с прокурором, прокурор с губернатором. Стенографы обмакнули перья в чернильницы и приготовились писать. Ветлугин сказал: «Господа судьи и господа присяжные заседатели!» — остановился, бросил робкий взгляд вокруг себя, увидел сотни впившихся в него глаз, презрительную и наглую улыбку Клочкова, бледное лицо старика Талищева, чьи-то круглые, как у теленка, глаза, чей-то плаксиво сложившийся, широкий и сочный рот, — оправился и стал говорить.

Говорил Ветлугин толково, но в обобщения и в личности не вдавался. Вопреки ожиданиям председателя суда, первые мгновения не спускавшего глаз с колокольчика, он удерживался нападать как на высшее общество, в среде которого возникло и развилось это дело, так и на прошлую, частную жизнь подсудимых. Изредка перелистывая лежавшие перед ним выписки из следствия, Ветлугин излагал дело так спокойно и сдержанно, как бы никого, кроме членов суда и присяжных, перед ним и не было. Рассуждал он, по-видимому, о чистейших мелочах: о спутанных и затемненных неверными выводами цифрах, о подчистках, вымышленных итогах и перемаранных, по личному сговору, черновых набросках. Речь Ветлугина, сухо деловая и беспрестанно, как за кусты репейника, цеплявшаяся за ненужные, по мнению многих, путы — за конторские счета, книги и проекты хозяйственных донесений, — стала не на шутку утомлять слушателей.

— Что это он за меледу разводит? А какая снотворность, точно дьячок читает! — шептали, позевывая, в передних рядах.

Стали покашливать, сморкаться и нетерпеливо переминаться и на остальных скамьях.

«Sublime! Лихач-каналья!» — насмешливо щурясь на Ветлугина, думал про себя, охорашиваясь, Клочков.

— Ой, провалится он, бедный! — не утерпел вполголоса шепнуть Коребякину и Лев Саввич, сидевший на последней скамье.

Ветлугин говорил более часа.

Но странное дело... Чем далее он развивал доказательства, тем все становились внимательнее. С середины его речи, в зале наступила мертвая тишина. На передних, как и на задних скамьях не раздавалось уже ни злых насмешек над оратором, ни громкого кашля, ни сморканья. Все, точно по мановению волшебника, забыли и запальчивую, грубо формальную речь щепетильного и сухого прокурора, и пламенные, полные живых и остроумных выходок, прерываемые громом рукоплесканий речи защитников подсудимых.

В голове слушателей вдруг и незаметно для них самих засела грозная, точно с неба упавшая мысль...

Все почувствовали себя как бы спутанными и связанными по рукам и по ногам теми самыми цифрами, отчетами и итогами, о которых так распространялся Ветлугин. И это сознание прежде всего сказалось в самом Клочкове.

Он был подавлен, ошеломлен. Улыбка еще блуждала на его лице. Но это лицо стало иссиня-зелено. Глаза трусливо впивались то в судей, то в оратора, то в присяжных. На публику Петр Иваныч уже не смотрел.

Ветлугин кончил так же скромно, как начал. Он сел, смутно оглядываясь и как бы соображая, он ли это говорил? Щеки его горели. Глаза застилал туман.

Прения прекратились. Председатель объединил их в заключительной речи, объяснил и оценил. Присяжные удалились для совещаний и постановки окончательного приговора.

— Что с тобой? — обратился к Клочкову на скамье подсудимых красный как рак Николушка Талищев. — На тебе лица нет... стыдно! мужайся...

— Да, — с дрожанием нижней челюсти и как-то дрянно-растерянно улыбаясь, ответил Клочков, — зарезал этот шельмец Ветлугин, зарезал и пикнуть, кажется, не дал... Готовь, Коля, да и ты, Петр Иваныч, пяточки... Чуть ли не по Владимирке пойдем!

— Ну, а твоя пословица — «держи нос по ветру»? — спросил Николушка.

Клочков не отвечал. Он не спускал глаз с дверей, куда ушли присяжные, и думал: «Выдыбай, митро́хинцы да само́хинцы выдыбай! Водкой залью, как оправдаете... Тридцать новых кабаков на свой счет устрою в наших волостях...»

Присяжные вышли.

Председатель объявил решение. Все подсудимые, за исключением сына Талищева, Николушки, которому испрашивалось помилование, признаны виновными. Иск гражданской стороны найден подлежащим удовлетворению.

Ветлугин все это выслушал. Но того, что произошло вслед за тем, он почти не сознавал.

Помнил он смутный гул смешанных и взволнованных голосов, восклицания и суету вокруг кого-то из зрителей, кому в то время сделалось дурно (это был старик Талищев). Помнил надменные и холодно презрительные взгляды, устремленные на него из передних рядов. Он слышал чьи-то искренние и торопливые поздравления, причем кто-то теплою, мягкою рукой крепко сжимал и дергал его руку, и чей-то срывавшийся голос шептал ему одобряющие, ласковые слова.

— Скорее, скорее отсюда! — говорил ему, с раскрасневшимся, измученным лицом, Лев Саввич. — Ты так объяснял им, Антонушка... так! Извини, это — не пустозвонство... Ты рассекал, по ниточкам рассекал, как хирург... О! ты, Антоша, велик, и я никогда, до конца моих дней, не забуду того, что сегодня ты дал мне выслушать и испытать... Нынешние венки — клюква да веники... Нет ценителей...

XLII

Возврат

Был редкий по времени, теплый и тихий день, один из тех дней, которые, как бы случайно, дарит природе осень в половине сентября.

На небе не было ни облачка. Солнце грело, точно в мае. Благодаря теплу и двум-трем небольшим перед тем выпавшим дождям равнины и леса смотрели также не по-осеннему.

Крепкий и свежий лист еще держался на кое-где только пожелтевших деревьях и кустах. Травы на лугах и скатах холмов были зелены. То здесь, то там выскакивали последние осенние цветы, на прощанье пышно убирая пустеющие после летней роскоши поля.

Все улыбалось и блестело в чистом, ясном воздухе. Все глядело весело, бодро и празднично. Выводки чаек, подорожников и скворцов, скучиваясь в резвые, шумные стайки, перепархивали по жнивьям и готовились к отлету за дальние моря. По бокам глухих круторебрых оврагов, отыскивая прятавшихся на зиму зверьков, в тернах и бурьяне рыскали молодые лисицы. Вылинявший, захудалый волк из лесу поглядывал на стадо еще пасшихся в поле овец...

По гладкому зеленому взгорью, между сверкающих в ясном, как бы хрустальном воздухе холмов и долин, мчался железнодорожный поезд. Он остановился у небольшой станции.

Был полдень.

На площадку из вагона вышло и далее не поехало небольшое, веселое общество: две молодые дамы и трое мужчин. Свежий полевой воздух, блеск и ширь зеленого простора, точно в распахнутые настежь окна, повеяли на вышедших из вагона горожан.

Раздался звонок. Поезд тронулся далее.

— А где же экипаж? — спросила одна из дам.

— Вот еще... мы и пешком! — ответила другая. — Разве далеко? Рукой подать... Пойдем прямо, лугом.

— Но река? Как мы через нее? — спросила первая.

— Видно, и забыли жердочки? — спросил старший из мужчин. — Все знаю, все...

Это сказал Лев Саввич. Он подал руку Аглае и пошел с нею вперед. Антон Львович подал руку Фросиньке. Фокин, переваливаясь с ноги на ногу и поглядывая, где же вызванная по телеграфу коляска, лениво шел сзади всех. Скоро они спустились к реке.

Егоровна и Власьевна остались на площадке. Сидя на чемоданах и сундуках, они также высматривали подводу. Филат несколько замешкался. Ни коляска, ни подвода еще не показывались от усадьбы.

— Вот пентюх, вот копун! — нетерпеливо вертясь, ворчала Егоровна. — Лопни глаза, говорит, коли теперь пью; целитель Пантелей, говорит, помог... Вот те и помог...

— Успеем, матушка, что серчать! — утешала Власьевна. — А вы скажите, это — ихний, что ли, дом?

— Ихний...

— Ах, какой превосходный и поместительный! — наставив ладонь к глазам, с вежливым умилением восклицала Власьевна. — А куда же это господа наши идут? Остановились у воды... Нешто там у вас мост?

— Досочки, милая, досочки — так и ходим по ним... У нас по простоте...

— Ишь, ишь, точно стрекозы, барыньки-то наши запрыгали... Ах, да гляди, сватьюшка... И он-то, и старик-от наш, за ними тоже заковылял.

— Еще бы. На радостях...

— Вона, перешли... На том уже берегу. А то у вас — сад?

— Сад.

— Какой важнеющий! Яблок, полагать надо, груш... предположительно, как роща...

— И, сватьюшка! Такие ли еще бывают сады?..

— А какие?

— Да вот мы с барышней, с Аглаей Кирилловной, в римской Италии, где сам папа римский проживает, пошли в один сад.

— Ну, и что ж?

— Так там, милая ты моя, на деревах — ни яблок, ни груш, одни тебе апельцыны да лимоны.

— Что ты!

— Право, не лгу. Рви прямо с ветки и ешь.

— А-ах! — даже руками развела Власьевна. — И папу римского, сватьюшка, видела?

— Ох согрешила, милая, — видела... С барышней в ихней главной кирке три раза была...

— Какой же он из себя такой папа?

— Светится, милая, светится...

— А-ах, — закрывая глаза, удивлялась Власьевна, — худ, значит?

— Полненький, сватьюшка, полненький... А кожа вот, как у бабы тебе, белая... Ручки этак-то на животике держит, и бритый — ни бороды, ни усов... Да еще... только уж и не знаю, как и сказать...

— Что ж такое? — замирая от страху, допытывала Власьевна.

— Ох, и не спрашивай... В женском, сватьюшка, платье, в женской юбке как есть, непутящий, ходит: белый тебе подол, башмаки, а на груди така перелиночка...

Подъехал в коляске Филат. Брови его были заботливо сдвинуты, но сам он, подбодрившись для храбрости рюмочкой, ухмылялся.

— Ты, тетушка, солдатка? — спросил он, через плечо поглядывая на полный стан и румяные щеки прифрантившейся Власьевны.

— Солдатка была... а тебе, пучеглазый, что?

— Вдова?

— Вдова.

— Ну, я так, ничего, — насчет, значит, моего почтения! — подсаживая в коляску обеих нянюшек, шаркнул ногой Филат.

Вещи были отправлены на подводе. Коляска спустилась к реке, выбралась на ту сторону и выгоном бойко вкатила во двор. У ворот она обогнала двух лиц. То были священник, отец Адриан, и заехавший к нему для переговоров о близком дне венчания его брат, дьякон соседней деревни. Софроний. Они шли для приветствия Аглаи Кирилловны и ее жениха и для совершения, по ее заказу, молебна о здравии вновь помолвленных. Певчие, собранные по ближним местечкам, стояли уже наготове в передней. В зале, перед старинным, итальянской живописи изображением Богоматери, был накрыт стол, горела восковая свеча, и знакомый Антону Львовичу дьячок, кланяясь, улыбался и поглаживал седую косичку.

Молебен начался. Певчие пели довольно сносно. Отец Адриан слова молитв произносил с чувством. Похожий на брата и сильно напоминавший Лаокоона черно-кудрявый дьякон Софроний в возглашении многолетия властям и предстоящим затмил своим басом славу соборного протодьякона. Лица всех и толпившейся в коридоре прислуги были умилены и растроганы.

«Всё — ложь, всё — призраки и сон — кроме этой вечной смены жизни и смерти, горя и счастья!.. — думал Антон Львович, стоя возле Аглаи. — Она — мое счастье, и я буду жить только для нее...»

«Жизнь — вот истина, и в ней одной велик дающий людям душу, мысли и сердце! — думала в те же мгновения, стоя возле Антона Львовича, Аглая.

Сели за стол. Филат был в полнейшем наряде: в новом фраке, белом галстуке и в белых же вязаных перчатках. Из кармана, как бы случайно высунувшись, выглядывал кончик красного фулярового платка. Егоровна угощала Власьевну особо, в девичьей. Угол крашеного стола был застлан салфеткой. Пашутка подавала и принимала тарелки, а Власьев-

на, в чепце с зелеными лентами, сидела на сундуке и, вежливо потрагивая вилкой подносимые кушанья, все думала о словах, сказанных ей Филатом.

— Молодой-от, сокол-от наш каков! — шептали, теснясь в коридоре друг из-за дружки, любопытные дворовые и деревенские бабы. — Какого же он звания, тетушка Егоровна, или какого он будет чина?

— Штатский полковник! — проговорил, неся какое-то блюдо, Филат.

— Нет, бери выше, потому из судящих, — врала не помнившая под собой ног Егоровна.

— А она-то, голубушка, она! — шептали сквозь слезы бабы. — Глядит на нее и думает: «Владычица, она ли?»

— А уж любит-то она его, любит! — закрывая глаза, вздыхала Егоровна.

— Ой ли? — подхватывали бабы, жадно вглядываясь в светлые, радостные лица помолвленных.

Где-то хлопнула пробка.

Плывя на мягких вежливых ножках и салфеткой тщетно сдавливая шипевшее и бурчавшее горло бутылки, явился Филат. За ним, с бокалами на подносе, Егоровна. Лицо Филата было торжественно, степенно. Он, хмурясь, глянул в сторону жениха и невесты, торопливыми дрожащими руками разлил в бокалы шампанское и с еще бо́льшею важностью стал его разносить вокруг стола.

Прежде всего пили за здоровье помолвленных, потом за их родителей. Лев Саввич провозгласил полный сердечной теплоты привет в честь отсутствующего отца невесты и хозяина дома, Кириллы Григорьича. Фокин сказал несколько искренних и задушевных слов в честь родителя жениха, которого он за эти годы успел близко узнать и оценить и дружбой которого особенно дорожил.

Встал и отец Адриан.

Он крякнул, левою рукой придерживая рукав правой, попросил у всех извинения, что не мастер говорить, и совершенно неожиданно произнес построенную по всем правилам

классического острословия речь — в честь настоящей хозяйки дома, Аглаи Кирилловны. В этой речи упоминались и вновь зацветший, пышный «вертоград Давида», и воскресшая в блеске новой жизни «лепокудрая и благоуханная лилия долин Энгадди», и даже «ликуй, добромысленная, в Сионе»...

После обеда все разошлись по своим углам: Аглая с женой дьякона в свои верхние, девические комнаты, Фокины в библиотеку; отец Адриан с братом восвояси; а Антон Львович с отцом в беседку, где они избрали себе помещения до дня свадьбы.

Вечерело.

Аглая взяла лейку и стала, по старине, на поляне и на балконе поливать любимые отцовские цветы. К ней подошел Антон Львович. Он взял ее под руку, обнял и прошел с нею несколько шагов.

— Я к тебе с просьбой, — сказала Аглая.

— О чем?

— Увидишь. Даешь ли слово исполнить?

— Охотно.

Аглая молча повела Антона Львовича береговою дорожкой. Вскоре они углубились в сад.

Было тихо. Только крики гусей раздавались с выгона, по реке неслись величальные песни девок и парней, да резвые скворцы шумными стаями, точно ворох гречи между скирд, перекидывались поверх дерев.

Аглая пришла с Антоном Львовичем к поляне, где была могила ее брата. Липы вокруг этого места разрослись. Площадка была усыпана песком, края ее усажены цветами.

— Его нет на свете, — сказала Аглая, пугливо оглядываясь и садясь у могилы на скамью, — а глядя на тебя, кажется, что он не умирал. Помнишь, мне все мерещился белый мальчик? Ведь он и теперь иногда... Не правда ли, ты простишь, наконец, и ту, которая чуть было навсегда не разлучила меня с тобой?

— Полно, мой друг! — сказал Антон Львович. — Никогда не были так истинны слова поэта: «Нет правых, и нет виноватых!» — как в этом случае с тобой.

— Ты слишком добр, — ответила Аглая. — Ох, прости меня — этот мальчик... не сто́ю я тебя... Разве... Да нет, что... это так ясно... Ты, всепрощающий, хочешь покоить меня, когда все мне служит только укором за прошлое...

Антон Львович крепко обнял Аглаю.

— Идя в монастырь, — сказал он, — ты была только верна себе... Ты искала истины, ответа на свои сомнения. Ошибка состояла в том, что ты искала выхода там, где его нет. Да и ты ли одна? Горький опыт — и в нем твоя заслуга и сила, — вынесенный тобой, пригодится нам в будущем, как и превратности моей не очень веселой, но искренно мною чтимой молодости.

— А образок, данный мною тебе, где?

— Образок? Да он у отца.

— Отчего ты его не носишь?

Ветлугин оглянулся на Аглаю. Она сидела бледная, жутко вглядываясь в темные деревья.

XLIII

На берегу

Свадьба была назначена через неделю. Ждали только Кириллы Григорьича, за которым давно за границу уехал доктор Милунчиков.

Столешников тоже был во временной отлучке. На него Антон Львович и Аглая возложили странное, хотя весьма ему польстившее поручение. Он поехал с письмом Аглаи к игуменье в Краснокутский монастырь.

Выигрыш дела Клочкова значительно улучшил денежные средства Аввакума Андреича. Ветлугин весь свой заработок уступил ему. Тот, помня свою судебную речь, было замялся.

Но Антон Львович доказал, что весь тяжелый, предварительный труд лежал на одном Аввакуме Андреиче, и тот уступил.

Столешников отправился в Красный Кут через день по выезде из города Аглаи и ее гостей. Он успел запастись новой щеголеватой одеждой, часами, хорошими сигарами, подровнял бороду, причесался и даже надушился.

Он выехал с первым утренним поездом, чтобы, покончив с поручением, поспеть в Дубки к обеду. Его удивило необычное множество путников, наполнявших этот поезд. На промежуточных станциях еще подсаживались. Многие, за неимением мест, даже стояли.

— Куда это едут? — спросил он соседа-лавочника.

— В Красный Кут, батюшка, к явленной... Нешто вы — не здещние? Там нонче храмовый праздник.

На обительской станции была такая давка и теснота, что Столешников едва протолкался к выходу. Монастырь от этого места был еще в двух верстах.

— Да вы куда? — спросил Аввакума тот же лавочник. — В обитель, лошадку ищите? Напрасно: не найдете таперича... Куда! Эк, вальма валят... Поспеете к поздней и пешком.

— Per pedes apostolorum! — брякнул басом кто-то из толпы.

Нечего делать. Закурил Столешников сигару и пошел «по хождению апостолов». Дорога шла лесом и горами. Кое-где, в тени просек и в водомоинах, было сыро, и богомольцы, обгоняя друг друга, усердно месили ногами грязь.

«Знал бы, ни за что бы не поехал! — рассуждал, в тонких лаковых сапожках шагая по скользкой, липкой глине, Столешников. — С кем наши-то возятся! С какою-то игуменьей... Мало того что отдали монастырю новую каменную келью и всю пчелу — еще от денег, вырученных за лес, кажется, хотят поднести в презент этим святошам... Пакет что-то претолстущий... Эх вы, дятлы смиренные, дятлы!.. Вот, говорят, русские герои и героини никогда почти не схо-

дятся для мирного и сладкого житья... Все побасенки о них — с горьким концом... Эта, изволите ли видеть, с веселым... Лютер женился на монашенке — ну, и этот туда же... Искатели истины! Недавний отрицатель и монахиня в законный брак вступают... Что-то выйдет из этого союза? Будут, разумеется, дети, то есть опять дятлы... И за ними... да неужели же за ними, что ли, будущее?..»

— Ну, а я бы тебе, ваше благородие, лучше советовал бы как есть не курить, — обратился к Столешникову снявший сапоги и босиком обходивший лужицы лавочник. — Эвоси уж и обитель... Как бы те, братец, за озорство не накостыляли тут шеи...

Столешников увидел мрачные лица обгонявших его по взгорью богомольцев и с досадой бросил сигару.

У ворот монастыря он обтер кое-как ноги, оправился и спросил: «Где игуменья?» «У ранней», — ответили ему. «Скоро ли кончится служба?» — «Должно, скоро». Он походил за оградой, посидел на горе и через час возвратился в обитель. «Кончилась ранняя?» — спросил он. — «Кончилась, идет поздняя». Столешников стал прохаживаться по двору.

Площадь перед собором была полна молельщиков. Одни, крестясь, входили в храм, другие выходили оттуда. Мещане, солдаты, мужики — все были без шапок. Бабы с грудными детьми, девки, ребятишки жались у келий и у ворот. Из церковных высоких дверей неслось стройное пение. Ладаном пахло оттуда. Слышалось теньканье кошельковых звонков. Нищие, юродивые, калеки толпились у паперти. С вывихнутыми членами, в рубищах, слепые, босые и с зияющими ранами, они шли и ползли по ступеням, крестясь и устремляя молящие взоры навстречу горевшей свечами внутренности храма, и головами падали во прах.

Столешников, сторонясь от них, также вошел в церковь.

Его охватила духота спертого, полного запахом свечей и лампад воздуха! Кадильный дым, пересекаемый наискось лучами солнца, клубами медленно поднимался под темный купол.

«Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити», — возглашал диакон. «Милость мира, жертву хваления», — раздавались в ответ на это стройные женские голоса на одном клиросе. «Приимите, ядите... пийте от нея вси...» — слышались слова священника из алтаря. «Твоя от твоих, Тебе приносяще о всех и за вся», — добавлял он торжественно вслух народу. «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благо дарим, Господи», — подхватили десятки нежных, бархатных голосов на другом клиросе. Кучи русых, черных, лысых и седых голов быстро склонялись в кадильном дыму. Простые и добрые, загорелые, худые и хмурые лица с напряженным ожиданием, молитвой и тоской устремлялись к строгому, потемнелому лику выставленной среди храма явленной иконы... «Господи!.. Владычица!.. Спасе!.. Услышь и помилуй!» — несся молящий шепот тысячи уст...

«Где я? Что это, что с ними?» — думал, растерянно оглядываясь, Столешников. Пение клира, блеск свечей, черные мантии и клобуки инокинь, и земные поклоны, и шепот молельщиков — все это слилось в нем в одно чувство: он был подавлен, смущен и вместе как бы стоял где-то на недоступной высоте. Голова его кружилась.

— Вам, сударь, игуменью? — склонясь к его уху, спросил дорожный сосед. — Вон она, пречестная... Аки львица, с жезлом стоит...

Столешников взглянул перед собой.

Справа, у особого придела, полуосвещенная солнцем, на возвышенном месте, за решеткой, стояла мать Измарагда. В одной ее руке были четки, в другой настоятельский, длинный посох. Черная мантия крупными складками спадала вокруг ее стройного, бодрого стана. Черный бархатный, с воскрылиями, клобук, красиво оттенял ее белое, полное, с большими серыми глазами, усиками и гордо очерченными губами лицо. То была действительно львица: взор ее был спокоен, но чувствовалось — поведет она густою черною бровью, двинет калиновым посохом, — и громы и молнии полетят из ее гордо сложенных губ.

«Видехом свет истинный, прияхом духа небесного, обретохом веру истинную», — раздавалось с клиросов. Народ стал сильно толпиться у явленной иконы. Столешников был смят, придавлен и, как ничтожная былинка, оттерт к стороне. Видел он новую страшную давку, привал и отвал народной волны. Видел, как несколько инокинь торопливо протолкались к игуменье, раболепно приняли ее под руки и торжественно и бережно повели из церкви. Измарагда шествовала тихо и важно, кланяясь на обе стороны, среди расступившейся толпы, и ни на кого не глядела. «Меня не заметила! — подумал Столешников, — верно, обо мне ей не сказали...»

— Доложите настоятельнице, что я с письмом от Вечереевой! — как-то особенно подбодрясь, сказал Аввакум Андреич у входа к игуменье.

Его попросили подождать и ввели наверх в какую-то кипарисом и перцем, как ему показалось, пахнувшую горенку.

Все здесь было уютно и чисто: белые чехлы на мебели, белая простилка на ярко навощенном полу, лаковый поставец с книгами, иконы в углу. Сюда не доходило ни звука. Только лампады мигали у образов, да мерно стучало собственное сердце Столешникова. Четверть часа ждал он, полчаса. Никто не появлялся, никто о нем не вспоминал.

«Что же это? — рассуждал он. — Сижу, как в гробу... И есть уже хочется... А им и дела нет до меня. Где они, чем заняты? И что делает, куда стремится эта странная, особая, непонятная мне сила — сила стольких народов, стран и веков?»

Дверь налево растворилась.

В той же мантии, с тем же посохом и с тем же выражением строгого белого лица на пороге явилась мать Измарагда.

— Письмо от Аглаи Кирилловны, сударь? — спокойно и вежливо спросила она.

«Огорошу ее, скажу, что та замуж выходит!» — подумал Столешников, подавая пакет. Игуменья вскрыла и стала читать письмо. Кроме письма, в пакете оказался на крупную сумму банковый билет. Игуменья будто его не заметила.

— Новый храм, с Божьей помощью, мы затеяли, — сказала со вздохом, указывая гостю кресло и сама садясь, Измарагда. — Аглае Кирилловне не угодно участвовать в построении... На приют немощным, да на школу она жертвует... Мы благодарны и за то...

Измарагда замолчала. «Спрячет ли она в карман билет? — думал, глядя на нее, Столешников. — Или не спрячет?»

— А как здоровье Аглаи Кирилловны? — спросила, небрежно кладя на стол письмо и билет, игуменья.

— Завтра ее свадьба, — резко ответил Столешников.

Измарагда и глазом не повела.

— Что же, Господь ей помоги, — глянув на образ и тихо перебирая четки, сказала игуменья, — жизнь человека не себе, но Богу. И в семье, сударь, можно спастись, лишь бы молитвы... Нестроение в мире, смуты и соблазн... Стефан Махрицкий, Мефодий Песношский, Нил Столбенский — сколько богоносных, святых отцов прежде в мире жили... А сподобил Господь, сошли на стезю спасения... Так-то и мы, грешные, так-то слепые и плотоугодные...

Как кадильный дым, возносился и таял голос игуменьи. Раздались чуть слышные шаги. Вошла с подносом келейница. Мать Измарагда подала Столешникову просвиру: «Это, сударь, наш поклон и привет Аглае Кирилловне, — сказала Измарагда, — будем за нее молиться, будем Господа просить... Я уж ей, сударыне нашей милостивой, сама буду писать. А ты потрапезовать с нами не желаешь ли?»

Столешников от трапезы отказался.

«Сила, да какая еще сила!» — раздумывал он, едучи на вечернем поезде в Дубки.

Аглая и Ветлугин представлялись ему теперь несколько в ином свете. На пути он услышал разговор о Ветлугине, и этот разговор очень его занял.

— Ну, Антон Львович, поздравляю, — сказал Столешников, когда подали лампы и общество стало собираться в залу, к чайному столу, — тебе предстоит выбор в уездный училищный совет, а не то и в управу...

— Слышал, — ответил Ветлугин.

— Поприще почтенное, — продолжал Аввакум, — сколько ты разных злоупотреблений разгромишь и выведешь на свежую воду... Вон посредник Антифьев какие статьи печатает о здешней губернии... страсть!..

— Знаешь, — перебил приятеля Ветлугин, — мне эта служба, если б она действительно выпала мне на долю, представляется совсем иначе.

— А как?

— А вот видишь ли. У Антифьева волостные власти разворовали весь мирской хлеб и с молотка продают увольнения от рекрутчины, а он статьи пишет. Я не писал бы, а сел бы в телегу, да понемногу лично и объехал бы все триста или там пятьсот гатей, плотин и мостов на проселках нашего уезда, да изучил бы все овраги и провалья на дорогах, из сельских школ не выходил бы; дела всякого немало... А в конце года что-нибудь путное и предложил бы собранию...

«Колпак и размазня! — решил, слушая Антона Львовича, Столешников. — Одно доброе дело на своем веку сделать, упёк Клочкова... Да и то, не будь я, — черта бы с два порешил он это дело так гладко...»

Когда все уселись к чаю, значительно выпивший Филат, покачиваясь, подал Аглае на подносе, присланные начальником станции, два письма. «С поездом давече пришли, — одно заграничное», — пояснил Филат. Аглая прочла заграничное письмо и, передав его жениху, стала читать другое — от игуменьи.

Общество на несколько мгновений смолкло...

Антон Львович подсел к лампе и стал про себя читать письмо с заграничным штемпелем. Кирилло Григорьич в нем подтверждал переданное уже по телеграфу свое согласие на брак Аглаи с избранным ей женихом. Он поздравлял их от всей души и, говоря, что с первой же встречи с Антоном Львовичем он крепко его полюбил и считал как бы за сына, сожалел, что приехать к свадьбе не может. «Доктор Фосс не пускает, — писал Вечереев, — говорит, что всякая тревога и сильная радость мне еще вредны. Надо подождать. Я с ним съездил в Женеву и не только там совершил, но уже и выслал через посольство на твое имя, Аглая, формальную дарственную запись на все мое имение. После происшествия с аббатом, я уже не доверяю ни себе, ни своей способности распоряжаться хозяйственными делами. Оставаясь же на некоторое время в Швейцарии, я надеюсь, что вы, мои друзья, весною меня навестите и дадите мне лично насладиться вашим обоюдным счастьем. Квартиры не переменяю. Найдете меня все там же, на берегу озера, в Монтрё, в «Швейцарском пансионе». Но если бы, паче чаяния, мне и окончательно предписали остаться здесь, я роптать не буду. Не тебе, Алинька, быть в монастыре, а скорее мне. Ты молода и много еще можешь принести пользы и счастья себе и другим. Только мой монастырь будет в ином роде... Вот осудила бы мать Измарагда, если б узнала, что я называю монастырем... Вид на озеро и на голубые горы, виолончель, книги и журналы (надеюсь, будете высылать мне и русские), банкетная выпивочка (это мне уже скоро обещают), стакан рейнского «Liebfrauen Milch», изредка беседы с моим новым другом, доктором Милунчиковым — он остается в Женеве, хочет изучать душевные болезни, — вот мое затворничество. На него я выговариваю себе, мои друзья, от вас немного (в письме названа довольно скромная цифра). Экстренных расходов у меня не будет. Разве на покупку цветов, для которых содержательница пансиона, в виде особого исключения, уступает мне еще угол в своем верхнем виноградном саду. Да

пришлите мой перевод Мильтона: я нашел новые комментарии на этого поэта и займусь ими...»

Антон Львович прочел собеседникам это письмо. Все обрадовались, заговорили о Кирилле Григорьиче и о былых временах Дубков. Лампы ярко освещали залу и ряды фамильных портретов, ласково смотревших теперь из потемневших рам на все общество. Дверь на балкон была открыта. Одна Аглая сидела с потупленной головой и слезами на глазах.

— Что с тобой? — спросил ее Ветлугин.

— Жаль, что отец не будет на нашей свадьбе.

Столешников развернул губернские ведомости, также привезенные с почты. Вдруг он изменился в лице и судорожно скомкал газету.

— Представь, — испуганно и растерянно озираясь, сказал он Ветлугину, — пишут, что найдены какие-то неправильности в разбирательстве процесса Клочкова и подан протест — решение присяжных, вероятно, будет отменено.

Эту весть и Антон Львович встретил неравнодушно. Пальцы рук его дрогнули. Краска бросилась ему в лицо. Он взял газету.

— Мошной тряхнул Петряйка, — басом шепнул брату дьякон Софроний.

— Я не теряю надежды! — пробежав заметку, сказал Антон Львович. — Суд померяется с Клочковым и перед другими присяжными.

— О, разумеется, — подхватил Столешников. — Я ему теперь покажу... Все выясню перед судом...

Храбрость Аввакума Андреича, однако, вскоре погасла. Он смолк и совсем опешил.

Стали накрывать ужин. Общая дружеская беседа возобновилась. Отец Адриан прохаживался по зале, разговаривая с дочерью о внучатах. Отец Софроний доказывал Фокину возможность лицеприятия со стороны судебных властей. Антон Львович, не выпуская из рук похолодевшей руки Столешникова, старался его утешить надеждой

на новый бой с Клочковым. Но, ободряя упавшего духом приятеля, Ветлугин сам чувствовал, что его слова не совсем искренни и что в них звучала какая-то фальшивая нота.

Аглая, сжав в руке письмо Измарагды, слушала Антона Львовича и не спускала с него глаз. «Ну есть ли хоть один человек на свете лучше его? — думала она. — И в силах ли я его осчастливить? О, если бы я могла быть его достойной! Но нет... боюсь, боюсь... А что матушка игуменья пишет! Боже!» Лицо ее было бледно, встревожено.

Заметив отсутствие Льва Саввича, она незаметно встала и вышла в гостиную, оттуда на балкон. Старик Ветлугин давно здесь стоял, наслаждаясь тишиной и свежестью ясной ночи.

— Что вы смотрите? — спросила Аглая, неровной, робкой походкой приблизясь к нему.

— Любуюсь звездами... Чудная ночь... и сколько их!.. Так всегда бывает в светлые сентябрьские ночи... Вон сыплются, мерцают и будто падают в этот голубой туман... Мириады звезд... Но я ищу между ними одну... ты ее знаешь.

Аглая не дала договорить Льву Саввичу. Она его обняла.

— Папенька, вы не откажете мне? — вдруг спросила она упавшим голосом.

— В чем?

— Не покидайте нас, молю вас!.. Останьтесь жить с нами! Ах... вам у нас будет хорошо... Библиотека, сад, цветы... не покидайте...

— Что ты, милая, полно, всякому свое... У меня на руках школа — росточек только пустила, далеко еще до плода.

Лев Саввич не договорил. Много мыслей роилось в его голове. Не замечая настроения Аглаи, он продолжал смотреть в ясное, звездное небо и рассуждал: «И меня несли сердитые, темные волны... роковой вал подхватывал... И ме-

ня к тихой пристани привела та далекая — эта чистая и светлая звезда».

— Так когда же ваша свадьба? — спросил он.

— Завтра...

В ту же ночь, когда все легли спать, Аглая заперлась наверху, в своей былой комнате, долго молилась, плакала и села к столу. В ее руках было новое письмо от игуменьи. Аглая стала писать ответ, но тут же рвала и жгла все, что набрасывала. Необъяснимое, страшное волнение вдруг стало более и более охватывать ее, бросая то в холод, то в жар. Она упала головой в подушку постели и сперва тихо рыдала, потом порывисто вскочила, спустилась с лестницы и направилась, не помня себя, в глубину сада. Облокотясь о ствол березы, она испуганно стала смотреть в темноту. И вдруг ей показалось, что воздух заколебался: темные, грозные волны стали расти и надвигаться откуда-то на нее. «Грозит, клянет! — шептала она, в ужасе отстраняясь от чего-то рокового, давившего ее. — Растет, растет!» Ей показалось, что на нее наваливается роковой тысячеглавый вал. Она беспомощно двинулась к берегу реки, оступилась...

Ночной сторож впоследствии рассказывал, что от балкона перед рассветом прошло что-то в белом. Пастухи на лугу слышали плеск воды у крутизны...

В Краснокутском монастыре вскоре стали служить панихиды по в Бозе почившей болярыне, девице Аглае. Игуменья ждала богатого вклада на обитель. Но старик Вечереев, оставшись за границей, по-видимому, забыл о монастыре...

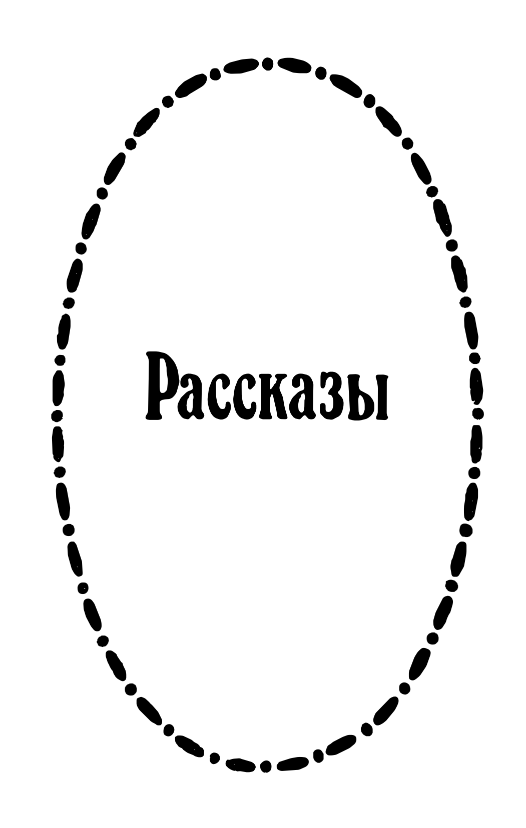
Ветлугин возвратился в Сибирь и теперь, как слышно, заведует торговою конторой на Сырдарье. Школу его отца закрыли за неблагонадежность по настоянию нового предводителя, малограмотного капитана гвардии, ожидающего близкого пришествия антихриста. Клочков незадолго перед тем судился вторично и благодаря усилиям своего защитника был оправдан. Столешников некоторое время адвокатствовал в

Москве, но, вследствие новых правил об адвокатах, оставил это поприще.

В августе 1873 года, он по делам своего доверителя был за границей. На венской всемирной выставке, в отделе искусств, он долго стоял перед картиной Глеза «Комедия человеческих глупостей». Глядя на изображение пыток и казней в библейские, средневековые и позднейшие времена, он подумал: «Вечная смена людских заблуждений... Что вчера было законом, утешением и гордостью человечества, то сегодня отвергнуто, осуждено, отдано огню и мечу... Но жизнь не остановится. Она возьмет свое...»

За спиной Столешникова послышались голоса. Он оглянулся. В сопровождении переводчика и двух венских тузов — толстого, с красным лицом банкира и тщедушного, в парике и с ленточкой в петлице журналиста, — шел Клочков. — «Excellenz, Excellenz! — вертясь перед Клочковым и указывая ему на картину Реньо́ «Суд в Марокко́», картавил журналист. — Da ist nun eine Celebrität für ihr Palais, Excellenz!..» Глаза Клочкова, однако, наметили другую картину, а именно: французское изображение роскошной обнаженной женщины. Он сказал переводчику: «Вот, батюшка, штучка, так мое почтение, за эту я не пожалел бы ничего!» И скрылся в разноязычной толпе, жадно теснившейся перед лишенной одежд красавицей.

1873 г.



Рассказы

СТАРОСВЕТСКИЙ МАЛЯР

> Ты куколка, я куколка,
> Ты маленькая, я маленькая —
> Приди ко мне в гости.
>
> *Из старой сказки*

I

Было знойное лето. По гребню высокого косогора, на возу с пшеницей, по степи ехал старый хуторянин. Свесив ноги с воза, лениво сгорбясь и наклонив голову на грудь, он покачивался под мерный шаг волов, дремал и пел. Напевал он все одно и то же, а именно следующие слова, по-видимому начало любимой его песни:

> Ой, были у кума пчелы,
> Ой... да были ж... у кума... пче-е-лы!

Он пел ясно первую строку, начало второй слабее, а конец — уже засыпая. Встречный толчок будил его. Он просыпался, затягивал ту же песню, засыпал на словах: «Ой... да были у кума... пчелы» — и, проснувшись на новом толчке, опять принимался за старое.

Далее новости о том, что «у кума были пчелы», он не шел и так ехал уже несколько часов.

Ехал он в Полтаву. Навстречу ему, также подремывая и напевая, на телеге в одну лошадь, двигался другой хуторянин-казак, молодой. Ехали казаки и сцепились возами.

Необычный скрип снастей разбудил их. Они очнулись и молча стали погонять, старый — волов, молодой — своего коня.

Возы не трогались с места. Посыпались отрывочные восклицания.

— А! Чтоб тебе было пусто... — произнес старик, зевая и потягиваясь.

— Ишь, колодою развалился и не сворачивает, — заметил молодой, также зевая...

— А ты что губы развесил? Верно, тетку схоронил? — прибавил старик и, спустившись с воза, принялся копаться около колес.

— Ты, верно, тетку схоронил! — обиженно произнес молодой, помолчав и усаживаясь на окраине воза. — У тебя, верно, тетка умерла, да и отец твой — пьяница!

— Как пьяница? — с удивлением спросил старик. — Врешь ты! Не отец мой пьяница, а ты — так пьяница! Синяки под глазами где взял?

Тот, к кому относилось замечание о синяках, так часто этим украшался, что синяк под его глазом скорее можно было принять за родимое пятно, чем за синяк. Молодой хуторянин привскочил на месте.

— Пьяница? Я — пьяница? А чтоб твоя жена была воровкою, чтоб ты сам проворовался, да еще пусть тебя поймают и отдерут...

— Это тебя, верно, отдерут! — сказал старик, безуспешно потягивая за колесный обод и очевидно теряясь от причитываний своего противника.

— Меня? Ах ты, старая подошва! Ах ты, бродяга... ишь, слюни распустил...

— Чтоб тебе было пусто! — плюнул старик, не зная, куда деться от брани молодого, который гремел, как труба, сидя на краю воза.

Молодой не угомонился и еще прибавил:

— Чтоб у тебя в метель посреди степи кобыла распряглась, пояс лопнул и руки окоченели...

Старик окончательно растерялся, выпустил обод и с изумлением заметил;

— Ах, да как же вы так удивительно ругаетесь!

Хуторяне развели возы, приподняли шапки и молча разъехались. Скоро отлогий косогор остался у каждого за спиною. Странники раскинулись на возах и заснули. Когда они снова открыли глаза, была уже ночь, возы их стояли где-то, перед низенькою хатою шинка, и стояли, к удивлению их, опять сцепившись колесами... Молча покачали путники головами и слезли с возов. «Надо ночевать тут!» — сказал один из них. «И то правда! Надо ночевать!» — прибавил другой. Хуторяне распрягли волов и улеглись под открытым небом.

Скажем теперь, кто таковы были путники, так странно сведенные судьбою. Младший был чумак Омелько Брус, в больших обозах и в одиночку ездивший летом за солью, а зимою с утра до ночи лежавший на печи в своем хуторе. Старший... но о старшем надо сказать подробнее.

Старший был старосветский маляр из Борисовки по имени Ефим Сояшница. Старосветские маляры нынче перевелись; но в Борисовке еще кое-где их встретишь. Сояшница был украшением и гордостью Борисовки; его носили на руках. Это был худенький, низенький человек, совершенно седой и обстриженный в кружок, в зеленом длинном кафтане из набойки и в синем жилете. Его жилет был с непомерно глубокими карманами, куда Сояшница собирал все, что ни попадалось; ему стоило только опустить в эту кладовую руку, и оттуда, когда нужно, появлялись: иголка с нитками, наперсток или медная гребенка, ножницы, сломанный циркуль, пуговка, восковой огарок, пуля. Сояшница брил затылок, носил большой отложной ворот рубахи, читал по воскресеньям Апостол и любил, став на клиросе, подтягивать тоненьким дискантом соборным певчим. Вследствие разных тревог в жизни Сояшница, и прежде ездивший довольно часто с работою по соседним слободам, решился окончательно бросить родимую Борисовку, вблизи которой родился на слободском хуторе, и кончить век в работе по добрым людям...

Чуть крикнули петухи, путники уже проснулись. Но прежде проснулся маляр. Ветер колыхал пучок белого ковыля на длинном шесте корчмы, и стая скворцов с шумом летела

на ближнюю поляну, засеянную горохом. Роса блестела по траве. Издалека неслись звуки церковного колокола. В поле раздавалось веселое ржание жеребенка. Маляр стал против восходящего солнца, затенив глаза рукою. Он молчал. Грудь его дышала спокойно, и в маленьких карих глазах отражалась такая безмятежность, что никто бы не поверил, что их хозяину давно стукнуло семьдесят лет.

— А знаете, оно хорошо было бы выпить! — раздался за его спиной голос. Сояшница обернулся. Перед ним стоял, протирая глаза и зевая во весь рот, его вчерашний знакомец, Омелько.

Шаровары Омельки были сильно выпачканы дегтем, ноги — босые, шапка в заплатах.

— Выпить так и выпить! — решил маляр.

Шинкарь вынес водки. Путники потребовали хлеба и сели под возами. О встрече и перепалке прошлого дня не было и помину. Первый налил водки Омелько Брус.

— Будьте здоровы! — сказал он, осушая стаканчик, покривился, сплюнул, покачал головою, выпил еще стаканчик, посмотрел на его дно, махнул рукой, как бы говоря: «Ну, теперь уже довольно!» — и бережно поставил графинчик на траву.

— Откуда вы? — спросил маляр.

— Ездил в Крым за солью — жена посылала; да только не доехал, чтоб нечистый побил ту канальскую водку. Все деньги пропил на дороге, и кисет с табаком пропил, и сапоги пропил, и теперь меня жена уж непременно побьет...

Сояшница покосился на плечи Бруса и несколько усомнился в том, что его может побить жена.

— Ну, а вы, дядюшка, откуда? — спросил Брус, опять посматривая на стаканчик.

— Еду в Полтаву, к одному знакомому человеку хату писать.

— Э, друже, так вы — маляр? — вскрикнул Омелько Брус не без радости. — Так вы уже лучше постойте. Лучше вы меня выслушайте.

— А что?

— Поцелуемся прежде!

— Поцелуемся...

Странники, сняв шапки, чмокнули друг друга в усы!

— Бросьте вы Полтаву, — сказал Брус, — на нечистого вам Полтава? Ничего вы там не сделаете!

— Нет! — сказал маляр, помолчав. — Никак уже нельзя теперь, дал слово, приятель обругает!

— Не обругает. Поедем в наши места, работы не оберешься!

Маляр задумался,

— Нет, никак нельзя! — ответил он решительно. — Дал слово! И как это можно? Приятель скажет, что у меня язык даром во рту колотится!

— Не скажет приятель. Поедем в наш край! Паны у нас — все люди хорошие, а картинами все панские хоромы увешаны.

Маляр взглянул на Бруса и подумал: «Какой же ты, однако, должно быть, добрый человек! Оно сейчас видно: и не спесив, и водку хорошо тянешь...»

— Еду, так и быть! — сказал маляр, махнув рукою.

Шинкарь вынес новую флягу горелки. Маляр скинул свитку и обратился к другим путникам, с любопытством обступившим новых друзей:

— А ну, братцы, садитесь и вы, да помочим усы в горелке!

Омелько Брус взялся за флягу, и пошла попойка. Солнце между тем стало сильно припекать. Распряженные волы маляра паслись за шинком; лошадь Бруса щипала траву на взгорье, за выгоном.

В это время по дороге показался какой-то человек, в картузе, с коротенькою трубкою и кнутом. Он шел прямо к коню.

— Смотрите, кто-то идет к вашему мерину! — заметил маляр.

— Идет! — ответил Брус, спокойно лежа на животе.

— Ведь он украдет вашего коня! — сказал маляр.

— Нет, не украдет.

— Как не украдет? Да ведь он идет прямо к нему!

— Так что же? — ответил Брус. — Разве коня уж нельзя и на выгон выпустить?

— Да ведь он уже берется за гриву! — сказал маляр.

— Мало ли что! Теперь день, и нас семеро.

Человек в картузе оглянулся, взобрался на коня, хлестнул его кнутом и понесся по полю, только пыль столбом взвилась за ним.

Вскочили озадаченные хуторяне. Они без шапок бросились вдогонку за похитителем.

— Отдай, отдай коня, вражий сын! — кричал Брус. — Держи его, держи...

Но всадник мелькнул в луговой траве и скоро исчез за косогором.

Вернулись хуторяне к корчме и, снова охая, уселись под возами.

— Коня теперь нет, — сказал Брус, — так зачем и телеге оставаться! Продадим телегу! Деньги на дорогу понадобятся: что-нибудь сломается или за постой нужно будет заплатить.

Отуманенный маляр сказал было: «Не советую! Телега совсем новая!» Но тут же привстал, повозился зачем-то в шароварах, опять сел и, сказав: «А не то продавай телегу; она теперь совсем уже не нужна!» — клюнулся головою в траву и заснул... Омелько Брус продал телегу подъехавшим чумакам и, отведя их за шинок, объявил, что хочет танцевать. Чумаки вытащили из корчмы мальчика с дудкой. Мальчик утер нос, уселся на земле и принялся играть.

— Пейте, братцы! Гуляйте! — кричал Брус, взявшись под бока и с трубкой в зубах отвертывая ногами бешеную присядку. — Гуляйте так, чтоб тошно стало самому нечистому...

Сперва Брус плясал под корчмой, а потом и в самой корчме, уже полной народа. И чего только он не делал: бил себя по бокам и по голове, кидал направо и налево руки и ноги, и каждая складка платья, каждая жилка, руки и губы — все в нем плясало...

Вспомнил Брус свое прошлое время, когда еще у него не было жены и он украдкой от дяди-кузнеца бегал на вечерницы.

Смерклось...

Омелько растолкал маляра, и широкий воз хуторян снова заколыхался по пыльной дороге.

II

Ехали хуторяне долго, и в дороге с ними было немало приключений. Когда в поле попадался им в потертом халате и с кисетом за поясом прохожий и, приподняв перед ними картуз, говорил: «Душечка, дайте мне грошик!» — Омелько спрашивал: «На что вам грошик?» Получая в ответ: «Я за ваше здоровье, душечка, выпью!» — он опускал руку в карман маляра и, вынув оттуда деньги, говорил: «Вот вам грошик, только выпьем вместе!» — и подвозил его к шинку.

По ночам путники не ездили, а всегда с вечера где-нибудь останавливались. Тут язык Бруса, при помощи денег, вырученных за телегу, развязывался, и он угощал маляра разными любопытными рассказами.

Мало внимания обращали странники на то, что у них, наконец, не стало ни копейки денег.

Населенный и богатый край, родина Бруса, был не за горами. Как-то под вечер странники встретили красноносого городского скрипача. Едва державшийся на ногах, с трубкою во рту и с маленькою, потертою скрипкою под мышкой, музыкант, покачиваясь и понурив голову, подошел вензелями к странникам. Сняв шапку, он принялся напиливать на скрипке что-то заунывное, закончил трепаком и, по обыкновению всех слобожанских скрипачей, попросил скрипкою пить: «пи-и-ти, пи-ти-ти». Но, увидев, что пить ему не дают, он объявил, что если у добрых людей есть кнут и хворостина, то его надо побить, потому что он решительно никуда не годится... Он тут же положил скрипку на траву, снял пояс, растянулся посредине дороги и от души стал просить хуторян исполнить его желание.

— Что же? Побить так и побить! — решил Брус. — Это уж так ему, видно, нужно, душа захотела... — И стал его слегка хлестать.

В другом месте странники встретили мужа, несшего на руках подкутившую жену. «То, верно, с веселья идут!» — сказал при этом маляр. «У кума были!» — ответил Брус, умильно следя за счастливою четою.

Скоро потянулись хутора. Все здесь было спокойно и уютно. Жизнь тут текла, как тихая, дремотливая струйка воды в лесу. Народ сидел у своих хат и, кажется, почти не замечал, как солнце всходило и садилось за цветущими полями, как сменялись вечер, утро и темная ночь. Омелько качал головою и говорил: «Вот жизнь!» Маляр ему вторил.

Маляр любил засматриваться на какого-нибудь казака или на бабу, написанную на вывеске шинка. Омелько же большею частью спал без просыпу, как только могут спать хуторяне, прогулявшие до копейки свое добро и едущие, подобно ему, домой к сердитой и бойкой жене, пославшей мужа продать, например, на ярмарке мешок пшеницы или годовалого бычка. Приезжает такой хуторянин домой, хозяйка ласково встречает его и сажает за стол. «Вот это ж тебе — вареники, а вот это — блины! Кушай на здоровье, а я тебе еще и водочки поднесу!». Сидит пропащий муж ни жив ни мертв, уплетает молча вареники и блины и не знает, как ему выпутаться из беды! «Ну, говори же! — начинает хозяйка. — Почем была пшеница на ярмарке и почем бычки?» Муж, утирая усы, принимается рассказывать. «Ну, а кофту купил ты мне?» — робко спрашивает хозяйка, наливая мужу водки. «Купил!» — отвечает муж. У хозяйки душа готова выпрыгнуть от радости. «Где же она?» «Там!» — отчаянно отвечает муж, махая рукою. «Где там?» — «Пропала наша пшеница, да пропал и бычок. Сижу я, голубочка ты моя, на возу и думаю, как бы это их не украли...» — «Ну?» — «Вот, сижу я и думаю. Утро пришло, не украли!.. Обед пришел, не украли! Солнце стало садиться...» — «Ну?? Ну??» «Да уже вечером украли, вражьи люди!» —

замечает муж, утирая усы. Хозяйка, бледная и взбешенная, вскакивает с лавки... Только такие хуторяне и могут так спать, как спал во всю дорогу Брус. Наконец путники увидели пристань своего странствования.

Рано, на рассвете теплой и влажной зари, перед ними и с косогора развернулась широкая долина, с синеющими лесами, курганами и лугами по берегам реки. Солнце только что начинало подниматься из-за пригорков, и легкий туман висел по долине. Омелько Брус остановил волов, приподнялся на возу и на вопрос маляра сказал:

— То, будто овцы по долине белеют, деркачевские хутора; на этих хуторах живет пан добрый и богатый; мы у него тоже побываем...

III

Был полдень.

На крыльце хуторянского домика стоял низенький господин в шелковом стеганом бешмете, в нанковых панталонах и в гарусных ботинках на босу ногу.

Это был Михей Михеич Деркач, обладатель деркачевских хуторов.

На голове Михея Михеича была широкая, из степной травки шляпа. Он держал в руках пенковую трубку с большим янтарем и потирал в раздумье небритый подбородок. Этот подбородок имел обыкновение, как бы гладко его ни брили утром, к вечеру того же дня обрастать иссиня-черною щетиною.

Михей Михеич пошел было купаться, но уже было жарко. Мухи нестерпимо жужжали. Он вынул носовой платок и повязал его в виде вуали на соломенную шляпу. Шедшие по дороге бабы, присматриваясь к белому платку, который, как султан каски, от ветра то поднимался, то опускался на полях шляпы, недоумевали, кто бы это мог быть, и думали

про себя: «Не то адъютант, не то дама!», — а подходя ближе, распознавали лицо доброго Михея Михеича.

Перед Михеем Михеичем у крыльца стояли с шапками в руках уже известные странники, маляр Сояшница и его спутник Омелько Брус.

Волов у маляра также уже не было, и от самого воза осталась одна пустая дегтярная мазница, да и ту он заложил в кабаке, при входе на деркачевские хутора.

Помещик прошелся по крыльцу и, потягивая из трубочки, спросил:

— Что же вам от меня нужно?

— Я — маляр! — сказал Сояшница.

Окинув глазами седую голову, долгополый зеленый кафтан и вообще всю слабую и плохенькую фигурку маляра, Михей Михеич затянулся трубкой и, пуская дым колечками, произнес:

— Нет... идите с Богом... мне вас... не нужно!

Маляр с унынием взглянул на него и спросил:

— Отчего же... не нужно? Я вам такую вещь напишу, что еще сроду не видано!

Михей Михеич помолчал.

— А карету распишешь?

— Распишу...

— Да ведь ты, я знаю тебя, заломишь бог весть какую цену? Маляр из Бахмута брался расписать ее за пятьдесят целковых.

— А я возьму... двадцать, а не то и меньше! — сказал Сояшница.

— Когда так, то я согласен! — ответил помещик.

Сделка тут же была заключена на условиях, что Сояшница будет жить на барских харчах до той поры, пока не окончит всю работу; с ним будет жить и Брус, в качестве *подмалярия;* и каждому из них за обедом будет подноситься по рюмке водки, а за ужином, по окончании дневных трудов, по две. Сверх того им дозволено раз в неделю, ходить в гости к соседним хуторянам и, если пожелают, напиваться пьяными, следовательно, ходить на четвереньках. Полная

расплата за работу должна была последовать, когда деркачевский барин прокатится в заново отделанной карете.

Маляр и его друг перешли на новое жительство.

Это был курень, с навесом и погребом, в садовой пасеке. Омелько Брус скоро огласил своды нового жилища звонким храпом, а через неделю в курене неизвестно откуда появилась круглая и «полновидная» бабенка с белым лицом и в алом платке на черных, лоснящихся волосах. И когда деркачевская дворня, приметив эту гостью, иронически спрашивала у Бруса: «Что это за баба?» — Брус отвечал: «А то я сюда свою жену перевел, потому что как же на свете человеку жить без жены?» «А у тебя, Сояшница, есть жена?» — спрашивала любопытная дворня. «Есть! — нехотя отвечал маляр. — Только она ходит теперь... на заработках!» Дворня более не расспрашивала. Маляр съездил в уездный город, накупил кистей и красок, перетащил карету из сарая под навес пасеки и принялся за работу.

Старая, пыльная карета была вымыта, высушена, до половины закрыта широкою полотняною тканью, и маляр, соскоблив с ее боков старую краску, начал покрывать ее грунтом. Омелько Брус, получивший титул подмалярия, на гладко отполированном жернове ветряной мельницы принялся растирать белила, охру, сурик, синьку и медянку.

Работа пошла как по маслу, и Сояшница до того расходился, что, покрывая желтым слоем грунта кожаные бока кареты, захватил на лету и стекла кареты, и порядочную часть собственного фартука.

Михей Михеич, как человек знающий и старательный, хотя до того бестолковый, что, по замечанию соседей, муха преспокойно могла усесться на кончике его носа и загнать его в болото, часто заходил в мастерскую Сояшницы.

— Это у тебя ямочки и негладко! — говорил он, водя рукой по загрунтованным бокам кузова.

— И в самом деле, ямочки и негладко! — подхватывал маляр, издали прищуриваясь на свою работу и тоже водя по ней рукою. — И как это могло случиться?

— Это нужно поправить! — говорил Михей Михеич, сжав губы и вопросительно смотря на Сояшницу.

— Поправлю! — отвечал Сояшница. — Без того нельзя... вон трещины...

Михей Михеич через несколько дней снова заходил на пасеку.

— А ведь у тебя, погляди, — опять ямочки и не заглажено! — говорил он, нагибая нос к карете.

— И в самом деле, не заглажено! — удивлялся маляр, недоумевая, как это могло случиться.

И сколько Михей Михеич ни приходил на пасеку — медом там удивительно пахло, — а ямочки и трещины на карете оставались в прежнем положении...

Между прочим, он крайне любопытствовал узнать, как маляр обойдется при своей работе без должных инструментов.

— Как это ты выточишь и вылощишь? — спрашивал он, указывая на разные места. — У тебя нет ни стамесок, ни пемзы!

— А вы не беспокойтесь! — отвечал маляр. — Я это все отлично сделаю! Я это сапожным шилом сделаю!

— Как сапожным шилом?

— А так же: где вогнуто, я острием-с, а где гладко, проведу плашмя-с...

Михей Михеич на это тер у себя переносицу и молча отправлялся смотреть пчел, за которыми, скажем мимоходом, в свободное от работы время было поручено смотреть Брусу.

Среди занятий по подмалевке и окраске кареты незаметно мелькнуло несколько месяцев.

Один бок кузова был выправлен и загрунтован. Маляр принялся за другой бок. Экономка Михея Михеича аккуратно подносила малярам за обедом по рюмке водки, а за ужином по две, и Михей Михеич спокойно смотрел из окна гостиной, как, по условию, по праздникам маляры прогуливались на четвереньках перед корчмою его хутора, несказанно тем потешая пеструю слобожанскую толпу.

— А знаешь что, Сояшница? — сказал однажды Михей Михеич, навестив маляра. — Ты бы тогда, как не пишешь кареты и она сохнет, другое что хорошсе написал.

— И в самом деле! Что даром время тратить!

— Что же ты напишешь?

— Все на свете. Для того мне нужна только та краска, что зовут «кошечьи румяна», да хоть чуточку настоящих свинцовых белил.

«Кошечьи румяна», белила и прочее были доставлены, и в одно прекрасное утро Михей Михеич обратился к маляру с следующим вопросом:

— Ну, что же ты теперь мне напишешь?

Маляр опустил кисть и, глядя на оставленную работу, сказал:

— Напишу бедного Лазаря или прекрасного Иосифа, высокую гору или как мать сына в поход провожает; напишу турецкого пашу...

Через несколько недель Сояшница принес Михею Михеичу что-то завернутое в клетчатом синем платке. На вопрос барина: «Это что такое?» — он отвечал: «Я вам, Михей Михеич, снегиря поймал». Снегирь, однако же, оказался картиною, и Михей Михеич, взяв ее в обе руки, стал ее глубокомысленно рассматривать... На полотне был изображен кавказский пленник.

— Хорошо, весьма хорошо! — сказал Михей Михеич. — Усы вышли несколько будто голубые, но хорошо... очень хорошо... горы, черкесы и лес...

Услышав похвалу, Сояшница размахался руками.

— Эх, Михей Михеич! Эх, сударь вы мой! — восклицал он. — Да если бы мне да этакое помещение, да краски, так я бы не то написал! Ну, что это? Пустяки. Нет, я славную бы вещь написал! Эх, я уже знаю... да что... лучше и не говорить.

Раскозырявшемуся маляру, однако же, пришлось получить неожиданный щелчок судьбы. Михей Михеич нечаянно взглянул на одно место картины и сдвинул брови.

— Послушай, — сказал он, — а рука пленника куда девалась? Ты рукав написал и даже саблю на воздухе около него написал, а про руку и позабыл.

— Ах! И в самом деле! — вскрикнул Сояшница. — Совсем позабыл! Из головы вылетело, Михей Михеич! Право, вылетело!

И он тут же сбегал на пасеку, уселся на перевернутом ведре и пририсовал к рукаву пленника забытую руку.

IV

Прошло еще несколько месяцев.

Другой бок кареты был окончательно загрунтован, и маляр принялся покрывать его иссиня-зеленой краской.

— Знаешь, Сояшница, — сказал барин, — я думаю на дверцах написать свои гербы.

— Что же, ничего... оно точно хорошо, как гербы...

— Как же ты думаешь, голубою или зеленою краскою написать гербы? — спрашивал он.

— Ни голубою, ни зеленою...

— Как так?

— А так же! Уж если что рисовать, так я вам с каждой стороны, на дверцах, нарисую лучше по два самоварчика...

— Как, по два самоварчика??

— А видите ли: я в Змиеве нарисовал одному купцу на вывеске рядом по два одинаковых самоварчика, и, поверите ли, весь город повалил в гостиницу к тому купцу, и он разжился в несколько месяцев, и мне за то дал плису на жилет и совсем почти новую шапку...

Михей Михеич улыбнулся.

— Нет, уж ты мне самоварчиков лучше не рисуй.

— Отчего же не рисовать?

— Да так, это, кажется, теперь не в моде.

— Так как же? Ведь этак вся карета будет без украшений...

— Нет, уж пусть лучше будет без украшений, а самоварчики... это не в моде...

Прошло еще несколько месяцев с той поры, как маляры поселились на пасеке Михея Михеича.

Омелько Брус блаженствовал. Сояшница, однако же, заметил, что его приятель с некоторого времени начинает впадать во многие не совсем благовидные наклонности, хмурил брови и дулся. Так, например, оказалось, что в ульях садовой пасеки, за которою Брусу было поручено ходить, когда их осенью принесли к подвалу, чтобы, по обыкновению, подрезать соты, не отыскалось ни крошки меду.

Барин удивился.

— Куда делся мед? Говори! — спросил он строго Бруса.

— А бог его знает куда! — ответил спокойно Брус. — Может быть, высох или кто-нибудь его съел.

— А вот я тебя как положу да вспрысну березняком, так ты и будешь у меня рассказывать.

Михей Михеич, впрочем, напрасно храбрился, так как во всю жизнь он наказал одно только существо, а именно голландского гуся, который во время купания укусил его за голую икру, за что в тот же день и попал в горшок с борщом.

За Брусом был учрежден строгий надзор, и было велено перевести его из пасеки в особую хату.

Оказалось также, что Омелько Брус и его жена наведываются без спроса в огород, где стали исчезать ягоды, картофель и бобы. Михей Михеич замечал об этом маляру, маляр Брусу, но Брус на это отмалчивался или принимался икать.

Не радовал сердце друга Брус, как в те времена, когда они странствовали по степи и делили вместе счастье и горе, смех и слезы.

Работа подходила к концу.

Колеса кареты были осмотрены и окрашены, и маляр принимался за покрытие всего кузова лаком. Злая грусть между тем съедала сердце маляра. Он выходил из пасеки, глядел на улицу, где жил Брус, и молча хмурил брови. Омелько, видимо, его избегал, не являлся растирать на жернове красок и водился либо с

зажиточными хуторянами, либо с поповичами соседнего местечка. И часто из-за ограды сада маляр слышал, как при его имени, произнесенном Брусом, головы хуторян обращались к пасеке и раздавался хохот чернобровых хуторянских красавиц.

— Эхма! — говорил на это маляр. — Ведь вот человек! Ну, не говорил ли я? Ведь только даром живет на свете! Такие ли бывают подмалярии? Знаем мы вас, шаромыжников... Эх, дай-ка мне хороших рабочих, написал бы я славную вещь... И все бы тогда сказали: ишь ты, сидел-сидел да и написал такую вещь, что еще и не видано...

Заметив, что маляр начинает сильно тосковать, Михей Михеич, в утешение его, подарил ему старенькое охотничье ружье.

Маляр, однако же, не прикасался к ружью и даже с сердцем говорил Брусу, который иногда являлся на пасеку пострелять в отсутствие Сояшницы воробьев: «Оставь ты эту бесову вещь, Омелько, оставь: еще глаз выбьешь!» «Ничего, не выбью!» — отвечал на это Брус. «Как не выбьешь! Оставь, говорю тебе: забыл ты разве, как Михей Михеич хотел тебя высечь за мед? Забыл?» — «Где забыл, вовсе не забывал! Только уж не знаю, можно ли кого на свете высечь за воробьев!» — «Воробьи, Омелько, тоже хотят жить, и ты — дрянь, а не человек, если станешь их убивать!»

Однажды маляр шел за мукою через господский двор. В окнах дома раздался крик. Помещик, бледный и растерянный, выбежал на крыльцо.

— Маляр, маляр! — кричал он. — Беги скорее на пасеку и неси свое ружье; мои заперты в кладовой, а в чулан вскочил бешеный кот, только что взбесился!

Маляр оглянулся, выхватил из-под плеча пустой хлебный мешок и сказал: «На пасеку далеко, а я и этим кота поймаю!» С этими словами он вбежал на крыльцо, отпер дверь чулана и остановился на пороге.

Жирный серый кот ключницы действительно взбесился и, злобно вращая помутившимися глазами, с пеною у рта, ходил по чулану...

Маляр присел на корточки, расставил перед собою мешок и стал подходить к коту. Михей Михеич, бледный, стоял за ним. Кот вытянулся, ощетинился, замяукал и бросился на маляра; маляр бросился на кота.

Помещик вскрикнул и пошатнулся. Когда он раскрыл глаза, кот сидел уже в мешке маляра, и последний молча закручивал над ним веревку.

— В воду, в воду его! — кричали дворовые, когда маляр вытащил и торжественно вынес кота на крыльцо.

Маляр пошел к реке. Помещик и дворня следили за ним.

«Зачем, — рассуждал маляр, — я кину кота в воду вместе с мешком? Мешок может на что-нибудь пригодиться!»

Он стал развязывать мешок...

Но едва узел развязался, кот стремительно ударился в его руки, весь в пене выскочил из мешка и вспрыгнул ему на шапку. Маляр в ужасе присел к земле...

Ощетинившись на нем и дико мяукая, кот стал его скрести когтями...

Михей Михеич окончательно потерялся и бросился бежать к дому без памяти, крича и махая руками.

В тот же миг раздался выстрел, и кот, завертевшись, кубарем полетел с головы маляра в воду. Все с изумлением оглянулись на звук неожиданного выстрела...

Из двери пчелиного шалаша голубой струйкой тянулся дымок. Омелько Брус, склонившись над ружьем, бледный, стоял у порога шалаша и молча осматривал курок.

Сояшница увидел, кто был его спасителем, и в безумной радости кинулся к своему другу. «Голубчик мой, Омелько! Так это ты убил кота?» — кричал он, смаргивая крупные, катившиеся по усам слезы.

Брус на это не поднял даже головы, как будто это был не он, и сквозь зубы ворчал, пристально разглядывая ружье: «Вот так ружье, ей-богу, и не думал, чтобы не промахнуться, а оно и убило кота! Славное ружье, чтоб бес забрал его батька!»

В груди маляра похолодело.

— Так ты не рад, Омелько, что спас меня? — спросил маляр.

— Где не рад! Я только говорю, что как это я так верно попал в кота! И не думал совсем попадать, а уже наудачу...

Случилось около того же времени, маляр завелся собственным бочонком полынной водки и тщательно сберегал этот напиток в погребе около шалаша.

Он долго им пользовался втихомолку и вдруг заметил, что бочонок начал пустеть, будто усыхать, и скоро водки осталось на его дне не более нескольких стаканов... Изумился маляр, осмотрел бочонок: ни одной щели не было на его боках. «Должно быть, повадился вор!» — решил Сояшница и задумал во что бы то ни стало поймать вора.

Он залез на ночь под лавку, на которой стоял бочонок, и только что успел уместиться, как дверь погреба тихо скрипнула и в него стал спускаться какой-то человек с фонарем.

Бочонок снят со скамьи; кто-то опрокинул его над головой.

Сояшница быстро выскочил из своей засады и остолбенел: перед ним стоял Омелько Брус...

Маляр стиснул зубы.

— Так это ты, Омелько, мою водку воруешь? — спросил он глухим голосом.

— Я! — ответил Омелько, бессознательно разглядывая бочонок.

Маляр вздохнул.

— И полюбилась тебе моя водка?

— Как не полюбилась!..

— Отчего же ты не пришел ко мне и не попросил?

Брус молчал.

— Зачем же ты... сюда... по ночам... сюда, Омелько?

Голос маляра дрогнул.

— Лучше бы ты, Омелько, взял нож да и зарезал меня, как старого барана! — сказал Сояшница и вышел из погреба; слезы душили его, и он зарыдал, как ребенок.

На другое утро маляр, позабывшись, за чем-то опять вошел в погреб: бочонок, уж окончательно допитый, лежал на полу. «Собака!» — сказал с холодным негодованием маляр, отталкивая ногою бочонок.

С той поры он заперся в шалаше, перестал пускать к себе Бруса и более не промолвил с ним ни слова. Да и не к чему уже было говорить с Омелькой.

Омелько в это время неожиданно приказал всем долго жить.

Произошло это таким образом.

Было то тяжелое время, когда повсюду стали запрещать есть дыни, арбузы, яблоки и всякую овощ, потому что появилась страшная болезнь, холера. Омелько Брус незадолго до того времени стал окончательно пропадать по оврагам и пропивать последний платок жены. Но вдруг он неожиданно остепенился и даже стал заводиться хозяйством. Он, между прочим, посеял огород и день и ночь его караулил, не трогая ни капли водки. Огород у Бруса созрел, но никто не покупал у него овощей. — «Что! — подумал Брус. — Повезу я их хоть по помещикам; может, на корм скоту купят!» И он навалил дынями и арбузами огромный воз. Солнце пропекло его до костей. Воды негде было взять, и Брус, забывшись, проткнул пальцем большую дыню, выпил ее с семечками до дна, заболел да дорогою и умер. Лошадь его привезла к чьей-то усадьбе. Дворня со страхом обступила воз и повернула его оглоблями назад; лошадь обратно повезла хозяина в деркачевские хутора. Шум поднялся на тихой улице. Народ сбежался, но никто не решился коснуться бедного Бруса. Сама его жена, увидев труп мужа, убежала неизвестно куда, захватив с собою все уцелевшее добро покойного. Коснулся Омельки Бруса, снял его с воза, одел и похоронил один только человек на всем хуторе. И был этот человек — старый маляр Сояшница. «Всем был добрый и хороший человек, всем, да проворовался, как собака!» — говорил седой маляр, стоя с лопатой над могилою отошедшего друга...

Ветер шумел между черными крестами хуторского погоста, волнуя траву, покрывавшую одинокие могилы, и никто

не видел, как горевал маляр над покойным другом. «Эхма! — говорил старик, качая головою. — Зачем ты, Омелько, проворовался!» И глухие рыдания прерывали сетования осиротевшего маляра.

V

Карета была окончательно окрашена и, чистенькая и светлая, как новый поливянный кувшинчик, стояла под навесом пчельника. Маляр видел, что дело пришло к цели, что настала пора расплаты; но все еще ходил и возился возле кареты, смотрел на ее дверцы и колеса и не решался сказать ее обладателю, что работа совершенно окончена. Жаль было старику покинуть пригретое и обжитое местечко. Он кашлял и смотрел в землю, встречаясь с Михеем Михеичем, и всегда заводил посторонний разговор. Да и Михей Михеич, впрочем не торопился с каретой. Он очень удобно ездил в самоделковых деревянных дрожках, которых имя было «чертопханы».

Сояшница не знал, куда деться от тоски. Скитаясь без цели из угла в угол, он привязывался то к голубям, то к последней дворовой собаке, которую все гнали и били без милосердия.

Неожиданно судьба послала ему утешение.

Стоял однажды, по своему обыкновению, Михей Михеич на крыльце. Из кухни вышел заспанный лакей Терешко. Он был любимец барина и имел право заговаривать с ним во всякое время, заложа руки за жилет и отставив одну ногу вперед.

— Чего тебе, Терешко? — спросил барин.

— Да я к вашей милости.

— А что, разве?

— Да там такое диво, что я и родился, и вырос, и вашей милости служу, а не видел еще такого, убей Бог...

— Что ж там за диво?

— Гляну я в окно, идет по улице фокусник, а за ним бежит весь хутор, и мужики, и бабы. Вынул фокусник дудку и мешок, а в мешке сидел ученый петух.

— Ну?

— Вынул фокусник того петуха, подвязал ему к ногам ходули из палочек и стал играть на дудке.

— Так что же?

— Да бабы просят зазвать фокусника...

— А зазвать так и зазвать.

Перед домом собралась густая толпа дворни.

Фокусник, оказавшийся скромным продавцом гребенок и ножей, явился, весело поглядывая на окружающих; он поклонился барину, попросил рюмку водки, выпил, и представление началось. Петух стал огромными шагами расхаживать под дудку хозяина. Присутствующие заливались дружным хохотом. Барин встал. «Терешко, а беги в комнаты и принеси сюда моего петуха! — сказал он слуге. — Пусть он побьется с петухом фокусника. Я знаю, мой петух хоть с кем угодно побьется».

Терешко побежал исполнять приказание Михея Михеича.

Петух, за которым он побежал, был в своем роде замечательный. Михей Михеич где-то прочел, что если птичьи яйца положить в теплый песок, на солнце, или даже просто под мышки, во что-нибудь мягкое, то из них, в определенный срок, выйдут маленькие птенцы. Он приказал себе принести свежих куриных яиц и, обернув их ватою из теплой фуражки, подвязал себе под мышки платком да так бережно и носил их там что-то около шести недель. В ватных гнездах вывелись цыплята: под одним плечом курочка, а под другим петух. Курочка скоро пропала, а петушок вырос и стал бегать по комнатам. Михей Михеич обвил ему ножки красным гарусом и продел в ушки серьги. Петух получил имя Петуха Иваныча, подрос, завелся дюжиной жен.

— А ну-ка, Терешко, бросай его на ученую птицу! — закричал Михей Михеич, сбегая с крыльца.

Гребенщик снял своего петуха с ходуль. Произошли два воинственных скачка. Шеи с ощетинившимися перьями протянулись, крылья развесились, и головы с налитыми кровью глазами стали нос против носа. Воинственные скачки повто-

рились. Петухи опустили головы до самой земли. «А ну-ка, Терешко, подталкивай нашего петуха!» — сказал Михей Михеич. Петухи сразились. Перья на спине каждого встали и раздулись. Смертельный удар готовился с обеих сторон. Присутствующие смотрели, едва переводя дыхание... Петух Иваныч еще свирепее ринулся на своего соперника. Но соперник привскочил и со всею силою стукнул его по голове... Петух Иваныч клюнулся в траву и распластал крылья. Более он не пикнул: он был убит наповал...

— Ка-а-к! — закричал с запальчивостью Михей Михеич. — Так ты пришел моих петухов убивать? Взять у него петуха и отдать его на жаркое...

Победитель без жалости был унесен на кухню.

Гребенщик оглянулся. Все разошлись. Слезы закапали с его усов. Он с силою ударил дудку о крыльцо. Дудка разлетелась вдребезги. Он пошел в кабак.

Там его отыскал Сояшница. Он приласкал его, утешил и даже решился перевести в свой шалаш. Гребенщик с той поры, в самом деле, и поселился у маляра. И когда Михей Михеич, выходя прогуляться, спрашивал маляра: «А скажи мне, Сояшница, что это у тебя за человек живет там в шалаше?» Сояшница на это отвечал: «То ничего; то я себе нанял опять краски растирать!» Михей Михеич довольствовался ответом Сояшницы и не тревожил его новыми расспросами.

Недолго, однако, наслаждался Сояшница обществом нового своего друга.

Однажды (это было в начале первых зимних морозов, когда холодный ветер неожиданно потянул из-за речки) Сояшница жарко истопил печь, лег на лежанку и до глубокой ночи не мог закрыть глаз, ворочаясь с боку на бок и невольно сравнивая своего молчаливого гостя с покойным Омелькой Брусом. И сквозь легкую дремоту виделось ему былое невозвратное время, статный, широкоплечий парень с синяком, похожим на родимое пятно, под глазом, цветущая степь, широкий косогор и море трав, по которым ныряет

пара круторогих волов и тяжелый хуторянский воз Гость маляра также не спал и поминутно ворочался.

Когда маляр проснулся и протер глаза, в шалаше не было ни души. Кровать, на которой спал его гость, была пуста, и ветер прорывался в раскрытую дверь. Сояшница накинул на плечи шубу, выскочил из шалаша, заглянул под навес, где стояла карета, заглянул в погреб: нет ни души, и только пер ый снег кружился и сыпался на землю тяжелыми, волнующимися хлопьями. Первой мыслью маляра было, что молчаливый гость обворовал его и убежал. Но он тут же отклонил от себя это недостойное подозрение и решил, что гость, вероятно, соскучился и пошел искать себе иного приюта и иных друзей.

Горько усмехнулся Сояшница, надвинул на уши шапку и вышел из шалаша с целью во что бы то ни стало вернуть назад безумного сожителя. Свежие следы виднелись под навесом куреня, у двери, на занесенной снегом полоске. Он кинулся по этим следам. На дворе его окликнул сторож, один из его приятелей:

— Куда ты в такую пору, Сояшница?

— А вот я на амбар: хочется на голубей посмотреть — не подмерзли бы! — ответил старик и скоро скрылся из глаз сторожа...

Следующее за этим утро было ясно и безоблачно. Солнце весело катилось по голубому небу. Равнины искрились серебром первого снежного убора. Михей Михеич, в теплом бешмете и в ватном картузе, с суконными клапанчиками на ушах, сходил с крыльца, собираясь побродить по хозяйству И только что он подумал: «А посмотрим, много ли девки надрали пуху», — как к его дому подъехал воз, покрытый рогожею. Сотский шел возле воза и что-то говорил рыжему в веснушках парню, который погонял волов.

— Что тебе, Никита? — спросил Михей Михеич сотского.

— А вот работник мой ехал по степи с сеном и под стогом нашел двух замерзших людей.

Парень откинул с воза рогожу. На куче сена лежали окоченелые маляр Сояшница и гребенщик.

VI

Судьба сжалилась над маляром и не допустила его отойти из дольнего мира таким печальным путем. По распоряжению Михея Михеича тела замерзших со всеми усилиями были оттираемы, и, когда ничто не помогало, их поставили в так называемый *мертвый домик*, который читатель всегда встретит на многих степных кладбищах.

Михей Михеич несколько трусил, не зная, кому отдать следуемую плату за карету, и опасаясь, как бы маляр сам, в виде мертвеца, не пришел за нею ночью. Мертвец, однако, его не беспокоил. Когда перед вечером сторож вошел в мертвый домик, замерзший гребенщик лежал на столе, а маляра там не было. Сторож заглянул под стол и в канавы, окружавшие кладбище, даже на колокольню: нигде не было старика. Сояшница ожил, покинул мертвый домик и притащился к себе в шалаш, истопил там печь, сварил себе кашу, обогрелся, проспал чуть не целые сутки и снова, как ни в чем не бывало, стал жить на белом свете.

Но уже лучшие струны его души были порваны, и он более не выходил из холодной, постоянной тоски. Тень первого его друга, Омельки Бруса, носилась перед ним, и он с печальным раздумьем смотрел через забор сада. Однажды он пробовал было расхрабриться перед хуторянскими молодицами и объявил, что вы вот не смейтесь, что он сам женат и что его жена молода и не уступит никаким на свете молодицам. И когда в его словах усомнились, он пошел к Михею Михеичу, занял у него в счет будущей платы за карету денег и сообщил, что пойдет за женою и приведет ее на хутор. Отправился маляр в дорогу. Весь путь его мочил холодный дождь и била острая осенняя стужа. Иззябший и измученный, добрался он к купцу, у которого проживала работницей его жена. Несколько десятков верст, пройденных пешком, дали себя знать старику. Купец посмотрел на него с изумлением и спросил: «Да разве это твоя жена?» «Моя!» — ответил Сояшница. Купец задумался, повел его в свои комнаты, накормил его, напоил и сказал: «Же-

ны твоей теперь у меня нет!» «Как нет? Где же она?» — спросил маляр изменившимся голосом. «Она, — вот видишь ли... она теперь уже не у меня, а у одного аптекаря, в Харькове, нанимается... ключницей». Маляр расставил руки и вперил глаза в землю. Слеза выкатилась из-под его ресницы и, задрожав, повисла на небритом подбородке. «Ступай и возьми свою жену! Она здорова, сыта и тебе обрадуется!» — сказал купец.

Маляр печально улыбнулся.

— Нет! — ответил он. — Жена теперь не пойдет за мною! Дождь, и теперь очень мокро!

— Как не пойдет? Да ты ее возьми силою; на то ты муж...

— Муж!.. Нет, она не пойдет! — замотал головою маляр. — Я уж знаю свою жену! Не пойдет, потому дождь и мокро.

И, несмотря на все увещания купца, он покинул Харьков и опять пустился в длинный путь. Ночуя под копнами и в старых кирпичных заводах, пришел он к Михею Михеичу и молча подал ему гривенник.

— Что это? — спросил его изумленный барин.

— Это осталось от денег! Возьмите, отдадите разом, при расплате за карету; а то еще пропьешь его, как паршивый бродяга.

— А где же твоя жена?

— Осталась там.

— Как осталась! Ты разве не был в Харькове?

— Был, да она не пошла бы за мною!

— Как не пошла бы? Что ты городишь?

— Мокро!.. Я уж знаю свою жену; не пошла бы, потому что дождь и очень мокро.

С той поры маляр точно преобразился, стал совершенно спокоен. Еще он иногда возился с подпилком у винтов и у ручек кареты. Но уже работы над нею не доводил до конца. Прислонясь к забору сада, он смотрел по целым часам в поле, по которому носились, каркая, черные вороны. Он уж не встряхивал седыми волосами, говоря о том, что вот придет

время и он напишет такую славную и хорошую вещь... Маляр, видимо, угасал и, как бы предчувствуя близкий конец, не заводил ни с кем разговора.

Барин звал его иногда к передобеденной порции водки. Но маляр отводил рукой поданную ему рюмку и молча устремлял в землю глаза, нежданно залитые слезами. Барин с изумлением смотрел на маляра.

— Что с тобою, Сояшница? — спрашивал он.

— Скучно мне, сударь, вот что...

— Как скучно? Что за чепуха...

— Так-таки совсем скучно!

Барин смотрел на донышко рюмки.

— Но отчего же тебе скучно?

— А враг его знает! — отвечал маляр, утирая рукавом катившиеся на кончик носа слезы. — Везде скучно: и в шалаше скучно, и на хуторе, и в поле, просто — на свет бы не глядел...

— Что же? Верно, война будет? — спрашивал Михей Михеич.

— Ну, войны не будет! А просто скучно — руки бы на себя наложил...

— Тебе, верно, жаль... кого? — допрашивал Михей Михеич. — Верно, жены?

— Не ее, а Бруса! — отвечал тихо маляр и уже не мог удержаться... Глухие рыдания вырывались из его старой груди.

В светлый июньский вечер, когда в прозрачном воздухе против солнца роились мошки и облака ярко блистали за рекою, когда дружно звучали в нескольких местах поля песни идущих с работы косарей и на хуторе перед колодцем, тихо беседуя, стояли поселяне и поселянки, маляр Сояшница, лежа на тулупе перед шалашом, вслушивался в шепотливые звуки степного вечера. Отрадно было ему дышать свежим воздухом, напоенным благоуханием цветов. Он робко улыбался, вглядываясь в отдаленные очерки полей. Солнце золотило круглую вершину клена, одиноко поднявшегося на просеке зеленого сада. Кукушка звонко куковала в кустах за речкой, в осиновой роще... Маляр стал считать крики кукушки, да-

леко разносившиеся в чистом вечернем воздухе, стал считать с мыслью: «А посмотрим, сколько еще мне лет остается жить на свете...» — и не досчитал. Старого Сояшницы не стало в живых...

Случилось мне в качестве депутата крестьянского комитета проезжать места, где происходило действие рассказа. Вечер застал меня в поле, и я завернул на постоялый в деркачевских хуторах. Постоялый был вблизи хуторского кладбища.

Я вспомнил о лицах, похороненных здесь, и захотел взглянуть на их одинокие могилы.

Светил полный месяц. В конце хутора показались двое крестьян.

Я подозвал одного из них, он вызвался меня проводить на кладбище. «Где тут могила маляра Сояшницы?» — спросил я его.

Провожатый указал палкой на деревянный крест и ответил:

— Вон она.

Я подошел к кресту.

— А где могила Омельки Бруса, что похоронен тут?

Провожатый помолчал и ответил:

— Да это она же и есть.

— Как она? Ты же сказал, что это могила маляра!

Мужик зевнул и сказал:

— Ну да, она и есть могила маляра!

— А Омелько Брус где похоронен? — спросил я.

— Омелько Брус?

— Да!

— Не знаю. Такого тут и не бывало. Да и маляр, постойте, должно быть, не тут похоронен! — прибавил он, немного помолчав.

— Ну, а не знаешь ли ты, где похоронен у вас прохожий гребенщик? Он тоже, если помнишь...

Мужик надвинул шапку, запахнул полы зипуна и молча пошел обратно к кабаку, не удостоив меня ответом... У кабака слышалась песня.

На постоялом мне не спалось. Я встал, посмотрел на часы, закурил сигару и вышел на улицу.

Деревушка стихла.

Посидев несколько времени на откосе канавы у барского двора, я уже хотел идти обратно на постоялый, как из-за угла кухни, от села, раздались мерные шаги и какое-то мурлыканье грубым голосом, точно кто едва двигался и бормотал или, вздыхая, пел. «Конкуррентус, винентус, бабентус...» — отдавалось в тишине.

Я поднял голову. При блеске месяца на поляне показалась, с палкой и в каком-то белом длинном балахоне, фигура старика, по-видимому слепого. Ощупывая палкой знакомую дорогу и напевая про себя непонятные слова, он поравнялся со мной, остановился и вдруг скинул шапку.

— Здравия желаю! — сказал он, шамкая губами и в нос.

Это меня сперва удивило. Но потом я понял, в чем дело. Запах сигары дал ему средство угадать мое присутствие.

— Кто ты? спросил я старика.

— Крепостной его благородия Михея Михеича... крепостной и усердный раб или холоп, Емельян Иваныч Бутко... Отставной музыкант, капельмейстер, сочинитель нот и певчий — от малых лет, от холопства имел необычайный голос!.. А вы кто?

Я назвал себя и объяснил свое депутатство. Он гордо выпрямился, отставил ногу и, помахивая шапкой, с презрением отвернулся.

— Это все пустяки, дрянь, ваша милость.

— Как пустяки отчего?

— Пустяки повторил он и даже плюнул, — сами не знают, что делают! Я с малых лет был певчим у деда и у отца моего нынешнего владельца: дискантище у меня был бедовый! А теперь? Вот вчера и сегодня я пьян; ну, пьян и пьян, даже в канаве вон проспал целый день... Ну, а барин мой, значит, Михей Михеич наидобреющий, только глянул на меня, да и полно, а прежде дали бы дерку, посватали бы с березой, на пять недель закаялся бы...

Я не оспаривал отставного музыканта, сказав только, что, пожалуй, ему-то вольность и не нужна, да молодые-то за нее поблагодарят. Он опять усмехнулся, замигал слабыми глазами и смолк. Выражение его безбородого, желто-бледного и морщиноватого лица из насмешливого перешло в грустно-задумчивое.

— Скучно на свете, вот что-с, — добавил он, — скучно, а выпьешь, и веселее станет... Эх, сударь вы мой, — покачал он седой, плотно остриженной головой, — где она, вольность-то, у нас на свете? Птицы ее, что ли, имеют? Или мухи крылатые? Или зверь полевой? Нет ее, нет, и бес один, видно, знает, где она! Нету. И пусть на нее молодые не таращатся. Нету ти, и лучше не ищите!

Он тряхнул картузом, как-то всхлипывая, вздохнул, хлопнул по картузу ладонью раз и другой, надел его на затылок и пошел далее через двор к какой-то конуре, коверкая опять на латинский лад бессмысленные слова. Я ему крикнул вслед: «Емельян Иванович, погоди, я объясню тебе кое-что... ты не понимаешь!» Но старик не воротился.

Ночь свежела. «Стожар», или «волосожар», по местному названию, — золотая горсточка звезд на северной стороне неба высоко поднималась над землей, — признак близости утра. Большая Медведица, по-здешнему — Воз, склонила к земле свое дышло и подняла бока своей воздушной колесницы...

Со стороны кладбища, к которому прилежал огород и сад хутора, послышался в тишине протяжный оклик. Он замолчал и отдался опять. Я стал вслушиваться. Кто-то из гущины верб, ограждавших огороды и кладбище, должно быть парень, кричал товарищу: «Иване, Иване! А чи не хочешь ты Гапки?» И этот оклик повторялся несколько раз, разносясь по огородам и по реке, уже подернутой туманом близкого рассвета.

1853 г.

ХРИСТОС-СЕЯТЕЛЬ

Жил старый и вдовый казак Наум. У него было два сына, Андрей и Иван. Наум разбогател извозом соли и торговлею скотом, выселился из родной деревни и сел невдали от нее особняком, завел в степи, у леса, свой хутор.

Люди завидовали счастью и богатству Наума. Хата у него была просторная, крыта под гребенку камышом и раскрашена цветными разводами, двор обнесен забором. А во дворе — чего не было, — телята, куры, гуси, свиньи, крепкие доморослые лошади и раскормленные, крутогогие волы, да не одна пара, а пар пять — как вытянутся в возах под солью, точно писаные, идут важно и тащат каждый за двух и трех.

Старик был еще в силах, но почувствовал близкий конец и позвал старшего сына, Андрея. Говорит ему:

— Ты уже женат, хозяйка у тебя добрая, имеешь малых деток, а Иван еще холост: оставляю вам наследство. Бери заступ.

И повел Андрея к лесу.

Был вечер, взошел месяц. Они достигли леса и здесь остановились на поляне, в кустах, у корявого дуплистого дуба.

— Копай, — сказал отец, — а я буду сторожить.

Андрей стал копать и выкопал чугунный котелок с крышкою. Отец поднял крышку: котелок полон серебряных дукатов, а между ними желтеют на месяце и червонцы.

— Слушай, — сказал отец Андрею, — ты теперь знаешь, где наше добро. Люди считают меня колдуном, а дело простое: все нажито моими и вашими трудами. Говорят: золото веско, а кверху тянет и что всего веселее свои деньги

считать. А я скажу: трудись, паши и сей; какова пашня, таково брашно. Пес космат, ему тепло; мужик богат, ему добро. Только деньгами не чваньтесь и Бога чтите. Иван молод; когда женится и будет у него первый ребенок, отдайте часть этих денег на дом Божий, остальным и прочим поделитесь поровну и, чтя Господа, разживайтесь далее. Бог венчает труды; мал муравей, а горы роет. Я тебе, как старшему, поведал эту тайну: блюди ее и всю семью накрепко.

Котелок опять зарыли в землю и возвратились. Старик прожил еще лето, дотянул до осени и осенью помер.

Прошли три года. Андрей и Иван живут дружно, трудятся, торгуют и ведут хозяйство, как и при отце. «Вот лихой не взял колдуновых детей, — толкуют люди, — они еще гораздее отца. Все им спорится. Золотой молоток и железные ворота прокует!» Весною третьего года Иван, на проводах, на родных могилах, разглядел чернобровую и румяную Ганну. Ганна полюбилась ему. Любовь — не пожар, загорится — не потушишь; Иван решил посвататься.

Миновала летняя страдная пора, поспел, был убран и обмолочен хлеб. Пошли по селам и хуторам гулянки и веселье; известно, осенью и у воробьев — пиво. На Покров Андрей послал братниных сватов к отцу Ганны, а перед филипповками справил и братнину свадьбу.

Жены Андрея и Ивана зажили мирно; по очереди прибирали хату, пекли и варили, шили и пряли, доили коров и ходили за птицею и скотом. Не налюбуются братья своими хозяйками. Так прошел еще год.

Андрей видит, что Иван все бездетен, и стало ему жаль брата. Он вспомнил завещание отца. Хочется ему утешить Ивана, разделить с ним отцовы деньги и прочее наследство и боится нарушить заповедь отца. Придумал другое. Выждал время и, когда оба они пахали, выпряг волов, пустил их на пашню и повел брата к дубу.

— Ты, Иван, добрый и мне почтительный брат, — сказал он, — и твоя хозяйка уважает мою. Скажу я тебе отцову тайну. Он нам кроме хозяйства оставил деньги. Вот у этого

дуба, с этой стороны и под этим корнем, зарыт котелок с дукатами и червонцами. Говорю это тебе на случай моей смерти. Никто, кроме меня, даже моя хозяйка, про то не знает. Видишь, я тебе открылся; но делиться мы до срока не можем — отец положил зарок.

И он рассказал брату этот зарок. Иван поклонился Андрею в ноги. Говорит:

— Спасибо тебе, что ты мне доверил; другой на твоем месте утаил бы такое наследие; вижу — настоящий ты мне брат. Может быть, ожидать нам уже недалеко — соблюдем волю отца.

Иван говорил от сердца. Как сказал, так и поступил; не настаивал на разделе отцова наследства, продолжал трудиться вместе с братом, но не утерпел обрадовать жену. Был Иван с нею на ярмарке. Видит, что все, даже последние, завалящие мужичонки снуют у красных товаров, женам покупают наряды. Иной и в вешний день, как обгорелый пень, — ни хижи, ни крыши, пыль да копоть, что нечего и лопать, а тоже на последнюю полтину тащит жене обновку. Тот красную плахту, этот коралловое монисто, цветные сапоги либо платок.

И взяла Ивана досада. В тот год был неурожай, скот дешев, и все обратно гнали домой непроданный товар. Где тут было просить у брата денег на наряды жене? Андрей же и с своею хозяйкою был на это скупенек, говоря в шутку: «Лучшее ожерелье — женино смиренье!»

— Не тужи, — сказал Иван дорогою хозяйке, — будут и у нас деньги; тогда все тебе куплю, будешь как писаная краля. Пойдем на богомолье, отслужим молебен, и Господь нам даст детей. Дети — благодать Божья; у кого их много, тот не забыт от Бога.

Ганна и без того в последнее время была сама не своя, а тут совсем задумалась: на что это намекает муж? Дело не простое; у него что-нибудь особое на уме. Она стала допытывать мужа; он не сдается. Но когда они сходили на богомолье и возвращались домой через лес, Иван, будто от

усталости, присел под дубом, заставил жену побожиться, что она никому не выдаст его слов, и не только рассказал ей завет отца о кладе, но и показал ей самое место, где клад был зарыт. Жена от радости заплакала и всеми святыми поклялась, что никому не откроет сообщенной ей тайны.

С той поры Ганна повеселела и еще более стала угождать мужу и семье брата. Ранее других встанет, позже всех ложится спать. Копает в огороде — поет; треплет кудель или по колена в воде моет белье — голосистая песня не умолкает. Люди говорят: «Андреева баба — молодец, а Иванова и того лучше; никто против нее не смолотит и не сожнет; по их хутору и по их земле Бог походил».

Было о петровках. Стояло грозовое лето. Тучи сходились, застилая небо. Раздавались раскаты грома и падали обильные, благодатные дожди. Хлеба зазеленели на диво. Травы стояли по пояс. Вздорожал скот, овцы и всякая живность. Братья погнали на ближний торг старых коров и лишних овец и отлично продали. Решили — и на другой, более дальний торг погнали откормленных за зиму волов. С ними по пути поехала и Андреева жена — показать знахарю больное дитя. Дома осталась одна Ганна. Она управилась по хозяйству, уложила Андреевых детей спать и сама легла. Не спится ей. Смутные мысли проносятся в голове. Лесной клад не выходит из ума. Ганна вышла из хаты, постлала зипун у порога и легла. Свежее на воздухе. Ночь темная, тихая. Все небо усеяно звездами; то и дело они золотыми искрами сыплются с неба на землю. «Точно червонцы!» — подумала Ганна, накрывая зипуном голову, чтобы не видеть этих падучих огней, этого непрестанного сверкания. «Нет, то — Божий терем, — думает она, — звезды — окна, и через них ангелы вылетают на землю!»

И вдруг она вздрогнула, не понимая, во сне или наяву она испытывала то, что потом с нею сталось. Ганна подумала: «Зачем Ивану делить клад с Андреем? Иван лучше Андрея: так красив и добр, а уж любит меня... Завладеем сами отцовским богатством; недаром все смеются, зовут нас скопидомами; покажем людям, как следует жить, да муж еще и

более полюбит меня». Она вспомнила, куда поставила заступ, взяла его и, не обувшись, на босу ногу, пошла в лес.

В лесу было тихо и темно. Ганна отыскала поляну и дуб, стала рыть у его корня, а руки трясутся, едва держат заступ. Поборола она страх, выкопала котелок и заровняла землю, даже травою прикрыла то место, где он был зарыт. Открыла крышку, тронула под нею рукой и обомлела: котелок действительно был полон денег. «Ну, куда же с этим теперь? — стала думать Ганна. — Дома не спрятать, не уберечь; кинутся, отыщут и все отберут». Она прошла в глубину леса, исколола ноги и руки и, разглядев при мерцании звезд суховерхую, далеко с поля всегда видную липу, зарыла под нею котелок. «Теперь не найдут!» — подумала Ганна и ушла, оглядываясь, чтобы получше запомнить выбранное место. Пришла домой, поставила на место заступ, легла у порога и заснула.

Долго ли Ганна спала, она не помнила и даже ясно не сознавала, спала ли здесь в ту именно ночь, когда сходила в лес, или это было спустя несколько времени, только слышит, над нею говоряг. Тихо повернула она голову: видит, будто светает, и возле нее лежит воротившийся с торга Иван, а к нему нагнулся, будит его и ему что-то тихо и испуганно говорит бледный и на себя не похожий Андрей. «Что тебе?» — спросил его проснувшийся Иван. «Как что? Большое горе». — «Какое?» — «Отцов клад украли». — «А ты почем знаешь?» — «Ходил поверять; стащили». — «Кого поверять?» Андрей молчал. «Не я украл!» — проговорил Иван. «Кто же?» — «Не знаю». — «Слушай Иван, — сказал Андрей, — кроме тебя, никто про это не знал и не знает, покайся, укажи, куда ты деньги снес, я тебя прощу». — «Не я украл, божусь». — «Нет, ты». Иван вскочил. Ганна, ни жива ни мертва, лежала, боясь шелохнуться и выдать себя. Кругом еще более посветлело. «Так я — вор?» — спросил Иван. «Да, вор, — ответил Андрей, — и если ты не признаешься, не скажешь — конец тебе». Иван бросился на брата; а у того в руках нож. Ганна приметила лезвие

ножа, увидела искаженное злобою лицо деверя и обиженное лицо мужа, хотела крикнуть им, сознаться во всем и не могла произнести ни слова. Над нею в сумерках началась немая, страшная борьба родных братьев. Ни криков, ни стонов. Теплая кровь закапала на лицо Ганны.

Она очнулась. Видит — давно наступило утро; мычат в хлевах коровы, отзываются телята и овцы, просясь в поле. Ганна вскочила, оглянулась по двору, бросилась в хату и тут поняла, что ей привиделся сон: клада она не вырывала и Андрей с Иваном еще не возвращались домой.

«Так это был сон? — подумала, крестясь, Ганна. — Сон — смерти брат; но хоть грозен сон, да милостив Бог». И принялась опять за свое дело. Братья возвратились. Жизнь на хуторе пошла по-прежнему. Не по-прежнему только на душе Ганны. Ее не покидала мысль о сонном видении. «Что бы это значило? — рассуждала она. — Недаром такое привиделось. Сон правду скажет, да не всякому. Или я ступила в чужой, лихой след, или до утренней зари посмотрела в окно? Брат кинулся на брата... пустяки! Они так дружны; из-за денег не схватятся за ножи». И стала она думать-думать, поглядывая в поле, на лес. Байрак пожелтел; с него осыпались листья. Наступила зима. Снег занес поле, завалил сугробами оголелые деревья и кусты.

Весною Ганна сходила, будто за ландышами, в лес. Поляна около дуба уже зеленела; земля у его корня не была рушена. «Все цело, — успокоилась Ганна, — будь, что будет; и то правда, лучше подождем. Да и что богатство! Богатые на том свете голыми руками каленые пятаки считают!»

Наступила небывалая жара. Люди с тревогою поглядывали на небо, напрасно ожидая дождя. Небо было безоблачно. Зной стоял неугасимый. Растрескалась земля; все увядало и сохло. Иван и Андрей с женою пахали под озими в поле. Ганну оставили дома варить есть и доглядать детей.

Она с осени недомогала; все ей было как-то тошно и не мило: она то вздыхала и молилась, то плакала и от слабости едва ходила. Андрей, глядя на нее и на брата, думал: «Ну, теперь уже, кажется, и вправду не долго ждать».

Был обеденный час. Ганна выглянула в окно и не узнала выгона. Небо потускнело. Облаков и туч не было видно, но в воздухе стояла какая-то мгла, сквозь которую туманом синел чуть видный лес. Ганна вышла из хаты. Слышит. куры кудахчут; видит, воробьи купаются в пыли. Думает: «Слава те, Господи, к дождю; недаром небо было красно до зари». Она накормила Андреевых детей, прибрала посуду, налила в чистый горшок горячего борща, нарезала хлеба и все увязала в платок, чтобы нести в поле. Обулась, сказала детям: «Сидите же смирно, пока возвращусь» — и вышла с узлом в сени. Тут она увидела в углу заступ и замерла. «Сон, сон!» — подумала она, не помня себя от страха и мучительной, ей самой непонятной радости. Отворив дверь в каморку, она ткнула туда узел, схватила заступ и без оглядки пошла к лесу. Идет, как на крыльях.

Идст, а навстречу ей из-за леса подымается и растет темная, грозная туча, мигает голубыми и алыми молниями. «Пойдет дождь, меня не спохватятся, — думает Ганна, — успею откопать и зарыть, и в иное место». Уж она над деревьями завидела маковку старой суховерхой липы. Ганна подошла к лесу. Огромная дождевая капля упала ей на лицо.

Тут откуда-то вырвался и взыгрался страшный вихрь. Раздался оглушительный удар грома. Все завертелось в пыли, сорванных листьях и сучьях: поле, травы, лес и сама Ганна. Она видит, что заступ выпал у нее из рук и ее, как былинку, несет куда-то высоко-высоко, с листьями и сучьями, что-то белое, туманное и гремящее непрерывными раскатами грозы. Она с ужасом поняла, что ее подхватил налетевший полевой вихрь. Ни молиться, ни думать от страха она не могла. Взглянула вниз — земля чуть видна; кругом облака, молнии, а гром ревет и стонет.

Вихрь унес Ганну на небо.

Облака рассеялись. Выглянуло солнце. Поверх облаков — другая земля. Зеленеют травы, а по свежей пахоте ходят какие-то старцы. Ганна очутилась возле них и поняла, что впереди — сам Господь Христос, а за ним апостолы Петр и Павел и угодник Божий, победоносец Юрий. Удивилась Ганна: Господь Христос в сером зипуне, простоволосый и с лукошком через плечо. Иисус брал горстью зерна пшеницы и сеял; Петр ему подсыпал из мерника, а Павел и Юрий, ведя сзади волов, боронили следом землю.

И увидел Господь Ганну и позвал ее. Та упала ему в ноги.

— Господи, Иисусе сладчайший, — решилась, не смея глянуть на Спаса, проговорить Ганна, — вижу твое чудо, я на небе; но зачем ты меня, грешную и глупую рабу, взял с земли, от мужа и близких, в твое высокое царствие?

Раздалось властное слово:

— Чтоб ты видела все.

— Но, Боже милый, Боже правый, — проговорила Ганна, — я грешными мыслями мыслила, что твое царствие в вечном сиянии солнца, что ты на престоле облачном, в венце из звезд и в одежде из утренней и вечерней зари; а ты в простом зипуне и, как убогий пахарь, сеешь землю. Тебе служат ангелы и апостолы — не тебе ли быть в вечном достатке и нас, всех бедных, сделать богачами? Мы бы тогда не работали, жили бы на покое и вечно прославляли бы имя твое.

Прозвучала тихая, милостивая речь.

— Рабыня добрая, но малосмысленная! Богатому сладко естся, но плохо спится. О деньгах не думай; когда деньги говорят, тогда правда молчит. Нет выше благодатного земельного труда. В нем, после молитвы, все спасение и все счастье на земле. Трудись и тому же учи своих детей.

— Но как же, как же? — взмолилась в слезах горестная бабенка. — Муж у меня хороший человек, но денег у нас мало; все, что наживается, идет на хозяйство; дом, как яма, никогда не наполнишь; у меня же, Боженька, ни шелкового платка, ни добрых кораллов, ни красных сапогов. И мужа до сих пор не слушают на миру...

— Все вырастет из земли от ваших рук, — прозвучал ей ответ, — будет колос, будет и голос.

Ганна слышит: опять взыграл вихрь. Она подняла голову. Видит: она сама лежит ничком на поляне, у дуба. А над лесом, гремя и сверкая молниями, в небо уносится белотуманная туча, и от той тучи, как от кадильного дыма, идет благоухание по всему лесу.

Ганна встала. На том месте, где был зарыт клад, рос спелый и сочный, несмотря на засуху, пшеничный колос. Ганна все передала мужу и привела его сюда. Иван, сорвав колос, сообщил о случае с женою Андрею. Братья подумали и решили отдать клад на помин отца, целиком на бедных и на церковь.

В их селе и доныне показывают иконостас, на диво расписанный на их жертву. Ганне вскоре после того, когда с нею было видение, Господь дал сына, и родители назвали его Богданом. От найденного колоса пошла в той стороне пшеница-усатка, какой дотоле и не видывали. Урожай всех хлебов вышел диковинный, и обрадованные братья накупили женам всяких нарядов.

1886 г.

СТРЕЛОЧНИК

(СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ)

На одной железной дороге жил стрелочник, отставной, уже пожилых лет, но еще бодрый солдат Емельян. Его стрелка была в поле, в конце выезда из большого города. Он помещался в ближней сторожке, с женою Ариной и с подростком-сыном Васей, веселым и шустрым мальчиком. Емельян женился лет семь назад на молодой, работящей бабе и служил, вообще, исправно. Прежде он сильно пил, но, женившись и получив хорошее место, одумался, а с недавнего времени опять втайне начал выпивать, и не то чтобы с горя или возвратился прежний запой, а так — попробовал на радости, потом для компании, да и пошел куликать.

Жена в страхе стала уговаривать его.

— Стыдись, — говорила она ему, когда он, бывало, опять опомнится, — жалованье пропиваешь, пропьешь скоро вовсе и совесть!

— Мне что, — огрызался Емельян, — шутка ли? Господь сына на старости дал, да какого! Вырастет, будет молодец, прокормит и тебя, и меня.

— А, не дай Бог, во хмелю спутаешь стрелку? Великому горю быть... Сколько погубишь невинных душ!

— И видно, что баба дура, — отвечал Емельян, — нешто видела, чтобы я хмельной да осмелился когда к стрелке стать?

Жена со страхом рассказывала куме, кухарке городского лекаря, что Емельян иной раз, после запоя, говорил несуразные вещи: то он видел в сторожке множество змей и жаб, будто бы ползавших кучами по полу и по окнам; то

ему казались противные, как мыши, бесенята с рожками во всех углах и за печью, и он, просыпаясь, плевался и отгонял их, точно мух. Временами Емельян брался за ум и не касался до чарки, особенно если никто из товарищей не подвертывался ему и его не соблазнял. Он усердно посещал церковь, был грамотный, с чувством читал в часы раскаяния жития святых и тем, хотя отчасти, сдерживал себя.

Васе пошел шестой год. Еще красивее стал вертун: румяный, кудрявый, черноглазый. Все им любовались. Арина ходила в город прачкой, поденно мыла белье в хороших домах. Она справила на свои заработки Васе картуз и козловые сапожки на высоких каблуках. Емельян посмотрел, подумал: «Опередила баба» — и купил сыну на базаре красную шерстяную рубашку и плисовые шароварцы; не мальчик вышел — сущая картинка! «Разве в сапогах дело? — думал он. — Походил бы и босиком, а в рубашке — настоящий купеческий дворник».

Перед Спасом Емельян был не на очереди. У кабака он увидел своего кума, дистаночного десятника, угостил его — и сам нарезался. Загорелась в нем опять жажда к водке; казалось, море бы выпил; только он пересилил себя. Хотел было закурить трубку, но увидел, что забыл дома табак. Пришел к вечеру в сторожку; жена стряпала в печи. Набил он трубку, напустил табачища в сторожке и давай куражиться над хозяйкой.

— Мой сын! — сказал он. — Любуйся! Не видать бы тебе, глупой, без меня такого!

— Такой же твой, как и мой, — отвечала жена, с досадой глядя на его хмельную рожу, — обоим Господь послал.

— Нет, мой!

— Нет, наш — обоих.

Емельян обезумел. Искры завертелись у него в глазах.

— А! Так вон оно как! — крикнул он в злобе. — Надо мной похваляешься? Вон из моего дома! Чтобы и духу твоего тут не пахло.

— Да за что же, Емельян Мосеич? Слыхано ли?

— А за то... Я голова всему, я! Скомандовал и — проваливай.

— Но куда же мне против ночи, подумай?

— Куда знаешь, мало ли в городе у вашей братии углов.

Обиделась Арина, в слезы.

— У полицмейстерши, — говорит, — все намедни помыли; у лекарши еще через два дня главная стирка, теперь только постирушка детям, куда мне, постыдись, в такую темь?

— Вон, чертова голова, не перечь, — затопал ногами Емельян, — не уйдешь с глаз долой, поленом выгоню, искалечу в труху.

Пуще заплакала Арина; видит, ничего с окаянным не поделаешь. Отерла слезы, увязала в узелок одежонку, заслонила печь, взяла краюху хлеба, перекрестила спавшего в уголке Васю и пошла в город.

«Так ей, сатане, и надо! — подумал Емельян, усевшись у дверей сторожки и глядя в темноту, вслед за женой. — Тоже, лапотницы, важничают! Взял ее в лаптях да в дерюге; теперь в ситце стала ходить; начальствовать, вишь, затеяла, укорять. Не у мири, не притопчи бабу — верх возьмет. Давно пора! Опостылела! А мы и сами сына вырастим, сбережем!»

Настала ночь... Хмель сильнее стал разбирать Емельяна. Впотьмах мимо него гремели товарные длинные поезда, пыхтели закоптелые трубы, сыпались искры и свистели горластые свистки. Он курил, глядел перед собой, и вдруг ему жутко стало: впотьмах ему опять померещились разные чудища, а при этом, как живой, привиделся изможденный некий преподобный старец с длинной седой бородой, о котором он недавно вычитал в житиях святых. Он вспомнил, как этот страстотерпец — угодник Божий — спасался в аравийской пустыне и как к его пещере подошел ночью кто-то из пустыни и стал молить его сдвинуть камень от входа. «Впусти меня, — молился плачущий голос, — пусти, старче, лев ры-

каяй гонится за мной, хочет разорвать; я без одежды на холоде и три дня без еды». Старец засветил лампаду, отодвинул камень; вошла женщина неописанной красоты. То было, как помнил Емельян, видение. Старец зажег хворост и стал палить свою руку на огне; кожа трескалась, сукровица и жир капали на угли, смрад наполнил пещеру, но преподобный молился — не прикоснулся к гостье. Белолилейный ангел явился тут в тумане, вывел гостью — то был дьявол — и спас старца.

— Чур меня, чур! — шептал, вспоминая это видение, Емельян. — И меня тянуло и тянет... не пойду, не стану пить!

Он перекрестился.

«Вырастет Васька, — рассуждал он, — обучу его грамоте, а кум-десятник пристроит его на правленский счет в дорожное училище. Станет он человеком. Да, не бабе-дуре оборудовать такое дело, нашему только брату, потому к нам, за наши заслуги, благоволит начальство. Станет Васютка слесарем, кочегаром, а далее — и машинистом, будет водить поезда и за мои хлопоты доглядит отца до кончины дней. Что мать? Молитвам только выучила сына... оно ладно, да не прокормит...»

Емельян вздохнул.

«А надо правду сказать, — как он, постреленок, ловко за нею молится, всякие молитвы знает: от несчастий разных, от злого случая и тяжкой, нежданной беды. Выучила сына, а все-таки, треклятая баба, мужа пьяницей зовет, не уважает, озорница... А какой я пьяница? Из всех слуг первый и главный слуга! И теперь вот хочется выпить, да не пойду... Руку на костре сожгу, как тот преподобный, а уж в рот — ни-ни...»

Емельян собрался в сторожку спать, да глянул по направлению к городу. Издали, через дорожное полотно, как красный глаз, еще светилось окно в крайнем городском кабаке.

«Видно, еще рано; у кабатчика гости, и все, должно быть, наши! — подумал Емельян. — Пойти разве так, назло

жене, — только поглядеть. Пусть плачет, чертова баба! Обвинила, хоть не даром же слушать бабьи укоры».

И он опять пошел в кабак. А там и впрямь были все свои — смазчик вагонов, кривенький соседний стрелочник из матросов и сторож при дровах. Он выпил с ними четвертку и другую. В кабак завернул и главный из общих их приятелей, весельчак и пьяница — вахтер с водокачалки. Все, в ожидании службы с утра, опорожнили еще по сороковке и по другой, и, когда разошлись, Емельян уже не помнил, как он добрел в свою сторожку. Ему грезились жабы, змеи и аравийская пещера, где уже не красавица, а он водкой соблазнял старца. В ужасе он искал слов молитвы — и не находил.

На заре его разбудил голос Васи.

— Тятя, тятенька! — повторял на все лады мальчик, теребя его за рукав. — Твоя очередь, старшой кликает давно!

Емельян вскочил, стал протирать глаза. Утро только что начинало брезжить в окна сторожки. Как ни трещала голова Емельяна, он умыл Васю, причесал его, обул, одел и накормил вчерашней кашей. Но все это у него плохо выходило; непривычными к дитяти руками он и рубашонку его облил водой, и больно гребнем дергал его встрепанные волосы, и насилу разыскал под лавкой и напялил ему на ноги сапожки, а все-таки остался доволен, что обрядил сына.

— Так-то, — сказал он себе, вспоминая, как с вечера прогнал жену, — не провалюсь! И без бабьего духа все, как следует, наладим!

Он заставил сына прочесть молитвы.

Вася прочел «Отче наш» и «Богородицу» и стал проситься поиграть с деревенскими ребятами в ближний березовый лесок.

— Да чего ты там не видел?

— Галчата, тятенька; на березе целое гнездо!

— Зачем так рано?

— Ребята сказывают, что теперь они одни — матки в разлете за едой... Пусти; галчата прежде были махонькие, голенькие, а теперь вот какие, в пере.

— Ну, иди, Бог с тобою! — объявил Емельян, — Только не лазь на дерево — еще оборвешься; собак тоже берегись; не забодали бы коровы в лесу...

— Вона! Не боюсь!

Васька побежал в поле. На дворе посветлело, хотя над полем и окраинами города был еще туман Поверх тумана блеснула маковка соборной колокольни. Емельян вспомнил, что он ставил сына на молитву, но не молился сам и, сняв шапку, уже повернулся было на восход солнца, но ему почудился где-то в поле сигнальный свисток.

— Помолюсь после! — решил Емельян и, застегиваясь, бросился к стрелке.

Справа забелело облако дыма, и стал виден вдали медленно подходивший из-за пригорка товарный поезд. Прямо против стрелки, по другой бок чугунки, шлепая по грязи, двигалось городское стадо коров, за ними, врассыпную, овцы; еще далее, проселком, тащились телеги с кладью и одинокие пешеходы.

«Куда им всем до чугунки! — подумал Емельян, потягиваясь и разминаясь с трубой у стрелки, на утреннем холодку. — Все одно что бабе до солдата! Загудит, загремит — и всех их обгонит наш кормилец — скороход!»

За дорогою, над березами, поднялась стая галок. Емельян вспомнил о Васе и галчатах.

«Маху дал, — подумал он, — отпустил сына к ребятам; не напроказил бы чего — будет от жены! Ну, да ладно; пропущу товарный, отзову его».

Слева тем временем нежданно послышался другой, более сильный свисток. Емельян удивился, соображая, неужели время уже подходить от города скорому, курьерскому поезду?

«Проспал во хмелю!» — с досадой подумал Емельян.

Издали в тумане послышались, перекликаясь, трубы ближайших к городу стрелочников. На их сигналы отозвался и

кривенький, соседний Емельяну, стрелочник-матрос, бывший ночью в кабаке; затрубил о свободном пути и Емельян, а сам зорко смотрит влево, за ближайший мост: вот-вот, с немцем-машинистом, выскочит из-за холма на мост утренний курьер.

Громыхнули слева, еще в туманной дали, тяжелые колеса и скрепы поезда, выдвинулся грузный, троеглазый паровик, и длинным змеем, по насыпи, стала приближаться вереница вагонов. Дым валил из черной трубы и стлался над дорожным полотном и его откосами. Стало слышно пыхтение широкотрубного американского силача-паровика.

Но опять, видимо не по положению, оттуда же, слева, повторился свисток и другой. Емельян ухватился за рукоятку стрелки.

«А, понимаю! — подумал он. — Меня завидел и распознал глазастый немец-машинист; полагает: не выпил ли я? Врешь, не собьюсь. Вижу все как на ладони; вон справа подходит товарный, с углем; ему — одна дорога, а тебе — другая...»

Тревожные свистки, однако, не унимались. Поезд слева летел по насыпи, не убавляя хода.

«Что за оказия? — подумал, теряясь, Емельян. — Дает сигналы, а тормозить не успеют, да и зачем?»

Он глянул вдоль дорожного полотна и замер.

Товарный поезд также несся к березам. Там, где деревья за стрелкой разошлись и к ним из-за пригорка приближался товарный поезд, машинист с курьерского, очевидно, приметил на рельсах что-то живое, не то овцу, не то человека, потому и давал свистки.

— Да что же это? — вскрикнул Емельян, не помня себя. — Господи, Господи!

На полотне дороги, между двух на полном ходу близившихся друг к другу поездов, он увидел что-то красное, точно лоскут кумача несло по рельсам и поддувало ветром. Емельян в ужасе узнал красную рубашку Васи.

«Беги, беги в сторону! — хотел было он крикнуть сыну и не мог. — Нет, он еще испугается, споткнется и попадет под колеса! — пробежало в мыслях Емельяна. — Но как спасти его, как?»

Оставалось одно средство — повернуть стрелку и направить курьерский поезд по другому пути, навстречу набегавшему товарному.

«Столкнутся, будет крушение, великий грех! — колебался Емельян. — Да что же? Сын ведь! Единственный сынишка...»

Оставалось полминуты... Емельян уже налег было ногою на стрелку. Курьерский поезд гремел слева, в ста шагах, перебегая невысокий каменный мостик, за которым, у насыпи, стоял Емельян. Дым от подходившего справа товарного застилал березы и рельсы, среди которых все еще мелькала красная рубашечка Васи. Ребенок, наконец, сам, очевидно, понял угрожавшую ему беду. Он на мгновение остановился, бросился вправо, бросился влево и, второпях зацепясь за шпалы, упал ничком прямо на рельсы.

— Отче, Пресвятая Богородица!.. Ариша! Где ты? Прости, касатик, молись! — прошептал Емельян.

Оставалась секунда...

Белый как полотно Емельян вытянулся и подумал: «Будь, что будет... всем ли погибать за одного?» — и, придерживая стрелку, остался неподвижен.

Курьерский поезд помчался мимо товарного. Крик ужаса раздался на обоих паровиках. Цепь вагонов, в дыму и выпущенном паре, налетела на то место, где среди рельсов припал комочком Вася.

Пар свился в облачко, поднялся, протянулся и, словно белолилейное легкокрылое видение, понесся в воздухе.

Оба поезда, разминувшись, остановились. Емельян бросился туда. Он бежал, не переводя духа и стараясь не думать о том, почему остановились вагоны и соскочившие с поездов кондукторы и кочегары столпились у откоса, как бы рассматривая что-то, лежавшее на земле.

— Где он, отцы родные, где? — крикнул Емельян, добежав до насыпи. — Пустите, соколики, дайте взглянуть... убит?..

«Раздавлен до смерти, в куски! — думал Емельян, карабкаясь на откос. — Аринушка! Не жить мне теперь... Одна пьянице дорога — в омут!»

Емельян, обрываясь и падая по зеленому откосу, взобрался на насыпь. Бывшие там расступились. Среди них, на корточках, с галчонком в руке, сидел, тараща глаза и плача, измаранный грязью Вася.

— Жив, жив! — крикнул Емельян, подбегая к сыну и подхватывая его на руки. — Сыночек, сын мой!

— А коли и вправду ты ему отец, вот на что гляди, — сказал старичок-кондуктор с курьерского поезда, — эва, как его укоротило!

Емельян опустил сына на земь, посмотрел — Вася и впрямь стал будто короче на вершок.

— На каблук гляди, на каблук! — кричали стоявшие кругом.

Емельян опять приподнял сына, осмотрел его — и упал на колени. Он стал молиться, кладя земные поклоны. Вася был невредим. Целый поезд пролетел над ним, не придавив его. Колесами вагонов на его ноге отчахнуло только, точно ножом, один каблучок, сорвав часть сапожного задника. Все дивовались и ахали.

Поезда засвистели опять, загремели и разошлись. Долго Емельян не мог опомниться. Он смотрел вдоль дороги, крестился и шептал молитву.

— Она тебя спасла! — проговорил он наконец взяв сына за руку.

— Кто, тятя? — спросил мальчик, всхлипывая.

— Материнская молитва! Больше некому... Отстоим очередь, пойдем к маме в город.

— Нет, тятя, меня сдвинуло что-то белое... я упал, а оно, точно дым, навалило — и отпихнуло меня.

Емельян пошел с сыном к старшому — проситься в город. Вася бежал рядом с ним, держа в руке оравшего галчонка.

— Эх, Васютка, неладно, — сказал отец, — зачем мучишь Божью тварь?

Сын удивленно посмотрел на отца.

— Пусти его на волю, — сказал Емельян, — пусть живет и за нас, грешных, Господа славит.

Вася пустил галчонка. Тот полетел в кусты. Емельян не спускал глаз с неба. Ему казалось, что над кустами и полем не переставал парить белолилейный крылатый ангел.

У лекарши стрелочнику сказали, что его жена кончила постирушку и пошла на реку. Он застал Арину на городском плоту. Кругом мыли белье и тарантили во все горло другие прачки. Он прямо к жене.

— Прости, Аринушка, — сказал Емельян, кланяясь ей в ноги при всех, — был на свете старый пьяница и баловник, загуливал и не по правде жил; пойдем молебен править, ты своими молитвами спасла сына, спасла и меня.

Все в городе узнали о чуде над Васей. Но случилось и другое чудо. С той поры Емельян хмельного не пьет и в кабак даже с товарищами не ходит. В сторожке, у образов, он поместил новую икону. На ней изображен в белой ризе крылатый Георгий Победоносец, на коне и с мечом, над поверженным дьяволом. Когда Емельяна спрашивают, откуда он взял этот образ, он отвечает:

— Ходил на богомолье; человек слаб, а в одном Боге и его угодниках — *сила в борьбе против окаянства и зла.*

1886 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 3

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
Е. Дятлова

Технический редактор
Н. Привезенцева

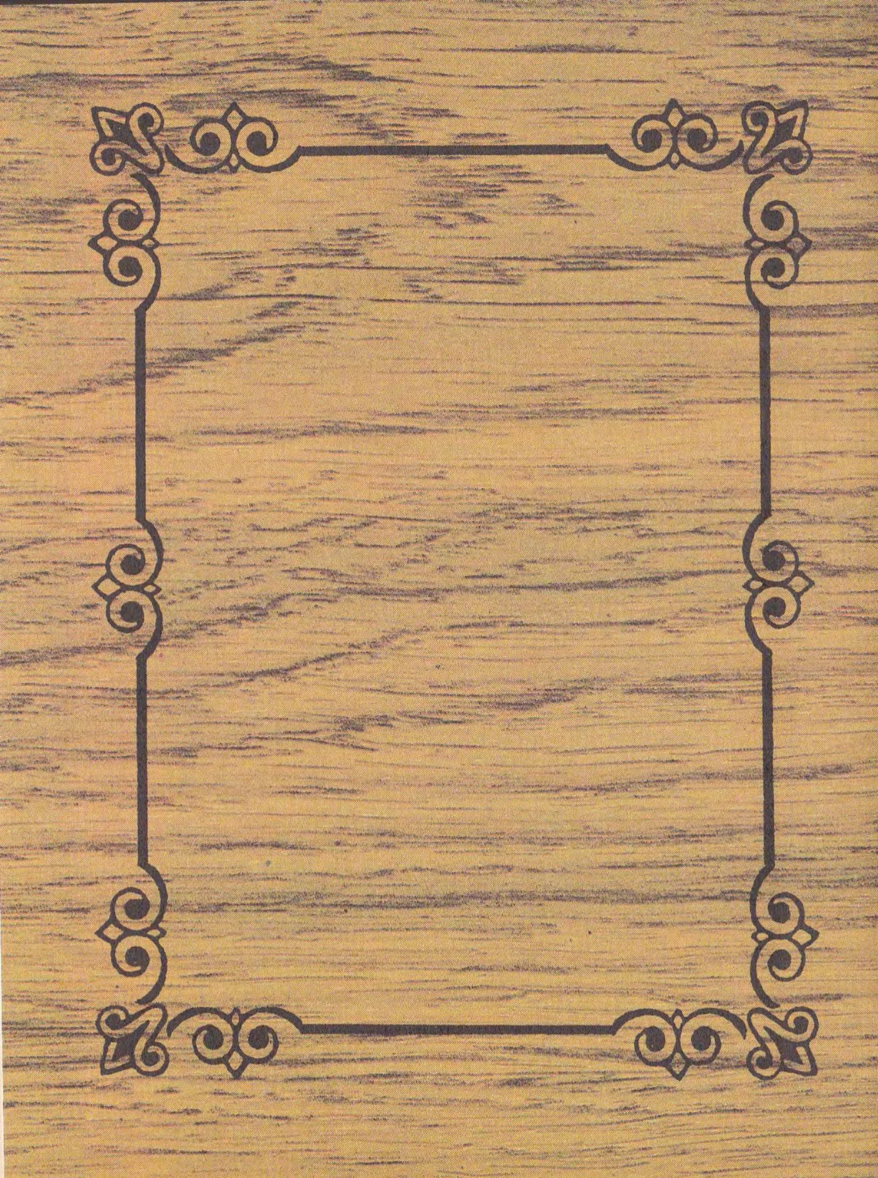
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

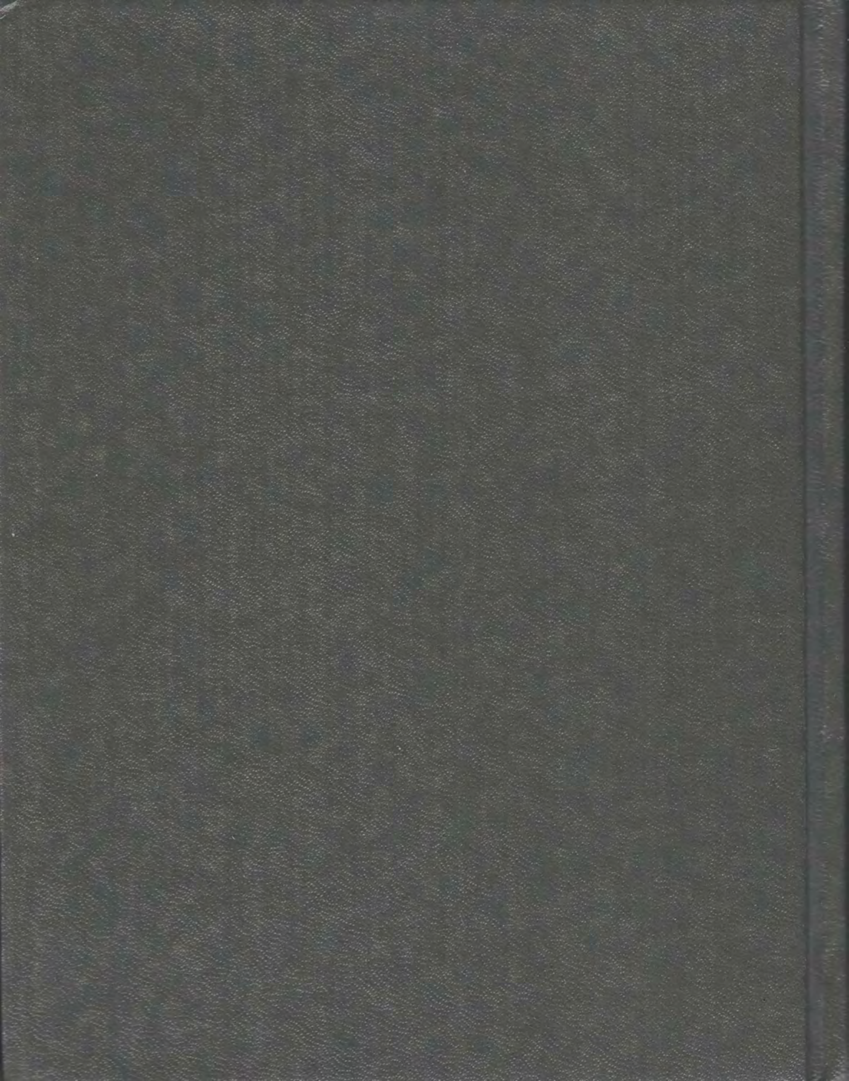
ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 15.11.94. Формат 70 X 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,7. Уч.-изд. л. 26,23. Тираж 15 000 экз. Заказ 1529.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.






Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ